

Збелда

★
Збелда
★

1980

2
1980

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Звезда

2
февраль
1980

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД



Павел Буцшев

ПЕРЕПРАВА

1

Штурмовые мостки —
в ширину доски —
протянулись за досточкой досточка.
До тоски узки
через Эму мостки —
жизни тоненькая полосочка.

По какому-то там закону
(только черт те законы знает!) —
по Эйнштейну ли, по Ньютону —
под одним неподвижным
тонут,
под пятью бегущими —
плавают!

Без приказа нам было известно:
по мосткам проскочи хоть кубарем,
не сыскать там свободного места
для того, кого сшибло кугелем¹.

По солдатскому трудному долгу,
по солдатскому тяжкому праву
тем, кто цел:
— Дорогу! Дорогу!
Не срывать переправу!

Пожалей,
так начнешь сначала,
повторишь по кровавому следу...
Вот, что на штурмостках означало
остановиться,
помочь соседу.

2

Я на реки гляжу уверенно,
не стущуюсь у Тигра-Евфрата.
Я парнишечка с крепкими нервами:
хоть туда, хоть обратно.

¹ Кугель — пуля (нем.).

Мне — что Нил, что Амур, что Лена
расхлестнись небывальными бурями,
вброд пойду,

перейду по колена
Миссисипи с Миссуриями.

Хоть стремнинное будь течение,
не тревожась о черном миге,
поплыву...

Но мое почтение
мелочь речке — Эмайыге.

Эмайыги — сказать —
это Мать-река,
в перекладе на наш,
на русский.
Но для нас она нынче —
мачеха:
штурмостки очень узки.

Не глубокая, если без бою, —
это точно разведкой промерено.
А в бою —
хватит всем с головою
в полушаге от берега.

До тоски узки
штурмовые мостки.
Пролегли на воде, как тростиночка
Штурмовые мостки
в ширину доски —
к черту в зубы прямая тропиночка.

Как свинец здесь вода.
Эй ты, Эма!
Даже думать неловко,
что — мама.
Расколосось над Эмой небо
в день захвата плацдарма.

3

В этот день в благодатном незнании
в довоенных линиях платочках
ждали мамы в Рязани-Казани
весточек от сыночков.

А мы ждали приказ командарма,
не черкнув нашим мамам ни строчки.
Впереди у нас —
Эма-мама
и штурмосточки.

Нам такой не давали команды,
но мы знали,
считая правильным:

на мостках даже брат — преграда,
если брат впереди и раненый.

Жесткое правило.

Жесткие парни.

Но жестким парням на мостках
оставалось

рваться к плацдарму
и лишь на плацдарме
вспомнить о том,

что такое жалость.

Нет, никто их не обнаружил,
этих жестких солдатских правил.
Но мостки должны быть свободными
для переправы.

4

До того не бывал никогда еще
ни в одной вот такой операции,
чтоб шагали через товарища
как через препятствие.

Слава богу, меня это минуло.
Сам прошел, и со мною четверо.
А случись?..

Не знаю, что было бы.

Выбирать было не из чего.

Но зато у передних,
на третьем звене,
там, где Эма-река чернью тронута,
пуля-дура —

в грудь старшине
на середине, у омута.

Тихо Эма течет...
Кровь грохочет в висках!
Пулеметный расчет
тонет на штурмостках.

Что ж ты так,
Эма-мама,
помогаешь врагу?
Нам нельзя без плацдарма
на том берегу.
Все возьми за плацдарм,
не мешай переправе.
Жизнь отдам,
только... там, на плацдарме!

Рвали воду,
осатанев,
автоматные жадные строчки.
Но не скрылись в кипящей волне
штурмовые мосточки.

Хоть приказа такого и не было
по солдатскому тяжкому долгу
от себя старшина потребовал,
уступил штурмовую дорогу...

О других говорить я не стану
ни в стихах,
ни за звонким застольем
тех,
кого во имя, во славу
Эма-мама сплвила модем.

Но не выбелить память слезами,
не отторгнуть всего,
что там было...
До сих пор ждут в Рязани-Казани,
а их Эма усыновила.

Вадим Хамунович

* * *

Город Тотьма на том берегу
Смотрит Сухоне в темную воду.
Я не знал, что в душе берегу
Боль по сорок четвертому году,

Где не веет еще снеговой
И еще не расплакалась осень.
Мне двенадцать, а маме моей,
Милой маме моей — тридцать восемь.

И у пристани плещет вода,
И скрипит деревянным настилом,
За спиною осталась беда,
Отошла, отлегла, отпустила.

Нет, она не исчезла совсем —
Просто, душу измаяв, ослабла...
Подорожник умылся в росе.
В небе месяц сверкает, как сабля.

Я стою у студеной реки,
Я слежу за бесшумным движеньем...
Годы нынешние далеки
С беспощадным своим притяженьем,

С беспощадною правдой своей,
Со своею тщетою суетливой...
Неба край всё светлей и светлей.
Ах, какой я стою там счастливый!

* * *

Ах, это было чудо из чудес:
Зазеленел внезапно зимний лес,
Растаял лед на озере лесном,
И все, что спало беспробудным
сном,

Очнулось,
задышало,
расцвело,
На нет ночную темноту svelo,
Легко денница на небо взошла,
И я увидел — мама лесом шла.
Беспечная, как девочка, была.
Склонялась к травам, ягоду брала.
И вся светилась в солнечном огне,
И ничего не знала обо мне...

Вдруг оглянулась в сторону мою,
Увидела, что я один стою,
Что восхищенно ей гляжу вослед,
Что постарел на восемнадцать лет,
Узнала все, все сразу поняла
И словно тяжесть с плеч моих

сняла —

Дождалась, как я руку подниму,
И растворилась в солнечном дыму...
Вновь лед лесное озеро сковал,
Мороз в лесу и в поле ликовал,
Не помышляла ночь о новом дне,
Но как легко в тот миг дышалось

мне!

* * *

Когда б нас ни спросили,
В дни мира иль войны:
В каком цветке России
Цвет неба и волны?
Какой — в зеленом поле
Для сердца самый свой,

Когда звучит на воле
Набат над головой,
Когда и черт не страшен,
И нету ни кола?
Ответим — в травах наших,
Ответим — в душах наших
Звонят колокола!

Юрий Слепухин

ЮЖНЫЙ КРЕСТ

Р о м а н

1

Время не гасило воспоминаний — оно уплотняло их, сжимая в цепочку образов, и каждый разрастался, вбирал в себя все сопутствующее, становился символом.

Так, образом-символом Ленинграда стала картина белой ночи. Не какой-то одной, определенной; ночей вообще, многих, слившихся в его памяти в одну: безлюдная набережная, широкие светлые воды за низким гранитом парапета — и мостовой пролет, исполинским крылом взнесенный в пустое, обесцвеченное близким рассветом небо...

В июне того года ему пришлось много работать — уже началась сессия, а еще нужно было дописать курсовую, оставалось несколько хвостов по зачетам, лабораторные отработки; он возвращался поздно и дома еще просиживал до часу, до двух. Дни так и мелькали, пронеслась неделя, другая, третья, и — жизнь со всего разгона вылетела в иное измерение. Двадцать третьего, вернувшись из военкомата, чтобы собрать вещи, он с недоумением окинул взглядом заваленный книгами стол — еще сутки назад все это представлялось таким важным...

А что было затем? Казарма, «на первый-второй ра-а-ас-считайсь!», потом затемненные перроны Витебского вокзала, синие фонари, эшелон, неумолчный грохот колес под полом, зарева по ночам. Он завидовал ополченцам — их бросили под Лугу, а Юго-Западный фронт оказался так далеко от Ленинграда; под Белой Церковью были еще леса, роскошные лиственные дубравы, а дальше пошли степи, уже в начале августа, и именно эта украинская степь стала для него образом-символом войны: дымы по горизонту, необранная пшеница в выгоревших пепельно-черных проплешинах, свирепое солнце сквозь тучи пыли над бесконечными дорогами. Он долго не видел вблизи ни одного немца, только издали — сквозь прорезь прицела над просыхающим на бруствере черноземом. Зеленоватые фигурки бежали рядом с танками, а танки казались неподвижными, серые угловатые формы медленно вырастали из дымной мглы, и эта кажущаяся, обманчивая медлительность их приближения странно не согласовывалась с торопливым бегом взблескивающих на солнце гусениц.

Первого немца рядом с собой он увидел позже, в лагере. Увидел — и не удивился, принял это за продолжение бреда. Сознание возвращалось медленно, он потерял много крови, и смысл случившегося дошел до него не сразу, а как бы самортизированным. Другим «амортизато-

ром» была уверенность, что он все равно скоро умрет; в тех условиях и более крепкие гибли тысячами. Эта мысль примиряла с окружающим, была лишь горечь, мальчишеская обида на судьбу: все могло кончиться там же, в окопе, среди своих — стоило лишь проклятому осколку пройти чуть глубже, рванув своим бритвенно-иззубренным краем какую-нибудь артуру или что там еще находится в этом месте.

Но он выжил. Через полгода ему уже стыдно было вспомнить, что не так давно ждал смерти как избавления. Те, кого каждое утро выволакивали из бараков и поленницей громоздили поодаль, в снегу, — были уже бессильны, им было уже не рассчитывать во веки веков; счет вели живые. И этот страшный счет рос с каждым днем, с каждой поверкой на апельплацу, где вьюга шатала шеренги живых скелетов в обрывках летнего обмундирования. Наверное, они только потому и оставались живыми, что кому-то ведь нужно было видеть, запоминать, кто-то должен был рано или поздно рассчитывать — сполна и за все.

И он тоже смотрел, запоминал, ждал своего часа. Шли месяцы, кончился сорок второй год, после силезских копей было подземное строительство в Мекленбурге, удушливый от постоянной утечки газов цех гигантского химического комбината «Буна-Верке», бараки, бараки, нескончаемые километры колючей проволоки, пулеметные вышки, лай овчарок... Вести о ходе войны просачивались в лагерь с опозданием, но пленные знали и о Севастополе, и о Сталинграде, и о Курске. После Курска охрана особенно свирепствовала.

Двумя месяцами позже он на очередной селекции попал в новую «арбайтскоманду», которую прямо с плаца погнали в эшелон. Ехали долго. Судя по солнцу, а также по названиям некоторых станций, если удавалось разглядеть через щель в стенке вагона, их везли дальше на запад. Эшелон подолгу простаивал на запасных путях, выли сирены, остервенело били зенитки, и, сотрясая землю, слитными волнами раскатывался обвальная грохот фугасок; по ночам щели светились красным — будто горела вся Германия, окровавив небо Европы исполинскими заревами своих пожарниц.

На шестой день пути эшелон пересек большую реку, вероятно, это был Рейн. А потом опять пошли угрюмые шахтерские края — дождливая равнина, терриконы под серым небом, медленно вращающиеся на вышках колеса подъемников. Названия станций были уже не немецкими, пленных привезли то ли в Бельгию, то ли в Северную Францию. Но кончились и терриконы, вокруг стало позеленее. На глухом полустанке, когда наконец стали выгонять из вагонов, кто-то успел перекинуться словом с железнодорожником из местных — тот сказал: «Франс, Норманди...»

Нормандия, ставшая для него землей свободы и мщения! Это случилось в ноябре. Из лагеря пленных возили на грузовиках ремонтировать полотно, засыпать воронки, менять порванные бомбами рельсы; в один из вечеров, на обратном пути, колонну обстреляли с двух сторон, из-за зеленых изгородей. Все произошло так быстро, что охрана даже не успела открыть ответный огонь. Он стоял в кузове у заднего борта, рядом с солдатом; все попадали друг на друга, когда машину занесло и развернуло поперек дороги от резкого торможения, и он так и не узнал, сам ли задушил этого немца или его добились другие, но автомат оказался у него в руках — он прыгнул с высокого борта и, в упор полоснув очередью по кабине заднего «бюссинга», бросился напролом через колючий, мокрый от дождя кустарник...

Дино Фалаччи оборвал художественный свист, которым безуспешно пытался привлечь внимание сеньориты за дальним столиком, и вопросительно глянул на Полунина.

— Чего это ты вздыхаешь?

— Не всем же быть свистунами...

— Ты прав, для этого нужно призвание! Но все-таки — что случилось?

— Да ничего. — Полуниин пожал плечами и допил пиво. — Просто предчувствия одолевают. Сегодня снилось, что вы с Филиппом набили мне морду и собираетесь возвращаться в Европу.

— Э, ерунда. Моя бабка уверяла, что сны обычно сбываются наоборот, а уж она в этих делах разбиралась, можешь не сомневаться. Она была ведьма, Микеле, и какая! Впрочем, у нас в Лигурии что ни женщина, то ведьма. — Дино поплевал через плечо и потыкал вокруг себя рогами из пальцев, отгоняя нечистую силу. — А за что мы тебе били морду?

— Да все за то же, — сказал Полуниин. — За всю эту затею.

— Опять принялся каркать! Лично я убежден, что мы его разыщем, сукиного сына. Главное было установить, что он здесь.

Полуниин усмехнулся.

— А ты представляешь себе размеры этого «здесь»? Южная Америка, старина, это семнадцать миллионов квадратных километров и сто с чем-то миллионов населения...

Ветер гнал по тротуару листья платанов, они сухо шуршали под ногами, стайками взвихривались за пролетающими машинами. Намело и сюда, на открытую террасу кафе. Осень, подумал Полуниин, настоящая уже осень, как у нас в начале сентября. А ведь по календарю — апрель. Странно, но к этой путанице времен года привыкнуть едва ли не труднее всего; постепенно привыкаешь и к чужим звездам, и к чужим городам, и к чужой речи вокруг, а вот к жаре на Новый год привыкнуть трудно. Или к тому, что листья облетают не в октябре, а в апреле.

Щурясь, он посмотрел вдоль залитой солнцем авениды и надел защитные очки, словно отгораживаясь от опостылевшей экзотики. Настроение сегодня поганое, и неизвестно даже почему. Так, по совокупности. Воспоминания нужно держать под замком, сколько раз себе говорил. А тут еще утром — не успел выйти из отеля — встретила женщина, издали похожая на Дуняшу. Волосы, походка. Он решил даже, вопреки здравому смыслу, что Евдокия вдруг действительно взяла и прикатила. Глупости, конечно, что ей делать тут, в Монтевидео?

...Хорошо бы вызвать ее сюда. Хотя бы на день-другой. Увидев ту женщину, он понял, до чего стосковался по Дуняше. По ее голосу, болтовне, по ее забавному русско-французскому жаргону. По ее телу. Зайти на ближайший телеграф и написать на бланке: «приезжай, люблю». А по-испански получится совсем хорошо, у них ведь «любить» и «хотеть» — синонимы. Смелый, не боящийся прямоты язык. «Хочу тебя, приезжай» — и завтра утром он мог бы встречать ее в речном порту. Сюда ведь из Буэнос-Айреса всего одна ночь пути. Размечтался, дурак...

— Когда он обещал прийти? — спросил Полуниин, посмотрев на часы.

— В десять, мамма миа! А уже почти одиннадцать. Таковы французы, что ты хочешь. Помнишь ту историю с конвоем? Леблан должен был быть со своим отрядом ровно в два пополудни — ждали этих рогоносцев чуть ли не до рассвета. Хорошо еще, не сорвалась вся операция.

— Немцы тогда тоже опоздали.

— Только это нас и спасло...

Официант принес еще две запотевшие бутылки и разлил пиво,

заменяв картонные кружки-подставки новыми. Дино с наслаждением отхлебнул из стакана, облизал с губ пену.

— Единственное, что меня примиряет с этим чертовым Уругваем, это пиво. Пиво здесь хорошее.

— В Буэнос-Айресе лучше,— заметил Полунин. — «Кильмес-Кристалль», например.

— Помнишь сидр в Нормандии?

— Не говори. У меня после него всегда голова трещала.

— А вот и наш Филипп,— сказал Дино.— Да еще с женщиной, мамма миа, это уже что-то новое...

Полунин оглянулся, снял очки.

— По-моему, с ним какой-то парень?

— Такой же парень, как я — римский папа... Ну, убедился?

— Ты прав. А издали...

— Э, все они теперь такие, чего ты хочешь...

Девушка, которая шла рядом с Филиппом, коротко стриженная рыжеватая блондинка в очках без оправы, оживленно говорила что-то, размахивая пляжной сумкой. Пара поднялась по ступенькам террасы и подошла к столику.

— Салют, парни,— сказал Филипп.— Извините за опоздание и позвольте представить вам нового сотрудника экспедиции — мадемуазель Астрид ван Стеенховен...

Фалаччи и Полунин молча посмотрели на блондинку, потом на Филиппа. Итальянец опомнился первым и, вскочив, придвинул для девушки камышовое креслице.

— Несколько, э-э-э... неожиданно, но тем более приятно,— объявил он, показывая зубы в широкой улыбке.

— Знакомьтесь,— продолжал Филипп.— Дино Фалаччи, научный руководитель... Мишель Полунин, технический эксперт...

— Очень приятно.— Девушка тоже улыбнулась, протягивая руку.— Очень приятно... Но я не знаю, мсье Маду, вы меня уже представляете вашим друзьям как коллегу, а ведь мы еще ничего не решили...

— В принципе,— возразил Филипп,— в принципе решили, а детали обсудим позже. Мадемуазель любезно согласилась выполнять у нас обязанности переводчицы,— пояснил он.— Дело в том, что она владеет немецким.

— А,— сказал Полунин.— Ясно... И в каком объеме вы им владеете?

— В самом полном. Гимназию я кончала в Федеративной Республике.

— Ваше имя, простите? — спросил Дино.

— Астрид.

— Шведское,— кивнул он.— Хотя фамилия — голландская. А вы сами?

— Бельгийка,— улыбнулась Астрид.— Разве не слышно по акценту? Но вы все-таки расскажите мне об этой вашей экспедиции, мсье Маду ничего толком не объяснил...

— Видите ли,— сказал Филипп с глубокомысленным видом и соединил концы растопыренных пальцев,— я являюсь административным главой, не больше. Мсье Полунин ведает технической стороной дела — аппаратурой звукозаписи и тому подобным. А вот наш научный руководитель как этнограф сумеет изложить задачи экспедиции гораздо понятнее...

Дино бросил на него свирепый взгляд и, повернувшись к Астрид вместе со своим креслицем, заулыбался еще обольстительнее.

— Ну, в двух словах это... как бы вам сказать... экспедиция по изучению особенностей быта и м-м-м... культуры, я бы добавил... некоторых индейских племен бассейна Парань. Племен почти вымерших

и... по существу реликтовых — если позволительно применить в данном случае такое определение.

— По-моему, не очень, — сказала Астрид.

— Простите? — несколько опешив, спросил Дино. — Что «не очень»?

— Не очень позволительно применять к племени слово «реликтовое», — пояснила Астрид. — Так мне кажется.

— Вообще-то вы правы, — согласился «научный руководитель». Подумав немного, он осторожно спросил: — Что вы изучали кроме языков?

— Я занималась антропологией в Брюссельском университете.

Дино долго молчал. Потом он полез в карман за платком, промокнул лоб и, глянув искоса на Филиппа, издал ненатуральный смешок.

— Хе-хе, да вы для нас прямо находка, — сказал он. — Переводчик с дипломом антрополога... Можно поздравить мсье Маду!

— Да нет, какой у меня диплом. — Астрид пожала плечами. — Я ушла со второго курса...

— Может быть, мадемуазель, вы чего-нибудь выпьете? — спросил Филипп.

— Нет-нет, спасибо, я сейчас бегу — у меня свидание. А какие именно племена вы собираетесь изучать? Я даже не знала, что в бассейне Параны сохранились индейцы...

— Вообще-то практически не сохранились, — поспешил согласиться Дино. — В массе они, можно считать, вымерли. Но кое-кто остался — немного, правда, зато очень... колоритные. Ну, скажем... аймары, гуаранí...

— Аймары и гуаранí? Любопытно. Так вы, значит, намерены бродить по сельве?

— Д-да, отчасти. Но не только! Многие из них ведут уже более цивилизованный образ жизни — работают на плантациях мате, живут в поселках... сохраняя, впрочем, черты племенного быта. Ну, и в сельве тоже.

— Любопытно, — повторила Астрид. — Я только не совсем понимаю — зачем вам в таком случае мое знание немецкого?

— А-а... они часто не понимают другого языка.

— Кто — индейцы? — Астрид подняла брови.

— Ну, если они работают и живут на немецких плантациях, — объяснил Дино непринужденно.

— Подумать только. Вы сказали, — Астрид обернулась к Филиппу, — вас финансирует какая-то газета? Французская?

— Да, «Экó де Прованс». Знаете, сейчас это модно — поднимает тираж, так что в конечном счете затраты окупаются.

— Еще бы! Собственная экспедиция в дебрях южноамериканской сельвы. Что ж, я, вероятно, приму ваше предложение — делать мне сейчас все равно нечего, так что...

Она посмотрела на часы и встала.

— Позвоните мне в отель завтра утром, мсье Маду. «Монсеррат» на улице Рио-Бранко, телефон: восемь, пятьдесят семь, шестьдесят два. До двенадцати я буду у себя...

Все трое проводили ее глазами, пока она сбегала по ступенькам, размахивая своей пляжной сумкой. В линялых джинсах и рубашке цвета хаки Астрид действительно была похожа на мальчишку-подростка.

— И это называется женщина, — вздохнул Дино, кривясь, точно разжевал лимон. — На кой она нам черт, этот антрополог?

— Пригодится, — сказал Филипп, записывая номер телефона.

— Ну разве что знанием немецкого, — с сомнением сказал Полунин. — Да и то, не совсем представляю...

— Не только знанием немецкого. В первую очередь меня интересует то, что она связана с политическими эмигрантами из Аргентины...

Своего приятеля Освальдо Лагартіху Астрид нашла на Плайя-Капурро в обычное время и на обычном месте. Пляж был безлюден — в апреле здесь уже почти никто не купается, — и на пустынном берегу особенно патетически выглядела тощая долговязая фигура, стоявшая лицом к воде со скрещенными на груди руками.

— Очнитесь, сеньор изгнанник, — окликнула Астрид вкрадчиво, пойдя к Лагартихе сзади. — Впрочем, вы неплохо смотрите, прямо хоть пиши с вас эпическое полотно. Этакий «Сан-Мартэн в Булони»!

Лагартиха, не оборачиваясь, раздраженно дернул плечом.

— Сан-Мартин, — поправил он. — Сан-Мартин, а не Сан-Мартэн, я тебе уже сто раз объяснял. И вообще мне надоели эти твои вечные шуточки... по поводу вещей, стоящих выше твоего понимания.

Астрид обошла его и заглянула спереди, но аргентинец продолжал непреклонно смотреть вдаль. Она бросила на песок сумку, стяхнула с ног сандалии и стала стаскивать джинсы.

— Понимаешь, Освальдо, когда человек воспринимает жизнь слишком всерьез, как это делаешь ты, он неизбежно становится немножко смешным. Это парадокс, но это так.

— Ты обедала? — неожиданно поинтересовался Лагартиха.

— Да, поклевала немного, у меня нет аппетита. А что?

— А то, что я вот, например, не обедал! И не потому, что нет аппетита, — добавил он язвительным тоном.

— Ты опять на мели, — понимающе кивнула Астрид. — Бедняжка, так бы и сказал сразу! У меня есть сандвичи.

— С чем?

— Господи, он еще выбирает. С мортаделой, кажется, и еще с сыром. Я взяла на двоих. Хочешь?

— Давай, — мрачно снизошел Лагартиха. — Вообрази, эта сволочь Ретондаро опять не прислал денег. Я ходил в порт, встретил пароход из Буэнос-Айреса, разыскал связного. Я тебе рассказывал — он там стюардом. «Ликург, — спрашиваю, — передавал что-нибудь для меня?» Ликург — это подпольная кличка Ретондаро, я тебе, кажется, говорил...

Он запустил зубы в сандвич, отхватил половину и стал сосредоточенно жевать с тем же меланхоличным выражением.

— Между прочим, Освальдо. Ты всем своим знакомым девушкам выкладываешь эти детали — ну, насчет связных, кличек и прочего?

— У меня нет знакомых иностранок, кроме тебя. А наши девушки политикой не интересуются, чего бы это я стал с ними говорить...

— Выходит, женщины в этом вашем «движении» не участвуют?

Лагартиха, продолжая жевать, отрицательно мотнул головой.

— У некоторых ребят невесты или сестры, которые немного в курсе... Но не больше. Революция — дело мужчин.

— Ах ты мой бедный революционер, — сказала Астрид. — Ужасно ты стал тощий, так ведь и до революции не доживешь. Знаешь, а я нашла работу — переводчицей, и это будет связано с разъездами. Не знаю, надолго ли.

— Переводчицей? В какой фирме?

— Понятия не имею! — Астрид рассмеялась. — По-моему, это просто компания жуликов — какие-то международные аферисты. Называют себя этнографической экспедицией. Шеф у них — француз, совершенно шикарный тип, потом один итальянец и один — не то поляк, не то югослав, в общем откуда-то оттуда. Этот итальянец — Маду мне его представил как этнографа, но если он — этнограф, то я — Софи Лорен... Просто трепло. Ужасно испугался, когда узнал, что я занималась антропологией! Я спрашиваю — кого они собираются изучать, а он отвечает — аймаров и гуарани. Представляешь? Я чуть под стол не свалилась.

— И ты что, всерьез решила с ними ехать?

— А почему бы и нет?

— Дура.

— Вероятно,— охотно согласилась Астрид.— Но дуракам жить веселее, ты не замечал?

— Нет, серьезно— я все-таки не понимаю, чего тебя потянуло к этим проходимцам...

— Я же говорю— меня заинтересовал их шеф. Мсье Филипп Маду! Ах, Освальдо, если бы ты его увидел...

— Ты сейчас получишь.

— А тебе-то что?

— Хорошенькое дело! Кому же, если не мне?

— Да никому! Я достаточно взрослый человек, чтобы отвечать за свои поступки... и вести себя так, как считаю нужным.

— Ну и веди, черт с тобой,— сказал Лагартиха притворно равнодушным тоном.— Можешь ехать с кем угодно и куда угодно.

— Нет, это мне нравится— кабальеро устраивает сцену ревности! Освальдо, милый, в каком веке ты живешь? Или ты, может, решил наконец на мне жениться?

— Бог не допустит меня до подобного безумия.— Он истово перекрестился и поцеловал ноготь большого пальца.— Я вообще не намерен жениться, мое призвание — политика.

— Вот и спал бы с ней,— ехидно посоветовала Астрид.— Со своей роскошной политикой! Но тогда почему тебя так беспокоит моя нравственность?

— Твоя безопасность, идиотка! Ехать в сельву с какой-то бандой, это же надо додуматься...

— ...Хорошо, допустим, она разболтает,— упрямо сказал Филипп.— Но что — конкретно? Главного она не знает. Что мы собираем материал о нацистских колониях? Да черт побери, таких охотников за сенсациями тут уже побывала не одна сотня. Кого это беспокоит? Колонии существуют с ведома и согласия Стресснера и Перона, а узнает ли об этих осиных гнездах мировая общественность — бошам в высшей степени наплевать. Они только тщательно оберегают какие-то свои главные секреты, а в принципе... Да и писали, кстати, о них уже не раз — писала Женева Табуи, писал...

— Не спорю,— прервал Полунин,— писать писали, это им не в новинку. Но все же — если она разболтает, за каждым нашим шагом станут следить.

— Мы и без того обязаны учитывать такую возможность.

— Учитывать возможность — одно, а самим подставлять голову... — Полунин пожал плечами.— Не знаю, я бы не рисковал. Впрочем, что теперь говорить.

— Да, теперь обсуждать этот вопрос поздно,— сказал Дино.— Но она хоть действительно не любит нацистов? Нынешнюю молодежь эти вещи оставляют скорее равнодушной.

— Она их ненавидит,— сказал Филипп.— Иначе почему бы она бросила семью? Ее отец всю оккупацию делал деньги — поставлял что-то для люфтваффе. Летом сорок четвертого родитель исчез, а в день освобождения Антверпена подкатил к дому на английском джипе — с автоматом, с черно-желто-красной повязкой на рукаве, словом, герой Сопrotивления. Все равно у них потом чуть ли не каждую ночь били стекла, а на дверях малевали свастику...

— Сколько ей тогда было лет? — спросил Полунин.

— В сорок четвертом? Считаю сам — сейчас ей двадцать три, значит, тогда было лет двенадцать. В этом возрасте уже кое-что соображают! А потом, когда начались процессы над коллаборационистами,

папа Стеенховен срочно раздобыл себе какой-то пост в оккупационной администрации в Германии...

— Беднягу неудержимо влекло к колбасникам,— заметил Дино.

— Просто там легче было дожидаться спокойных времен. Так что Астрид училась там, а потом вернулась в Брюссель, поступила в университет — и там, насколько я понял, у нее произошла какая-то история. Возможно, кто-нибудь напомнил ей о папочкиных делах во время оккупации. После этого она порвала с семьей. Как видите, у нее достаточно оснований не любить бошей...

— Ну, а этот ее аргентинец? — спросил Полуниин.

— Вот он-то и есть самое интересное! Ведь я, собственно, ради него с ней и познакомился...

— Где ты вообще ее откопал? — спросил Дино.

— Терпение, парни! Не перебивайте на каждом слове, иначе никогда не кончу. Дело было так: звонит мне вчера некий Гренье — он здесь от «Франс-суар», я его немного знаю еще по Парижу. Ну, встретились, посидели, выпили, я стал расспрашивать о местных делах. Он здесь уже второй год, неплохо ориентируется. Когда зашел разговор об Аргентине, он рассказал любопытную вещь... Скажи-ка, Мишель, ты там слышал что-нибудь о так называемом «Национальном антикоммунистическом командовании»?

— Есть такое,— подумав, сказал Полуниин. — Что-то вроде гестапо на общественных началах.

— Да, вроде этого. Гренье, правда, считает, что это организация правительственная.

— Не знаю. Выступает она под маркой общественности, а какие у нее на самом деле связи с Розовым домом...

— Да это и не существенно. Важно вот что: можно ли считать, что вокруг этого «командования» группируются аргентинские нацисты?

— Разумеется. Их, правда, скорее можно назвать фашистами, поскольку они не враждуют с католической церковью.

— Тем лучше,— сказал Филипп. — Теперь слушайте дальше! Здесь живет некий Морено — аргентинец, очень богатый человек, адвокат, скотопромышленник, задулистый политический деятель, словом, фигура довольно своеобразная. Из Аргентины он перебрался сюда еще до войны: а в Буэнос-Айресе у него был давний приятель, какой-то ирландец. Когда началась война, Морено занял совершенно четкую просоюзническую позицию. Ирландец то ли не знал об этом, то ли просто считал причудой; короче говоря, году в сорок восьмом является вдруг сюда его сын...

— Чей сын? Морено?

— Ирландца, черт побери! Сын ирландца, Морено его знал еще мальчишкой. Является и начинает обращать старика в свою веру: Германия, мол, проиграла только первую фазу сражения, но будут еще другие, а в Аргентине, дескать, есть теперь силы, которые только и ждут своего часа, ну и так далее...

— Так он что, нацистом оказался?

— Стопроцентным! Сейчас этот тип занимает какой-то довольно ответственный пост в «командовании». Когда сюда начали прибывать первые политические эмигранты из Аргентины, противники Перона, ирландец в одно из своих посещений спросил у Морено, не согласился бы тот давать время от времени информацию об этих людях...

— Ничего не понимаю,— перебил Дино. — Ты сказал, что Морено придерживается антифашистских взглядов?

— Совершенно верно.

— А ирландец — нацист?

— Нацист.

— Так какого же черта...

— Не забывай, что Морено — старый друг его отца. И потом, мы не знаем, насколько открыто он исповедует эти свои взгляды. Может быть, перед ирландцем он их не афишировал? Скорее всего — нет... Коль скоро тот счел возможным обратиться к нему с подобной просьбой. Короче говоря, Морено решил принять игру и с тех пор время от времени подкидывает в Буэнос-Айрес какую-нибудь «информацию», похитрее составленную, чтобы не засыпаться. Подозреваю, что для старика это просто развлечение, вроде шахмат...

— Что ж, — сказал Дино, — каждый развлекается по-своему, ты прав. Я знаю в Турине одного весьма почтенного «комендатора», который всю неделю ловит мышей только для того, чтобы в воскресенье принести их в церковь и выпустить во время мессы. Меня другое удивляет. Это все Гренье тебе рассказал?

— Да.

— Подумай сам: если человек ведет двойную игру — будет ли он делать это так, чтобы все знали?

— Ну, во-первых, далеко не все, — возразил Филипп. — Гренье умеет вынюхивать вещи, о которых не знает никто. Со мной уж он поделился как с коллегой и соотечественником, а вообще...

— Да и потом, — вмешался Полуниин, — в Латинской Америке к таким вещам подходят совсем иначе. Конспирация здесь — совсем не то, к чему мы привыкли в Европе. И чем, строго говоря, он рискует? Ну, дойдут слухи до этого ирландца... что же он, убийца к нему подошел? Нет, мне эта история — при всей ее нелепости, согласен, — представляется вполне правдоподобной. Но я еще не улавливаю, при чем тут Астрид и ее аргентинец?

— Сейчас объясню! Мне сразу подумалось: нельзя ли это каким-то образом использовать. Я спросил у Гренье — просто под видом профессионального любопытства, — нельзя ли познакомиться с этим Морено. Оригинальный, мол, тип. Ну, он сказал, что к старику подобраться трудно, — человек он занятой и нашего брата недолюбливает; но есть один молодой аргентинец из политических эмигрантов, который с Морено близок. Он, Гренье, хорошо знает подружку этого парня и с ней может познакомить меня в любое время. Когда я узнал, что эта бельгийка владеет немецким и испанским, я сразу понял, что она нам может пригодиться еще и по этой линии...

— По этой линии все ясно, — сказал Полуниин. — Но каким образом аргентинец...

— Черт возьми, Астрид познакомит нас с аргентинцем — а через того доберемся и до Морено!

— Конкретно — зачем?

— Пока не знаю. Но чутье мне подсказывает, что ирландец может пригодиться. Если вокруг «командования» группируются аргентинские ультра, у него наверняка есть связи и с немецкой колонией.

— И ты думаешь, они станут делиться сведениями с кем попало?

— С кем попало — нет. — Филипп помолчал. — Но если к ним придет не «кто попало»... Не знаю, парни. Во всяком случае продумать этот вариант не мешает...

2

Буэнос-Айрес встретил его дождем. Выйдя из таможни, Полуниин огляделся по сторонам — такси не было, на автобусной остановке мокла под зонтами терпеливая очередь; он чертыхнулся вполголоса и, подняв воротник плаща, отправился пешком к выходу с территории порта. На авениде Уэрго ему удалось вскочить в троллейбус.

Жил он на улице Талькауано, рядом с Дворцом правосудия, сни-

мая комнату у старого одинокого моряка, шведа. Если не считать периодических загулов, швед был самым удобным из квартирных хозяев — не появлялся дома по два-три месяца, никогда не напоминал о плате. Получив деньги, он совал их в карман, не пересчитав, и предлагал пойти выпить.

В прихожей на полу валялись пыльные конверты — счета за электричество, газ, телефон. Изучив штемпели, Полунин понял, что Свенсон еще не вернулся из последнего рейса. Он с облегчением стащил мокрый плащ, прошел в ванную, зажег утробно взревевшую колонку и открыл краны, чтобы дать стечь ржавой воде. В комнате у него все было, как он оставил три месяца назад: брошенные у двери альпартаты на веревочной подошве, пожелтевший номер «Критики» на койке, заваленный радиодетальями стол в углу. Пахло пылью и запустением. Оставляя на скрипучем паркете мокрые следы, Полунин прошел через комнату, рванул настежь разбухшую дверь на балкон и сел в качалку, закрыв глаза. Пять лет уже торчит он в этой опостылевшей берлоге. А Свенсон, кажется, тридцать. Страшно подумать...

После горячего душа он почувствовал себя бодрее. Позвонил Дуняше — дома ее не оказалось, и неизвестно было, когда вернется. Потом вышел купить сигарет. Дождь тем временем перестал, потеплело, душная сырая мгла висела над городом. Только в сквере перед Дворцом правосудия дышалось легче — Полунин ослабил узел галстука, расстегнул воротничок. Вышагивая с заложенными за спину руками по мокрому песчаным дорожкам под низко разросшимися вязами, он снова и снова взвешивал в уме все «за» и «против» неожиданного плана, который пришел ему в голову этой ночью, на пароходе.

В девять вечера Полунин не спеша поднимался по лестнице Русского клуба на улице Карлос Кальво. Первым, кого он увидел, войдя в буфетную, был Кока Агеев со своими крашеными сединами и сморщенным шутовским личиком. Маленький, щуплый, но не по годам жизнелюбивый старец был завсегдатаем двух самых популярных эмигрантских клубов — «Общества колонистов» в Бальестере и этого, на Карлос Кальво (хотя оба враждовали непримиримо). Без Коки не обходился в Буэнос-Айресе ни один русский бал — ни общевойсковой, ни скаутский, ни морской; в колонии его называли: «Кока Агеев — развратный старик». Сам он этой аттестацией немало гордился.

— Ба, кого я вижу! — закричал Кока, раскрывая объятия. — Знакомые все лица! Где это вы пропадали, мон шер?

— В Уругвае был по делам, — сказал Полунин. — Здравствуйте, Агеев. Как у них сегодня водка?

— Отвратная. Но что делать? За неимением гербовой пишут на простой.

— Мудрые слова. Вы со мной поужинаете?

— Не могу, дорогой, некогда! Рюмку водки выпью, в честь вашего благополучного возвращения, а от ужина увольте...

— Опять, небось, на свидание бежите, ох, Агеев, — рассеянно сказал Полунин и, оглянувшись, подозвал официантку. Из-за дверей расположенной рядом Красной гостиной донеслись шум, взрыв хохота и аплодисменты. — Что это там за торжество сегодня?

— Банкет! — Кока многозначительно поднял палец. — Его превосходительство генерал Смысловский-Хольмстон со своими боевыми соратниками.

— Вот как. — Полунин подумал. — А по какому поводу?

— Вы поручика Кривенко знаете?

— Кто его не знает.

— Так он, да будет вам известно, уже не поручик — празднуется его производство. Ну и вообще. Так сказать, бойцы вспоминают минувшие дни.

— Любопытно, любопытно... — Полунин повернулся к подошедшей официантке. — Людочка, мое почтение. Как насчет ужина?

— Даже не знаю, на кухне сегодня такое делается... Я говорю, одна головная боль с этими банкетами. Может, биф вам зажарить?

— Прекрасно. Агеев, вы действительно не соблазнитесь?

— Не могу, Миша, пароль д'онёр — некогда.

— Тогда один, Людочка. Потолще, пожалуйста, и не очень прожаренный. А мы пока водки выпьем.

— Биф один, водка, — кивнула она и сделала пометку в блокноте. — Закуску какую подать?

— На ваше усмотрение. Винегрет есть?

— Не рекомендую, асейта попалась не очень свежая, — сказала Людочка, переделывая на русский лад испанское название растительного масла. — Селедочки не желаете? Селедка хорошая, от Брусиловского...

Водка и в самом деле была плохой, но под селедочку шла, и они с легкомысленным старцем быстро усидели полграфинчика; Полунин заодно оказался в курсе всех событий, происшедших в колонии за это лето. А произошло в русской колонии многое. Строительная фирма «Сан-Андре лимитада», собиравшая среди эмигрантов деньги на постройку «недорогих и комфортабельных коттеджей», неожиданно обанкротилась, деньги исчезли неведомо куда, глава фирмы — тоже; его помощника свергли в узилище, но что толку?.. Старая княгиня перестала ездить в церковь на Облигадо, сделалась прихожанкой Пуэйрредона: на Облигадо, объясняла она всем, нет больше истинной благодати. А многие, напротив, считают, что благодати нет именно на Пуэйрредоне... Ужасно перегрызлись между собой солидаристы — один из них (чуть ли не член «руководящего круга») опубликовал в «Новом русском слове» две статьи — «Крушение одной концепции» и «НТС 1955». Сам Кока этих статей не читал, но слышал, что злее не могли бы написать и в Москве. Не исключено, впрочем, что это и есть «рука Москвы».

— Не исключено, — согласился Полунин. — Агеев, вы с Кривенко в хороших отношениях?

— Как со всеми. Плохих у меня нет ни с кем. А что?

— Вы уже поздравили его с четвертой звездочкой? Сделайте это сейчас — войдите туда и поздравьте, вполне уместно. А когда будете пожимать капитану его честную солдатскую руку, скажите, пусть улучит минутку и выйдет в буфетную, — там, мол, сидит Полунин...

— Сказать-то я могу. — Кока прищурился и хитро глянул на него одним глазом, по-попугайски. — А вы-то сами чего туда не зайдете?

— Да ну их к черту, не хочу поздравлять при всех...

Они выпили еще по рюмке, Кока встал и, утвердившись на ногах, отправился в Красную гостиную. Отсутствовал он довольно долго. Полунину принесли бифштекс, и он принялся за еду, обдумывая неожиданно подвернувшийся вариант. Кривенко так Кривенко, какая разница! Может быть, именно хольмстоновец и окажется самым подходящим материалом...

— Значит, обстановка такова, — доложил вернувшийся наконец Кока. — Генерал сейчас отбывает. Один. Поскольку Кривенко сегодня вроде бы именинник, его превосходительство решили обойтись без услуг адъютанта. Так что он к тебе подойдет — проводит генерала до выхода и подойдет. Знаешь, он был оч-чень рад, когда услышал твое имя. Вы приятели?

— Да как сказать, — неопределенно ответил Полунин. — Скорее просто знакомые. Ну спасибо, Агеев.

— Не за что, мон шер, не за что! А сейчас я упархиваю. И так уже опоздал безбожно, дамы ведь ждать не любят, хе-хе...

Едва ушел Кока, к столику подсел Володька Костылев — суетливый дальневосточник из харбинцев. Он был трезв, озабочен, грыз ногти и поминутно оглядывался, словно кого-то искал.

— Скажи, Майкл, ты этих братьев-разбойников знаешь — из Беррисо? Они еще по субконтракту монтировали подстанции на рефине-рии «Эва Перон» — Драбниковы, что ли?

— Слышал, но не знаком.

— Черт, я думал, ты видел... Мне говорили, кто-то из них сегодня должен быть здесь. Слушай, Майкл, а ты сам сейчас работаешь?

— Работаю, конечно. А что случилось?

— Впрочем, да, ты же все равно радист. — Костылев досадливо хмыкнул. — Понимаешь, позарез нужна хорошая бригада — человек десять, механики, слесари... Я такой контракт наколол, с ума сойти. Золотое дно!

— На выезд?

— В том-то и дело, что нет! Здесь, полчаса ходу от Конституишн Плейс... Здоровенная кондитерская фабрика. Да ты знаешь наверняка, «Ноэль» — шоколад, фруктовые консервы, всякая такая хреновина... Извини, я на минутку!

Сорвавшись с места, он отошел к одному из дальних столиков, поговорил там, потом вернулся и сел, нервно барабанил пальцами.

— Год дэмм! Начинать нужно срочно, работы непочатый край, там псловину оборудования надо менять к едреной матери... а людей нет!

— Я поспрашиваю у ребят, — сказал Полунин. — Как плата?

— Плата будет о'кей, — заверил Костылев, жадно оглядывая группу вновь вошедших. — Двенадцать тугриков в час! И работать хоть по двадцать часов — дело аккордное, ни один синдикат не пригребется... Слушай, Майкл, ты им скажи, год дэмм, это же золотой заработок, каждый будет иметь верных полторы тыщи в кинсену¹. А работа большая, примерно на год, не меньше...

— Хорошо, если увижу кого-нибудь.

— На вот, раздашь им мои карточки — тут телефон, пусть звонят хоть среди ночи...

— А что, Володька, не слишком это хлопотное дело — свой бизнес?

Костылев самодовольно ухмыльнулся.

— А что ты предлагаешь? Ишачить на чужого дядю? Тут я сам себе хозяин — лет пять повкальваю, загребу мони — и в Штаты...

В буфетной становилось все многолюднее, Костылев увидел кого-то из знакомых и снова исчез. Польщен, небось, что признали бизнесменом; Полунину подумалось, что жалкое какое-то впечатление производят все эти эмигрантские дельцы, из кожи вон лезущие — уподобиться здешним, настоящим, неподдельным. У каждого золотая мечта: рано или поздно создать собственную фирму и обзавестись капиталом, правдами и неправдами втереться в местные деловые круги, слиться наконец с этим заманчивым, комфортабельным миром, таким близким — ведь вот он, совсем рядом! — и таким недостижимым... И все они, наверное, в глубине души сами отлично понимают, что он им действительно не по зубам, что мечта так и останется мечтой, а весь их «бизнес» сведется к шакалей погоне за объедками — бросовые подряды, субконтракты, мелкое маклерство. Словом, игра в деловую жизнь, как и все прочие эмигрантские игры — в политику, в журналистику, в армию... Устраивают съезды и конгрессы, издают еженедельные газетки на четырех полосах, тиражом в две-три тысячи экземпляров, глубоко-мысленно обсуждают «легитимность прав» того или иного претендента

¹ Quincena (исп.) — пятнадцатидневка.

на российский престол, производят поручиков в капитаны. Главное, чтобы все было как у людей. Как у аргентинцев, как у французов, как у американцев. Ведь вот тот же Костылев — мужику, слава богу, под сорок, может, и не дурак, а ведет себя как мальчишка: жевательная резинка, галстуки с голыми бабами, отечественная матерщина вперемежку с американским сленгом, нахвтаным у морских пехотинцев где-нибудь на Филиппинах. И когда не суетится, так даже ковбойская, медлительная и вразвалочку походка — тоже заимствованная из плохого вестерна...

За дверьми Красной гостиной еще больше зашумели, закричали, послышался взрыв аплодисментов. Потом задвигали стульями. Двери распахнулись, и показался сам его превосходительство — в сопровождении адъютанта, виновника сегодняшнего торжества.

Генерал Смысловский-Регенау-Хольмстон, когда-то деникинский контрразведчик, позже один из руководителей гестаповского «Зондерштаба Р» в оккупированной немцами Варшаве, внешность имел самую заурядную. Плотный, среднего роста мужчина лет под шестьдесят, вида властного и уверенного в себе — но не больше; встретив на улице этого господина в немодном двубортном костюме, всякий принял бы его за дельца средней руки. Бог, вопреки известному правилу, явно не пожелал метить эту незаурядную шельму, словно облегчая ей профессиональный камуфляж.

Зато уж про адъютанта сказать этого было нельзя. Глянув на него сейчас, Полунин снова подумал, что более преступной рожи ему не приходилось видеть даже у охранников в шталагах...¹

Кривенко был, вероятно, его ровесником — лет тридцати пяти; высокий, спортивного сложения, с большими мосластыми руками, поросшими рыжеватым пухом. На голове у поручика тоже произрастал какой-то пух — то ли волосы были слишком редки, то ли он их слишком коротко стриг, но впечатление создавалось чего-то голого, неоперившегося; впечатление неясное, потому что при попытке внимательнее присмотреться к внешности генеральского адъютанта любопытный встречался с его глазами — и тут же терял всякое желание изучать волосяной покров. Собственно, у Кривенко были не глаза, а зморовые щели, глубоко упрятанные под массивным лобовым скосом; ниже помещалась еще одна щель — рот, безгубый, широкий от природы и еще больше растянутый в улыбке, потому что адъютант всегда улыбался, и притом любезно; а посередине — нос, расплющенный, как у боксера. Всегдашняя эта улыбочка делала лицо Кривенко особенно страшным.

Проходя с генералом через буфетную, новоиспеченный капитан нашел взглядом Полунина и, заулыбавшись еще шире, сделал успокаивающий жест — сейчас, мол, одну минутку...

Чего Полунин никогда не мог понять, так это всегдашнего дружелюбия, которое Кривенко навязчиво проявлял по отношению к нему. За все эти годы он едва ли обменялся с адъютантом Хольмстона и дюжиной фраз, раза два-три они оказывались вместе в какой-нибудь случайной компании, обычно же встречались как все — в клубе, на балу. И всякий раз поручик словно напрашивался на дружбу. Какая-то симпатия с первого взгляда, что ли, черт его знает...

Проводив начальство, Кривенко вернулся и прошел прямо к столу. Полунин, не вставая, лениво протянул руку.

— Ну что ж, гауптман, поздравляю. Солдат, как говорится, спит, а служба идет? И чины набегают. Так, гляди, и до генерала дослужишься...

Кривенко горячо ответил на рукопожатие, даже в порыве чувств обхватил его ладонь обеими руками.

¹ Stalag (нем.) — лагерь военнопленных.

— Спасибо, Полунин, спасибо... мне очень приятно!

— Сядь, выпьем.

— Водка? — Кривенко взял графин, понюхал. — Здешняя? Брось, это же моча, у меня там горячее — экстра-класс... Федорчук! — гаркнул он, не оборачиваясь.

— Не надо, — сказал Полунин, — предпочитаю не смешивать.

Капитан мановением руки отпустил подскочившего вестового и сел за столик. Они допили водку, поговорили о том, о сем.

— Давай-ка выйдем на воздух, — предложил Полунин. — Накурено — дышать нечем...

Они вышли на балкон. Вечер был теплым, но в воздухе уже пахло осенью, шел мелкий дождь, и внизу, под фонарем, мокро поблескивали листья, словно вырезанные из желтой лакированной клеенки и расклеенные по асфальту. Полунин сел на перила и, зацепившись носками туфель за перекладину, откинулся назад, ловя лицом дождевую прохладу.

— Осторожно, свалишься, — сказал капитан. — Ты что, перебрал?

Полунин выпрямился.

— Кривенко, — сказал он, — тебе никогда не приходило в голову, что этот ваш знаменитый генерал — просто старая задница?

Адъютант долго молчал.

— Слушай, Полунин, — вкрадчиво сказал он наконец. — Я к тебе очень хорошо отношусь, ты знаешь. Ты всегда казался стоящим мужиком. Так вот, хочу предупредить — во избежание разных потом недоразумений, — генерала ты мне не трожь. Ферштейн?

— А на хрен мне, пардон, твой генерал. Я его трогать не собираюсь, а мнение о нем высказал и могу повторить. Старая, никуда не годная задница. Вы уже сколько лет в Аргентине? Шесть? Очень хорошо. А дальше что, господин капитан? Никто из вас над этим простым вопросом не задумывался?

— В каком смысле — дальше? — осторожно спросил Кривенко.

— Да в самом простом. И не прикидывайся, будто не понимаешь! Ваш этот «Суворовский союз» для чего создан?

— Ну, для борьбы, — сказал Кривенко и уточнил: — Против мирового коммунизма.

— И как же вы, позволь спросить, с ним боретесь? Вроде как вот сегодня, да?

— А чего ты хочешь, не понимаю, у нас организационный период...

— Слушай, Кривенко, ты мне шарики не крути, — сказал Полунин с угрозой. — Нашли себе оправдание — «организационный период»! Шесть лет организуются — ни одной пьянки не пропускают. Конечно, ты можешь сказать: другие, мол, то же самое делают; верно, то же самое. Но другие, капитан, не кукарекают с каждого наеста о своей «готовности к действию»! Другие не объявляют себя ядром будущей русской армии и не именуют себя «суворовцами». Уяснил разницу?

— Когда была возможность, мы действовали, — огрызнулся Кривенко. — Мы и сейчас готовы — дай только возможность.

— Возможностей, капитан, сколько угодно. Тебе известна такая организация: Це-Эн-А?

— Це-Эн-А... — неуверенно повторил тот. — Это по-испански?

— По-испански. Сокращение от «Командо насьональ антикоммуниста».

— Ах, во-о-от что, — протянул Кривенко. — Слышал, слышал. Стороной, правда. Они что, имеют отношение к «Альянсе»?

— Это и есть «Альянса» — ее, так сказать, второе лицо. Между прочим, ты скажи прямо — если тебе этот разговор не интересен, я не настаиваю...

— Да нет, что ты! Давай уж договаривать, раз начали.

— Я, конечно, мог бы поговорить и с его превосходительством, но есть у меня, понимаешь, одна странность: не люблю генералов. Поэтому я говорю с тобой, а ты уж потом о нашем разговоре можешь доложить... а можешь и не докладывать. Это на твое усмотрение. Каждый, как говорится, использует обстановку в меру своих умственных способностей. Ваша организация могла бы сотрудничать с Це-Эн-А?

— В каком плане?

— Детали потом. Сейчас я хочу знать, возможно ли такое сотрудничество в принципе? Можем ли мы рассчитывать, что вы с ними сконтактируетесь?

— Полуниин, ты кого представляешь? — быстро и негромко спросил адъютант.

— Считай, что никого. Считай, что я просто наблюдатель... со стороны.

— Но с какой? — спросил Кривенко почти умоляюще.

— Что я не из Москвы — ты, вероятно, и сам догадываешься. А остальное пока несущественно.

— Нет, но ты же сказал «мы»...

— А черт! Любопытен, как старая баба. Никакие не «мы», я просто оговорился. Не мы, а я — как частное лицо. Можешь ты ответить на мой вопрос?

— Как частному лицу? — Кривенко ухмыльнулся.

— Именно. И не тяни резину — ты же военный человек, едрена мать!

— Так ведь вопрос сложный, тут с кондачка не ответишь...

— А я не заставляю тебя заранее что-то обещать. — Полуниин пожал плечами, достал сигарету. Кривенко предупредительно шелкнул зажигалкой. — Данке... Меня пока твое мнение интересует. Тебе-то самому такое сотрудничество кажется возможным?

— Я бы вообще не прочь... Но не думаю, чтобы генерал на это пошел. Видишь ли, он считает, что нам лучше пока не вмешиваться во внутренние дела Аргентины...

— А, вот оно что. Умен его превосходительство, ничего не скажешь, умен. Ну, а ты, капитан? Ты тоже считаешь, что борьба с коммунизмом — это всего лишь внутреннее дело той страны, которая тебя приютила? Пускай, мол, сами расхлебывают, а мы постоим в сторонке. Так, что ли, получается?

— Да нет, нет, что ты, — торопливо заговорил Кривенко, — в этом смысле — нет, конечно, ты не так понял! Тут другое... Это ведь нас может связать в какой-то степени, и если потом вдруг...

— Если вдруг к генералу явится курьер из Пентагона и вручит конверт за пятью печатями? Успокойся, капитан, не явится, — заверил Полуниин. — И не вручит. Ты хоть немного знаком с американской системой подготовки спецкадров?

Ответа на этот вопрос не последовало.

— Для твоей же пользы, Кривенко, — продолжал негромко Полуниин, — советую хорошо уяснить одну вещь: американцам вы и ваш генерал нужны сегодня как хорошая дырка в голове. Мало на них собак вешает разная «прогрессивная общественность» за то, что они пригрели андерсовцев, четников и тому подобное... Только эсэсовцев не хватает — для большого джентльменского набора. Нет, американцы себя компрометировать не станут, капитан. А вот южноамериканцы — дело другое, эти ко всему немецкому относятся по-другому. Вот этот момент и надо использовать! Действительно, все вы лопухи в этом вашем... «Суворовском союзе».

— Ну, а если ближе к делу?

— Я тебе это и предлагаю — перейти к делу! Так ведь ты же,

адъютант, без его превосходительства и шагу ступить не смеешь... Видите ли, «генерал не согласится», «генерал на это не пойдет» — да у тебя самого, черт возьми, есть голова на плечах? Брось ты равняться на генерала — он все свое взял от жизни, чего ему еще надо? Живет в спокойной стране, счет в банке есть, женат на красивой молодой бабе... Его уже никаким риском не соблазнишь. Но ты-то — дело другое! Тебе нужно думать о своем будущем или нет? Или так и намерен всю жизнь холуяствовать в адъютантах, покупки носить за пани Ирэнной? Смотри, конечно, дело вкуса...

— Айн момент,— сказал Кривенко. — Ты, Полунин, не путай разные вещи! Ты спросил, может ли «Суворовский союз» сотрудничать с этими аргентинцами, верно? Вот я и сослался на генерала — я ведь не глава союза и не могу решать за него такие вопросы. Но если речь обо мне лично... ну, или там о какой-то группе моих — лично моих — ребят, то это дело другое. Лично я не против.

— Разродился,— грубо сказал Полунин и соскочил с перил. — Именно это я и хотел знать, а как вы там будете улаживать это между собой и что у вас считается «организацией», а что группой «лично твоих ребят» — это меня не интересует. В общем, если хочешь, я тебя сведу с одним человеком.

— Ну... ладно,— не очень решительно сказал Кривенко.

— Только давай договоримся! Будешь с ним — не хмыкай и не пожимай плечами, там этого не любят. И вообще им нужны люди, умеющие действовать, а не ковырять в носу. Понял?

— Понял, так точно!

— Запиши телефон — позвонишь мне завтра, часов в одиннадцать вечера...

Тяжелая, бронированная изнутри дверь штаб-квартиры «Национального антикоммунистического командования» была явно рассчитана на психологический эффект. Этой же цели служила, вероятно, и красная лампочка где-то сбоку, которая начала мигать, едва Полунин вошел. Верзила в светло-синей рубашке с кольцом в расстегнутой кобуре преградил ему путь.

— Вам кто нужен?

— Мне? Мне нужен сеньор Гийермо Келли,— ответил Полунин, с любопытством оглядывая помещение. — Звякните там по своему интеркому, что прибыл человек из Монтевидео...

Охранник скрылся в телефонной будке, его место немедленно занял другой — такого же роста.

— Солидная штука,— сказал одобрительно Полунин, указав на дверь. — Прямо как в Национальном банке. И часто вам приходится выдерживать осады?

— Выдержим, если понадобится,— заверил верзила мрачно.

Его напарник, выйдя из кабины, спросил насчет оружия, велел расстегнуть пиджак и поднять руки.

— Только поосторожнее, я боюсь щекотки,— сказал Полунин, балагурством пытаюсь заглушить в себе ощущение опасности и замаскировать растущую неуверенность. Сейчас он уже почти жалел, что ввязался в эту авантюру, подсказанную Морено и Лагартихой. Тем-то что! Верно сказал Филипп: для старика это вроде шахмат; а каково быть пешкой? Да его, в случае чего, отсюда и не выпустят — вон какие мордороты, придушат и не поморщатся. — Послушайте, а дамочек вы тоже так? Райская у вас тут жизнь... Каррамба, я же просил!

Ничего не найдя, охранник отошел к столу и нажал какую-то кнопку. Мигавшая лампочка погасла; через минуту по лестнице спустился еще один синерубашечник.

— Проводи к соратнику Келли,— сказал охранник, указывая на Полунину.

Они поднялись на третий этаж, миновали коридор с окрашенными в цвет запекшейся крови стенами, маленькую комнатку, где один синерубашечник крутил ручку ротатора, а другой пересчитывал увязанные пачки брошюр, потом еще коридор. У одной из дверей охранник велел Полунину остановиться и поправил пояс с кобурой. Постучавшись и получив ответ, он распахнул дверь и вскинул руку в фашистском приветствии.

— Бог и Родина! Соратник, к вам человек с первого поста!

— Пусть войдет,— послышалось в ответ.

Охранник посторонился, Полунин прошел в небольшой кабинет. За письменным столом, спиной к окну, сидел худощавый человек скорее европейского облика — гладко выбритый, со светлыми, расчесанными на косой пробор волосами. Когда Полунин подошел к столу, блондин привстал, протянул руку.

— Очень рад. Келли,— представился он.— Сеньор?..

— Мигель. Я из Монтевидео, от доктора.

— Да, я понял. Прошу садиться, прошу... Курите?

— Спасибо...

Полунин сел, неторопливо закурил, разыгрывая этакого супермена. Впрочем, самообладание и впрямь вернулось; он сам удивился, заметив, что пальцы совершенно тверды, и не мог отказать себе в мальчишеском удовольствии продемонстрировать это хозяину кабинета, предложив огня и ему. Так же бывало в маки: в последний момент — как бы до этого ни волновался — всегда удавалось зажать нервы в кулак. Закурив, он осмотрелся так же неторопливо. Широкое, ничем не занавешенное окно выходило на крыши с телевизионными антеннами, на стенках висели портреты Перона, Гитлера и Пия XII в белой камиллавке. Обстановка была подчеркнута спартанской.

Келли, продолжая любезно улыбаться, нажал кнопку на краю стола. Из боковой двери тотчас же появилась кукольно-хорошенькая девушка в очень тесной юбке и форменной, как у охранников, рубашке с белым галстуком и серебряным изображением кондора — символом «Альянсы». Сам Келли был в обычном темном костюме.

— Пожалуйста, соратница, кофе,— сказал он.

Не прошло и пяти минут — Полунин едва успел ответить на вопросы о погоде в Монтевидео и о том, как прошло плавание,— девушка появилась снова, теперь уже с подносом в руках. Разлив кофе, соратница донна Гийермо Келли кокетливо улыбнулась Полунину и вышла, раскачивая бедрами, как Мэрилин Монро.

— Итак, что нового за рубежом?— осведомился Келли, помешивая свой кофе.

— Мне поручено передать вам, что в тамошней аргентинской колонии появилось несколько новых лиц,— сказал Полунин.— В основном студенты — из Кордовы, Буэнос-Айреса и Ла-Платы.

— Такая информация должна скорее интересовать органы федеральной полиции,— заметил Келли.— Не понимаю, почему Морено направил вас ко мне.

— Это не просто эмигранты,— возразил Полунин и тоже отпил из своей чашечки.— Соратница умеет варить кофе, поздравляю...

— Спасибо. Дело еще и в сорте — настоящий «Оуро Верде», мне его присылают прямо из Сан-Паулу. Что вы этим хотите сказать — «не просто эмигранты»?

— Видите ли... Морено считает, что это первый случай появления коммунистов в среде студенческой оппозиции. До сих пор там преобладали католики справа и анархо-синдикалисты слева... если не считать троцкистов.

Келли молча допил кофе, налил себе еще и подвинул кофейник ближе к Полунину.

— Будьте как дома, дон Мигель, здесь у нас самообслуживание. Так почему, собственно, Морено думает, что коммунисты действительно появились?

— Потому что это установлено.

— Кем?

— Ну...— Полунин пожал плечами.— Скажем — мною.

Келли еще помолчал.

— А если... расшифровать?— спросил он, улыбаясь.

Полунин тоже улыбнулся.

— Не надо пока... расшифровывать,— сказал он убеждающе.

Келли продолжал улыбаться.

— Ладно, не настаиваю. Так что там с этими коммунистами? Чем они занимаются?

— Судя по всему, налаживают контакты. Доктора это и беспокоит.— Полунин понизил голос.— Вы и сами понимаете, что если здешние красные сумеют найти общий язык с католиками, это будет катастрофа...

— Не нужно смотреть так мрачно.

— Смотреть нужно трезво. Католики — это вооруженные силы, прежде всего флот и авиация. Ну, а коммунисты — это, как вам известно, народ. Сочетание получается более чем взрывоопасное.

— Я бы не ставил так уверенно знака равенства между коммунистами и народом,— возразил Келли.— Коммунисты из аудиторий, во всяком случае, не имеют с народом ничего общего... Эти красные там, в Монтевидео,—кто они конкретно? У вас есть имена?

Полунин поднял два пальца.

— Наиболее активные,— сказал он.— Освальдо Лагартйха... и Рамон Беренгёр. Оба отсюда.

— Юристы, надо полагать?— поинтересовался Келли, записывая имена в настольном блокноте.

— Да, с третьего курса...

— Морено не смог достать фотографии?

— О! Чуть не забыл...— Полунин достал бумажник, долго рылся в нем и наконец протянул Келли маленький отрезок восьмимиллиметровой киноплёнки.— Они здесь оба, порознь и вместе. Высокий — это Лагартйха.

Келли разыскал среди бумаг большую лупу и, крутнувшись со своим вращающимся креслом к окну, стал разглядывать кадры на просвет.

— Там еще есть девчонка,— продолжал Полунин.— Это наша, ее подсадили к Лагартйхе...

— Подсадили? Амиго, в таких случаях подкладывают!

— А, это уж ее дело, хороший агент в указаниях не нуждается.

— Кто она, если не секрет?

— Немка. Баронесса фон Штейнхауфен. В Уругвае она с бельгийским паспортом, фамилию пришлось слегка подправить.

— Морено, я вижу, не теряет времени даром,— одобрительно сказал Келли.— Умный старик, хотя и не без заскоков. Удалось ему наладить связи в немецкой колонии?

— Не только в немецкой. Доктор сейчас вообще обеспокоен проблемой иностранцев — мы тут с ним как-то говорили о русских... Я ведь, кстати, тоже русский.

— Вот как,— в голосе Келли прозвучало замешательство.— Но... белый русский, я полагаю?

— Не красный же, каррамба!

— Разумеется, разумеется... И что, конкретно, беспокоит доктора Морено?

— Он считает, что не мешало бы иметь более четкую картину настроений русской колонии в Аргентине. Сюда после войны понаехало слишком много выходцев из Восточной Европы, чтобы оставлять всю эту массу без надлежащего политического контроля. Особенно русских.

— В принципе он прав,— согласился Келли.— Но это не так просто осуществить.

— Не вижу никакой проблемы, дон Гийермо. Пара-другая хороших информаторов, и вы всегда будете в курсе.

— Да, но... Хорошие информаторы на улице не валяются.

— Вероятно, вы их просто не искали.

Келли помолчал, поиграл лупой, переложил на столе бумаги.

— Хотите предложить свои услуги?— спросил он наконец.

— Кто, я? — Полунин рассмеялся.— Информатором?

— А почему бы и нет, собственно? Я же не предлагаю вам лично бегать и вынюхивать по углам; речь идет о создании агентуры...

— Увольте, дружище.— Полунин допил кофе и закурил, непринужденно откинувшись на спинку кресла.— Я работаю в несколько ином плане... и в иных масштабах, если уж быть откровенным до конца.

— Ну, насчет откровенности...

— А вы ждали, что я сразу выложу карты на стол? Простите, дон Гийермо, в нашей профессии тоже есть своя этика. Я не стану исповедоваться перед вами, поскольку не могу потребовать такой же исповеди от вас. А односторонняя откровенность мне не по душе. Исчерпывающую информацию относительно меня — в пределах доступного, естественно,— вы можете в любой момент получить от Морено.

— Я понимаю... Жаль, однако, что вы не хотите нам помочь.

— Что значит «не хочу»... Я сказал, что не могу заняться организацией для вас агентурной сети; но если вам действительно нужен такой человек — его можно найти.

— У вас есть подходящая кандидатура?

— Есть.

— И она... вполне надежна?

— Этот человек служил в войсках СС, по-моему, лучшей рекомендации не требуется.

— О, даже так... Но он — русский?

— Во всяком случае, носит русскую фамилию, говорит по-русски и вполне ориентируется в делах местной колонии.

— Ну что ж, дон Мигель, — сказал Келли после паузы, — в таких людях мы всегда заинтересованы. Вы можете прислать его ко мне?

— Он будет у вас завтра.

— Благодарю. Что касается вас, то справки мне навести придется. Не считите за недоверие, но дело есть дело. Я сегодня же свяжусь с доктором.

— Естественно.— Полунин пожал плечами.— Я тоже наводил справки о вас, прежде чем согласиться на этот контакт. Дело, как вы говорите, есть дело.

3

В среду утром Полунин встретился с Кривенко и дал ему окончательные инструкции. Обратный билет в Монтевидео он взял на воскресный вечерний рейс; остаток недели можно было провести с Дунайшей.

Жила она в Бельграно, в небольшом немецком пансионе на улице Крамер. Пока электричка с грохотом пересчитывала мосты вдоль парка Палермо, он снова попытался разобраться в их отношениях, и сно-

ва из этого ничего не вышло. Вероятно, они все-таки по-настоящему любили друг друга, им было хорошо вместе, и даже ссоры — а ссориться Дуняша умела — не приводили к долгим размолвкам. Но в то же время, надо полагать, она продолжала любить и своего беглого мужа, хотя иной раз под настроение ругала его на трех языках и кричала, что не пустит и на порог — пусть только посмеет теперь явиться, этаким крапюль! ¹ Что будет, если беглец явится и в самом деле, Полунин представить не мог.

Крапюль не крапюль, но, судя по тому, что она о нем рассказывала, шалопаем Ладушка Новосильцев был изрядным. Русский парижанин, как и Дуняша, он кое-как доучился до бакалавра, пытался поступить в Эколь Нормаль и наконец окончил какие-то коммерческие курсы, готовившие специалистов по изучению рынка. Получив пышный диплом, Ладушка почувствовал себя этаким конкистадором, немедленно женился на своей бывшей однокласснице и ринулся завоевывать Южную Америку.

Какой-то умник рассказал им в Париже, что на аргентинцев безотказно действует внешний блеск: если, мол, человек там хочет добиться успеха, он должен уметь пускать пыль в глаза. Чего-чего, а этого умения Ладушке было не занимать. Обобрав родственников, он одел жену как картинку, сшил себе три модных костюма, купил дюжину итальянских галстуков натурального шелка; по прибытии в Буэнос-Айрес они сняли двухкомнатный люкс в «Альвеар-паласе». Ровно через неделю им пришлось перебраться в дешевый пансион, а еще через десять дней Дуняша — в своем парижском туалете — отправилась работать на кондитерскую фабрику. Супруг ее сидел тем временем дома и вел телефонные переговоры с разными фирмами.

В конце концов он тоже пошел работать, но и это получилось у него не по-людски. Единственное, что он умел делать действительно хорошо, это водить машину; проработав два месяца на грузовике, Ладушка впал в меланхолию и стал поговаривать о загубленной жизни. И тут ему в одном из баров встретился какой-то мексиканец, набравший добровольцев в труппу «адских водителей» — для гонок с опасными трюками. Так Ладушка и исчез из жизни своей юной супруги. Впрочем, год спустя он написал ей из Эквадора, что труппа давно распалась, а сам он «уже почти создал» фирму по экспорту бальсовой древесины и вообще дела его идут в гору. Это письмо было последним.

А сама Дуняша на фабрике не задержалась. Скоро ее устроили в художественную мастерскую — разрисовывать абажуры; потом она занималась росписью тканей, потом познакомилась с одной русской из Вены — та была ювелиром-дизайнером. Увидев Дуняшины работы, венка взяла ее в ученицы. Теперь, уже больше года, Дуняша работала самостоятельно — создавала модели ювелирных изделий. Полунин в этом ничего не понимал, но ее фантазии, вырисованные тончайшей кисточкой, белым по черному, были красивы и необычны. Он часто думал, что эта странная, словно выдуманная профессия подходит ей как нельзя лучше — Дуняша и сама была какая-то немного приснившаяся...

Здание пансиона стояло в глубине сада, вороха желтых шуршащих листьев завалили дорожку. День был прохладный, солнечный, весь словно притихший. «Нужно куда-нибудь уехать до воскресенья», — подумал Полунин, идя к дому.

Фрау Глокнер, хозяйка, встретила его подозрительным взглядом и нехотя ответила, что да, сеньсра Новосильцефф у себя в комнате, но... Дослушивать он не стал: скорее всего старая ведьма опять напомнила бы ему о репутации своего заведения.

¹ *Starple* (франц.) — негодяй.

Когда он вошел, Дуняша не повернула головы. Она сидела за своим рабочим столом, у окна, в халатике и непричесанная, как-то ужасно по-бабьи подперев ладонью щеку.

— Здравствуй,— сказала она, не оглядываясь, своим низковатым певучим голосом.— Это ведь ты, да? Я по шагам узнала. Ты меня поцелуй куда-нибудь, ну хоть в макушку, только в лицо не заглядывай, я нехороша нынче. И извини, что голая сижу, лень одеваться...

Полуниги подошел, поцеловал, как было велено, и положил руки ей на плечи.

— Может быть, все-таки загляну?

— Ох нет, правда, не нужно. Ну, или смотри, только я глаза закрою...

Он посмотрел и поцеловал в нос, потом в крепко зажмуренные глаза.

— Выдумываешь, Евдокия, такая же ты, как всегда.

— Не выдумываю вовсе — просто ты в глаза мне не посмотрел, ну и слава богу. Давно приехал?

— В воскресенье. А с глазами что?

— Все-таки ты монстр — в воскресенье приехал и до сих пор таился. А с глазами ничего, просто настроение скверное.

— Неприятности какие-нибудь?

— Да нет, так просто...

— Я в воскресенье тебе звонил, несколько раз.

— Правда? А я в Оливос ездил, к Тмарцевым. У них такое делается! Получили афидейвит из Штатов и теперь не знают, как быть. Серж говорит — из Аргентины нужно уезжать, скоро здесь будет революция, а Мари не хочет. Здесь, говорит, я хоть за детей спокойна, а там вырастут гангстерами, показывала мне «Новое русское слово» — действительно, один страх. Убивают прямо среди бела дня, а в Централ-Парк вообще не войти. Растроилась я с ними ужасно. И вообще все как-то плохо... Осень вот, видишь...

— Ну и что? Отличный день, можно куда-нибудь поехать.

— Да, но в Париже сейчас весна,— сказала она с упреком, словно он нес за это личную ответственность.— Я осень люблю, но мне от нее грустно. Скажи, а что ты делаешь в этом твоём Уругвае?

— Я же тебе писал — меня пригласили работать в одну экспедицию.

— Они ищут каучук?

— Нет, это этнографы. Изучают жизнь индейских племен.

Дуняша изумленно выгнула брови.

— Но при чем тут ты? У них есть радио?

— Да, и потом всякая звукозаписывающая аппаратура...

— А-а. Ты приехал в воскресенье утром?

— Да, пароход пришел около девяти.

— Мог бы и в церкви побывать — я была у обедни. А потом с батюшкой ужасно поругалась — специально подошла, чтобы поговорить насчет бессмертной души у животных. Что такого? Так он мне в конце концов заявил: «Недаром вас, женщин, в алтарь не пускают». Тоже логика! Нет, все-таки попы ужасными бывают обскурантами, Вольтер был прав. Ты завтракал?

— Да, мне нужно было встретиться с одним типом. Кстати, Дуня... Тут одно довольно деликатное дело. Среди твоих знакомых есть сплетницы?

— Сплетницы? Да все решительно — одна княгиня чего стоит. Я имею в виду мою так называемую тетку. А что такое?

— Ты знаешь Кривенко — адъютанта Хольмстона?

— Еще бы! — Дуняша сделала гримаску.— Абсолютно отвратный тип. По-русски так говорится?

— Как?

— Отвратный!

— Лучше говорить — отвратительный. Так вот, понимаешь, этот Кривенко связан с аргентинской политической полицией...

— О! В каком смысле — связан? Он что, мушар?

— Он просто доносчик и шпион.

— Ну да, я и говорю. Но какой свинья! И что же ты хочешь, чтобы я сделала?

— Об этом просто нужно намекнуть двум-трем сплетницам, и люди начнут его сторониться.

— Бог мой, его и так сторонятся,— пренебрежительно сказала Дуняша.— Но я могу и намекнуть, мне-то что.

— Только учти — это не должно исходить от меня.

— Почему?

— А иначе Кривенко перестанет доверять. Сейчас-то он не знает, что я догадываюсь о его работе в полиции... Ты бы хоть приче-салась, Евдокия.

— Тебе не нравится? Вообще-то, конечно, я совсем ведьма — ужасно хлопотно с этими волосами...

Дуняша вздохнула, поднялась из-за стола и направилась к зеркалу. Полуниин перехватил ее на полпути, взяв за плечи, повернул к себе.

— Скучала?

— Немножко. Глупый... как ты можешь спрашивать? Обними меня крепче...

Словно волной жара окатило Полунина, когда он ощутил в ладонях ее литое гибкое тело, когда почувствовал, как под пальцами скользнула по коже тонкая ткань халатика. Дуняшино треугольное большезлазое личико запрокинулось, стало бледнеть.

— А ты скучал по мне?

— Еще как...

— Всегда-всегда? Очень-очень?

— Очень, но не всегда...

Рука его отстегнула пуговку, другую, нетерпеливо уже скомкала легкую ткань. Дуняша зябко поежилась — его пальцы медленно спустились по ложбинке вдоль позвоночника, щекотливой лаской тронули выгнувшуюся под их прикосновением поясницу.

— Опомнись, что ты делаешь,— прошептала она с закрытыми глазами.— Вдруг в окно кто-нибудь... Ужасно у тебя ладони приятные, холодные такие... ох, милый...

— А ты вся — теплая и словно отполированная. Только местами вдруг прохладная... Настоящая репка.

— Что-что?

— Я говорю, как свежая репка, круглая и прохладная...

— Бесстыдник,— нараспев сказала она с нежным упреком.— Ты не представляешь, как я по тебе соскучилась. Мы ведь целую вечность не были вместе — ты вот меня сейчас только погладил, а у меня уже голова как карусель, а послушай, что с сердцем...

— Дуня,— шепнул он,— я запру дверь, погоди...

— Нет! — воскликнула она испуганно. — Нет-нет, здесь нам нельзя ни в коем случае, абсолютно исключено!

— Но почему?

— Ах, это все эта ужасная мадам Глокнёр — я ведь непременно о ней вспомню в самый неподходящий момент. И потом уже все время будет казаться, что эта мегера подслушивает под дверью... А если поехать куда-нибудь?

— Знаешь, я и сам об этом думал — до воскресенья мне здесь делать уже нечего. У тебя как со временем?

— Дай подумать... В понедельник я обещала сдать один рисунок для Гутмана, но он уже почти готов. А в крайнем случае сдам во

вторник! Поедем, правда, только куда-нибудь за город — хочу в пампасы. Ох, послушай, ну что ты делаешь... Убери немедленно свои руки, я тебя умоляю, иначе я не знаю, что будет!

— А я знаю,— сказал он ей на ухо и куснул краешек маленькой розовой мочки. Дуняша обморочно ахнула, тело ее на мгновение отяжелело в его руках, словно у нее подломились колени; но тут же она замотала головой и стала вырываться с неожиданной силой, упираясь ладонями ему в грудь.

— Пусти, пусти, ты просто с ума сошел... ну как ты не понимаешь — неужели мне и самой не хочется! Нет уж, я лучше оденусь. Иди сядь за стол, можешь посмотреть мои новые бижу́, только не смей оглядываться...

Он неохотно повиновался. Дуняшин рабочий стал был, как всегда, в диком беспорядке — книги с обрывками бумажек между страницами, кисти, карандаши, выдавленные и непочатые тюбики темперы, фарфоровые блюдечки с засохшей краской, небольшие — размером с открытку — листки черного ватмана, какие-то проволочные модельки, похожие на латунных и алюминиевых паучков...

— Не понимаю, Евдокия, как можно работать в таком ералаше. Ты хоть иногда здесь убираешь?

— Ах, это совершенно бесполезно, я уже убедилась...

Он взял черный листок, на котором тонким белым карандашом была вычерчена причудливая паутиная конструкция, напоминающая схему галактической спирали, повертел так и этак, пытаюсь определить верх или низ.

— Что это? — спросил он, не оборачиваясь, и показал рисунок через плечо.

— Не вижу... А-а! Это я хочу предложить Ричарди — такой клипс, понимаешь, очень мелкие бриллианты — они называются «звездная пыль», а монтюра из платины или палладия... Пооди сюда, застегни мне на спине, опять эта молния... Мерси... нет-нет, пожалуйста, я ведь просила! Скажи, у вас в экспедиции есть женщины?

— Одна недавно появилась, переводчица.

— Молодая?

— Твоего возраста или чуть моложе. Лет двадцать...

— О, пожалуйста, можешь мне не льстить, — фыркнула Дуняша. — Мне двадцать пять, и я этого не скрываю... как некоторые. Она красива?

— Кто? — рассеянно переспросил Полуниин.

— Ну, эта... твоя переводчица!

— Да нет, ничего особенного. Обычная современная девица — острижена под мальчишку, в очках.

— Ненавижу короткие прически, — решительно объявила Дуняша. — И еще очки? Ха-ха, воображаю. Отвратительная драная кошка!

— Ну почему же драная?

— О, еще бы ты ее не защищал! Ходит, небось, там вокруг тебя на мягких лапах, одна такая тварь... Креолка?

— Нет, почему. Бельгийка, Астрид ван Стеенховен. А вокруг меня она ни на каких лапах не ходит, потому что с первого дня положила глаз на нашего шефа.

— На шефа? Ну, еще бы, это у них профессиональное — секретарши, переводчицы, что с них взять...

Расчесав волосы, Дуняша свернула их на затылке свободным узлом, задумчиво погляделась в зеркало и слегка тронула губы помадой.

— Астрид! — фыркнула она. — Отвратительное претенциозное имя. И вообще... сразу видно, из какого она круга. Только плебеи могут назвать дочь в честь королевы. Вот меня, например, мама назвала в честь своей няни. И я, представь себе, очень рада!

— Конечно, — согласился Полунин. — Евдокия — красивое имя.

— Вообще-то я Авдотья, — заметила она гордо. — Ну что, кажется, ничего не забыла...

Она подошла к тахте, сняла висевший в изголовье маленький медный с финифтью складень, приложилась к нему, торопливо перекрестившись, и небрежно сунула в сумку.

— Ступай, — сказала она, вручая ее Полунину. — Иди прямо к станции, я догоню...

Дойдя до угла улицы Хураменто, он поставил сумку на цоколь решетчатой ограды и закурил, приготовившись к терпеливому ожиданию. На этот раз, однако, Дуняша появилась уже через пять минут. Глядя, как она идет своей легкой быстрой походкой, одетая с какой-то особой элегантной небрежностью, Полунин опять подумал, что, в сущности, это едва ли не самая обаятельная женщина из всех, кого он знал. И женой она могла бы быть доброй и верной — не винить же ее сейчас за то, что она махнула рукой на своего шалопаю. А все-таки что-то не так, в чем-то она продолжает оставаться странно чужой, неуловимой, безнадежно отдаленной от него — прелестное, но в любой момент способное исчезнуть без следа загадочное существо из иного мира...

Дуняша шла с непокрытой головой, держа руки в карманах небрежно перетянутого поясом плаща, поглядывая по сторонам и расшвыривая ногами устилающие тротуар сухие листья.

— Боже, какой день! — воскликнула она, подходя ближе. — Просто плакать хочется. Что может быть лучше осени — вот такой золотой, когда листья всюду, и солнце, и небо синее-синее, одно такое настоящее бабское лето...

— Бабье, Дуня, а не бабское. Ты не обижаешься, что я поправляю?

— Нет, конечно, но только ведь все равно забуду... Бабье лето... Нужно будет книжечку завести, записывать. О, у меня идея! — Дуняша, взяв его под руку, по-девичоночьи подпрыгнула, чтобы попасть в ногу. — Ты иногда спрашиваешь — ну, когда праздник какой-нибудь, — что мне подарить; так вот, если у тебя появится охота сделать мне подарок, купи бальный карнэ — знаешь? Это такая книжечка, куда записывают претендентов на танцы. Только самую простую купи, а то они бывают очень дорогие. И я буду всюду иметь ее на себе и записывать русские идиомы. Но все-таки куда мы едем?

— Давай-ка мы вот что сделаем. — Полунин крепче прижал к себе ее локоть. — Доедем в электричке до конечной станции, а там пересядем на первый же поезд дальнего следования — первый, какой остановится. И сойдем, где ты скажешь...

В пятом часу пополудни они вышли из душного, битком набитого вагона в каком-то приглянувшемся Дуняше поселке, в полтораста километрах от столицы. Крошечная платформа была пуста, вышедший к поезду дежурный с провинциальным любопытством поглядывал на приезжих; когда рассеялся запах паровозного дыма и перестали гудеть рельсы, кругом воцарилась огромная первозданная тишина, пахнущая пылью, сухим бурьяном и степью.

— Господи, как хорошо, — сказала Дуняша, прикрыв глаза. — Спроси у него, есть ли тут отель...

Как ни странно, в Таларе действительно оказалась гостиница — совсем новая, построенная в прошлом году каким-то местным оптимистом. Непонятно, сказал дежурный, на что он рассчитывал, этот дон Тибурсно, здесь никто никогда не останавливается...

— Звучит заманчиво, — болтала Дуняша, пока они шли по единственной асфальтированной улице поселка, — если отель новый, то, может, там есть хоть какой-то комфорт? Хочу ванную с горячей водой и

чтобы в номере была большая-большая кровать. Все-таки второй класс — это ужасно. Не сиденья, а какие-то орудия пытки, я себе отсидела все решительно; признаюсь, пока мы ехали, я даже помолилась именно о кровати. Натурально, эта молитва несколько кощунственная... хотя в тот момент я думала лишь о том, чтобы отдохнуть.

Хозяин гостиницы, толстый, усатый и меланхоличный, встретил их равнодушно. Видимо, он давно уже понял, что никакая случайная пара постояльцев ничего не изменит, но относился к этому со стоическим спокойствием.

— Выбирайте любую комнату,— сказал он,— хоть на первом этаже, хоть на втором. Идите лучше наверх — больше воздуха. Ужинать будете здесь? Скажите тогда кухарке, что приготовить...

Войдя в номер, Дуняша всплеснула руками.

— Теперь ты сам видишь,— сказала она с благоговением,— что даже нечестивая молитва может дать результаты, если она от души. На такой кровати можно кувыряться!

Кровать и в самом деле была большая, а номер — маленький, очень чистый, пахнувший свежей краской и мебельным нитролаком. За широким окном — здание стояло на самом краю поселка — лежала открытая до горизонта пампа.

— Просто чудо, сколько тут всякой цивилизации,— сказала Дуняша, обследовав ванную,— электрический каледон и вообще разные штуки. Ты голоден?

— Да нет, не особенно.

— Тогда знаешь что? Я сейчас приму ванну, переоденусь, и пойдем погуляем до ужина.

— Ты ведь мечтала о кровати?

— Да, вот с этим маленькая complication. — Дуняша вздохнула. — Понимаешь, когда я вошла сюда и убедилась, что моя молитва была услышана, я сразу поняла, что без ответного жеста не обойдись. В общем, я дала обет целомудрия.

— Дуня, послушай. В воскресенье я уезжаю...

— Но дай мне договорить. Это элементарная благодарность! Сроков я не уточняла, но хотя бы до вечера... В конце концов, человек не должен быть рабом своих вождельней.

— Ну разве что,— сказал Полуниин без особого восторга. — Ладно, пойду насчет ужина. Что заказать?

— А, придумай там что-нибудь, мне все равно.

— Часам к восьми?

— Пожалуйста,— церемонно отозвалась Дуняша, доставая из сумки свои вещи.

Когда вышли из гостиницы, солнце висело уже низко. Было тепло и безветренно, теплее, чем утром в Буэнос-Айресе. Пройдя с километр по пыльному проселку, они увидели вдали холм с геодезическим знаком, перелезли через ограду из нескольких рядов толстой проволоки, натянутой на столбах из кебрачо, и пошли наискось через заброшенное пастбище. В мокалинах на низком каблуке, в брюках и свитере, Дуняша выглядела совсем девчонкой.

— Забавно, как мужской костюм молодит женщину,— сказал Полуниин. — Эта наша переводчица все время ходит в брюках, но однажды я увидел ее в платье и...

— Довольно! — крикнула Дуняша, резко обернувшись к нему. — Меня совершенно не интересует, сколько раз ты видел ее в платье и сколько — без платья. Ты можешь хоть на минуту забыть об этой омерзительной особе? Иначе я возвращаюсь в отель — и учти, пожалуйста, там полно свободных номеров!

— Не говори ерунды,— возразил он кротко. — Я о ней не думаю, просто увидел тебя в брюках и вспомнил...

— ..Прелести мадемуазель Астрид,— докончила она язвительным тоном. — Ха! Воображаю этого монстра — очки, как у одной мартышки, и еще коротко острижена. Но, разумеется, о вкусах не спорят. Разумеется! Только почему ты в таком случае не привез ее с собой? Почему явился ко мне? Что я вообще для тебя? Ничто! Абсолютный нуль! Ты даже не видишь во мне женщину!

— Евдокия,— изумленно сказал Полунин.

— Конечно! — кричала она чуть ли уже не со слезами. — Там в пансионе ты лицемерно требовал: «Я запру дверь, я запру дверь!» Изображал пламенную страсть, едва не откусил мне ухо! А здесь мы были одни на всем этаже — и ты преспокойно сидел, как один тараканский идол, а потом ужин отправился заказывать! Чудовище!

— Во-первых, идол был тьмутараканский,— терпеливо поправил Полунин. — Во-вторых, ты сама сказала, что хочешь идти гулять. Я уже не говорю про этот твой обет...

— Ах, мсье испугался моего обета! Какое неожиданное благочестие! Да ты ведь атей — хуже всякого язычника. Какое тебе дело до обетов? Будь ты настоящим мужчиной — ты бы заставил меня нарушить этот обет, и я, кстати, была бы не виновата, потому что, когда уступаешь грубой силе, — это грех простительный, такое случилось и со святыми. Но куда тебе! Тебе, конечно, все равно — гулять так гулять...

— Ну давай вернемся,— предложил он, с трудом удерживаясь от смеха. — Вернемся, и я заставлю тебя совершить простительный грех.

— А вот шиш я теперь вернусь!

Он благоразумно промолчал. Когда на Дуняшу накатывало, лучше было не спорить; ее «кризы» обычно бывали непродолжительны.

И действительно, пока дошли до холма, агрессивная фаза сменилась покаянной. Здесь, наверху, еще полнее ощущалась окружающая их пустыньность — железная дорога и поселок остались за спиной, впереди до самого горизонта лежала ровная, точно застывшее травяное море, бурая осенняя степь. Полунин бросил пиджак на растрескавшийся суглинок, они сели. Несколько минут Дуняша молчала, обхватив руками колени и глядя на закат, потом робко потерлась щекой о плечо Полунина.

— Не сердись,— шепнула она. — Пожалуйста, прости меня... Я знаю, я ведь такая дрянь. Ты просто следующий раз — как только начну беситься — возьми и отшлепай меня как следует. Со мной, наверное, иначе нельзя...

Он повернул голову и с удивлением увидел блеснувшую дорожку слезы на ее щеке.

— Ты что, Дуня? Я и не сержусь вовсе. Ты из-за этого?

Она отрицательно замотала головой, утерла глаза тыльной стороной руки.

— Нет-нет, это так... глупости. Понимаешь, я степь не могу видеть без того, чтобы не разреветься... как дура. Я сейчас... успокоюсь, погоди... — Она помолчала еще, потом спросила: — Ты Буннина стихи любишь?

— Стихи? — Полунин подумал. — Да я их, пожалуй, и не читал. «Жизнь Арсеньева» Основская мне давала, это понравилось, а стихов не знаю. А что?

— Мне вот сейчас вспомнилось... «Ненастный день. Дорога прихотливо уходит вдаль. Кругом все степь да степь. Шумит трава дремотно и лениво, немых могил сторожевая цепь среди хлебов загадочно синее, кричат орлы, пустынный ветер веет в задумчивых, тоскующих полях, да тень от туч кочующих темнеет...» Ты знаешь, для меня нет ничего прекраснее — даже у Пушкина...

— Да, хорошие стихи. Бунин... он ведь где-то у вас живет?

— Жил. Он умер в позапрошлом году, а вообще жил в Париже. Боже мой... кем надо быть, чтобы суметь написать такое: «...кричат орлы, пустынный ветер веет... в задумчивых, тоскующих полях...» Странно, вот океан меня не трогает совершенно, и горы тоже, но в степи я чувствую себя как в церкви,— негромко говорила Дуняша, не отрывая глаз от заката. — Не знаю даже, почему... Хотя я ведь на четверть татарка, я тебе говорила?

— Нет, впервые слышу. Татарка?

— Ага. Бабушка была откуда-то из-под Казани. Я видела ее старое фото — красавица феноменальная, гран-пэр потерял голову с первого взгляда. Совершенно простая, неграмотная, по-русски едва говорила. Он ее увез, украл из этого, как это называют — улус, не так ли? Воображаешь, скандал, он там был вторым человеком после губернатора...

— Скажи на милость. И чем же кончилось?

— Подал в отставку тут же, увез ее в Петербург, нанял дюжину учителей — через год она уже болтала по-французски... Вот так-то, сударь. А вы и не знали, с кем имеете дело!

Полунин взял в ладони ее голову, повернул к себе.

— Да, что-то есть. — Он улыбнулся. — Скулы, пожалуй... и разрез глаз такой удлинённый. Саям, Евдокия-ханум!

Дуняша мигом скрестила ноги по-турецки.

— Саям, эфенди, саям. — Она поклонилась, прикладывая ладонь ко лбу и груди. — Знаешь, я ведь, наверное, из-за пампы и полюбила Аргентину — во Франции разве такое увидишь! Конечно, там всё — как сказать — живописное, да? Но настоящей натуры там нет. Впрочем, ты же видел Францию!

— Да, — Полунин кивнул, — кое-что видел.

— Я не говорю о Париже, — продолжала она, — это вне всякого... Ты ведь в Париже был? Я думаю, нет ни одного туриста, который не побывал бы в Париже...

Полунин молча улыбнулся. Как обстоит дело с туристами, он не знал; ему самому, как и другим бойцам отряда «Бертран Дюгеклен», довелось ворваться в Париж вместе с танкистами Леклерка, когда еще не капитулировал немецкий гарнизон и снайперы постреливали с крыши на авеню Клебер, на бульваре Осман... Впечатление осталось довольно сумбурное: августовский зной, чад пороха и бензина, то пустая улица, начисто выметенная пулеметными очередями, то — сразу за углом — беснующаяся от восторга толпа, трехцветные флаги из окон, тысячеголосая «Марсельеза», растрепанные девчонки на капотах джипов...

Собственно, из всей Франции лучше всего запомнилась ему Нормандия, ее сырые пастбища, изгороди, яблоневые сады. Отряд маки, отбивший у немцев небольшую группу советских военнопленных, действовал южнее Руана, в районе Лувьер — Лизьё; летом сорок четвертого года, после высадки союзников, макизаны стали отходить в глубь страны. Командование ФФИ¹ поставило всем отрядам задачу — по возможности оставаться в немецких тылах, уничтожая связь и действуя на линиях коммуникаций. Так они и делали — резали провода, рвали, где удавалось, мосты, нападали на отдельные колонны. Только под Шартром в середине августа их наконец догнали танки с белой звездой и лотарингским крестом — эмблемой «Сражающейся Франции»; оттуда они и рванули вместе на Париж — через Эпернон, Рамбуйе, Версаль...

— Впрочем, должна сказать, — продолжала Дуняша, — что, хотя я там родилась, сердцу он ничего не говорит. Моему, по крайней мере. О, это все прекрасно — история на каждом шагу и все такое, но это все слишком... далекое от нас, понимаешь? Что мне их Ключи́ или

¹ ФФИ — французские внутренние силы — вооруженная организация французского Сопротивления.

Сент-Шапель — это прекрасно, но это не трогает. А вот простая степь меня трогает. Там, где ты родился, хорошая степь?

— Нет, я ведь из Ленинграда, там степей нет...

— Странно. Я думала, вся Россия — это сплошная степь!

— Ну что ты. Степные районы у нас только на юге.

— Но ты там был, да? Ты видел настоящую-настоящую степь?

Полунин помолчал, грызя травинку.

— Я там воевал, в сорок первом, — ответил он нехотя.

— И это там тебя ранили? Бе-е-едный, — пропела Дуняша. Она расстегнула его рубашку и, быстро нагнувшись, поцеловала неровно стянутый багровый рубец. — Бедный мой, как тебя неаккуратно зашили...

Он похлопал ее по плечу, отстранил от себя и застегнулся.

— Меня, Дуня, зашивали в лагере. Штопальной иглой, какая уж тут аккуратность. А сейчас хватит об этом, лучше почитай мне еще какие-нибудь стихи.

— Бунина?

— Что хочешь. Можно и другие — какие вспомнятся.

Дуняша долго молчала, опустив ресницы.

— «Девятый век у Северской земли, — проговорила она медленно, словно думая вслух, — стоит печаль о мире и свободе. И лебеди не плещут. И вдали княгиня безутешная не бродит. О Днепр, о солнце, кто вас позовет по вечеру кукушкою печальной теперь, когда голубоватый лед все затянул, и рог не слышен дальний. И только ветер над зубцами стен взметает снег и стонет на просторе. Как будто Игорь вспоминает плен у синего разбойничьего моря...» Господи, да что это сегодня... со мной...

— Успокойся, Дуня, не надо.

— Не буду, милый, прости. — Она шмыгнула носом. — «Княгиня безутешная» — это про Ярославну, знаешь?

— Да, я понял.

— Почему я не могла быть твоей Ярославной — когда ты лежал там раненый, в сорок первом? Впрочем, я все равно опоздала — мне тогда было всего одиннадцать лет...

Полунин осторожно прижал ее к груди и стал гладить по голове, щурясь на закат, где громоздились тяжкие раскаленные громады облаков.

— Пойдем уже, наверное, — сказал он, кашлянув.

— Да-да, идем, милый...

Трое суток пролетели незаметно. В воскресенье утром Полунин проснулся первым, привычно потянулся к часам — те стояли. Осторожно, чтобы не разбудить Дуняшу, он встал, подошел к окну, отдернул штору. Было очень рано, обильная седая роса лежала на траве, и только одинокое облачко над пампой розовело в лучах невидимого еще солнца. Со странным предчувствием утраты — а что, собственно, ему до этих мест? — смотрел он на уходящую к горизонту степь, на изрытую колеями дорогу между проволочными изгородями, на далекий холмик, где они сидели тогда в первый вечер. «Этого в моей жизни никогда больше не будет», — подумал он вдруг и снова удивился — так сжалось сердце; мало, что ли, было уже у него этих «никогда больше». Пора бы и привыкнуть.

Он заставил себя думать о делах. Поезд из Мендосы проходит здесь в десять тридцать пять — к часу дня они будут в Буэнос-Айресе, пообедают, потом он отвезет Дуняшу в пансион. К этой проклятой фрау Глокнер. Нужно позвонить Кривенко — узнать, как они там поладили.

Да, Келли остается загадкой... Действительно ли проглотил наживку, или оба они разыгрывали комедию друг перед другом?

Он снова бросил взгляд на облачко — оно уплыло к самому краю окна и разгорелось еще ярче. Часов шесть, вероятно; можно еще поспать часа полтора. Скомканная ночная сорочка валялась в ногах постели, он взял ее бережно и перекинул через спинку стула. Дуняша, лежа на правом боку, пробормотала что-то сквозь сон, обняла подушку и перевернулась на живот. Укрывавшая ее простыня, чересчур жестко накрахмаленная, от этого быстрого движения соскользнула на пол.

Полунин поднял простыню, чтобы снова укрыть Дуняшу, но так и остался стоять с простыней в руках, потом обошел кровать и осторожно присел на край с другой стороны, не в силах оторвать глаз. Как и в тот момент, когда он следил за медленным полетом розового облака, им снова овладело щемящее чувство неповторимости — ощущение «последнего раза».

В предчувствия он не верил, ему не было сейчас ни страшно, ни тревожно. Только грустно. Так же, как скрылось проплывшее над пампой облачко, уйдет из его жизни и Дуняша Новосильцева — выросшая на чужбине русская татарочка, в грохочущих поездах парижского метрополитена вытвердившая наизусть горькие, как ледяное похмелье, стихи о полях далекой своей отчизны, о крике орлов над пустынной степью, о плачущей по Игорю Ярославне...

Да, но пока она была здесь — с ним, в этой комнате, в этой постели. Рассыпанные по подушке черные волосы, девически узкая спина, длинные, стройно сомкнутые, как у летящей в воду ныряльщицы, загорелые ноги — все это пока в какой-то степени принадлежало ему. И плавный изгиб бедра, так чудесно уравновесивший крутую впадину поясницы, и теплый, розовато-молочный блик света на нежной округлости, не тронутой загаром и напоминающей свою белизной трогательную беззащитность детской невинной наготы, — все это было чудом, великим чудом земной человеческой прелести. И это чудо принадлежало ему — не все ли равно, на какой срок? Его ладони касались этого чуда, касались и могли прикоснуться вновь. Чего еще может просить он у судьбы? Мгновение — это не так далеко от вечности, как кажется на первый взгляд...

4

Проснувшись среди ночи, Полунин послушал мощный храп соседа, непрекращающееся тарыхтение какого-то механизма за переборкой и понял, что заснуть больше не удастся. В каюте было душно. Он посмотрел на часы — было около половины четвертого, оделся, вышел на палубу и отыскал скамейку посуше. Вокруг висел непроглядный туман, но суденышко уверенно, хотя и не спеша, ползло своим проторенным курсом, наискось пересекая устье Ла-Платы.

Позевывая, он закурил и тут же бросил отсыревшую невкусную сигарету. Думать о делах не хотелось — что уж теперь думать, с Келли или вышло, или не вышло, теперь не переиграешь. Ладно, будущее покажет.

Он попытался вспомнить недавний сон: Дуняша, какой-то разговор о Париже. И тут же в памяти опять встала французская столица. Та, тогдашняя, в августе сорок четвертого, с еще не разобранными баррикадами Медона и Бийянкура, обезумевшая, хмельная от свободы. Да, дорого обошелся ему тот хмель...

Наверное, тут просто сыграл роль возраст — как раз в дни боев на подступах к восставшему Парижу ему исполнилось двадцать три.

Другие ребята из освобожденной нормандскими макизарами «арбайтс-команды» — их только четверо и осталось в живых к началу августа, — те были постарше, каждого ждали дома жена, дети. Тогда именно это и показалось ему решающим, он просто считал, что семейные люди и не могут рассуждать иначе. А рассуждали они просто: пора, мол, кончать это дело, рука об руку с союзниками мы повоевали, сделали что могли для второго фронта, а теперь надо дожидаться здесь нашей миссии и просить, чтобы поскорее отправили на свой фронт, домой.

Пожалуй, и он сам рассудил бы так же, будь жив отец. Но отец умер за полтора года до войны, мать и того раньше, в Ленинграде его никто не ждал. А война продолжалась — на всех фронтах.

В тот день, когда им вручили медали Сопrotивления, Филипп повел его, Дино и еще кого-то из дюгекленовцев в ресторан возле площади Оперá — они сидели там в новенькой американской форме, с новенькими медалями на груди, но непривычно безоружные (после освобождения Парижа отряды ФФИ сдали оружие по приказу генерала Кенига). «Послушай, старина, — сказал Филипп, когда все уже были порядком навеселе, — я, конечно, понимаю, тебе хочется поскорее домой — лары, пенаты и всякая такая лирика... Но ты учти, «поскорее» тут не получится, репатриация — дело долгое, к самой Германии мы ведь только подступаем — и Айк, и даже ваш Жуков, — а по воздуху вас никто перебрасывать не станет. Через Африку и Иран, что ли? Взгляни на карту! Вот я и говорю — чем киснуть здесь до конца всего этого спектакля, можно было бы еще успеть здорово всыпать фридолинам, по-настоящему мы ведь еще и не дрались...»

Да, он тоже считал, что до сих пор не дрался по-настоящему. Его счет к фридолинам — открытый еще там, на Украине, где их называли фрицами, — оставался неоплаченным. Поэтому он прямо из ресторана, ничего не сказав соотечественникам, вместе с Филиппом явился на вербовочный пункт и выложил перед писарем сработанное одним подпольщиком-гравером еще в Руане удостоверение личности на имя Мишеля Баруа, уроженца деревни Бевиль в департаменте Приморской Сены (место рождения подсказал Филипп: архив бевильской мэрии благополучно сгорел еще в 1940 году). Их тут же отправили в казармы Мон-Сенй, а оттуда — неделей позже — в расположенный в Вогезах учебно-тренировочный лагерь Пятой бронетанковой дивизии.

Вчерашние макизары приуныли: возможность «подрасть по-настоящему» откладывалась на неопределенный срок. Вместо этого пришлось зубрить уставы, изучать матчасть, заниматься шагистикой и учиться отдавать честь — непривычно для Полунина вскидывая локоть и выворачивая руку ладонью вперед. «Грязные верблюды, — сорванным голосом хрипел капрал, — когда я наконец сделаю из вас солдат Франции...» Только после Нового года в дивизию начали наконец поступать новенькие, еще покрытые густой консервационной смазкой танки «Генерал Шерман». Все думали, что Пятую бронетанковую пошлют в Арденны, но ее бросили на Кольмарский выступ, где уже давно без толку топтались алжирская и марокканская дивизии генерала де Монсабера.

Немцы, удерживавшие позиции вокруг Кольмара, стояли насмерть: за их спиной был Рейн, священная граница фатерланда. Свирепо дрались и сменившие африканцев французы — Эльзас был для них не просто последним куском родной земли, еще не очищенным от захватчиков, это был еще давний — со времен Бисмарка — символ национального унижения. Взять Кольмар без помощи американцев становилось вопросом чести, но сделать это было не так просто — танки десятками гибли на минных полях, под ураганным огнем зениток, бьющих с нулевого угла возвышения.

Тридцатого января в дивизию прибыл командующий армией. В сопровождении свиты штабных он обходил строй экипажей — художавый, со спортивной выправкой и внимательно-ироничным взглядом из-под козырька высокого генеральского кепи, Жан Делатр де Тассиньи казался моложе своих лет. Потом он выступил с короткой речью. Солдаты почти ничего не услышали — ветер относил слова, рвал квадратные полотнища полковых штандартов. Полуниин стоял навтыяжку у своего танка — странно было подумать, что завтра ему снова идти в бой под этим знаменем, цвета которого реяли когда-то перед Шевардинским редутом...

Второго февраля, к вечеру, Пятая бронетанковая вломилась в Кольмар. В бою у вокзала Филипп сделал неловкий маневр и подставил борт под прицел укывшегося за грудой щебня фаустника; танк вспыхнул сразу («шерманы» вообще горели, как порох), но все они успели выскочить и даже вытащить раненого командира. Неделей позже, когда дивизия остановилась на левом берегу Рейна, водитель Маду и стрелок-радист Баруа получили по Военному кресту II степени...

На подходе к Монтевидео утренний туман над Ла-Платой начал рассеиваться, солнце золотило косо торчащие из воды ржавые исковерканные надстройки немецкого рейдера «Адмирал граф Шпее», шестнадцать лет назад выбросившегося здесь на камни после боя с английской эскадрой. Встречающих в речном порту было немного, и Полуниин еще издали увидел на пирсе Филиппа с Лагартихой.

— Ну, как прошла встреча с кандидатом в гауляйтеры? — спросил Освальдо, пожимая ему руку. — Он звонил Морено в тот же день — все допытывался, на кого вы работаете...

— Надо было ответить: на СИА¹.

— Доктор ответил лучше, — улыбнулся Лагартиха. — Я, кстати, при этом присутствовал. Он очень недоволено посопел в трубку, а потом говорит: «Послушай, Гийермо, я тебя считал умнее. Не суй нос слишком высоко, если не хочешь, чтобы его тебе прищемили...» Как вам показалось — клюнул этот болван на наши имена?

— Во всяком случае, записал обоих, долго разглядывал кинопленьку и даже похвалил Морено за оперативность, когда я сказал, что за вами уже следит наш агент...

— Это мадемуазель ван Стеенховен?

— Она самая. Теперь, между прочим, она — фрейлейн фон Штейнхауфен, к тому же баронесса. А вы с вашим приятелем фигурируете в картотеках Це-Эн-А как коммунистические функционеры высокого ранга.

— Тем лучше, совсем запутаем следы.

— Освальдо, — сказал Филипп, — но вы действительно уверены, что это не повредит вашим родным в Буэнос-Айресе?

— Пусть это вас не волнует. У Рамона вообще никого нет, а моего старика голыми руками не возьмешь — он заседает в Коммерческой палате. Дон Мигель, вы смогли бы сегодня побывать у Морено? Он хотел с вами поговорить.

— Прямо сейчас?

— Нет, вечером. Если у вас нет других планов, я уточню время и позвоню вам не позже шести. Вы будете у себя?

— Если нужно — буду.

— От пяти до шести в таком случае. А сейчас я вас покину.

— Одну минутку, — сказал Филипп и обернулся к Полуниину. — Дай-ка свой паспорт... Освальдо, не откажите забежать в «Монсеррат» — отдайте мадемуазель этот паспорт и скажите, чтобы она к одиннадцати отвезла его в парагвайское консульство, — Фалаччи там

¹ Central Intelligence Agency (англ.) — ЦРУ.

будет, его пригласили на это время. Мой паспорт уже у него, а свой мадемуазель пусть захватит вместе с этим...

— Вы думаете, визы уже готовы?

— Да, в пятницу пришло разрешение из Асунсьона.

Лагартиха удивленно хмыкнул.

— Повезло вам! Стресснер обычно не любит показывать посторонним свой бордель.

— Мы ведь — экспедиция, — подмигнул Филипп. — Людей науки уважают даже диктаторы.

— Вот разве что...

У выхода из порта они распрощались — Лагартиха отправился к Астрид, а Полуниин вместе с Филиппом пошел к нему в гостиницу (на всякий случай все трое поселились порознь, чтобы не привлекать лишнего внимания). Пока дошли, он успел рассказать о своей поездке в общих чертах.

— Ну, посмотрим, — сказал Филипп, войдя в номер. — Так или иначе, первый раунд сыгран.

— Знать бы только, в чью пользу...

— Время покажет. Слушай, а с «вербовкой» этого русского эсэсовца ты, боюсь, дал маху. Все-таки помогать внедрению агентуры среди своих соотечественников...

— Брось, какая это к черту «агентура»! Агент опасен, пока он замаскирован, а этих подонков знает вся колония. И я еще вдобавок пустил слух: такого-то остерегайтесь — работает на тайную полицию...

— Да, но... какой тогда смысл? Если он не оправдывает себя как информатор, Келли поймет, что ему подсунули пустой номер.

— Когда это случится? Келли не такой дурак, чтобы ждать немедленной отдачи, такие вещи делаются с дальним прицелом. А каковы будут наши взаимоотношения с ним через год — плевать в высочайшей степени. Нам нужно, чтобы он верил мне сейчас, сегодня! Да и откуда мы знаем, что этот тип — я имею в виду русского эсэсовца — не окажется вдруг полезным в каком-то совершенно ином плане...

— Например?

— Почем я знаю. Астрид ты ведь тоже прихватил «на всякий случай» — вдруг, мол, пригодится. Ты, кстати, с ней говорил?

— Говорил.

— Ну и как она к этому отнеслась?

— Не удивилась. Говорит, она сразу догадалась, что мы никакие не этнографы. Дино, оказывается, когда она спросила его, какие племена мы думаем изучать, ляпнул какую-то чушь. Назвал племя, которое живет за тридевять земель отсюда, в Андах.

— Вот так, — сказал Полуниин. — А я ведь предупреждал! Здесь-то еще ладно, но в Парагвае нам, возможно, случится иметь дело и с настоящими специалистами. В общем, Астрид не испугалась?

— Напротив, проявила большой энтузиазм. Даже кодовое название придумала: «Операция Южный Крест».

— Южный Крест?

— Да, там же четыре звезды. — Филипп улыбнулся. — Ну, и нас теперь тоже четверо...

— Но насчет Дитмара ты ей не говорил?

— Пока нет. Сказал просто, что собираем материал о нацистских колониях. Словом, то же, что и Лагартихе.

Полуниин помолчал.

— Лишь бы не растрепала...

— Обещала держать язык за зубами. Я ее припугнул — если, мол, пронюхают, ей же первой несдобровать. Скажи, а твоя буэнос-айресская подружка — она в курсе?

— Нет, конечно. Ну ладно, старина, пойду отсыпаться — не спал всю ночь, каюта попалась возле самой машины... Да еще и сосед храпел, как сукин сын. Дино ты тогда сам проинформируй, а в случае чего — до вечера я не выхожу, буду ждать звонка Лагартихи. Он не говорил, зачем Морено хочет меня видеть?

— Понятия не имею. Вообще-то я тут закинул удочку насчет финансовой помощи — Освальдо считает, что старик в принципе мог бы помочь, и обещал с ним об этом поговорить.

— Как у нас вообще с деньгами?

— Катастрофа, старина, просто катастрофа. Проклятые пиастры текут, как песок сквозь пальцы... Послал кабл6 в Ним — издатель ответил советом сократить траты; чертов рогоносец думает, наверное, что мы тут не вылезаем из казино...

Спускаясь по лестнице, Полунин с неожиданной болью в сердце вспомнил пустой, тихий, пахнувший свежей краской отель дона Тибурсио. Неужели только вчера? На улице его внимание привлекла витрина писчебумажного магазина. Как, говорила Дуняша, называются эти штуки?.. Магазин был уже открыт. Поколебавшись, Полунин толкнул вращающуюся дверь.

— Кабальеро, доброе утро, — прошебетала немедленно подлетевшая к нему продавщица, — я счастлива приветствовать первого покупателя на этой неделе. Желаете что-нибудь выбрать?

— М-да, я хотел... посоветоваться. Вы не знаете, сеньорита, бывают такие книжечки, как их называют, бальные карн6?

— О, разумеется! — Продавщица заулыбалась еще приветливее. — У нас большой выбор, это будет прекрасный подарок вашей невесте. Прошу вас, кабальеро...

Она выложила на прилавок не менее дюжины этих карн6 — переплетенных в кожу, в парчу, в шелк, в чеканное серебро, в слоновую кость. Да, действительно — выбор... Правильно истолковав его замешательство, продавщица пришла на помощь.

— Я понимаю, угадать вкус девушки не так просто, — сказала она. — Может быть, если вы позволите...

— Да, посоветуйте, пожалуйста. Что-нибудь не очень дорогое, но хорошего вкуса — вы понимаете? Это для художницы, она разбирается в таких вещах...

Продавщица задумалась, приложив к губам пальчик, и положила перед ним темно-зеленую узкого формата книжечку.

— По-моему, кабальеро, это то, что вам нужно. Скромно, изящно... Обратите внимание — настоящий марокканский сафьян, а бумага ручной выделки, японская. И стоит всего восемнадцать песо...

Полунину понравились и бумага, и переплет, все, кроме цены, — восемнадцать уругвайских песо, почти двести аргентинских... На последней своей работе в «Радио Панасоник» он получал такую сумму за два дня со сверхурочными. Но что делать.

— Хорошо, я возьму эту.

— Упаковать для подарка?

— Да, пожалуйста. Впрочем, один момент...

Он раскрыл карн6 — продавщица деликатно отошла, убирая остальные, — и написал на первой страничке: «Дуняше-ханум от тараканского идола — с любовью». Книжечка была потом уложена в плоскую коробку, обернута в розовую папиросную бумагу, перевязана золоченым шнурком и запечатана яркой облаткой с фирменной маркой магазина.

— Если кабальеро понадобится заказать карточки с оповещением о свадьбе, — добавила продавщица, провожая его к выходу, — милости просим, эти заказы выполняются у нас в течение суток...

— Спасибо, спасибо, непременно, — пробормотал он.

Последние слова продавщицы его расстроили — гораздо больше, чем следовало бы. Он зашел на почту, отправил покупку срочной бандеролью и, мрачный, поехал к себе в гостиницу — отсыпаться до вечера.

Лагартиха позвонил ему в восьмом часу.

— Дон Мигель? Если ваши планы на сегодняшний вечер не изменились — машина придет за вами в десять.

— Хорошо. Вы тоже будете?

— К сожалению, не смогу, у меня сегодня дела...

Полунин долго стоял под относительно холодным душем, пытаясь согнать оставшуюся от дневного сна одурь. Потом не спеша побрился, надел свежую сорочку. Времени оставалось много, нужно было пойти поужинать — он уже порядком проголодался, а рассчитывать на стол доктора Морено не приходилось — местные обычаи были ему достаточно знакомы. Если тебя не приглашают специально к обеду (дома) или к ужину (как правило, в ресторане), то угощение обычно ограничивается выпивкой без всякой закуски или в лучшем случае — с какими-нибудь сухими бисквитиками.

В шумном и грязноватом итальянском ресторанчике Полунин поел мелкой жареной рыбы, запивая ее кислым кьянти. Когда он снова вышел на улицу, стал накрапывать мелкий нерешительный дождик. Посвежело, западный ветер доносил из порта запахи каменноугольного дыма, нефти, тухлой рыбы, водорослей, мокрых пеньковых канатов и особый, неповторимый воздух Ла-Платы — запах огромных водных пространств, лишенный, однако, присущих океану ароматов йода и соли; странная смесь свежести с какой-то чуть гнилостной затхлостью.

...Интересно, какая погода сейчас в Буэнос-Айресе. Такая же, вероятно. Только там этот западный ветер пахнет пампой. Их пампой. Дуняша, наверное, уже вернулась от своего Гутмана — сидит на тахте, поджав ноги, обложилась книгами... или гнет свои проволочные модельки, или — то и дело задумываясь и грызя белый карандаш — вырисовывает какую-нибудь свою очередную фантазию. Задумываясь — о чем? Может быть, ей тоже вспоминаются отель в Таларе, пыльная трава и сухой суглинок, запах краски в необжитом номере, скользкие от крахмала и шуршавшие, как бумага, простыни...

Когда Полунин вернулся к себе, знакомый синий «пontiак» уже стоял у подъезда. Он открыл дверцу, сел, поздоровался с шофером. Тот спросил, можно ли ехать, и запустил приглушенно взревевший мощный двигатель.

Минут через сорок быстрой езды, уже где-то за городом, шофер сбросил газ и осторожно свел «пontiак» с асфальта, делая правый поворот. Машину колыхнуло, под шинами захрустел гравий, фары осветили казавшиеся ободранными стволы эвкалиптов вдоль аллеи, потом впереди ослепительной белизной засияла ограда из тесаного камня.

Дон Хосе Игнасио Морено встретил гостя в просторном пустом холле, похожем на старинные андалузские патио: грубый мозаичный пол, кованое кружево решеток, закрывающих сводчатые дверные проемы, в простенках — несколько высоких, в половину человеческого роста майоликовых сосудов, расписанных примитивным синим орнаментом. Хозяин был одет с тем пренебрежением к этикету, какое здесь позволяют себе только очень богатые люди: на нем были широкие, наподобие запорожских, шаровары, заправленные в потертые желтые сапоги в гармошку, и клетчатая рубашка того типа, что продаются для пеонов в любой деревенской лавке. Пожимая ему руку, Полунин снова попытался вспомнить — кого из знаменитых путешественников прошлого века напоминают ему эти густые моржовые усы...

В кабинете ярко пылал камин. Морено указал гостю на кресло, уселся в другое, подкатил низкий столик, на котором поблескивали графины с разноцветным содержимым и лежала раскрытая коробка сигар.

— Что вы предпочитаете? — спросил он. — Виски? Джин? Бренди? Сам я обычно ограничиваюсь вином. Советую, кстати, попробовать этого чилийского — лучшего я не пил и во Франции. Я не очень нарушил своим приглашением ваши сегодняшние планы?

— Нисколько, доктор.

— Тем лучше. Мне хотелось бы кое-что выяснить, а в ближайшие дни я улетаю в Бразилию и, надо полагать, здесь вас уже не застану. Скажите, дон Мигель, каковы истинные цели вашей экспедиции?

Полунин удивленно посмотрел на него поверх своего фужера.

— Истинные? Сбор материала о нацистских колониях в этой части Южной Америки. Я думал, Лагартиха вам говорил.

— Он-то говорил, — кивнул Морено. — И он в это верит. А вот я — нет.

— Почему?

— Ну, хотя бы потому, что перед вами старый, прожженный адвокат. Которого, скажем прямо, не так просто обвести вокруг пальца. Зачем вам понадобился контакт с Келли? Вы что же, думали, что он выложит вам списки и адреса? Неубедительная версия, амиго. Очень неубедительная!

Полунин не спеша допил вино. Такой оборот дела они предусмотрели, и линия поведения с Морено была разработана в разных вариантах.

— Вы правы, доктор, — сказал он негромко. — Мы не просто собираем сведения об укрывшихся здесь нацистах. Мы ищем одного определенного нациста.

— Вот это уже дело другое. Это уже... похоже на правду. — Морено подмигнул очень по-простецки. — И кого же вы ищете, если не секрет? Надеюсь, не Бормана?

— Нет. Тип, которого мы ищем, был в общем-то мелкой сошкой, но из-за него погибли люди. И погибли так, что в их смерти... в предательстве, которое привело к их смерти... был заподозрен другой человек. Честный, активный участник резистанса¹. И обстоятельства сложились так, что он не смог ничего доказать. В общем, он застрелился.

— М-да, — сказал Морено, помолчав. — Одна из бесчисленных маленьких трагедий войны. Скажите... вы вот сейчас употребили слово «резистанс» — именно «резистанс», а не «резистенсия». Хотя разговор идет по-кастильски. Из этой обмолвки можно сделать вывод, что дело было во Франции?

— Да.

— А вы как там оказались?

— Бежал из плена. Собственно, не сам бежал — французские макизари отбили.

— Так, так. Когда это было?

— Осенью сорок третьего. С этим отрядом я и остался. А потом — уже после освобождения Парижа — все соединения Французских внутренних сил были расформированы, и я поступил в армию.

— Понятно... И еще один вопрос, дон Мигель. Я понял так, что кто-то из участников подполья оказался предателем. Но ведь вы, если не ошибаюсь, ищете немца, а не француза?

— Этот немец проник к нам под видом перебежчика-антифашиста.

— Даже так? Это уж совсем гнусно. И этот тип, вы думаете, сейчас где-то в этих краях...

— По некоторым сведениям, да.

— Ну что ж... В этом случае Келли, пожалуй, может, действитель-

¹ Сопrotивления (франц.).

но, оказаться полезным. Да. Но с ним необходима осторожность — Гийермо человек недоверчивый.

— Судя по вашим с ним отношениям, этого не скажешь, — возразил Полуниин. — Тут он скорее проявляет трудно объяснимую доверчивость.

— Она вполне объяснима! Когда-то я придерживался весьма правых взглядов. Это во время войны я многое начал видеть в ином свете, но тогда мы уже практически не общались, а при встречах избегали говорить о политике. Келли — и отец, и сын — так ненавидели англичан, что готовы были аплодировать каждой бомбе, упавшей на Лондон... Кстати, Патрисно — это отец — участвовал в Дублинском восстании шестнадцатого года, бежал сюда из английской тюрьмы. Короче, мы поспорили раз-другой, поняли, что не переубедим друг друга, и перестали касаться этих тем. Едва ли Гийермо и сейчас догадывается, насколько изменились за это время мои взгляды... Насколько я, так сказать, «полевел», — добавил Морено, ухмыляясь в усы. — И потом тут другое: Келли — типичный фанатик, человек с догматическим складом ума, и людей он классифицирует по самой примитивной схеме. Для него почти всякий рабочий — непременно за коммунистов, а значит, всякий хозяин — непременно против. Иная ситуация просто не укладывается у него в башке, поэтому он до сих пор продолжает видеть во мне априорного противника «красных». Ну и, естественно, доверяет — как единомышленнику...

— Ваша рекомендация в таком случае должна иметь вес?

— Да, но до известной степени! — Морено предостерегающе поднял палец. — Он может верить лично мне, но не очень доверять моим знакомым. Это уж как вам повезет. Во всяком случае, будьте с ним осторожны. Если он догадается, что вы ведете двойную игру...

— Ну, некоторый опыт у нас есть.

— Охотно верю, но не всякий опыт применим в новой обстановке. Я, конечно, постараюсь вас подстраховать — насколько это будет в моих возможностях. Дело-то вы затеяли доброе, здесь действительно развелось слишком много этих мерзавцев... И чем скорее их повыловят, тем лучше. Даже если будут ловить вот так, по одному. Кропотливая, впрочем, работа...

Морено тяжело поднялся и, по-стариковски шаркая сапогами, отошел в дальний угол, к письменному столу. Полуниин обвел взглядом кабинет. Здесь, как и в холле, все свидетельствовало о тщательной продуманности стиля — темный резной дуб, кованые канделябры черного железа, несколько старинных деревянных скульптур в искусно подсвеченных нишах между высокими, до потолка, книжными полками, занимающими три стены. Четвертую, в которой была прорезана дверь, украшала коллекция оружия — скрещенные алебарды, кастильская шпага времен конкисты, огромный двуручный меч — «фламберга» с извилистым клинком... Дон Хосе Игнасио вернулся, держа в руке узкий голубоватый листок.

— Освальдо говорил, у вас затруднения с деньгами. Возьмите, это на организационные и текущие расходы...

Полуниин нерешительно взял жестко похрустывающую бумажку, увидел четко выписанные цифры — 10 000 песо. Уругвайских, надо полагать? Но тогда это огромная сумма, больше ста тысяч аргентинских...

— Спасибо, доктор, — пробормотал он. — Деньги нам, конечно, пригодятся, но...

— Никаких «но», — отмахнулся Морено. — Депонируйте чек завтра же, счет советую открыть в «Фёрст нэйшнл» — этот банк имеет отделения и в Буэнос-Айресе, и в Асунсьоне. Где бы вы ни очутились, деньги всегда под рукой. К сожалению, это пока единственная реальная помощь, которую я могу вам оказать. Связей с Парагваем у меня нет,

я ликвидировал там все свои дела, как только к власти пришла эта нацистская вонючка герр Стресснер...

Усевшись на место, Морено налил еще вина Полунину и себе, нагнулс к камину и кочергой разворошил догорающие поленья.

— А что вас, собственно, смущает? — спросил он.

— Меня смущает размер проставленной здесь суммы. — Полунин поднял чек, который продолжал держать в руке, словно не зная, что с ним делать. — Говоря откровенно, мы рассчитывали на... некоторую помощь с вашей стороны, но не в таких масштабах. Понимаете, доктор... будь вы нашим единомышленником во всем...

— Не деловой разговор, амиго, — усмехнулся Морено. — Но я понимаю вашу мысль. Принять такую сумму от коммуниста вам было бы проще, вы это хотите сказать?

— Ну... в общем, да.

— Я, конечно, далеко не коммунист. Хотя кое-кто считает меня чуть ли не «красным». Все зависит от точки зрения, да и вообще вся эта политическая спектрография весьма условна... Сигару, дон Мигель?

— Спасибо, не привык.

— А я, пожалуй, позволю себе. Слушать этих врачей...

Он выбрал сигару, обрезал кончик какой-то хитрой машинкой и, достав щипцами уголек из камина, стал раскуривать.

— Так что пусть вас не беспокоит вопрос нашего «единомыслия», — продолжал он, окутавшись облачкомпряного дыма. — В данном случае мы с вами согласны в одном — отсюда и исходите. Денег на установление в Уругвае диктатуры пролетариата я бы, пожалуй, вам не дал, — он опять подмигнул, покосившись на Полунина. — А на преследование нацистов — с удовольствием. В конце концов отношение к этим ублюдкам у каждого нормального человека определяется отнюдь не его политической ориентацией — направо или налево, — а просто чувством элементарной брезгливости... Разве не так?

— В принципе так оно и должно быть. Но, мне кажется, нельзя забывать и — как это говорится? — историю вопроса. Нацизм все-таки был порождением правого лагеря. И ведь не случайно именно правые — здесь, в Америке, — продолжают если не оправдывать практику нацизма, то во многом разделять систему его идей...

— Да, если вы говорите о наших ультра. Но кретины есть в любом лагере. Думаете, в левом их меньше? А, повторяю, нормальный человек — какими бы ни были его политические взгляды — сторонится нацизма так же инстинктивно, как вы постараетесь обойти стороной лежащую на дороге кучу дерьма. Нацизм, амиго, это же дерьмо, экскремент новейшей истории... Конечно, извергнул его именно наш лагерь, вы правы, но тут сказалась недалновидность, продиктованная страхом. Почему, вы думаете, Крупп и Тиссен кинулись финансировать Гитлера? Только из страха перед коммунистами. А страх, как известно, плохой советчик.

— У вас, доктор, нет страха перед коммунистами? — поинтересовался Полунин.

— У меня? Нет! Если хотите знать, я считаю присутствие коммунизма в мире скорее положительным фактором. Мир, управляемый коммунистами, для меня, вероятно, был бы неприемлем; но мир, уравновешенный двумя системами, — это лучшее, что можно придумать. Вам понятна моя мысль?

— Не совсем, — признался Полунин.

— Хорошо, постараюсь ее развить! Я капиталист. Довольно крупный капиталист, если говорить откровенно. Как таковой я, естественно, заинтересован в жизнеспособности капиталистической системы общества, в ее внутренней стабильности. Попросту говоря, я не хочу жить на вулкане. Логично?

— Логично.

— Теперь слушайте дальше! Люди моего поколения — а мне шестьдесят три года, сеньор, я начал заниматься делами в пятнадцатом году, ровно сорок лет назад, — так вот, люди моего поколения обычно вспоминают времена нашей молодости как золотой век капитализма, когда любой предприниматель чувствовал себя этаким феодальным бароном. Но это было благоденствием на вулкане — снизу накапливался огромный заряд недовольства тех, кто был лишен элементарных человеческих прав. И знаете, почему этот вулкан не взорвался? Потому что в семнадцатом году в мире возник новый фактор...

Морено налил себе еще вина, жестом пригласив Полунина следовать его примеру, и спросил:

— Я не утомляю вас своей болтовней? Мы, южноамериканцы, вообще любим поговорить, а у меня, вдобавок, это еще и профессиональное — как у адвоката — и возрастное. Старики спешат наговориться перед очень долгим молчанием.

— Я слушаю вас с большим интересом, — заверил Полунин.

— Но вы пейте, пейте, у нас не принято беседовать всухомятку. Так о чем я? А, да! Так вот — семнадцатый год. Точнее, не совсем семнадцатый, вначале никто у нас не поверил в успех Ленина. А вот уже в двадцатом, в двадцать первом — когда большевики сумели не только свалить царя, разрушить империю, но и выиграть гражданскую войну, — вот тут мы призадумались! Вот тут мы поняли, чем это грозит всем нам. Конечно, реакция была двойкой. Дураки, испугавшись, сделали ставку на фашизм Муссолини, позднее — на национал-социализм Гитлера. Другие, кто поумнее, поняли, что нужно срочно перестраиваться, что куда выгоднее добровольно поступиться частью, нежели потерять все. Первым предупреждением была ваша революция, вторым — великий кризис двадцать девятого года, а третьего уже не понадобилось — капитализм начал ложиться на новый курс...

— Вы имеете в виду «Новый курс» Рузвельта?

— Нет, я беру шире. Я имею в виду общий процесс омоложения капитализма. Мы стали умнее, осторожнее, мы обрели второе дыхание. Ценою многих уступок — да, несомненно! Моего отца, вероятно, хватил бы удар, если бы от него потребовали отчислять определенный процент прибыли в фонд социальных мероприятий. А я строю для своих рабочих жилища, оплачиваю им медицинскую помощь, я регулярно встречаюсь с их делегатами, и мы торгуемся из-за каждого песо прибавки, которую они от меня требуют. Торгуемся, черт возьми, как равные — они отстаивают свои интересы, я — свои. И в конце концов приходим к какому-то решению... приемлемому, надеюсь, для обеих сторон. Мой отец считал, что с «бунтовщиками» можно говорить только на языке полицейских винтовок, — что же, это значит, что он был сильнее? Напротив, это лишь свидетельствовало о его слабости, о его неумении решать проблемы, которые для меня вообще не являются проблемами. Именно в этом, если хотите, основная разница между капитализмом вчерашним и капитализмом сегодняшним. К чему я все это начал говорить?.. А! Вы спросили о моем отношении к коммунизму; так вот, я считаю, что именно появление на мировой арене коммунизма — как противодействующей силы — создало те условия, в которых капитализм неизбежно должен был измениться к лучшему. А всякое изменение к лучшему — укрепляет. Э? Согласны?

— Не совсем. Капитализм действительно приспособливается, но становится ли он лучше?.. Тут у нас, боюсь, разные углы зрения: вы смотрите сверху, я — снизу, и мы, естественно, видим разные вещи...

— Но позвольте, амиго! Давайте уж уточним — что именно видите вы. Случалось вам видеть в Аргентине детей у ткацких станков — как в Англии сто лет назад? А чтобы полиция открывала теперь огонь по

пикетам забастовщиков, вы видели? Думаю, что нет! А я видел — и не сто лет назад, я еще не так стар, а всего тридцать. В двадцать пятом году!

— Однако активистов рабочего движения продолжают убивать и в пятьдесят пятом, — возразил Полуниин. — Сеньор Келли мог бы вам кое-что рассказать по этому поводу.

— Нынешнее положение в Аргентине нельзя считать нормальным!

— Вы можете поручиться, что такое же положение не сложится завтра в Уругвае — если здесь придет к власти другое правительство?

— Нет, не поручусь. В Южной Америке, амиго, ручаться нельзя ни за что. Но о сегодняшнем капитализме не стоит судить по тем формам, которые он подчас принимает в этих странах — отсталых индустриально и крайне нестабильных политически. В этом смысле более типичны те отношения между рабочими и предпринимателями, которые мы видим в таких, скажем, странах Западной Европы, как Англия, Франция, Швеция. Поверьте, там профсоюзные активисты ничем особенно не рискуют, а рабочие устраивают забастовки без всяких помех. Чаще всего, кстати, они добиваются своего.

— Да, обычно добиваются, — согласился Полуниин. — И это подсказывает мне главный аргумент против вашей теории «омоложения капитализма».

— Любопытно, — сказал Морено. — Наливайте себе вина.

— Спасибо... Мне нелегко с вами спорить, доктор: вы — юрист, а я так и остался недоучившимся студентом. Так уж вышло. Но я думаю... По-моему, дело вот в чем. Нынешний капитализм, как вы сами признаете, удерживается на плаву только ценой постоянных уступок. Поставим вопрос так: вы считаете, что все эти уступки — только на время?

— В каком смысле?

— Да вот взять хотя бы то же право на забастовку. Когда-то рабочие этого права не имели, теперь они его получили. Допускаете ли вы — в принципе — возможность того, что оно когда-нибудь будет аннулировано?

— Разумеется, нет. Я понимаю вашу мысль, дон Мигель; вы хотите сказать, что...

— Позвольте, я сформулирую сам. Мне кажется, что все это признаки не «второй молодости» капитализма, а — напротив — его упадка. Конечно, иногда разумные уступки и в самом деле укрепляют... Но когда сдаешь позицию за позицией, прекрасно зная, что никогда больше сюда не вернешься, — это уже не тактический маневр, это бегство, отступление... причем отступление стратегическое. Пожалуй, именно таким отступлением и представляется мне «новый курс капитализма». И никуда вам, доктор, от этого не деться. Это неизбежно.

Морено засмеялся и, взяв кочергу, снова наклонился к камину. Перегоревшее полено упало с решетки, взметнув рой золотых искр в черное жерло дымохода, и рассыпалось на быстро тускнеющие угли. Дон Хосе кочергой подгрел их под решетку и задумчиво сказал, глядя на огонь:

— Футурология, дон Мигель, — не мой конек... А вообще-то, конечно, я об этом думал. Готов признать, что мы и в самом деле отчасти сдаем позиции. Мои наследники, возможно, утратят даже ту ограниченную независимость в делах, которой я пока пользуюсь; государство будет осуществлять еще более жесткий контроль над действиями предпринимателей, будет забирать себе еще большую часть их прибылей и так далее. Я даже допускаю, что рано или поздно оно вообще приберет к рукам все мои предприятия. Ну что ж — если таков общий ход событий... и если это будет делаться постепенно, в каких-то законных формах... ничего не имею против! В конце концов Франция уже нацио-

нализировала более двадцати процентов своей промышленности — мир от этого не перевернулся...

— Он не перевернулся и после того, как у нас национализировали все сто.

— Ну, это для кого как,— хмыкнул Морено.— Видел я в свое время в Париже ваших эмигрантов... Жалкое зрелище. Вот чего я не хочу своим детям, понимаете? Чтобы их не выкинули завтра хорошим пинком в зад — пусть уж лучше я буду ладить со своими рабочими сегодня. И если когда-нибудь депутаты этих рабочих сумеют провести в парламенте закон о всеобщей национализации — пожалуйста! Я, скорее всего, буду голосовать против; но если пройдет их предложение — охотно подчинюсь.

— В общем,— сказал Полунин,— необходимость переустройства мира вы признаете, но предпочитаете, чтобы это делалось эволюционным, а не революционным путем.

— Да, да! Именно так,— с энтузиазмом подтвердил Морено.— И знаете почему? Когда есть время, я читаю исторические труды; почти все, что вы здесь видите,— он повернулся в кресле и обвел жестом книжные полки,— это история. Ну, кроме работ по юриспруденции. Поэтому кое-что мне известно...

5

— Французы? Дерьмо. Все до единого! Воевать не воевали — Гудериан прошел через Францию, как топор сквозь масло,— зато потом начали свинячить. Исподтишка, по-бандитски — как и положено неполноценной расе.

— Удивительно, что в ту войну они еще как-то дрались...

— В ту? Не говори глупостей, Карльхен!

— Виноват, герр оберст. Мне казалось...

— Тебе казалось, тебе казалось! Что ты вообще знаешь о той войне? Столько же, сколько и об этой.

— В этой я воевал, герр оберст,— обидчиво возразил Карльхен.

— Воевал! Ха! Три дня, если не ошибаюсь? Один выстрел из «панцерфауста» — и то промах. Промазать по «шерману» с дистанции в десять метров! Позор! И так, по поводу французов: в ту войну они дрались потому только, что не оставалось ничего другого. В Вердене боялись высунуть нос из-под земли; будь Дуомон и другие форты связаны с тылом подземными коммуникациями — не осталось бы ни одного солдата. На Марне Клемансо едва удержал собственный фронт заградительными отрядами из сенегальцев. Ясно? А эта война с самого начала приняла маневренный характер — они и побежали. Нет, французы — дерьмо, я тебе говорю. И женщины не лучше. Шлюхи все до единой. Но какие!

Сеньор Энрике Нобле, он же Гейнрих Кнобльмайер, бывший полковник вермахта, а ныне владелец автозаправочной станции, задумчиво покачал головой, предаваясь воспоминаниям — то ли горестным, то ли приятным.

— А другой, значит, итальянец? — спросил он после паузы. — Ничего себе! Итальянец, русский, француз — невообразимо мерзкая компания. Итальянцы, кстати, еще хуже французов — предатели по натуре. Это у них в крови. Роковая ошибка фюрера — поверил толстому борову Муссолини. Где только не предавали нас эти пожиратели макарон — майн готт, майн готт... Северная Африка! Эритрея! Сталинград! Неаполь! Нет, нет, об итальянцах не хочу и думать — повышается давление. Вот русские, представь себе, дело другое! Русские для нас — враг номер один, это верно; однако — заметь, Карльхен,— враг, которого

можно уважать, ибо он умеет драться. О! Что верно, то верно — всыпали нам так, как еще никто и никогда. Тебе здорово повезло, что ты три дня своей фронтовой жизни провел под Аахеном, а не где-нибудь на Одере. Там бы тебя, мой милый, не хватило и на три минуты! Скажу одно: никто из тех, кто провел всю войну на Западном фронте, не знает, что такое вторая мировая война.

— А таких, наверное, и не было,— заметил Карльхен, расставляя по полкам желтые жестянки моторного масла.— Их же все время пересыпали туда-сюда.

— Некоторым удалось отсидеться. Исключительные случаи, конечно! Я тебе говорю, только мы — солдаты Восточного фронта — видели истинный лик Беллоны. Поэтому к русским у меня отношение особое. Разумеется — как к врагам, это не требует уточнений... Впрочем, этот русский, может быть, даже и не враг. Ты говоришь — живет в Аргентине? Тогда, возможно, из тех, кто воевал на нашей стороне. Или из белогвардейцев. Да, Карльхен, русских мы недооценили... как противника, я хочу сказать. Это тоже роковая ошибка фюрера.

— Вас послушать, герр оберст, так фюрер только и делал, что ошибался.

— Фюрер был человек, не больше. Нельзя было так слепо ему доверять: простой ефрейтор — никакого представления о стратегии...

Тяжелый грузовик с двумя прицепами свернул с шоссе, выруливая к станции. Герр оберст оживился — наконец-то хоть один клиент за все утро!

— Если в баках у него пусто, такой возьмет не меньше пятисот литров,— сказал он мечтательно, стоя у окна и наблюдая за маневрами водителя.— Ты ему намекни, что дизельного топлива он дальше не найдет до самого Каакупе. И обрати внимание — правая верхняя мигалка у него не горит. Скажи, что у нас гарантированные лампочки фирмы «Бош»!

Клиент, увы, оказался не из выгодных — газойля взял всего девяносто литров, от предложения заменить лампочку в верхнем указателе поворота отказался. Нижний, мол, мигает, и ладно. Зато проклятый индеец-унтерменш не упустил случая попользоваться даровым сервисом: долил воды в радиатор, под самую пробку заполнил запасные водяные баки, подкачал несколько скатов; компрессор работал не меньше десяти минут — тоже прямой убыток.

— Мерзость,— энергично сказал герр оберст.— Всегда говорил — чернозадые должны жить в резервациях. Карльхен! Немедленно свяжись с ближайшим постом дорожной жандармерии. Скажи, что у сукиного сына не работает верхний сигнал правого поворота — пусть-ка ему воткнут хороший штраф...

Несколько минут он сидел молча, барабанил пальцами по столу нечто вроде Баденвейлер-марша и уныло глядя в окно. Там был все тот же осточертевший вид: заправочные колонки — желтая «Шелл», зеленая «Тексако», голубая «ИПФ», пустынное шоссе, гнусная тропическая зелень. Словом, Парагвай во всей прелести. По шоссе на ржавом велосипеде с вихляющим передним колесом медленно ехала толстая индианка с сигарой во рту и огромным тюком поклажи на голове. Кнобльмайер зажмурился от глубочайшего отвращения.

— Непонятно,— сказал он Карльхену, когда велосипедистка скрылась из виду,—какого черта притащилась сюда эта экспедиция? И главное — что делает немка в столь омерзительной компании. Ты уверен, что это действительно немка?

— Так точно, герр оберст, я ведь с ней разговаривал.

— И что выяснил?

— Они тут что-то будут изучать. Народные обычаи, что ли, я не очень понял. А девушка — настоящая немка, герр оберст.

Скрытое всодушевление, прозвучавшее в последней фразе, заставило полковника поинтересоваться:

— Хороша собой?

— По-моему, да, герр оберст. Впрочем, после этих мулаток любая европейская женщина кажется красавицей,— рассудительно добавил Карл.

— Ты прав! И заметь странную вещь: немка, которая родилась здесь, не идет ни в какое сравнение с уроженками фатерланда. Помню, у нас дома девушка в шестнадцать лет — кровь с молоком, кругленькая вся, крепкая — не ущипнешь... А здешние — возьми хотя бы в Колонии Гарай — все какие-то худосочные; хотя и от хороших родителей, без капли туземной крови. Климат, надо полагать. Так эта, говоришь, хороша? Да, давно я не видел настоящей германской девушки — со свежим цветом лица, с косами...

— У этой, герр оберст, кос нету. Прическа короткая, к тому же очки. Кнобльмайер разочарованно фыркнул.

— Ну, какая же это немка — без кос. Проклятые янки добрались уже и до нашей молодежи. Граубе в прошлом году летал в Федеративную Республику — нет, говорит, больше старой доброй Германии: повсюду гангстерские фильмы, кока-кола, публика одета, как цирковые обезьяны... Карльхен, внимание: новый «бьюнк» — этот будет заправляться супер-экстрой...

Большая открытая машина величественно развернулась и замерла у колонки, качнувшись на рессорах. Карльхен кинулся к двери, надевая полосатое кепи с эмблемой «Эссо».

— Мотор прослушай! — крикнул ему вслед полковник. — Скажи — свечи ни к черту, нужно менять все!

Карльхен вставил шланг в горловину бака и, пока урчащая помпа перекачивала высокооктановый бензин в ненасытную утробу трехсот-сильного конвертибля, успел протереть замшей ветровое стекло и проверить давление во всех шинах. Свечи хозяин «бьюнка» менять не захотел, сказав, что торопится, но согласился взять про запас и купил целый комплект — восемь штук — самой дорогой марки «Чемпион».

— Это клиент! — удовлетворенно сказал герр оберст, убирая выручку в кассу. — Надо полагать — из Асунсьона. Машина стоит не меньше четырехсот тысяч.

— Если не больше по новому курсу. Доллар дошел уже до семидесяти гуаранí. А девочка с ним была ничего, правда, герр оберст? Ничего, хотя и метиска.

— От метисок меня уже с души воротит — видеть не могу. Мерзость! Нужно будет, чтобы ты познакомил меня с этой немкой из экспедиции. Молодая?

— Лет двадцать, я думаю...

— Да, мне уже не по зубам. Не имел, впрочем, в виду ничего серьезного — просто поболтать с соотечественницей. Давно она из Германии?

— Сразу после войны. Жила где-то не то в Голландии, не то в Бельгии, я не разобрал. С позволения господина оберста — у нашего «форда» следует прокачать тормоза, педаль немного пружинит.

— Согласен, можешь выполнять!

Карл вышел и стал звать мальчишку-помощника. Герр Кнобльмайер, выставив круглый живот и поигрывая сцепленными за спиной пальцами, прошелся по комнатке, постоял перед рекламными плакатами, вдумчиво сравнивая двух голых красоток — брюнетку и блондинку, потом строго оглядел полку с расставленными Карльхеном банками. Вид строя ему чрезвычайно не понравился. Из парня не будет толку — не умеет сделать даже такой простой вещи. Сколько раз объяснял банкам надлежит стоять совершенно ровной шеренгой и каждая долж-

на быть повернута лицевой стороной вперед — дабы фирменная марка находилась точно на середине каждого цилиндра, подобно кокарде на лбу солдата. А это что такое? Невиданное свинство!

Пыхтя от возмущения, герр оберст принялся поворачивать и двигать банки, время от времени проверяя результаты своих трудов при помощи деревянной рейки. Наконец банки выстроились как надо — приложенная вплотную рейка касалась каждой и была строго параллельна краю полки. И фирменные знаки с надписями тоже выровнялись в безупречную шеренгу — ШЕЛЛ мотор-ойл, ШЕЛЛ мотор-ойл, ШЕЛЛ! Мотор-ойл! ШЕЛЛ! Мотор-ойл! Первый! Второй! Первый! Второй!

Выпятив обтянутый комбинезоном зад, полковник Кнобльмайер приложился щекой к полке и зажмурил левый глаз. Да, теперь строй был хорош. Довольный собой, полковник еще раз строго оглядел банки и упругим строевым шагом, наигрывая губами Баденвейлерский марш, отправился распекать Карльхена.

— «...Парагвай, таким образом,— единственная в Южной Америке страна, где население говорит на двух языках. Хотя официальным является испанский — или кастильский, как его называют сами испанцы,— не менее восьмидесяти процентов парагвайцев пользуются в повседневной жизни мелодичным языком своих предков — гуаранí...»

Астрид допечатала слово и, обернувшись к Филиппу, пальцем поправила съехавшие на нос очки.

— Откуда вы взяли этот процент — восемьдесят?

— Не все ли равно откуда. Дальше! Абзац. «Обязанный своим происхождением древнему праязыку тупí — этому санскриту Южной Америки...»

Астрид, продолжая быстро печатать, хихикнула и покрутила головой.

— Ну, что вам еще не нравится? — вздохнул Филипп.

— Напротив, мэтр, я подавлена вашей эрудицией... «санскриту Южной Америки» — дальше? И подумать только, что все это надергано из путеводителей...

— Не сбивайте меня с мысли! — сердито сказал Филипп. Он диктовал, расхаживая по комнате из угла в угол и то и дело поглядывая на маленькую дорожную «оливетти», которую Астрид по своему дурацкому обыкновению держала на коленях. Печатала она быстро, машинка стрекотала и раскачивалась, а в конце каждой строчки выдвинувшаяся до отказа каретка перевешивала и кренила ее так, что Астрид всякий раз приходилось спасать равновесие, приподнимая левое колено.

Колено, круглое и загорелое, само по себе смотрелось неплохо, но вид этот отвлекал Филиппа; этот вид и еще навязчивая мысль о том, что «оливетти» вот-вот грохнется наконец на пол. Продиктовав еще несколько фраз, он не выдержал.

— Послушайте, черт возьми, неужели нельзя поставить машинку на стол и работать по-человечески?

Астрид отрицательно мотнула головой.

— Так удобнее, — сказала она. — Стол слишком высокий. «С середины тридцатых годов» — дальше?

— «...пьесы на гуаранí прочно завоевывают себе место в репертуаре парагвайских театров. Хулио Корреа — глубокий знаток народного быта, как немногие понимающий душу простого парагвайца. Пьесы Корреа — «Иби-Яра́» («Кровопийца»), «Карай Эулохио» («Господин Эулохио») — до сих пор исполняются бродячими труппами в самых глухих уголках страны...»

— Погодите, — сказала Астрид. — Я тут, кажется, что-то напутала...

Они проработали еще с полчаса, пока не дотянули очерк до нужного объема. «В нашем следующем «Письме из сельвы»,—отстрекотала Астрид с пулеметной скоростью,—мы расскажем вам, дорогие читатели...»

— Так о чем мы будем рассказывать в следующем письме? — спросила она. — Давайте про пауков-птицеедов! Я вчера видела вот такого — сидел у меня на оконной сетке, — одно брюхо как два моих кулака, и весь в рыжей шерсти, бр-р-р...

— Мы все-таки этнографы, а не энтомологи. Напишите, м-м-м, ну хотя бы... о ритуальных танцах племени тупиру́.

— А оно действительно существует? Если вы имеете в виду тапиров, то это не совсем то, — ехидно сказала Астрид.

— Идите к черту... Нет, мне где-то попадалось это название — именно «тупиру́». Но нужно проверить, вы правы. На следующей неделе поезжайте-ка в Асунсьон и побывайте в музеях — «Историко-насыональ», что в парке Кабальеро, и еще в «Сьенсиас натуралес» — в Ботаническом саду. Возьмите с собой тетрадку и запишите все, что сможете узнать о местных племенах.

— Чтоб мне лопнуть, — сказала Астрид. — Ничего себе задание! А если нам съездить вместе? Мсье Маду — дама вас приглашает....

— Нет, поедете сами, — непреклонно сказал Филипп.

Надувшись, Астрид достучала заманчивое обещание рассказать о ритуальных танцах, потом подпись: «Ф. Маду, ваш специальный корреспондент в Южной Америке». Выдернув лист, она бросила его к уже напечатанному и сунула машинку в футляр.

— Ну что ж, — сказал Филипп, пробегая глазами последнюю страницу очерка. — По-моему, получилось вполне убедительно... Я сейчас посмотрю, готовы ли у Дино отпечатки, и вы тогда поезжайте на почту, хорошо?

— Только если дадите джип, на велосипеде я туда больше не ездук.

— Ладно, поезжайте на джипе, — нехотя согласился Филипп. Старый вездеход, который они смогли взять напрокат благодаря щедрости доктора Морено, был теперь для него дополнительным источником забот и тревог — особенно с тех пор, как выяснилось, что и у Астрид тоже есть международные водительские права.

— Не гоните как сумасшедшая! — крикнул он с крыльца, когда Астрид, взяв пакет с очерком и фотографиями, забралась в машину.

Она, не оборачиваясь, помахала рукой и выехала из ворот. Гнать она не собиралась — по этим дорогам особенно не разгонишься, да и спешить было некуда. Сразу за остройей начинался лес диких апельсинов — грунтовая дорога, изрытая глубокими колеями кирпично-красного цвета, вбежала в него, как в зеленый туннель. Впрочем, лес был не особенно густ. Ничего похожего на южноамериканскую сельву, как обычно представляют ее себе европейцы. Солнце пестрило красную дорогу, иногда по тонким ветвям проносился порыв легкого ветра, хорошо пахло свежестью, доносился особый, терпковатый запах цитрусовых деревьев. Пыли не было — утром прошел небольшой дождь. В Парагвай они приехали в самое удачное время: осенью и в начале зимы здесь стоит мягкая, теплая и очень устойчивая погода. Летом в этих субтропиках несладко, даже местные жители жалуются на ливни и невыносимую жару в январе-феврале.

А сейчас здесь было чудесно. Астрид совсем сбавила ход и едва прикасалась к педали газа — только чтобы не заглох мотор. Джип лениво катился, поскрипывая и переваливаясь на ухабах, и именно такая неспешная езда по узкой лесной дороге доставляла Астрид радость. Все-таки удивительная страна, просто удивительная...

Такая природа, и безлюдье, и полное отсутствие цивилизации — это же великолепно! И как сами парагвайцы этого не понимают? Асунсь-

он — единственная в мире столица, где нет ни канализации, ни водопровода; но это и прекрасно, а где еще увидишь такое? В столичном отеле нужно идти умываться в особую комнату, где тебя ждет служанка с кувшином воды. А ванну наполняют ведрами! Очаровательно.

Мотор наконец заглох. Астрид потянулась было к стартерной кнопке, но раздумала. Почта никуда не денется. Она выпрыгнула из машины, подошла к молодому деревцу, тряхнула. Несколько капель влаги, еще не просохшей после утреннего дождя, упали на ее запрокинутое лицо. Она счастливо засмеялась и стала трясти стволы сильнее. Эти деревья совсем не походили на те, что она видела в апельсиновых садах Южной Италии; там они невысокие, крепкие, густые, сплошь усыпанные золотыми плодами, а здесь — какие-то растрепанные, беспорядочно разросшиеся, с редкими ветвями. И апельсинов на них не так много, лишь кое-где висят большие желтовато-зеленые шары. Один валялся под соседним деревом — крепкий, совсем свежий, видно, только что свалился. Запах был великолепный, но есть дикий апельсин оказалось невозможно — горько-кислый, он обжигал губы едким соком.

Астрид с сожалением бросила несъедобный плод. Она уже возвращалась к дороге, когда до ее слуха донесся приближающийся шум мотора. Она остановилась, прислушалась. Впереди из-за поворота показалась небольшая черная машина.

Подъехав ближе, старый, довоенного выпуска «форд-8» резко затормозил. На дорогу вышли двое. Одного Астрид узнала сразу: молодой немец с заправочной станции, с которым она познакомилась неделю назад.

— Фройляйн Армгард! — крикнул Карл. — Что-нибудь с мотором?

— Нет, спасибо, все в порядке, я просто остановилась посмотреть на апельсины...

— Фройляйн, это господин Кнобльмайер, владелец станции, я ему о вас говорил.

Краснолицый толстяк с усиками а-ля Гитлер — только пшеничного цвета — приблизился к Астрид и щелкнул каблуками сапог.

— Фройляйн! — рявкнул он квакающим прусским говором. — Крайне рад! Увидеть соотечественницу здесь — гнуснейшие места, слово солдата, — неслыханная удача! Полковник Кнобльмайер — ваш слуга!

— Ах, майн либер оберст, — пролепетала Астрид, сделав добрый старогерманский книксен. — После стольких лет услышать настоящий берлинский акцент... Но почему вы говорите — «увидеть соотечественницу»? Вы ведь здесь не единственный немец, я хочу сказать — вы и господин Карл? Я слышала, в этих местах много наших...

— О, да! Разумеется! Есть целая колония — изгнанники, старые, заслуженные борцы, чрезвычайно печальная судьба.

— Увы, господин полковник, — Астрид вздохнула, — я ведь в некотором роде тоже изгнанница. Нет, нет, не хочу сравнивать — вы понимаете... Ваше изгнание можно рассматривать как своего рода почетное — во всяком случае, могу утверждать, что именно так о вас думают в фатерланде...

Эти ее слова произвели действие самое неожиданное. Сжатые губы толстого оберста под пшеничными усиками стали вдруг как-то странно кривиться, а физиономия побагровела еще больше. Быстро заморгав, Кнобльмайер выхватил из кармана бриджей платок.

— Прошу прощения! Мы, немцы, чувствительны — национальная слабость, если о таковой можно говорить. К тому же нервы — три года на Восточном фронте, до самого конца, кончил воевать на Эльбе, едва успел прорваться к американцам с остатками моего батальона, прошу прощения!

— Ах, ну что вы, это я виновата, я не должна была вызывать столь тяжелые воспоминания... Право, я такая бестактная. Но вы должны

извинить меня, милый господин полковник, когда девушка так долго живет среди всяких иностранцев — это, вероятно, не может не сказаться на ее воспитании... также и на акценте. Вы замечаете, как ужасно я говорю?

— Нисколько! Нисколько! Чувствуется влияние нижнерейнского диалекта — не больше. Вы, я слышал, после войны жили в Голландии?

— В Бельгии, господин полковник. Мой отец пропал без вести на Западном фронте, — печально сказала Астрид. — Я поехала, надеялась что-нибудь узнать... и застряла. Знаете, все эти оккупационные власти... — Она сделала паузу, пытаясь вспомнить, что рассказывала Карлу неделю назад; с этим вечным враньем запутаешься ведь в два счета. — Какое-то разрешение оказалось просроченным или выданным не по форме, я уж не помню. Так я и застряла в Антверпене...

— И ничего не узнали про отца? — сочувственно поинтересовался Кнобльмайер.

— Ничего совершенно. Собственно, я поступила на работу в эту экспедицию только для того, чтобы поездить по странам, где много немецких эмигрантов. — Астрид почувствовала настоящее вдохновение, врать так уж врать! — Вдруг встречу случайно кого-нибудь из папиных сослуживцев...

— Разумно, — одобрил полковник. — Весьма разумно! Экспедиция пробудет здесь еще долго?

— Трудно сказать, господин Кнобльмайер, это ведь зависит от шефа.

— Если не ошибаюсь — француз?

— Да. Но вполне приличный человек... как ни странно.

— Ха-ха-ха, — благодушно проквакал Кнобльмайер. — Это действительно странно — вы правы! Чем, собственно, они занимаются?

— Ах, боже мой, такими глупостями! — Астрид сделала гримаску. — Фотографируют разных дикарей, записывают их песни, музыку... Не понимаю, кому это надо — изучать этих унтерменшей.

— Таким же унтерменшам и надо, ха-ха-ха! Что касается вашего отца, фройляйн... прошу прощения?

— Армгард. Армгард фон Штейнхауфен.

— Что касается вашего отца, фройляйн Армгард, то мы наведем справки. Всегда к вашим услугам! Буду также рад представить вас некоторым господам из нашей местной колонии — избранный круг! В этом вы можете быть совершенно уверены — только избранный!

— Такая честь для меня, господин полковник, — скромно сказала Астрид. — Я ее, конечно, не заслуживаю, но... возможность познакомиться с соотечественниками на чужбине — это слишком большая радость, чтобы я могла отказаться. А сейчас мне придется вас покинуть, я еду на почту...

— Не смею задерживать! Дорогая фройляйн Армгард, на станции всегда кто-то есть — либо я сам, либо Карльхен; что бы от нас ни понадобилось, не стесняйтесь обращаться — буду только рад. Фройляйн, честь имею!

— До свидания, мой милый полковник, — нежно проворковала она, забираясь в джип.

Возвращаясь с почты, Астрид гнала на полном газу — сбавила скорость, только подъезжая к остерии, вовремя вспомнив запрет шефа.

— Послушайте! — закричала она, влетев в комнату. — Вы не поверите, какая у меня удача!

Помещение, которое занимали мужчины, было типичным для этих старых построек колониальной эпохи — пол из красных выщербленных кирпичей, небольшие зарешеченные окошки в нишах необычайной глубины (глинобитные стены были толщиной в метр), источенный термитами дощатый потолок, с которого постоянно сыпалась какая-то труха.

Три казарменные койки, покосившийся шкаф и стол посредине составляли всю обстановку, если не считать нескольких стульев с плетеными из камыша сиденьями. В углу был свален экспедиционный багаж, лежали запасные покрышки к джипу и висели три карабина в промасленных брезентовых чехлах.

Филипп лежал на своей койке, читая очередной путеводитель. Когда вбежала Астрид, он сел. Полуниин, который работал за столом, отложил паяльник, взял с пепельницы дымящуюся сигарету и тоже вопросительно посмотрел на девушку.

— А Фалаччи где? — спросила она.

— Пошел удить. Так что у вас случилось?

— О, Филипп, вы должны меня поцеловать, честное слово! Я только что познакомилась с одним жирным мофом¹ — и так его очаровала, что он обещал ввести меня в избранный круг изгнанников. Повторяю его собственные слова! Слушайте, но какой я оказалась актрисой!

— Ну, ну, поменьше хвастовства, и давайте выкладывайте все по порядку, — нетерпеливо прервал Филипп.

Астрид передала весь разговор с Кнобльмайером, стараясь не упустить ни одной детали. Рассказывая, она ходила по комнате, жестикуюлировала, потом как бы невзначай очутилась возле койки Филиппа и села рядом с ним.

— ...Ну, и после этого мы очень мило распрощались, я съездила на почту и примчалась сюда. Что скажете? Мсье, я жду награды... — Она прижалась к нему плечом и закрыла глаза.

Филипп засмеялся, шутливо обнял ее и, поцеловав в щеку, поднялся.

— Bravo, Астрид, вы действительно молодец...

«Чего никак не скажешь о вас», — со вздохом подумала Астрид и от души пожелала недогадливому Мишелю провалиться как можно глубже со своим паяльником и своей канифолью.

— Ладно, пойду мыться, — сказала Астрид. — Обед скоро?

— Узнайте, пожалуйста, у хозяйки. Дино должен сейчас вернуться...

Когда Астрид ушла, Полуниин выдернул вилку паяльника и стал собирать свое хозяйство в большую коробку из-под сигар.

— А ты, пожалуй, был прав, — сказал он задумчиво. — Она и в самом деле может оказаться полезной...

— Что? — переспросил Филипп. Он не слышал, что сказал Мишель. Мысли его, точнее, ощущения были сейчас заняты другим, на его губах держался еще вкус этого шутливого поцелуя — мимолетное прикосновение теплой упругой щеки, от которой пахло солнцем, дорожной пылью и немного бензином. В сущности, хорошенькая ведь девчонка — странно, что раньше он этого не замечал...

— Я говорю — это ее знакомство с немцем... Может, его как-то использовать?

— Ты считаешь, ей следует поехать? — спросил Филипп.

— Ну, ехать-то, может, и не следует...

— А почему бы, собственно? Насчет пропавшего отца она здорово придумала — это отличный предлог, чтобы выпрашивать...

— Не знаю, — неуверенно сказал Полуниин. — Еще ляпнет что-нибудь. Ладно, придет Дино — посоветуемся. Конечно, если бы удалось разыскать хотя бы одного из служивших с Дитмаром...

— Еще бы! У бошей культ «фронтového товарищества», они все держатся друг друга. Тут только зацепить, а дальше ниточка потянется...

¹ Мофы — презрительная кличка немцев во Фландрии.

Через три дня Астрид съездила на заправочную станцию, благо нашелся предлог: в джипе пора было сменить масло. Хорошо проинструктированная, она рассказала Кнобльмайеру, что ее «фатти» служил в 709-й пехотной дивизии, которая накануне вторжения англо-американцев была где-то в Нормандии; вот если бы удалось отыскать хоть одного офицера из этой дивизии, хотя бы какой-то след... Кнобльмайер заверил ее, что приложит все усилия — непременно. Святой долг перед дочерью солдата! Это было в четверг, а в пятницу утром в остерию явился Карльхен — привез от шефа записочку. Герр оберст в изысканных выражениях напоминал фройляйн Армгард о своем обещании ввести ее в избранный круг изгнанников и просил ответить через подателя сего — свободен ли у нее субботний вечер. Астрид тут же написала, что возможность встретиться с соотечественниками переполняет ее сердце истинно германской радостью.

Кнобльмайер приехал за ней в субботу перед вечером. Филипп и Дино курили на веранде, когда надраенный до черно-зеркального блеска «форд-8» подкатил к остерии и замер точно напротив крыльца. Молодой светловолосый водитель выскочил из-за руля и распахнул заднюю дверь, откуда не спеша появился и ступил на землю высокий сапог немецкого офицерского образца, а следом за сапогом выбрался и его обладатель. Поднявшись на крыльцо, Кнобльмайер сдержанно поздоровался, сказал что-то насчет жаркой погоды.

— Сеньорита Армгард сейчас выйдет, — сказал Филипп. — Вероятно, еще одевается.

— Спасибо, я подожду, — отрывисто буркнул немец. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке — постоял в нерешительности, потом сцепил пальцы за спиной и принялся вышагивать по веранде взад и вперед. На нем были бриджи офицерского покроя, сшитые из тропикаля песочного цвета, того же материала пиджак с черно-бело-красной ленточкой Железного креста в петлице и зеленая тирольская шляпа с узкими полями, украшенная фазаньим пером.

Астрид тем временем получала в своей комнате окончательный инструктаж.

— Предположим, вас спросят — откуда вы знаете, что ваш отец был в Нормандии летом сорок четвертого года? — спросил Полуни.

— Как это откуда! Из письма, последнее письмо пришло из Руана.

— Опять ошибка. На письмах полевой почты обратный адрес не указывался, а все географические названия в тексте вымарывала цензура. Дислокацию дивизии вы могли узнать из письма только в том случае, если оно было доставлено не по почте. Ну, скажем, кто-то ехал в отпуск — ваш отец мог попросить зайти, передать посылочку, письмо. Это делалось часто.

— Ладно, так и скажу — приезжал кто-то из его сослуживцев.

— Номер дивизии не перепутаете?

— Семьсот девятая пехотная! — отчеканила Астрид.

— Верно. Военское звание отца?

— Всего-навсего лейтенант. Повыше нельзя?

— Нет, не нужно. Лейтенанту легче было пройти незамеченным. Бывают ведь самые нелепые случайности — вдруг вы нарветесь тут же на кого-нибудь; кто служил в этой именно дивизии? Полковники, майоры — они все-таки больше на виду, даже капитаны; а лейтенанты менялись так часто, что теперь никто уже не вспомнит: был там какой-то фон Штейнхауфен или такого в списках не числилось. Тем более, что ни номера батальона, ни даже номера полка вы не знаете; а дивизия — хозяйство обширное, там за каждым не уследишь...

— Предположим, мне назовут кого-нибудь, кто там служил?

— Вы очень обрадуетесь, запишете адрес и скажете, что непременно с ним повидаетесь, чтобы расспросить о судьбе отца.

— И больше ничего?

— По этой линии — ничего. А вообще держите глаза и уши хорошо открытыми. Если в разговорах будут упоминать другие колонии — постарайтесь запомнить, где они расположены.

— Ну, если полагаться на мою память... — Астрид еще раз внимательно оглядела себя в зеркале, взялась было за губную помаду и тут же ее отложила. — Черт! Совсем забыла, что германской девушке краситься не пристало. Слушайте, Мишель, а если потихоньку записывать на салфетке?

— Вы с ума сошли.

— Шучу, шучу. Не такая уж я дура! Как мой туалет?

— Сойдет, — улыбнулся Полуни.

— Нет, все-таки вы, русские, потрясающий народ — даже комплимента сделать не умеете... Ну, я побежала!

— Желаю успеха, Астрид. Главное, не волнуйтесь и держите себя естественно. Пить, надеюсь, не будете?

— Ах, что вы, — пролепетала Астрид, — разве что глоток доброго старого рейнвейна...

На веранде ей вдруг стало страшно — когда она небрежным кивком простилась с Филиппом и Дино и в сопровождении восторженно пыхтящего Кнобльмайера направилась к машине. Отвыкнув от высоких каблучков, она шла мелкими неуверенными шажками, раскачивая шуршащими фалдами широкой юбки из тафты, и мысли ее были так же нетверды. Собственно, она свалила дурака, согласившись ехать к этим проклятым мофам. Тоже, разведчица нашлась! Так все спокойно было в Монтевидео — черт ее понес...

Полуни тоже вышел на веранду. Все трое молча проводили взглядами облако красноватой пыли.

— Может, не стоило ее посылать? — сказал Филипп.

— Ничего, — отозвался Полуни. — Вдруг что-нибудь да узнает.

— А ведь в ней что-то есть, — заметил Дино глубокомысленно. — Смотрите: стоило только одеться, сделать прическу — и откуда что взялось. Конечно — с нами тут ходит чучело чучелом.

— Ну-ну, потише, — сказал Филипп, — я тебе дам «чучело»...

Вернулась Астрид во втором часу ночи. В комнате мужчин было накурено до синевы, на столе валялись разбросанные карты, стояла наполовину опорожненная бутылка дешевого аргентинского коньяка.

— Хороши! — сказала она. — Отправили беззащитное создание в звериное логово, а сами вот чем занимаются. Фил, налейте-ка и мне — я должна снять нервное напряжение. Окна хоть бы раскрыли!

— Окна раскрыты, просто нет ветра и ничего не вытягивает. Ну, рассказывайте, как дела, — поторопил Филипп, доставая из шкафа четвертый стакан.

— Что это вообще за публика? — спросил Полуни.

— А... — Она пренебрежительно махнула рукой. — Вы когда-нибудь видели немецкое застолье? Ну, а я насмотрелась еще там. Здесь то же самое... Ох, спасибо, Фил... Прóзит, майне герршафтен! — Она отхлебнула слишком лихо, закашлялась, помотала головой. — Бр-р-р, ну и гадость. В общем, ничего особенно интересного — ели, пили, делились воспоминаниями: как кто-то, уезжая в отпуск, ловко «организовал» поросенка и ухитрился довести до дому, а кто-то безуспешно пытался приударить за сестричкой в фельдлазарете, ну и тому подобное. Потом пели песни. Знаете, как поют немцы за столом? Все сцепляются локтями — вот так — и раскачиваются в такт всей шеренгой. «Хорста Весселя», впрочем, не пели. «Лили Марлен», «Эрика», «Родина, твои звезды» — все в таком духе. Насчет других колоний выяснить ничего не удалось, хотя я и держала уши хорошо открытыми. — Астрид

подмигнула Полунину и снова приложила к своему стакану.— Словом, можно было и не ездить.

— А как насчет сослуживцев вашего папы?— поинтересовался Филипп.

Астрид рассмеялась.

— Да, вот с этим я подзалетела! Можете себе представить — один ведь и в самом деле нашелся...

— Почему же «подзалетела»?

— Да потому, что этот сукин сын живет черт знает где — в Чако Бореаль, чуть ли не у боливийской границы! Мне даже показали на карте — туда, говорят, только на вертолете можно добраться...

— Как его зовут?— спросил Полунин.

— Лернер, что ли... у меня записано. Да, капитан Лернер.

Филипп встал из-за стола, принес крупномасштабную карту Парагвая и развернул перед Астрид.

— Покажите-ка, где это.

— Минутку... Так... Марискаль Эстигарривия, правильно... Где-то здесь — в эту сторону, на северо-запад. Это лесоразработки компании «Ля Форесталь Нороэсте» — Лернер заведует факторией, там и живет. Нет, но представляете теперь мое положение? Не поехать нельзя — сразу поймут, что никакого пропавшего папочку я не разыскиваю; а тащиться в такую даль только для отвода глаз...

— Туда что, действительно не доехать?— спросил Полунин, разглядывая карту вместе со всеми.

— Да нет, добраться-то можно, но, говорят, там практически нет дорог, словом, настоящая сельва...

— Вот и прекрасно, посмотрим настоящую сельву,— сказал Филипп.

— Фил, вы обалдели — не нужно было пить эту дрянь. Ничего страшного, сейчас я скажу, что меня не отпускают с работы, а когда будем отсюда уезжать — сделаю вид, будто еду к Лернеру. Не станут же они проверять, была я у него или нет!

— Посмотрим,— неопределенно отозвался Филипп.

— Да тут и смотреть нечего... — Астрид зевнула. — Прошу прощения — все-таки я устала за этот дурацкий день. Может, завтра вспомню еще что-нибудь, а сейчас пойду спать. Фил, проводите меня, а то еще с пьяных глаз попаду в чужой номер...

Филипп проводил ее. У себя в комнате Астрид лихо зашвырнула туфли — одну в угол, другую на шкаф, — потом повернулась спиной к Филиппу и подняла руки.

— Расстегните эту проклятую молнию и помогите снять платье, мне самой не справиться...

Филипп исполнил и эту просьбу.

— Как у вас ловко получилось,— одобрила Астрид, выпутывая руки из шуршащей тафты. — Валяйте дальше.

— Простите?

— Я что, по-вашему, должна спать во всей этой сбреу?

— Зачем же. Переоденьтесь в пижаму. Покойной ночи, Ри.

— Скажите, мсье Маду,— светским тоном спросила Астрид, отстегивая чулок, — среди ваших предков были гугеноты?

— Гугеноты? — Филипп удивился. — Понятия не имею. А что?

— Да нет, просто я начинаю понимать Гизов. Проваливайте, пока я вам тут не устроила Варфоломеевскую ночь...

6

Погода начала портиться, едва они выехали из Марискаля. Впрочем, дорога была пока вполне приличной, и джип с подключенным передним мостом уверенно преодолевал подъем за подъемом. Ветровое

стекло покрылось вдруг водяным бисером, первые капли дождя за-
случали по тенту — сперва редкие, потом все чаще и громче. Через де-
сять минут вокруг уже бушевал тропический ливень.

— Это ненадолго, — со своим всегдашним оптимизмом объявил Ди-
но, сидевший за рулем. — В низких широтах темперамент распространя-
ется даже на атмосферные явления... бам, бам — и готово!

Ливень, однако, и не думал стихать. Когда джип выезжал на более
открытые места, можно было видеть, что небо сплошь затянулось низ-
кими тучами. Тусклая завеса дождя, мешаясь с парным туманом, ско-
ро ограничила видимость несколькими десятками метров, а дорога
между тем становилась все хуже и хуже. В сущности, это была теперь
извилистая и полузаросшая тропа, по которой их вездеход буквально
продирался, ломая еще ниже пригнувшиеся под дождем ветви и обры-
вая лианы.

Дино — и тот помрачнел. Он то и дело поглядывал то на часы, то
на счетчик спидометра, ругаясь все более трагическим шепотом: за час
они не проехали и десяти миль. Вскарабкавшись на очередной увал,
он загнал джип под какое-то растение вроде высокого банана — широ-
кие листья представляли некоторую защиту от низвергающихся сверху
водопадов — и выключил мотор. Ураганный шум ливня сразу показался
еще более устрашающим. Дино перелез через спинку своего сиденья и
присоединился к остальным, которые сидели сзади, как цыгане, на
ящиках и тюках экспедиционного имущества. Все были подавлены —
путешествие в Чako Бореаль оказалось более трудным, чем можно бы-
ло предположить. Они были в пути уже пятый день.

— Вот сволочь, — уныло сказал Дино, глядя на дорогу. Та уже
превратилась в кипящий под ливнем ручей глинистого цвета, в котором
крутились и мчались сломанные ветки и листья. — Так можно и за-
стрять, даже с нашим трактором...

— А я говорила — не нужно было ехать, — сказала Астрид. — Более
дурацкой затеи не придумать — тащиться на край света только для
того, чтобы приехать и услышать «нет, такого не знаю»...

— А если услышите «да, знаю»? — спросил Филипп.

Астрид уставилась на него изумленно.

— Что вы хотите сказать?

— То, что свидание с Лернером может оказаться вовсе не таким
бессмысленным, как вам кажется.

— Великолпно! — Астрид рассмеялась. — Фил, вы мне напоминаете
лжеца из восточной притчи, который врал всем направо и налево, пока
не кончил тем, что сам поверил в собственное вранье. Скоро и вы по-
верите, что меня зовут Армгард фон Штейнхауфен и я разыскиваю сво-
его бедного пропавшего паточку...

— Я бы не отказался от кофе, — сказал Полунин.

— Да и сигареты нужно достать, — добавил Филипп. — Ри, вы там
поближе...

Астрид порылась в поклаже, на которой сидела, и извлекла термос
с кофе и запаянную жестянку сигарет.

— Вот и пригодилась тропическая упаковка, — сказал Филипп,
вскрывая банку. — Помните, парни, мы эти штуки впервые увидели
у американцев, в сорок четвертом... еще удивлялись — консервирован-
ное курице. Оказывается, то делали для тихоокеанского фронта.

— Гнусная штука тропики. — Дино поежился. — Человек чувству-
ет себя каким-то ничтожеством...

— Правда? — подхватила Астрид. — Вы тоже заметили? У меня
еще позавчера появилось это ощущение. Действительно, в тропической
природе есть что-то подавляющее... Я теперь понимаю, почему служа-
щие колониальной администрации в конце концов спиваются, рано или
поздно. Я в Бельгии знала людей, которые долго работали в Конго.

— Есть еще и такая штука, как ностальгия, — заметил Полунин.
— А, глупости, — возразила Астрид. — Все это выдумки. Никогда не испытывала этой дурацкой ностальгии, да и не видела, чтобы другие от нее страдали...

Они допили кофе, закурили. Полунин попытался настроить рацию, но не смог поймать ничего, кроме свиста и треска атмосферных разрядов.

— Может, все-таки вернемся? — предложила Астрид. — Теперь я могу со спокойной совестью сказать оберсту, что до Лернера мы добраться не сумели и что он был прав: здесь нужен вертолет.

— При чем тут он, — сказал Филипп. — Мы сюда поехали вовсе не из-за этого толстого идиота... И не для того, чтобы сделать вашу выдумку про отца более правдоподобной. Нам действительно нужно побывать у капитана Лернера и попытаться выяснить, не известно ли ему теперешнее местопребывание одного из его сослуживцев по семьсот девятой дивизии, обер-лейтенанта...

— Знаю, знаю, фон Штейнхауфена! Нет, вы и в самом деле рехнулись...

— Дитмара, а не Штейнхауфена, — спокойно поправил Филипп. — Обер-лейтенанта Густава Дитмара.

— Кого, кого? — переспросила Астрид. — Что это еще за Густав Дитмар?

— А это тот самый тип, ради которого мы и таскаемся по Южной Америке. Чтобы найти его, схватить и предать суду.

С минуту Астрид молчала, глядя поочередно на каждого из своих спутников.

— Ну знаете! — объявила она наконец. — Это уж слишком! Да пошли вы к черту с вашими тайными судилищами...

— Э, почему «тайными»? — возразил Дино. — Его должны судить вполне законно, во Франции.

— ...И с вашими беглыми обер-лейтенантами! Что это такое, в конце-то концов! Сначала меня приглашают на работу в мирную этнографическую экспедицию; тут же выясняется, что вся экспедиция — липа высочайшей пробы и господ этнографов интересуют не индейцы, а мофы; потом меня заставляют играть какую-то дурацкую роль немецкой баронессы...

— Ну, про папочку-то вы сами придумали, — напомнил, улыбаясь, Филипп.

— ...А теперь я еще должна принимать участие в людокрадстве! Да это просто мафия какая-то! В общем, с меня хватит. Я с вами в тюрьме сидеть не хочу — понятно вам? Не хочу! Отвезите меня обратно в Марискаль, оттуда я уж как-нибудь доберусь, а сами можете гоняться за своими лернерами и дитманами! И счастливой вам охоты!

— Послушай, девочка, — сказал Дино, — не нужно горячиться, у тебя ведь истерика, нервы — понятное дело...

— У меня никакая не истерика! Это вы все тут психопаты!

— Тише, тише, — сказал Полунин. — Астрид, вас ведь никто ни к чему не принуждает. Не хотите — не надо, мы вас доведем не только до Марискаля, а доставим прямо в Асунсьон и посадим на первый же пароход. Но поговорить с Лернером нужно, очень нужно.

— Не поеду я ни к какому Лернеру!

— Ри, послушайте, — Филипп успокаивающим жестом положил руку на ее плечо. — Мишель прав, мы не собираемся вас удерживать, но тут, с Лернером, нам просто не обойтись без вашей помощи... Как там, кофе еще остался?

Астрид молча разлила по кружкам остатки из термоса. Ливень шел на убыль, посветлело. Скоро дождь совсем перестал, только отдельные капли скатывались с широких листьев приютившего их дерева. Дино

с Полуниным вылезли наружу и начали отстегивать боковые полотнища.

— Не поеду я ни к какому Лернеру,— повторила Астрид уже из чистого упрямства.

Подождав еще с полчаса, чтобы иссяк текущий по дороге ручей, они уже собрались тронуться дальше, как вдруг Дино настоужился и поднял палец.

— Слышите? По-моему, собаки лают...

Остальные прислушались и тоже услышали собачий лай. Где-то неподалеку было жильё.

— Пойдем узнаем, — предложил Полунин. — Что-то мне не нравится эта дорога, очень уж она выглядит заброшенной...

— Куда вы потащитесь через мокрые заросли, — возразила Астрид. — Поедем, и все. Должна же она куда-то привести!

— Она может привести в такое место, откуда потом вообще не выберешься. Пошли, Дино, вымокнуть мы уже и так вымокли...

Не успели Дино с Полуниным скрыться в зарослях, как проглянуло солнце. Мокрая зелень ослепительно засверкала, туман стал подниматься от быстро просыхающей земли; воздух, ненадолго посвежевший от ливня, снова насыщался тяжелыми гнилостными испарениями.

— Проклятый климат, — упавшим голосом сказала Астрид, — настоящая турецкая баня. Воображаю, что здесь делается в январе. Фил, исчезните минут на десять...

Переодевшись во все сухое, она почувствовала себя лучше — но только физически. Что он теперь о ней подумает? Взбалмошная девочка, дура и к тому же трусиха. Говорила всем, что ненавидит нацистов, а теперь впадает в панику только оттого, что ее попросили помочь обезвредить одного из них. Должна бы радоваться, что ей дают возможность сделать в жизни хоть что-то полезное.

Она нерешительно выглянула из-под брезента. Филипп стоял на дороге метрах в сорока от джипа, запрокинув голову и разглядывая что-то в ветвях. Астрид натянула резиновые сапоги и перебросила ноги через борт.

— Расскажите мне про этого немца, — сказала она, подойдя к Филиппу. — Ну, которого вы ищете. Это что, какой-нибудь гестаповец?

— Это наш бывший макизар. Перебежчик, появился в отряде в начале сорок четвертого года, назвал себя антифашистом. Ну, ему поверили... Он по-настоящему дрался, этот Дитмар, никогда не отказывался от опасных заданий, словом, придраться было не к чему. А потом выдал всю сеть. Не только отрядные базы, но вообще все решительно — все, что успел выведать, вплоть до системы явок среди гражданского населения...

— Выходит, он был специально заслан?

— Разумеется. В результате этого предательства немцы расстреляли в Руане и его окрестностях около ста человек. И Дитмару удалось провести свою операцию таким образом, что был заподозрен мэр одного из маленьких городков... человек, который сделал для резистанса больше, чем любой из нас. Улики были настолько серьезны, что этот человек так и умер под подозрением в предательстве, не сумев оправдаться в глазах окружающих. Точнее, он покончил с собой... вскоре после войны. Именно из-за этого.

— А сам Дитмар?

— Дитмара один наш бывший макизар видел уже год спустя — весной сорок пятого. Тот спокойно жил в лагере для пленных немецких офицеров, причем даже не потрудился изменить фамилию. Ну, наш парень поднял шум, начал требовать у американцев, чтобы те передали Дитмара французским властям... Но американцы с подобными делами предпочитали не спешить. Пока все это ходило по инстанциям — Дит-

мара в лагере не стало. Исчез, как сквозь землю провалился. И пропал до тех пор, пока Мишель не обнаружил, что он в Аргентине...

— Мишель? Каким образом?

— Да совершенно случайно. В журнале был снимок группы прибывших из Европы иммигрантов, и среди них красовался наш Дитмар. У него характерная морда — со шрамом во всю щеку.

— Нет, но какое совпадение! Просто чудо... Ладно, с Лернером я потолкую...

Продолжая разговаривать, они вернулись к машине. Филипп опустил тент и перегнал джип на открытое место, чтобы солнце высушило сиденья. Прошел почти час, как Полунин с Дино отправились на разведку. Было уже около полудня, тяжелый влажный зной становился нестерпимым. Вокруг стояла особенная тишина сельвы, наполненная — если прислушаться — мириадами звуков, непонятных, загадочных и поэтому пугающих.

Астрид испытывала странное беспокойство, настроение ее становилось все более подавленным — и не только из-за рассказанной Филиппом истории предательства. Скорее, дело было в самом Филиппе; у Астрид был достаточно трезвый склад ума, чтобы безошибочно разбираться в причине своих настроений. Как жаль, подумалось ей, вот уж об этой причине куда спокойнее было бы не догадываться...

Как просто и хорошо чувствовала она себя с Филиппом еще две-три недели назад! Тогда это была еще привычная и забавлявшая ее игра, старая, как мир. То, что Филипп явно не бабник, делало предстоявший матч еще более интересным: невелика заслуга забраться в постель, скажем, к тому же Дино — тот и сам не пропускает ни одной юбки. Филипп же обещал быть дичью, достойной охотника.

Но игры не получилось. Получилось что-то совсем другое. Насколько другое — Астрид предпочитала не думать, несмотря на всю трезвость своего ума. Пока еще это ей удавалось.

Но с Филиппом ей теперь становилось все труднее. Она могла навязаться в любовницы — это было привычно, забавно, ни к чему не обязывало. Навязываться же в любимые ей до сих пор не приходилось, и она меньше всего хотела учиться этому теперь,

— О чем задумались, Ри?

— Да так... просто... — Астрид вздохнула. — Обо всей этой истории, что вы рассказали. Гнусная, конечно, штука... Хорошо бы вы сумели его разыскать, этого Дитмана.

— Дитмар, а не Дитман. Не ошибитесь, когда будете говорить с Лернером.

— Постараюсь запомнить... Так я все-таки не поняла — вы хотите вывезти его во Францию, чтобы там судить? Но каким образом?

— Это не проблема. У меня друг плавает капитаном на небольшом грузовом судне — мы с ним уже обо всем договорились... — Филипп поднял голову, прислушался. — Кажется, это наши...

— А как вам удалось организовать экспедицию?

— Да вот, удалось. — Филипп улыбнулся. — Сумел заморочить голову издателем. Сказал, что посылка собственной экспедиции поднимет число подписчиков, — это ведь для газеты главное, тираж. Ну, они и клюнули...

Из зарослей выбрались Дино и следом за ним Полунин — мокрые с головы до ног, обсыпанные зеленым крошечком, в изодранных шипами штормовках.

— Ну как? — спросил Филипп.

— Все правильно, — сказал Полунин, тяжело переводя дыхание, и с размаху врубил мачете в искривленный ствол жакаранды. — Дорога та самая, но ехать еще порядочно...

— Мамма миа, чтобы я еще раз сунулся в эти чертовы дебри!— закричал Дино.— Девочка, тебе сегодня придется поработать иглой — погляди, в каком мы виде!

— Да уж вижу,— сказала Астрид.— Шить, готовить, на что еще годится женщина. Фил, помогите достать плитку и продовольственный ящик — опять засунули куда-то вниз...

Через час, после стандартного обеда (консервированный суп, консервированные сосиски и кофе), они погрузили в машину свои пожитки и двинулись дальше. Сельва кончилась сразу, словно обрезанная ножом. Дорога, проложенная скорее всего во время войны, шла по невысокой насыпи — слева и справа раскинулись огромные пустые пространства, залитые водой, с торчащими кое-где редкими одиночными пальмами. Потом, уже под вечер, местность стала повышаться, пошли пологие песчаные холмы. Начиналась пустынная часть Чако — места самых кровопролитных боев с боливийцами в тридцать пятом году. Уже в темноте, выбрав при свете фар подходящее для ночлега место, путешественники остановились и принялись разбивать палатки и готовить ужин.

Ночью было холодно — Астрид даже заоченела в своем спальном мешке.

Фактория «Ля Форесталь Нороэсте», до которой добрались уже после полудня, выглядела убого — несколько бараков, крытых ржавым гофрированным железом, и собранный из готовых щитов домик конторы. В отдалении — длинный навес над пилорамами. Вокруг опять были непроходимые заросли — теперь уже в основном железного дерева — кебрачо.

Джип въехал во двор, покрытый многолетним слоем слежавшихся опилок. Стояла полная тишина — фактория была явно недействующей, и давно, судя по всему. Полуниин пошел выяснять обстановку. В одном из бараков, оказавшемся кухней, сидел старый полуглухой индеец; кое-как они объяснились. Индеец сказал, что фактория и в самом деле не работает, весной — может быть — лес опять начнут валить, но пока не валят. Рабочие все ушли, остались двое, если не считать его, повара, да еще управляющий — сеньор Алеман.

— Алеман? — переспросил Полуниин. — Разве управляющего зовут не Лернер?

— Да, да, — закивал индеец. — Лерна, да. Алеман.

— А, ну конечно! — Он только сейчас сообразил, что «фамилия» управляющего означает просто его национальность. — Где же он, этот сеньор?

— Спит, — сказал индеец. — Сеньор пить много чича.

— Пожалуй, придется его разбудить.

Старик отрицательно покачал головой.

— Разбудить, когда солнце там. — Он показал какую-то точку над крышей соседнего барака. — Тогда сеньор кушать, потом пить чича. Сейчас разбудить нельзя.

— А вы все-таки попробуйте. Скажите, к нему приехала гостья, сеньорита алемана.

Индеец подумал и направился к конторе. Из джипа выбралась Астрид, попрыгала на месте, разминая ноги, вопросительно посмотрела на Полуниина.

— Похоже, приехали напрасно?

— Нет, почему, Лернер здесь. Отсыпается после попойки, старик попробует его разбудить...

Через несколько минут индеец вышел и сказал, что сеньор уже встал.

— Ну, желаю удачи, — сказал Полуниин. — Вы поняли, как с ним говорить?

— Сначала спрошу насчет отца,— Астрид начала загибать пальцы,— потом передам привет от соотечественников из Колонии Гарай, потом он, вероятно, спросит, не знаю ли я еще кого-нибудь, кто служил вместе с отцом. И тогда я назову Дитмара. Скажу, что отец однажды о нем писал, и мне запомнилась фамилия...

— Все правильно. Действуйте, Астрид.— Он пожал ей локоть и пошел к джипу. Оглянувшись на полпути, он увидел, как на крыльце конторы появилась живописная бородатая фигура в грязных шортах и растегнутой до пупа рубашке. Сеньор алеман был взъерошен, как дикобраз, но поклонился Астрид не без ловкости и даже попытался щелкнуть босыми пятками — за неимением кованых каблучков.

Филипп отогнал джип под навес пилорамы, подальше от конторы. Они вылезли, разостлали на опилках брезент и улеглись, приготовившись ждать.

— Боюсь, ничего она не узнает,— сказал Филипп.

— А вдруг? — отозвался Дино.

— Вряд ли,— с сомнением сказал Полуниин.— Этот тип, похоже, совсем спился...

Не прошло и получаса, как из конторы вышла Астрид — огляделась, заслоняя глаза от солнца. Когда она подошла к навесу, Филипп встал.

— Ну что?

Астрид молча показала большой палец.

— Неужели узнали? — спросил Филипп. Астрид упала на брезент, раскинув руки, и прикрыла глаза с блаженным видом.

— Мальчишки, это потрясающе,— сказала она и болтала ногами.— Такое везение бывает только в волшебных сказках...— Она запустила руку в карман джинсов и вытащила смятый конверт.— Держите, дарю вам вашего Дитмара! Ну, Фил, я уж и не знаю, как вы теперь со мной будете расплачиваться — во всяком случае, поцелуем в щечку на этот раз не отделаетесь...

— Насчет платы столкнемся, — заявил Дино, — уж за мной-то не пропадет, но ты рассказывай, рассказывай!

— Да тут и рассказывать нечего! Я все выудила из него за десять минут — потом просто сидела из приличия. В общем, когда я назвала Дитмара, он сказал, что этого напоминает и что Дитмар, насколько ему известно, сейчас где-то в Аргентине. «Мне, — говорит, — недавно писал о нем один камрад из Кордовы». Я, естественно, тут же заинтересовалась — что именно писал о нем этот камрад; Лернер стал рыться в бумагах и нашел письмо. «Можете, — говорит, — взять с собой, мне оно ни к чему...»

Астрид приподнялась на локте и достала из конверта листок почтовой бумаги.

— Вот здесь... ага: «...а также небезызвестный тебе Дитмар, у него уже собственная электромонтажная фирма, и даже довольно процветающая». Адреса, правда, нет.

— Адрес — это ерунда, — сказал Полуниин, — адрес мы узнаем. Важно, что он в Кордове...

— Ну что ж, — сказал после паузы Филипп. — Как ни странно, а мы его разыскали. А, парни?

— Это я его разыскала, а вовсе не вы! Прошу этого не забывать. Значит, мы теперь отправляемся в Аргентину?

— Надо подумать, — медленно произнес Филипп. — Надо подумать. Они опять помолчали.

— Нет, — сказал Полуниин. — В Аргентине нам сейчас делать нечего — всем. И потом, внезапный отъезд экспедиции выглядел бы странно. Считаю, что вам нужно остаться здесь. А я поеду. Я поеду и поговорю с Келли...

— А на черта тебе Келли? — спросил Дино. — Хотя, пожалуй...

— Взять Дитмара в Кордове будет не так просто,— задумчиво продолжал Полуниин.— Это вам не Парагвай... Тут нужно очень хорошо все продумать — чтобы не испортить дело в последний момент...

— Согласен,— кивнул Дино.— Торопиться ни к чему, пусть Микеле едет в Буэнос-Айрес и позондирует возможности. А мы останемся здесь и будем продолжать нашу научную работу. Я, кстати, ничего не имею против Парагвая.

— Еще бы,— ехидно сказала Астрид.— Уж в Аргентине вам такого раздолья не будет, сеньор павиано. Знаете, какой там процент женщин?

— Да, и вот еще что очень важно! — сказал Полуниин.— Как только вернетесь — пусть Астрид побывает у своего немца, расскажет о поездке. К сожалению, мол, ничего узнать не удалось...

— Кроме адреса одного сослуживца,— закончила Астрид.

— Нет, про это лучше не говорить,— сказал Полуниин.— Вы как считаете, а? По-моему, имя Дитмара упоминать не стоит.

— Не стоит,— согласился и Филипп.— Еще вызовет какие-нибудь ненужные догадки. Я вот думал насчет пресс-конференции...

— Зачем? — спросил Полуниин.— По какому поводу?

— Ну, повод найти можно. Дело в том, что если о нашей экспедиции напишут в газетах, нам это сразу придаст весу. И подозрений будет меньше.

— Это так,— сказал Полуниин.— Но, с другой стороны, если нашей работой заинтересуется настоящий этнограф, то мы все погорим — так же, как Дино погорел при первом же разговоре с Астрид...

— Да,— рассмеялась она,— уж вы тогда отличились, сеньор научный руководитель!

— Подумаешь,— Дино притворно зевнул,— простая обмолвка.

— Не обмолвка, сеньор Фалаччи, а невежество. Вопиющее невежество! Уж что-что, а не знать ареалов расселения...

— Мамма миа, что ты ко мне пристала со своими ареалами! Пойди лучше к повару — может, покормит нас чем-нибудь неконсервированным. Пообедаем, и нужно трогаться, пока опять не пошел дождь...

На следующее утро маленький двухместный вертолет приземлился на поляне возле фактории. Когда полозья коснулись травы, из-под круглого плексигласового колпака вылез Кнобльмайер и, пыхтя и оглядываясь, двинулся по тропинке к баракам.

Лернер, по случаю раннего часа еще трезвый, принял гостя с вежливым равнодушием. Кнобльмайер объяснил, что был по делам здесь неподалеку, в менонитской колонии, и, узнав, что есть возможность воспользоваться вертолетом, решил навестить камрада; хотя они и не служили вместе, все-таки фронтовое товарищество обязывает. Они поговорили о том и о сем, потом Кнобльмайер поинтересовался, не приезжала ли к нему, Лернеру, некая фройляйн...

— Была вчера,— кивнул Лернер.— Расспрашивала насчет отца, но я его не знал. Вообще не помню такой фамилии у нас в дивизии.

— Так, так... — Кнобльмайер задумался.— Весьма странно — весьма. Уверяет, что отец служил в семьсот девятой.

— Может, и служил.

— Но вы его не помните?

— Нет, не припоминаю.

— Так, так... Скажите, Лернер, а вы не заметили в ней ничего подозрительного?

— Я только заметил, что это приятная девочка, с которой охотно переспал бы. Если бы был еще на это способен.

— А мне она подозрительна. По-моему, все это выдумка — насчет отца. Цель, впрочем, непонятна.

— Ну, не совсем выдумка,— возразил Лернер.— То, что я не помню ее отца, ни о чем не говорит — мало ли было в дивизии обер-лейтенантов. Да и неизвестно, сколько времени он у нас прослужил, этот Штейн... как его там. Может, его ухлопали через день после прибытия. Но одного из его сослуживцев, имя которого девчонка назвала, я знал лично, это уже не выдумка. И совпадения быть не может — она говорит, что отец писал что-то о шраме, а у Бандита морда действительно располосована...

— Как его фамилия?

— Дитмар.

— Почему вы назвали его бандитом?

— А это его так называли у нас. Он побывал у французов, в банде маки, с особым заданием. После этого кличка и приклеилась.

Кнобльмайер сразу насторожился.

— С особым заданием, говорите? Какого рода?

— Инфильтрация. Он проник к партизанам и раскрыл целую сеть на территории руанской комендатуры.

— Так, так... И что же она о нем говорила?

— Спросила, не знаю ли я, где он сейчас живет.

— Скажите, Лернер... Она что-нибудь рассказывала вам о себе?

Лернер пожал плечами.

— А я ее не расспрашивал. Да и ни к чему — черт возьми, девочка разыскивает отца, что тут такого?

...Подозрительно, чертовски подозрительно. Французская экспедиция. А Дитмар в свое время раскрыл французских партизан...

— Что же вы ответили ей относительно Дитмара?

— А что я мог ответить. Просто дал адрес, и все.

— Чей адрес? — Кнобльмайер побагровел, вытаращил глаза.

— Дитмара. Она сказала, что попытается с ним связаться.

— Вы сошли с ума, Лернер. Дайте мне этот адрес, быстро!

— По-моему, Кнобльмайер, это вы спятили. Я вам только что сказал: отдал адрес девчонке. Вы что, немецкого языка не понимаете?

— Отдали и не оставили себе?!

— Да, он был в письме. На кой черт мне его адрес — я с ним в переписку вступать не собираюсь... Дитмар, между нами говоря, всегда был изрядным дерьмом.

— Лернер, вы идиот! — заорал Кнобльмайер.— Вы соображаете, что наделали!

— Ну, ну, потише. И не орите на меня, ясно? Тут вам не ваш вшивый вермахт, кончились золотые деньки Аранхуэса. Чичи хотите?

— Я этой индейской пакости не пью. Лернер, но вы все же попытайтесь вспомнить — может быть, у вас где-то записан адрес?

— Да катитесь вы к черту с вашим Дитмаром! Нет у меня больше его адреса, и конечно...

Лернер достал из-под стола бутылку, заткнутую кукурузным початком, и отпил прямо из горлышка.

— Вы не немец, вы грязная спившаяся свинья! — в бешенстве пролаял Кнобльмайер.— Я доложу о вас генералу!

Лернер вытер губы тыльной стороной руки, аккуратно заткнул бутылку тем же огрызком початка и снова спрятал под стол.

— Генерал может поцеловать меня в зад,— сказал он непринужденно.— Вы также, оберст. Не желаете? Прекрасно. Тогда не откажите в любезности встать и сделать поворот налево кругом. И если вынете еще одно слово — я вам разнесу череп из этого винчестера, не успеете вы отойти от крыльца. Марш отсюда!

Продолжение следует

РАЗГОВОР ПО-ЛЮДСКИ

Шелестишь, как листва,
Чуть звенишь, как течение реки,
И кипишь, как цимлянское, выбив фабричную пробку,
И шипишь, как котел, где густейшую варят похлебку,
И свистишь, как свисток под бессонными сводами рынка,
Вдруг учуявший нож в пятерне хулиганской руки,
И хрустишь, как снежинка под тяжким напором ботинка...

Но когда же начнешь ты со мной говорить по-людски,
О, бездонная ночь моего беспокойного мира.

РАСКОПИ

Выкопали из песка
Что-то вроде куска грубо отшлифованного песчаника,
И еще неизвестно, что за добро: то ли это ребро от дощаника,
То ли шлем, то ли ведро, то ли расколотое ядро,
То ли пень, то ли коряга,
А говорят, что выкопали варяга.

С УЛЫБКОЙ НА УСТАХ

Унылые места,
Где в небе пустота
И вся земля в крестах,
А солнце и луна
Валяются в кустах.

Но так не навсегда!
Настанут времена,

И станут на места
И солнце и луна,
А облаков стада
С цветами на рогах,
С кометами в хвостах
Пойдут пастись в лугах
С улыбкой на устах!

* * *

В мелководной заводи
Я смотрел в глаза воде.
Морщилось лицо воды,
И гудели оводы,
Будто провода везде,
Будто города везде.

И понять попробуйте,
Кто висит на проводе,
Где там вы ни плавайте:
В мелководной заводи
Либо в глубине воды,
Где бушуют неводы!

* * *

Я проснулся
И почувствовал:
До чего же худощав!
Лунному под стать лучу вставал
Я, ужасно отощав.

Встал легко,
Но в этой ловкости

Горечи учуял дым —
Я такой не ведал легкости,
Будучи и молодым.

Но на сердце
Столько тяжести,
Будто камень я в праще,
Мало ли чего мне кажется!
Выдумки все вообще!

АРХИВАРИУСЫ

Разговариваю сам
Я с собою, как в архиве
С архивариусом:

— Вот дела! Примите их,
Архивариус, в архив!

Но, оказывается, он
Лишь надменная девчонка:
Говорю я с ним, смущен,
Как будто извиняясь в чем-то.

Лишь девчонка,
 лишь мальчонка,
Возмущен, кричит он громко,
Будто гнев им овладел:

— Это все не в наш отдел!
Что такое принесли вы?
Где доверенность на имя?

И бегу я из архива
С кипкою несданных дел,
Будто бы еще над ними
Слишком мало порадел!

* * *

Над ней вороны
Как драконы реют,
Снежок жжет щеки ей, а ветер грудь,
Ее бревенчатость и дощатость
 стареют,

Но не сама она ничуть.
Она растет в такую безграничность,
Что из лесов высовывается зверье
Поллюбоваться на ее кирпичность
И белокаменность ее.

* * *

О, литература осемнадцатого столетья,
Будто она существует без меня — что за вздор, —
Разве не я с рыбацкою сетью
Помогал Ломоносову близ Холмогор!

А литература будущего столетья —
И она, как мне кажется, немислима без меня!

Но еще существует нечто третье:
Литература вчерашнего дня...

Николай Григорьев

С БАШНИ ВРЕМЕНИ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1941 год... Я — командир саперного батальона вот уже целый час. Иду по улице и нет-нет да придержу шаг. Напускаю на себя строгий вид, чтобы какой-нибудь прохожий не заподозрил во мне, военном, мальчишества, и перечитываю строки на узком, экономном листке бумаги: «Капитану запаса инженерных войск такому-то. Вы назначаетесь...»

А как ювелирно отчетлив оттиск печати! И неудивительно: печать новорожденная, только что из-под резца гравера. Государственный герб — и по ободку надпись: «Ленинградская армия народного ополчения. Штаб Н-ской стрелковой дивизии».

Аккуратно складываю листок, но далеко не прячу: отстегнешь пуговицу на кармане гимнастерки — и листок опять в руках перед глазами.

Я горд и счастлив назначением — вот мои чувства. Не первый раз я в боевом строю Красной Армии!

Шагаю по набережной Невы. Сделал крюк, только бы выйти к нашей красавице: у ленинградца это вроде ритуала — и в радости, и в горе он устремляется к Неве.

Раннее июльское утро. Свежесть. Бодрящий озноб... Навстречу ветерок с моря — и такой простор! Здесь стихия солнца, будто только что умывшегося в водах Ладоги и еще не задымленного заводами. Светит ослепительно ярко.

Над Невой, держась на своих саблевидных крыльях, парят чайки. Иные отдыхают на гранитном парапете набережной: греются на солнышке, прикрыв глаза, либо перебирают клювом перышки на грудке, на боках, на свинцово-темной спинке, делающей птицу неприметной в полете над водой. Прохожих не опасаются: чуть ли не вплотную подойдешь — только тут чайка лениво посторонится, повиснув в воздухе, чтобы затем вернуться на облюбованное местечко.

Дворники, волоча за собой пожарные рукава, напоминающие дышащих змей, поливают мостовую, но ветерок тут же обсушивает деревянные торцы. А рядом, под парапетом, играет и гулко шлепает о гранитную стенку извечная невская волна...

Из-под ног торопливо бежит вперед моя тень. Порой мне начинает

Окончание. См. «Звезда», 1980, № 1.

казаться, что это какой-то привязавшийся ко мне шут, который передразнивает мою походку. И я невольно вспоминаю, что мне уже сорок четыре года, даже с половиной...

Однако много это или мало? По укладу жизни я спартанец — ходо, бегун, пловец, лыжник; ни в чем не допускаю излишеств, кроме, быть может, работы — любимого дела за письменным столом.

Временами я делаю себе строгую проверку: не сдал ли физически? Когда стукнуло сорок (1936), я отправился пешком из Ленинграда в Москву.

Втянулся я в поход и после Калинина запросто вышагивал за день шестьдесят километров. Думается, способствовала этому и «реконструкция» обуви. Сперва шел в летних туфлях, но они натирали ноги, и я сменил их на разношенные, привычные лыжные ботинки. Эти тяжелее, но груз оказался полезным, наподобие махового колеса в двигателе: сделаешь шаг, и ботинок в силу инерции сам потянет ногу вперед. Мало того; маховое колесо и ритм держит, а это при длительной ходьбе уменьшает усталость.

Вспомнив с удовлетворением об этом походе, еще крепче печатаю шаг на каменных плитах набережной. Фуражка — черный саперный околыш, синий кант по тулье — сидит на мне лихо, набекрень... Воевать годен!

Ловлю на себе взгляд дворника. Он сейчас будто Самсон петергофский — в фонтане радужных брызг. И шутливо ему козыряю. В ответ хозяин улицы степенно прикладывает руку к кепочке.

Сам себе удивляюсь: до всего мне сегодня дело, все до мелочей примечаю вокруг. Уж не прощание ли это с Ленинградом?.. Но прочь тревожные мысли, ни к чему они! За последние дни и без того пережито немало. Никогда не забудется минувшее воскресенье... Была снята на Карельском перешейке дача, и в этот теплый июньский день жена моя Диана назначила выезд из города. Вещи сложные, и, пока дожидались грузовика, я, не теряя времени, занялся неоконченной рукописью.

В соседней комнате прокашлялся громкоговоритель. Механический этот голос обычно не мешал мне сосредоточиться на работе. Но на этот раз зазвучавшие слова насторожили. Вбежала жена, испуганная и растерянная.

— Война... — пролепетала она, — с Германией. На нас напал Гитлер... Какой ужас!

Не в силах удержать дрожи, она прижалась ко мне. Тут же к нам присоединилась дочка, десятилетняя Ирина, и мы втроем, не шелохнувшись, выслушали до конца правительственное сообщение.

Иду командовать батальоном, а батальона-то ведь нет. Только в приказе обозначен. И никто батальона не приготовит: я же обязан и создать его. Предстоит набрать из ополченцев. Это еще не бойцы и не саперы. Советские патриоты? О, да! Граждане великого города Октябрьской революции, гордые своим Ленинградом, влюбленные в Ленинград, готовые жизнь положить за его благополучие и процветание. Но кто они такие, сегодняшние ополченцы? Считаю по-старому, это — «белобилетчики», то есть люди, признанные непригодными для военной службы. Даже в случае войны... Вот с кем придется иметь дело.

Узнав это, я растерялся: «Пропаду с такими!» Сразу в штаб дивизии. Стал отказываться от должности.

— Хоть комвзводом, — говорю, — ставьте, но чтобы были у меня настоящие саперы!

Начштаба усмехнулся и сказал:

— Попрошу к генералу. Минутку, только доложу о вас.

Увидел я седого человека с ромбами в петлицах и потемневшим от

времени, на шелковой розетке, орденом Красного Знамени. Генерал, оказывается, был тоже из запаса и тоже участник гражданской. Когда я представился, старик грузно поднялся из-за стола.

— Вы сапер? — спросил он, погружая нос в пышные усы.

— Так точно, сапер! — И я прищелкнул каблуками.

Генерал вскинул голову и остановил на мне изучающий взгляд.

— Как же случилось, капитан, что вы, не будучи артиллеристом, командовали бронепоездом у товарища Щорса?

Я замаялся: в двух словах не ответишь, а пространное объяснение было бы не к месту.

— А впрочем, не трудитесь отвечать, — сказал генерал. — Сам отвечаю за вас. Дело на бронепоезде вы не завалили, напротив, имели боевые награды. А случилось саперу стать артиллеристом так же, к примеру, как мне, пастуху у помещика, взяться за клинок кавалериста... В силу необходимости.

Генерал, казалось, без нужды переложил с места на место красносиний карандаш на столе. И вдруг резко: «В силу ре-во-лю-ци-онной не-об-хо-ди-мости!» — повторил он по слогам.

Я догадался, что начштаба успел пожаловаться ему на меня.

Генерал перевел дух, помолчал, успокаиваясь, сел к столу, а мне указал на стул напротив.

Кончилась беседа тем, что я отчеканил:

— Благодарю за назначение, товарищ генерал. Доверие Родины оправдаю!

Передо мной Марсово поле.

Высятся гранитные кубы ограды некрополя. Здесь покоятся павшие за Революцию. Сложенные А. В. Луначарским и высеченные в камне величественные гексаметры воспевают им славу.

Остановился я, почтил могилы. Иду дальше — хватя, а у самого упушение в форме: рукава голые, без шевронов! Как же явлюсь перед ополченцами? Безупречный внешний вид командира — это первое, что требуется для его авторитета.

Расстроенный, я пошел слоняться по окрестным закоулкам. Гляжу — полуподвал, неказистая вывеска: «Швейная мастерская». Заглядываю внутрь, а на манекене — женское платье... Однако не успел я и шагу сделать прочь, как меня окликнули:

— Товарищ военный, зайдите, зайдите! Будете сегодня первым заказчиком!

Из-за прилавка. суетясь, навстречу мне выбежала немолодая женщина с клеенчатой лентой сантиметра на шее. Спросила, понизив голос:

— У вас что-нибудь оборвалось в одежде? Не стесняйтесь. Девочкам велю отвернуться и сама пришью.

Я показал на рукав: вот, мол, что мне надо. И прочертил пальцем уголок пониже локтя.

— Но ведь не выручите, требуется золотой тесьмой...

Женщина подбоченилась — и с вызовом:

— Военного да не выручить? Да как вы можете такое подумать?

И она выставила на прилавок коробку со всякой всячиной для отделки женских платьев. В пестроте мишуры блеснула золотая тесьма.

Женщина улыбнулась:

— Подойдет?

Но тесьма, гляжу, узковата. В нашивку лейтенанту сгодится, пожалуй. Но для капитанского рукава требуется пошире...

— А мы тесьму сдвоим, — подсказала женщина. Тут же села за прилавок — и замелькала игла, направляемая искусной рукой.

Меня усадила рядом на табурет.

— Ох, что-то с нами будет, что будет...— вздохнула женщина, выходя на разговор.— Гитлер-то, злодей, какую силу на нас выпустил... страсть. И ломится в глубь страны, и ломится, и нет его фашистским убийцам никакого запрета... Что же будет, ну, скажи, дорогой, ты же военный, чем это кончится?

Но что я мог сказать? Врать не умею. И добряческое пустозвонство не в моих правилах.

И я, ленинградец, сказал этой ленинградке честно то, что думал. Война будет тяжелой. Многих и многих людей потеряем. Но за Родину встал весь народ, в том числе и те, кто никогда прежде не держал в руках оружия.

— Строй наш советский несокрушим! — закончил я твердо.

Женщина не сразу отдала мне гимнастерку: сперва заново её протюжила.

Денег с меня не взяли.

— Девочки! — позвала заведующая мастериц.— Идите сюда. Пожелаем товарищу военному возвратиться с победой!

И началась церемония, глубоко меня взволновавшая. Я стоял, а ко мне одна за другой со степенной медлительностью подходили девушки в рабочих халатиках. Каждая вскидывала на меня глаза — при этом одни смело и твердо выговаривали: «Победы вам!», а другие запинались от смущения, и я не разбирал их шепота. Сладостно было поклясться этим девчонкам, в которых олицетворялись для меня в эту минуту все ленинградки, жизни не пожалеть за их благополучие и счастье.

Едва я разобрал связку ключей, чтобы отпереть входные двери в предоставленный в мое распоряжение особняк, как к порогу подкатил грузовик, полный тюков с армейским обмундированием. «Вот это оперативность! — обрадовался я.— Вот это снабженцы! Еще ни одного ополченца, а одежда для них уже — пожалуйста — приготовлена!»

Тут же из шоферской кабины выскочил молодой человек в военном и, смекнув, кто я такой, представился, впрочем, довольно развязно:

— Помощник командира батальона по хозяйственной части.— И первым протянул руку: — Чирок, Алексей Павлович.

Каждого, кто прошел военную службу, узнаешь по манерам — четким, сдержанным, красивым. А у этого вульгарные хватки. Но парень, как говорится, кровь с молоком. И лет ему не больше двадцати пяти — двадцати семи. «Как же,— думаю,— этакий молодчик не побывал в армии?»

— Вы белобилетчик? — спросил я, не церемонясь.

Молодой человек вспыхнул. В голосе обида:

— Мог бы,— заворчал он на меня,— и не пойти в ополчение. Теперь все вокруг мобилизовано, в том числе и торговая система — не долго и бронь получить. Но я,— и он ударил себя в грудь,— советский патриот!

Чирок предъявил выписку из приказа по дивизии, где значилось, что он, «не имеющий воинского звания товарищ Чирок А. П. как опытный, согласно характеристикам, торговый работник, отлично проявивший себя на ряде руководящих должностей, назначается...» И та же печать, что и на моем предписании.

Одежда ополченца по форме не была столь строга, как в регулярной армии. Это и естественно: внезапно под оружие встали миллионы людей, на которых интендантские склады рассчитаны не были. Поэтому, например, вперемежку с шинелями батальон получил что-то в виде кафтанов охотничьего покроя с накладными карманами. Полный комплект формы был предусмотрен лишь для командного состава. Но

Чирку, вижу, этого мало: подавай доспехи! В кармашке на портупее у него свисток, каким строевые командиры пользуются на поле боя. И бинокль на шее, и полевая сумка на боку, и целлулоидная планшетка для карты — на другом. Наконец — браслетка с компасом...

Смешно смотреть. «Тебе бы еще, — думаю, — саблю в руку, да пушку — в другую, и война, глядишь, была бы выиграна». Впрочем, вслух я этого не высказал.

Между тем Чирок не мешкал. Попросил у меня ключи, отпер дверь, и из кузова грузовика вместе с тюками обмундирования вывалились ребята — похоже, из торговых учеников, — и закипела работа. Все было снесено в одну из комнат первого этажа, после чего Чирок достал из полевой сумки листок боевого донесения, написал на обороте «Вещевая кладовая батальона» и приколот табличку на дверь. Кладовую запер и ключ — в карман.

Тут заметил я у Чирка и кобуру, туго застегнутую. «Вот и револьвер успел получить, — подумал я не без досады. — Я, комбат, еще без револьвера, а этот пострел везде поспел!»

— Какой системы? — кивнул я на револьвер.

Чирок лукаво глянул на меня и рывком раскрыл кобуру. Папиросы!.. Парень так и покатился со смеху, радуясь, что провел строгого комбата. Кобура была забита коробками папирос.

И не подумав даже спросить разрешения у старшего по званию, помпохоз закурил. Впрочем, протянул мне коробку «Северной Пальмиры», предварительно раздув на стороны тончайшие лепестки бумаги, в которые были как бы запеленаты эти дорогие папиросы.

— Имею возможность, — сказал Чирок, попыхивая дымком, — и вам — «Пальмиру», причем по фабричной себестоимости...

Но я так посмотрел на него... Чирок закашлялся, неловко козырнул мне и объявил:

— Махну за обувью... Как раз время (впопыхах он не на часы глянул, а на компас)... Поспеть надо в одно место, тогда будут нашим саперам не барахольные ботинки с обмотками, а сапожки козлового то- вара...

Чирок ждал одобрения, но я молчал. Он заговорил смелее:

— Так стараться насчет сапог или нет?

Вот задача... Без сапог, это ясно, сапер не работник. Особенно здесь, на севере, где кругом болота. Нельзя допустить, чтобы люди постоянно были с мокрыми ногами, — пойдут простуды, заболевания... А ополченцы — народ хлипкий. Этак и боевые задания будут срываться.

И я сказал Чирку:

— Постарайтесь получить сапоги. Обождите, напишу мотивированное требование...

— А чего бумагу марать? — И Чирок неспешно докурил папиросу. — Сделаю как надо, без бюрократизма. — И тут же: — А в кобуре, ясно-понятно, место револьверу. Огнестрельное оружие и по должности мне полагается. Прошу выписать мне наган с патронами.

Наглость молодого человека становилась забавной.

— С личным оружием для комсостава, товарищ Чирок, полагаю, будут затруднения. Мы ведь не регулярные войска, только ополченцы. Да и вооружу я, само собой, прежде всего наших строевиков: командиров взводов, командиров рот...

Лицо Чирка постно вытянулось.

— Но не огорчайтесь, — сказал я. — Из всякого положения есть выход. Трофейные браунинги и парабеллумы тоже неплохая вещь.

У Чирка загорелись глаза:

— Ну, еще бы!.. «Парабеллум» — и слово-то какое.. — Он крикнул от удовольствия. — В гастроном, где я состоял в ответственной должно-

сти, один старикашка захаживал, ну, не откажешь ведь инвалиду гражданской войны: давал ему на складе подработать. Так он рассказывал, и похоже, не треп: здорово бьет парабеллум!

— А нельзя ли о ветеранах поуважительнее? — осадил я молодого человека. И не удержался, подразнил его: — Получить парабеллум? А ничего хитрого. Вот выйдем на фронт, и я прикомандирую вас к одной из рот. Удачная схватка с врагом — и трофеей в ваших руках.

Чирок даже побледнел. В глазах сверкнул недобрый огонек.

— Насмешки строите!.. — Он круто повернулся и пошел к машине. Захлопнулась дверца кабины, и грузовик укатил.

Стоило подумать: что же делать с этим ловкачом?..

Возле особняка зеленый бережок. Удобно сесть: бережок круто сбегает к воде. Он в подстриженном газоне и напоминает бархотку, которой как бы оторочен Михайловский сад со стороны Мойки.

Речка здесь узка и вытянулась в линейку между двумя трамвайными мостами. Выйдя из-под моста, что у нашего особняка, и одевшись в камень, она как бы устремляется к памятному для народа месту: Мойке, 12. Это последняя квартира Александра Сергеевича Пушкина — первый этаж, вход со двора, тесноватые комнаты. Скромный кабинет с неоконченным письмом на столе. Здесь Александр Сергеевич мученически скончался...

Пушкин, высокая поэзия, а тут... И в мыслях опять Чирок: не отчислить ли его из батальона?.. Хорошо, отчислю. Пришлют другого... А кто это будет? В отделе кадров дивизии выбрали для меня Чирка и, надо полагать, обдуманно. А я отсылаю человека обратно. «Ага, — скажут, — саперный-то комбат из капризных! Дельный, расторопный помощник ему не нравится? Хорошо — получит тихоню!»

И прирастет этакий тихоня к канцелярскому столу. Знал я таких. Человек словно не бумагу составляет в какие-нибудь пять-десять строк, а священное действо творит. И верит, буде на бумаге надлежащие подписи, то достаточно «законвертовать» ее, отправить по адресу — и посыплется в ответ гимнастерки, брюки, телеги со сбруей для лошадей, лошади, лопаты... Нет, с таким помпохозом не составишь батальонного хозяйства. Тихоня без ножа меня, командира, зарежет!

Выходит, расставаться с Чирком преждевременно. Пострашать, конечно, его придется, чтобы не зарывался... Да ведь будет в батальоне и комиссар. Ум хорошо, а два лучше — вот вместе и примем о Чирке окончательное решение.

Однако пора и помещение для батальона осмотреть. Прошелся я по коридору: направо и налево комнаты — это удобно. Поднялся на второй этаж, на третий. Обстановка учебного заведения: столы и парты для учащихся, кафедры для преподавателей, классные доски, кое-где даже мелки и тряпки при них. Будто нас ждали здесь: усаживай ополченцев и обучай саперному делу.

Решаю тут же составить расписание занятий. Но классная доска вдоль и поперек исчеркана мелом. Замахнулся я было, чтобы пройти по ней тряпкой, но что-то удержало руку: быть может, простое желание запечатлеть в памяти кусочек ушедшей мирной жизни...

Почерки разные, юношески неустоявшиеся, и одна фраза врезается в другую: множество восклицательных знаков. Похоже, что ребята с окончанием учебного года, на радостях, выхватывая друг у друга мелок, спешили оставить училищу свои автографы... «Эх, попью парного молочка пятипроцентной жирности! Послаще всяких ленинградских пирожных!» — написал кто-то. Сладену пронзает своей строчкой па-

рень, видать, деловитый: «А коровушки у нас в колхозе масти серебряной, а вымена такие, что одной женщине и не выдоить, вдвоем садятся». «А у нас в Харькове во дворе корова — с листьями!» И парень хвалится яблоней, которая, по его словам, так обильно плодоносит, что несколько семей круглый год с фруктами...

Жалко все это стирать, и я медленно вожу по доске тряпкой. Взамен пишу: «Расписание занятий Отдельного саперного батальона Н-ской дивизии ЛАНО». Какие же будем изучать предметы? Припоминаю, что надо знать саперу, и на доске выстраивается столбик:

Фортификация.
Мосты и переправы.
Работа с минами.
Подрывное дело.
Инженерная разведка...

Как бы не забыть чего... Ну, конечно, чуть не упустил: ведь сапер — прежде всего воин, красноармеец! Значит, обязательная статья в программе — изучение винтовки, умение владеть оружием в бою... А маскировка? Одна из главных забот в современной войне! Об этом нам, командирам запаса, уши прожужжали на военных сборах. Придется научить саперов и пассивной маскировке, и активной. Пассивная — это укрытие своих войск от взоров врага. А в случае активной — внимание врага отводится на ложные объекты. Тут все решает искусство сапера как макетчика. Из обрубков бревен, листов фанеры, крашеного тряпья, соломы умелец изготовит пушки, самолеты, танки, даже лошадей. Наставишь макеты погуще — вот тебе и ложный аэродром, или скопление танков, или кавалерийский полк в засаде, короче, то, что прикажут саперам нагородить.

Люблю маскировочное дело — веселое оно, все на хитростях, на выдумках. Между тем классная доска уже исписана. Но нет у меня ощущения, что программа обучения ополченцев готова. Пошел я к дивизионному инженеру. Пусть дополнит — он ведь должен и утвердить программу.

Ожидал я помощи, а вместо этого...

— Программа, капитан, для чрезвычайных обстоятельств, в которых мы с вами находимся, не предусмотрена — да и не могла быть предусмотрена... Сочинили — и хорошо. Покажите ваш листок... Многовато. На сколько же дней вы размахнулись?

— Дней?.. — удивился я странному счету. — Вы шутите, товарищ дивизионный инженер, при чем тут дни? На действительной службе подготовка сапера, если не ошибаюсь, занимает три года. И за парты садится молодежь: и память, и смекалка у молодых красноармейцев — позавидуешь! А в батальоне ведь отцы семейств в большинстве и никакие уже не ученики...

Дивинжен усмехнулся:

— Ну, батенька, много запрашиваете: через три года и война кончится!

— Извините, я не договорил. Рассчитываю на три месяца.

Водил меня к генералу начальник штаба. Теперь повел дивизионный инженер, и генерал на этот раз был неласков. Насупив брови, потянул к настольному календарю, полистал его и сделал жирную отметину красным карандашом. После этого повернул календарь ко мне:

— Запомните число. Тридцать дней — и вы представите мне батальон в полной боевой готовности. Произведу смотр — и марш на фронт!

Тридцать дней... После этакой встряски не сразу и опомнишься. К листку, над которым столько работал, составляя проект программы, я почувствовал отвращение, порвал его и выбросил.

Возвратившись из штаба дивизии, и в особняк не зашел. Захотелось глотнуть свежего воздуха, рассеяться, отвлечься от неудачи, и я свернул в Михайловский сад.

В саду еще живет и не желает ломать стрелки на своем циферблате мирное время. Вокруг цветочных клумб бегают, весело гомоня, детишки. Дети и в колясках, размеренно прокатываемых мамами,— но эти еще с сосками в беззубых ртах. На скамейках дремлют деды: время от времени, встрепенувшись, они конфузливо подбирают выпавшие из рук газеты...

Мирное время... Но оно уже только в лицевой части сада, что обращена к бойкой Садовой улице. В глубине его — военная канцелярия: моя, саперного батальона. И зеленый свод здесь уже не красота природы, а прозаическая воздушная маскировка.

Гляжу, в канцелярии спортивный номер: присевший на корточки человек в поношенном пиджачке поднимает на стуле другого, всего только взявшись рукой за ножку стула. «Этакую тяжесть выжать! — поразился я. — Кто же это такой?»

А тот как ни в чем не бывало, не потеряв дыхания, еще и нравоучение прочитал:

— Нецелесообразно это, товарищ писарь: со стулом — да в куст с розами. Гляди-ка, сколько головок свихнул. Где же наша забота об украшении родной земли?

Писарь, отставленный вместе со стулом в сторону, только досадливо сгрызнулся.

Необыкновенный силач заинтересовал меня. Кто он — штангист, боец? Окликаю его:

— Здравствуйте, товарищ!

Человек живо обернулся и, увидев во мне военного, встал во фронт. Не по-ленинградски темное от загара лицо, копна русых волос такой густоты, что их хватило бы, кажется, на две головы, ясные улыбочивые глаза. Под пиджаком косоворотка.

— Здравия желаю, — ответил силач. — Ополченец я. Желая Гитлера бить!

— Похвально, — сказал я. — А зарегистрировались? — кивнул в сторону столов.

— Так точно. И паспорт отдал. Фамилие мое — Гулевский Георгий. Больше Жорой зовут.

— А ваша профессия?

— Грузчик. В Лесном порту на экспорте. Пакет пиломатериалов на плечо — и шагай на борт судна.

Не могу не полюбоваться человеком: атлет! И черты лица, и рост, и плечи — все у него крупное, а о руках и говорить нечего — ручищи. Пожалуй, и в самом деле такой Гитлера походя пристукнет... А с лопатой поставить — первейший землекоп. Вот таких бы в батальон саперов!

Но сразу подумалось: «А ведь странно, что человек прибил к ополченцам. И по возрасту, и, видать, по здоровью место ему в регулярных войсках. Уж не уклоняется ли от мобилизации?»

Гулевский не сводил с меня глаз.

— Сумлеаетесь во мне, — осклабил он. И тут же — с горечью: — Белобилетчик я. По глазам. Стрелять, считают, не гожусь... Давеча в который раз требовал в военкомате: «Пошлите в бой!» Так меня за дверь выставили... А на улицах совестно людей — с моей-то ряшкой! Женщины за руки хватают: «Почему не на фронте?» К себе-то примите... Гитлера бить.

Я был в затруднении: «Как поступить, чтоб по закону?» Но слышу — кличут меня в канцелярию.

— Еще увидимся, — кивнул я Гулевскому.

Перед столами очередь ополченцев, а дело, гляжу, застопорилось. Стоит, опустив руки, какой-то военный. Оказалось, это доброхотный наш помощник. Из отставных. Помогает воинским частям ЛАНО в устроительстве канцелярии.

— Не могу я больше у вас задерживаться, — сказал старичок, неловко одергивая на себе новую гимнастерку, видать, отвык от военной формы. — Мне еще и в полки, и в батареи... Попрошу, товарищ капитан, назначьте своей властью писаря, я проинструктирую товарища.

Гляжу на стул — ведь только что был писарь. Где же он?

Старичок, видя мое недоумение, рассмеялся:

— Удрал ополченец, едва я вас кликнул. Не хочет быть писарем.

Я горько усмехнулся, сетуя на свою долю: «Батальон без писарей, выскивай среди ополченцев желающих... Разве этим был бы занят я в регулярной армии? Эх, не повезло...»

Сбежавший делопроизводитель оставил список зарегистрированных. Сел я, просматриваю столбики фамилий, обшариваю графу «Профессия, специальность», но канцелярских работников не вижу. «Хоть бы управдом какой-нибудь, что ли, подвернулся, — досадуя я, — так и этого нет!» А над ухом голос Гулевского:

— Осмелюсь сказать... Напрасно, товарищ капитан, стараетесь. Для чего народ пишется в ополченцы? Чтобы получить оружие и на фронт. А какой соблазн патриоту в чернильнице? Даже конторщик, ежели и пришел сюда, наверняка сказался инженером или техником. Для верности, чтобы приняли... Извините за мнение.

И смешно мне стало, и озлился я. Подозвал первого попавшегося. Поймался молодой человек с усиками. Нервное лицо, но не без приятности.

— Ваша фамилия?

— Грацианов. — Молодой человек пожал плечами. — Но при чем здесь я?

— Садитесь, товарищ Грацианов. Вот вам стул, перо, чернильница, бумага — и продолжайте регистрацию. А то с дискуссиями и до ночи не кончим набор в батальон.

У человека задергалась щека, в темных глазах вспыхнуло негодование.

— Я?.. — И он так глянул на меня, что, будь в его глазах заряд, убил бы наповал. — Я инженер-конструктор! Пришел, чтобы защищать Ленинград, а вы меня — в канцелярию?.. Да ни за что на свете!

Я выжидал: нервному возражать нельзя, надо дать выговориться. И вот молодой человек выпустил свой пылкий заряд — повторил, но уже вяло:

— Ни за что на свете...

Тогда я в свою очередь сказал:

— Товарищ Грацианов, вы меня обижаете. Ведь я не повар с ножом, а вы не куринок, бьющийся в моих безжалостных руках... Вы интеллигентный человек. Вообразите себя в положении командира батальона... Выручите, прошу.

Эмоции с обеих сторон исчерпаны. Молодой инженер послушно сел за писарскую работу.

Тут бы мне порадоваться первому пусть крошечному, но все же успеху в формировании батальона. Но сознание подавляла неразрешимая задача: «Тридцать дней — и батальон должен быть сформирован и обучен!»

Малодушничая и презирая себя за это, я внушал себе, что программа потерпит, и углублялся в дела канцелярии.

Приглядел я в писаря и второго ополченца, чтобы очередь не накапливалась. Этот, второй, годами постарше Грацианова. На нем про-

сторный из дорогих летний костюм, цветок в петлице, в руках трость с инкрустацией. Прохаживается и как бы любит себя собой.

«Ну-те-ка,— сказал я себе,— посмотрим, что это за птица». И предложил человеку заняться делом: помочь батальонному писарю.

— Што-о-с?.. — У щеголя даже подскочили брови. На лице изумление. — Ш-ш-што вы сказали?

Я повторил — и услышал в ответ:*

— Извольте узнать, кто перед вами! Георгий Николаевич Попов — консультант по крупным и принципиальным строительным проблемам. Каждый меня знает в инженерных кругах Ленинграда!

Упомянув, что он «на броню», важный гражданин продолжал:

— Но как старый петербуржец и патриот не могу и мысли допустить, чтобы какой-то выскочка Гитлер нанес ущерб моему родному городу, нашей балтийской Венеции. Записался, как видите, в ополченцы. Располагаю существенными идеями о превращении города в твердыню... Однако должен поставить вам условие: полная (тростью в землю) свобода рук!

— Извините, это ультиматум? Но вольнопрактикующие ополченцы батальону не нужны.

А тот:

— Напрасно мною пренебрегаете. У меня опыт и солидное — не то что дают нынче — образование. В свое время имел честь закончить Институт инженеров путей сообщения.

— Забалканский, девять? — уточнил я. — Как же, как же, знавал и я этот адрес. И форму отлично помню, которую носил: окантованные зеленым бархатные наплечники с литым вензелем под серебро. Фуражка с тем же зеленым кантом и эмблемой широких познаний, которые давал институт: топорик, перекрещенный с якорем. И профессоров помню...

Любопытно было видеть, как менялось лицо старого путейца. Сперва выпятилась нижняя губа — он был озадачен встречей. Потом сунул в рот сигару и принялся усердно жевать ее, как бы размышляя: «Верить или не верить? Какой-то красный командир — что может быть общего с изысканным путейцем?» Наконец раскурил сигару, глаза его повеселели, и он устроил мне ловушку:

— А шшебень какой бывает?

Так он произнес слово «щепень». В мои студенческие времена, помнится, было принято оригинальничать; особенно доставалось родному языку. У старого путейца звук «щ», видимо, вообще уже отсутствовал в произношении, был во имя моды истреблен.

Я не ответил по поводу «шшебня», чем навлек на себя взгляд презрительный и осуждающий.

— Прошу прощения... — Щеголь гордо вскинул голову. — Не туда попал. Оревуар!

И человек, которого хотелось бы назвать существом ископаемым, приподнял соломенную шляпу-тарелку. Он уходил, при каждом шаге далеко откидывая в сторону трость. Шагало оскорбленное достоинство...

Оборачиваюсь к Грацианову, а он уже, молодчина, освоился с делом: людей на регистрации не задерживает, толпа ополченцев поредела. Да и помощник уже у него под рукой. Сам выбрал из молодежи — так-то лучше.

Еще и день не кончился, гляжу — опять тот самый путеец. Повинно снял шляпу, трость убрал за спину.

— Сможете ли вы, коллега, меня простить? Ведь я вас заподозрил бог знает в чем...

— В самозванстве. Это я понял.

Старый путеец страдальчески поморщился.

Парень постоял немного, привыкая к тяжелой ноше. Сделал шаг, еще постоял, укрепляясь в равновесии, и уже смело вступил на трап, чтобы подняться на борт судна. Думает: только бы не поскользнуться... Но оказалось — лапти своей шершавой подошвой цепляются за поверхность деревянного трапа. Парень смекнул: «Лапоточки-то выдают с умом: для техники безопасности!»

Втянулся Жора Гулевский в работу, таскал пакеты уже по десять пудов. Брать тяжелее запретили.

Навигация за навигацией — и Гулевский уже бригадир «носаков». Перед тем как вывести (в первый же свой бригадирский день) бригаду на погрузку иностранного судна, сказал речь грузчикам — опасался, как бы не подвели: ведь что ни лето, новые люди, сезонники.

— Капиталист, — он, ребята, с понятием. Из-за морей-океанов, вокруг земного шара приплывает к нам, только бы сторговать советские досочки. Сегодня у нас пиломатериал из горной сибирской сосны — это же кондиция. Не доска — сахар! А вот человека нашего тот купец не уважает. Так что ухо держать востро — не осрамитесь!

— А ты, бригадир, и почи первым. Покажь пример.

Гулевский взшел на борт судна с десятипудовым пакетом, и пораженная таким богатством команда встретила советского докера возгласами одобрения. Но капитан нахмурился: поведение матросов ему не понравилось.

Между тем погрузка продолжалась. «Носаки», освободившись от пакетов досок, спешили — подальше от греха — покинуть судно.

А капитан: «Stop! Look here, boy». (Погоди-ка, мол, парень, погоди...)

Один из грузчиков остановился. Из любопытства. И стоят друг против друга два человека: джентльмен в отлично сшитом кителе и в сверкающей золотом фуражке и мужичок в пропотевшей, распахнутой на груди рубашке, заплатанных штанах, в какой-то первобытной обуви из коры дерева... «Носак» хмурится. Во взгляде иностранца он чувствует презрение. Но не успевает и шага ступить прочь, как перед ним вырастает дородный кок в колпаке. И — поднос с чем-то необыкновенным. Грузчика, успевшего на тяжелой работе проголодаться, да и вообще в те годы не очень сытого, ошеломляют вкусные запахи, и, только преодолев внезапное головокружение, парень начинает различать на подносе горячие румяные пирожки, розовую горку ветчины, жареную рыбу, хлебцы — маленькие, на один укус, но их тоже горка... И «носак», торопливо вытерев руки о штаны, принялся хватать с подноса что попало.

Капитан торжествовал:

— Кюшай, бой, кюшай, — говорил он, с трудом подбирая и коверкая русские слова. — Советы тебя так не накормят!

Едва кончилась смена, Гулевский объявил экстренное собрание бригады. Распалился:

— Василия Вислоухова предать позору! Нажрался у капиталиста, честь советского гражданина запятнал! — И пошел, и пошел костить провинившегося.

«Носаки» терпеливо выслушали его — но и только. Никто не выступил, не поддержал бригадира.

Гулевский — в партком.

— Ошибку дал, товарищ бригадир, — сказали ему коммунисты. — Бабахнул сразу: «Предать позору!» Собрание созвал, а выслушал ты людей? Нет. Значит, и поправить их ошибочные взгляды лишил себя возможности. Вот и оторвался от массы, остался в одиночестве...

Запомнил он этот первый день своего бригадирства. Не сразу, но сумел навести в бригаде порядок, организованность. Вовлек ребят в соцсоревнование с грузчиками из других бригад, и закончилась навига-

ция для бригады Гулевского торжеством: ей было вручено переходящее Красное знамя порта.

...Рассказ окончен. Гулевский глянул на меня, слушателя, и смутился:

— Наплел я вам лаптей, как на ярмарку...

— С удовольствием,— говорю,— послушал. Но меня вот что сейчас интересует. Что значит — ожог сетчатки? Если вам дать ружье — мушку видите?

— Да как сказать...— замялся собеседник.— Роятся мушки...

А я подумал: «На сходнях с грузом досок не оступался — попадет ногой и лопатой копнуть... Беру в саперы!»

Объявил об этом Гулевскому. Поздравил его, а человек не отозвался, едва ли даже услышал меня. Поглощенный своими мыслями, твердил:

— Ружья не дадите, дайте пику... Как ни крути-верти, а наше дело — Гитлера аннулировать...

Отпустил я богатыря, выхожу из зеленого закоулка, а навстречу мальчуган в буденовке — старой, видимо, с головы отца. Он остановился, поглядел на носки разношенных ботинок; выравнивая ноги, выпрямился, козырнул:

— Товарищ капитан! — Он набрал дыхание и звонко отчеканил: — Спрашивают, будет ли обед предоставлен. Докладывает Григорий Никитич Щербаков!

Обед! Я спохватился: и в самом деле — пора... Надо распорядиться.

Шагаю, паренек рядом — рысцей. На вид совсем юнец этот Григорий Никитич. Спрашиваю — кто он, откуда?

Отвечает солидно, баском:

— В список поставили. Ваш ополченец.

Но солидности ему хватило на какие-нибудь два-три шага, и он, попевая за мной, затараторил. Узнал я, что он новгородский, окончил в своем селе семь классов и, чтобы приодеться, нанялся по вербовке на торфоразработки близ Ленинграда. Но начались воздушные налеты, и он, спасаясь от немецких бомбежек, сам не заметил, как очутился в незнакомом большом городе. Сказали ему: «Это Ленинград».

А сейчас Грацианов подослал ко мне паренька как бы на смотрины. Что, мол, скажу об этом ополченце — расторопный, но не слишком ли ребячлив? Мне понравилось, что инженер-конструктор, став всего лишь канцеляристом, все больше входит в интересы батальона. Я утвердил паренька посыльным при штабе.

Что же касается обеда и прочих статей распорядка дня, то из дивизии по телефону мне сказали:

— Распустите детей до утра по домам.

«Детей»? Ага, это уже шифровка, диктуемая обстановкой войны.

Чирок привез обувь: кроме ботинок немало и сапог. «Саперы,— сказал я ему,— будут благодарны».

— Контокоррент! — ответил на это Чирок, очевидно, не очень вникая в смысл слова, вернул его, видимо, для шика.

Впервые замечаю, что у моего помощника вздернута верхняя губа. Признак высокомерия, считают физиономисты. Возразить этому в данном случае было трудно.

— А где же ваш компас? — заметил я.— Не заблудитесь без него в городе?

Чирок быстро глянул на меня, но укол стерпел.

— Приберегу для фронта.

— А свисток? Костяной ведь у вас был, редкой работы, грудь украшал.

— Срезал и выбросил,— сказал Чирок, уже раздражаясь.— Я не милиционер, а военнотружачий!

— Не сердитесь, Алексей Павлович,— сказал я миролюбиво.— С кем мне и пошутить, как не со своим помощником?..

Шутки шутками, но уже вечер, а дел невпроворот, и без Чирка их не решить. Взять питание. Сегодня ополченцы побеждают дома, там же, кстати, и переночуют. А завтра? Оденем в военное, значит, обязаны кормить их уже в батальоне. И жилье надо организовать казарменное.

Выслушал меня Чирок, сложил ладони рупором и крикнул: «Ого-го, эй, батальонный!»

Гляжу, позевывая, идет Грацианов. Вот не ожидал. Досталось ему за день писарской работы! Отдохнул бы дома, как все, так нет — сам себе устроил ночное дежурство.

— Батальонный,— сказал Чирок,— плотники требуются. Погляди-ка в списки, мне бы человек двадцать, которые живут поближе.

Грацианов вопросительно глянул на меня, но Чирок пошел на него грудью:

— Помощник командира батальона приказывает, чего тебе еще? Исполняй!

Я кивком подтвердил распоряжение помощника. А Чирок уже в дверях:

— Эй, Степаныч, заводи машину — по боевой тревоге!

На дворе затарахтел мотор грузовика. Гляжу: тут как тут и Григорий Никитич — уже в пилотке и в армейских ботинках.

Чирок снял. За хлопотами не успевал даже «Пальмиру» выкурить: зажжет, сделает затяжку и бросит, хватает из кобуры другую папиросу. Уверяет:

— Склады и базы для нужд ЛАНО открыты круглые сутки. К утру будут топчаны для всего батальона. Не верите? Поспорим! На них еще и плотники после работы выпьются.

Чирок выкурил наконец папиросу и продолжал:

— Шеф-повара, считаю, надо брать не из какой-нибудь общепитовской забегаловки, а из «Астории» или «Европейской». Чтоб питание у нас было во! — И он поставил торчком большой палец.— Боеготовность красноармейца, сами понимаете, закладывается в кухонном котле.

Я усомнился: рестораны знаменитые — пойдут ли оттуда к нам кашеварить?

— Пойдут,— сказал Чирок уверенно.— Время военное, какие теперь гости, тем более — денежные? Рестораны пустуют, а у меня и шеф, и еще с десятков поваров при деле будут... Контокоррент!

Оставалось только удивляться Чирку. Ну и хват. С таким не пропадешь!

Выхожу в сад. Настроение приподнятое, но — ненадолго. Одно-другое в батальоне налаживается, а главное не решено: где программа? Эти «тридцать», как бурав, сверлят мне мозг и ни до чего не досверливаются. Хоть бы комиссар поскорее... Но на мои звонки в политотдел дивизии только и ответ: «Назначен. Будет. Старый коммунист, инженер-строитель. Задерживается на объекте: оформляет консервацию недостроенного жилого дома — это же материальная ответственность, не можем мы человека сорвать с дела!»

Досадно слышать, как будто батальон менее ответственный объект!

Слоняюсь по аллеям сада. Уже появилась, побрякивая колокольцем, сторожиха, и к калитке устремляются последние гуляющие. Но меня звонок не касается. С хозяйкой сада я установил добрососедские от-

ношения. Она терпит присутствие в саду батальона; я, со своей стороны, дал обещание, что от саперов ни ей, ни гуляющим помехи не будет.

— А куст роз раздавили... — заметила женщина, и под ее суровым, словно иконописным взглядом я покраснел, как мальчишка. Впрочем, искреннее мое раскаяние ее смягчило.

Хорошо в саду... Вокруг могучие деревья — будто толпа мудрецов. Я останавливаюсь, жду: быть может, мудрецы просветят меня? Но улавливаю лишь шепот листвы — этот язык мне не знаком... Между тем на каменистую дорожку, куда мне ступить, пал блик света. Поднимаю голову — и не сразу понял, что это засветился шпиль Инженерного замка. Покрытый золотом, казалось, он плавится в лучах закатного солнца. Шагнул в сторону — теперь шпиль виднеется сквозь листву деревьев. Легкий ветерок колышет ветви, и от этого перед глазами не просто блеск металла, а как бы мозаика, набранная из золотых и зеленых кусочков, каждый из которых, казалось, перебегает с места на место, живет, трепещет...

Инженерный замок... Взроились мысли. Ищу глазами парадные ворота... Вот они. Здесь стояла когда-то полосатая будка. Часовой взял на караул. Из замка под музыку выходит колонна Николаевского инженерного училища. А в голове колонны я со знаменем. Было это... в 1916 году. А сейчас 1941-й... Вот интересно: четверть века прошло, ровнехонько! Даже месяцы рядом: там июнь, здесь июль. Неожиданный юбилей, с которым я мысленно себя и поздравил.

За училище я горд и поныне: Николаевское инженерное, в отличие от многих других юнкерских, не пошло в Октябрьские дни за контрреволюцией. В 1918 году в замке действовали «Первые инженерные петроградские командные курсы РККА». Мостовик профессор Ушаков стал начальником курсов. Завучами — бывший генерал Зубарев и профессор Яковлев. Впоследствии они же преобразовали кратковременные курсы в военно-инженерную школу с трехлетним сроком обучения. В 1927 году профессору Яковлеву за новые работы по фортификации было присвоено звание заслуженного деятеля военных наук. Но повидать никого из них мне больше не довелось. Собирался сходить в училище, да так и не собрался. А теперь уже никого из них нет в живых. Хорошо сказано: не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня...

Но что это — память сердца или нечто большее?.. Едва я представил себя в кругу любимых профессоров и воспитателей, сделавших из меня человека организованного, чуждого всякой расхлябанности, как в ту же минуту решилась задача, не дававшая мне покоя: можно втиснуть программу в тридцать дней! Можно. И я схватился за бумагу и карандаш.

Радостно взволнованный, я не сразу понял, что хочет от меня вынырнувший из темноты сада Григорий Никитич.

— Ну что тебе, товарищ Щербаков? Чего не спишь? Доски привезли?

— Сгружены уже. Только одной машины мало. Опять поехали.

— Ну хорошо. Иди-ка спать.

Парень прокашлялся:

— Докладываю... Товарищ командир батальона! Комиссар пришли.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Вот он, комиссар — Осипов Владимир Васильевич. Встретились у крыльца особняка. Сбросив брезентовую куртку строителя, он то шепкой, то острым камешком счищал с сапог густо налипшую известку. Завидев меня, распрямился, и мы, что называется, впелись друг в дру-

га глазами. «Не посетуйте,— он кивнул на свои руки,— весь еще в грязи, не могу поздороваться». И опять занялся сапогами. Разглядывая комиссара, я мысленно отметил, что человек примерно моих лет, это хорошо — сверстникам легче понимать друг друга. Второе: оба мы инженеры — опять же тропинка для сближения...

«Но не спешите,— сказал я себе,— не забегайте вперед с оценкой человека! Увидите друг друга в деле». Знал я случаи, когда командиры и комиссары, как было принято говорить, «не сработались». На поле боя это может приобрести страшный смысл!

Осипов уже голый до пояса. Щербаков черпает из ведра и льет ему на голову и на плечи холодную воду.

— Уф, хорошо! Мыльца бы, мыльца...

Находится и мыло. Позаботился Грацианов. В руках у него и мыльница, и полотенце.

Я присаживаюсь на штабель свежих досок и тут же улавливаю, что внутри здания пилят, тешут, приколачивают. Это уже плотники. Ай да Чирок! Только и остается вслед за ним воскликнуть победное: «Конторкоррент!»

Между тем Осипов, отфыркиваясь, кивнул мне:

— Одобрите ли?.. Топчаны сколачивать — это канитель не на один день... Проще нары... Я так и распорядился.

— Согласен, — сказал я, поняв, что Чирок в своем рвении переусердствовал. — Обойдемся нарами.

— Поднимемся в нашу комнату,— предложил я Осипову, когда тот уже расчесывал мокрые волосы. Нужно было согласовать с ним программу подготовки саперов, но решаю подождать: как бы казуса не получилось.

У входа броская надпись, красиво выведенная на ватмане чертовым пером рондо: «Командир и комиссар батальона».

Это, догадываюсь, творение Грацианова — но не как канцеляриста, а как инженера-конструктора. Открываю дверь, приглашаю войти комиссара, он нащупывает выключатель — щелк! — и вспыхнул плафон. Эге, да и электричество уже действует!

Мы с комиссаром теперь полностью на виду друг у друга. Осипов, оказывается, и ростом с меня — в строю, когда мы будем рядом, это произведет впечатление! Он улыбнулся, обнажив необычно крупные верхние зубы.

— Чего уставился? — поймал Осипов мой взгляд. — Резцы больно крупные? — И пошутил: — А это пара саперных лопат — от природы. Видать, предназначение такое было — попасть к тебе в саперный батальон.

Видю, человек предлагает перейти на «ты». Ну что ж, еще шаг к сближению.

— Сапер от рождения, — сказал я, — это замечательно. — И поддержал шуточный разговор:

— А знаешь, кто был первым человеком на земле?

— Ну, Адам. Если по мифологии.

— Не верь, товарищ, мифологии. Верь Редьярду Кипплингу.

И я продекламировал:

Чуть из хлябей проглянул земной простор,
Налицо уже был — так точно! — Сапер
Господь бог не Адама — сотворил Инженера, —
Инженера ее величества войск,
С содержанием в чине Сапера!

Осипов заинтересовался:

— «Войск ее величества»?.. Это значит о королеве Виктории речь. Написано, как я понимаю, в пору расцвета империалистического могущества Англии. Ну-ка еще, интересно, что дальше.

И я прочитал по памяти еще два куплета:

А когда был потоп и ужасный муссон,
Многоопытный Ной сделал первый понтон,
По плану господ Инженеров, —
Инженеров ее величества войск,
С содержанием в чине Сапера.

А когда с Вавилонской башней был крах,
Дело было в штатских руках,
А не у господ Инженеров, —
Инженеров ее величества войск,
С содержанием в чине Сапера...

Осипов, раздумывая, покачал головой:

— А ловко все ж таки господин Редъярд потрафлял своим бригад-цам-завоевателям... Откуда это у тебя?

— Дело давнее, — сказал я. — В Николаевском инженерном горла-нили эту песню. Нам, мальчишкам, нравилось, что сапер все может.

Комиссар поморщился:

— Выбрось этот хвастливый хлам из головы. Обучим батальон и на деле покажем мастерство сапера. Нашего, советского. Так ведь?

— Я уверен в этом, комиссар.

А он задорно:

— И песню запоем. Сочиним с тобой нашу, батальонную!

Однако как преобразилась комната! С утра была уныла и пуста, а теперь с полной мебелировкой. У стен два новеньких топчана, от них в комнате запах соснового леса. И еще аромат: от сена, свеженакошен-ного. Пухло, как сдоба, вздымаются на топчанах сенники. Письменный стол и стулья — из обстановки училища. Но две полки для книг, вешалка, настенный шкафчик — тоже, как и топчаны, сегодняшней работы.

Тронула меня забота ополченцев: ведь совсем еще незнакомые мне люди — плотники, столяры. И увидел я в этом внимании ко мне залог того, что в батальоне сложится дружная боевая семья.

Между тем и Осипов осматривал комнату хозяйским глазом. Открыл и закрыл дверцы шкафчика, кивнул одобрительно: «Здесь будет посуда». Затем опробовал коленом устойчивость каждого топчана и наконец кинул на вешалку кепку.

Сели друг против друга.

— Значит, — сказал комиссар, — перо беллетриста откладываем в сторону, чтобы фашистскую гадину бить?

— Именно так. Ведь и на стройках теперь, надо полагать, будет иное. Клали этажи вверх, а теперь пойдут вниз, под землю, по сапер-ным чертежам.

Помолчали. Внезапно комиссар спросил:

— В гражданской участвовал?

Я упомянул и дивизию Н. А. Щорса, и бронепоезд. Комиссар про-сиял и с размаху подал мне руку:

— Приветствую соратника! А о себе скажу: громами, как ты на бронепоезде, не управлял. Политработником был. Но без слова боль-шевика пропагандиста, пожалуй, и пушки твои на бронепоезде не да-вали бы настоящей меткости... Как считаешь, капитан?

Разговорились. Я коротко рассказал о себе.

— А у меня детство иное... — И лицо Осипова стало жестким. — Ни леса, ни лугов, ни солнышка. Окна отцовской квартиры выходили в каменный колодец. У Достоевского, небось, читал про эти питерские дворы?

Так Владимир Васильевич начал рассказ о себе. Существовала в

царское время такая профессия: счетчик банковых билетов, то есть бумажных денег. Отец Осипова и был счетчиком. Изготавливала билеты фабрика — «Экспедиция заготовления государственных бумаг». У счетчиков особая, охраняемая вооруженным караулом, рабочая камера. Садилась за столы чуть свет.

Сперва служитель клал на стол перед счетчиком большие чистые листы, на которых, если взглянуть на свет, только водяные знаки с изображением двуглавого орла. Успех дела, а значит, и заработок зависели и от того, насколько у человека быстро и ловко бегают пальцы. А как этого добиться? Только привычка. Рабочий день — двенадцать часов, но не дай бог, если у человека от усталости задвоится или потемнеет в глазах... Допустил просчет — долой из «Экспедиции».

Многokrатно сосчитанные листы шли в печать и с нанесенным на них контуром будущего денежного знака возвращались к счетчикам. Снова бегают пальцы, зорко глядит глаз, напряжено внимание. Сосчитал листы, обозначил количество на этикетке. После этого заготовки вторично идут в печатную машину, и в третий раз, и в четвертый, пока не образуется банковый билет в радужных красках.

Чем больше листы становились похожими на деньги, тем придирчивее были контролеры. Случалось, они устраивали счетчикам ловушки. Например, у счетчика получалось пятьсот штук, так и на этикетке поставил: «500» и свою подпись. А контролер подсунет в пачку лишний лист и велит другому счетчику: «Пересчитай!» Или наоборот: из пачки, где пометка «500», вынет лист. Счетчики терялись, вспыхивали споры, каждый отвергал падающее на него подозрение в нечестности... Человек не только устанет на работе, но и издергается.

Платили счетчикам в «Экспедиции» хорошо, оттого и терпели эту каторгу. Мог счетчик иметь, как это было у отца Осипова, хотя и дешевую, но отдельную квартирку. И семью содержал, и даже давал детям образование. Но краток был век счетчика. В самом деятельном возрасте люди становились нервными или из-за слабеющего зрения надевали очки, а таких к счетному столу уже не допускали. Сажали молодых, здоровых.

Володя Осипов был только в шестом классе гимназии, когда отец его заболел и быстро умер от чахотки. В виде особой милости и из уважения к памяти честного работника управляющий «Экспедицией» принял недоучившегося гимназиста на место отца — счетчиком...

Осипов мне сразу показался сутулым. Так вот откуда это у него... И я представил себе мальчугана, который весь день сидит, скрючившись над счетным столом, не позволяя позвоночнику правильно развиваться.

Посочувствовал я человеку:

— Проклял ты, наверное, с тех пор царские деньги, комиссар!

— Что деньги, — сказал Осипов задумчиво. — Весь строй был бесчеловечный... — И он переменял разговор:

— Значит, завтра приступаем к занятиям с ополченцами... Доброе дело — почин! Что и как — запланировано у тебя, капитан?

И тут я, набравшись духу, предъявил свой листок. На нем то, что я наметил, во что уверовал.

Готовились спать — а тут Осипов и раздеваться перестал. Окинул меня мало сказать холодным — замораживающим взглядом:

— Муштровка?.. Э, нет... Перегибашь, комбат, потянуло тебя, бывшего офицера, на старорежимное... Муштровка не подойдет. Исправляй свою программу, исправляй, исправляй.

Будто ударил меня комиссар, попрекнув бывшим офицерством.

Не сразу я нашел в себе силы, чтобы защищать программу. А когда заговорил, Осипов, сморенный усталостью, перестал меня понимать. Улегся — и, уже засыпая, только и пробормотал:

— А песня за тобой, писатель... Для батальона...

Едва мы проснулись, я, придумав новый ход, возобновил разговор.

— Послушай, комиссар,— сказал я как бы между прочим, застилая постель,— счетчики в «Экспедиции» этой самой считались служащими или рабочими?

Осипов взбивал свой матрас-сенник.

— По мундиру — служащий,— ответил он, приостанавливаясь,— а по существу и те и другие были под ярмом эксплуатации.

— Так я и подумал, Владимир Васильевич. Счетчик скорее рабочий, чем служащий. Грамотный рабочий. Ну, а в Октябрьские дни ты, наверное, и в красногвардейцах побывал?

На лице Осипова появилась улыбка.

— Ясное дело! Помню: так хотелось поскорее винтовку занять.

— Ну и как?..— заговорил я уже осторожнее.— Получил винтовку?

— Да ты что? — И Осипов возрился на меня с недоумением.— А еще военный... Так сразу — и винтовку в руки. А если стрельнет ненароком?.. Этак и до беды недалеко.

— Да, да,— поспешил я согласиться,— ты же еще гимназическую шинель донашивал... Винтовки в красногвардейских отрядах раздавали взрослым рабочим.

Осипов возразил:

— И опять же не так просто было дело. Выдать винтовку — выдавали. Да тут же велели в козлы ставить: не трогай, мол, скажут, когда взять.

Я притворно удивился:

— Ишь ты — «не трогай, не смей». И это вам, революционным рабочим?

— А солдат нами командовал.

— Солдат? Выходит, рабочие сами себя подчинили солдату?

Осипов пожал плечами:

— Станный ты, ей-богу, капитан. Все делалось согласно указанию партии большевиков... Прикидываешься, что ли, простачком. С винтовкой обращаться уметь надо! Следовательно...

— Обожди, комиссар, обожди...— Я едва сдерживал ликование.— Но ведь винтовки в козлах. Чем же солдат с вами занимался?..

— Чем?..— В голосе Осипова озадаченность. Но через мгновение он уже хохотал. Отступил от еще не заправленной постели и продолжал хохотать.— В западню заманил... Караул, я в западне!.. Ну и ловок же ты, капитан! Это как же называется у вас, саперов, такой коварный маневр?

Отдышавшись, продолжал:

— Была строевая подготовка в красногвардейском отряде, была! Ясно теперь вижу, как топал, до одурения топал, грязь разбрызгивая. Косишь глазом — в двух каких-нибудь шагах место обсохшее, но свернуть туда не смеешь, сразу окрик солдата, то бишь унтер-офицера. Тайком от офицеров приходил он по назначению большевиков из своего полка. Ведь во всех еще правах было Временное правительство, головой человек рисковал. Помнится, знающий дело служивый был, сперва стеснялся голос на рабочих возвышать, но сами рабочие потребовали строгостей военных: понимали, что дело подошло к тому, когда даже при пролетарской сознательности потребовалась суровая воинская дисциплина. Топали по большей части на пустырях, а то и у зловонных свалок — лишь бы подальше от глаз насторожившегося начальства да соглядатаев из Зимнего дворца...

Вспоминая былое, Осипов ласково поглядывал на меня. Так пришли мы к согласию в понимании главного в краткой программе подготовки ополченца.

Спозаранку мы с комиссаром на ногах. Тридцать дней у нас, а точнее — уже двадцать девять. Да еще полдня уйдет на баню и на обмундировку ополченцев.

С батальоном отправился в баню комиссар. Возвратился приятно размеренный.

— Ах, что за народ, что за люди! — заговорил он восторженно еще с порога комнаты. — Ты многое потерял, капитан, что не пошел с нами. Подумаешь, дома принял ванну, а веничком попариться? Это же не только для телес, для души целительно...

Он сел, вытер шею и лицо полотенцем, отдышался.

— Преклоняться надо перед нашими ленинградцами, капитан! Что ни ополченец, то рвется в бой... Ты затревожился, что отпущено нам всего тридцать дней для работы. Но брось бухгалтерскую сторону дела, подними голову от своих расчетных листов, услышь голос патриота: «Даешь оружие — и в бой!» Да на этаким всенародном подъеме наши люди в гражданскую, вспомни-ка, чудеса творили!

Восторги эти меня встревожили. Уж не засомневался ли комиссар в правильности программы, которую сам перед баней подписал?

— Помню гражданскую, — сказал я, — как не помнить, да только у нас с тобой, комиссар, обстановочка сейчас другая. Сейчас в батальоне, с военной точки зрения, новобранцы. А тогда? За три с лишним года империалистической почти весь народ побывал в окопах. Когда вспыхнула гражданская, люди в военном деле уже поднаторели, в особенности унтер-офицеры. Из их среды, сам знаешь, вышли и некоторые замечательные полководцы того времени. Революционный подъем в народе — это само собой. Но без военных знаний это — стихия, беспомощная перед регулярной армией врага. Надеюсь, согласишься со мной.

Комиссар задумался.

— Да, — медленно выговорил он, — война сейчас на истребление...

— А мы не желаем быть истребленными.

— Не желаем, капитан. Ни в коем разе.

Я продолжал:

— Поверь, я разделяю твое восхищение ополченцами. Порыв людей прекрасен. «Ура-а!» — винтовку навскидку и вперед. Безумству храбрых поем мы славу! А чем это кончилось бы?.. Нет, комиссар, не тысяча красивых смертей способна украсить знамя батальона, а умение, не дрогнув под огнем, развернуть наши саперные средства. Первый шаг сапера в бою — преградить путь фашистской гадине. Второй шаг — содействовать пехоте, танкам, артиллерии в разгроме врага. А это по плечу только саперу, по-солдатски вышколенному...

Осипов усмехнулся.

— Ты, кажется, меня агитируешь, капитан? Но восхищение мое ополченцами отнюдь не исключает программы, которую мы с тобой подписали. Кстати, хочешь, я сам снесу ее на утверждение? Заручусь поддержкой в политотделе — и к генералу.

Большого и желать было нельзя.

Генерал одобрил нашу программу.

В батальоне появился младший лейтенант Александр Васильевич Лапшин. На нем поношенная, но старательно вытуженная гимнастерка: свидетельство того, что человек отслужил действительную службу. Приятно было видеть его строевую выправку.

Я и комиссар, не сговариваясь, решили: ставим Лапшина адъютантом батальона. А он, оказывается, еще и маскировщик экстра-класса: пришел к нам с киностудии «Ленфильм», где был начальником декорационного цеха. Творил из папье-маше горы и вулканы, когда это требовалось для киносъемок; в наполненном из водопроводного крана бассейне разыгрывал морские бури с кораблекрушениями; из тряпья,

обрызганного раствором цемента, у него возникали и современные здания, и неприступные средневековые замки... Обо всем этом младший лейтенант охотно рассказал как о любимом деле. Обрадовался я: вот кто подготовит маскировщиков из ополченцев! Много ведь батальону и не надо — в общем счете человек пятьдесят. Обучит их Лапшин, найдет время.

Приступив к делу, Лапшин уверенно организовал работу штаба батальона. Установил час, к которому все службы (строевая, хозяйственная, санитарно-медицинская и т. д.) должны быть готовы к докладу командиру батальона. Завел порядок в служебной переписке. Появилась шнуровая книга приказов.

Бывают люди, умеющие на редкость красиво трудиться. Таков Лапшин. Впрягся в работу за двоих (начальника штаба для нас еще не подобрали) — и ни малейшей суеты. Все четко и своевременно выполнено, а руки — как ни взглянешь — у человека свободны, как бы напрашиваются еще и еще что-нибудь сделать... Прямо скажу: теперь я с удовольствием занимался в штабе с Лапшиным и Грациановым, Поповым и Виноградовым «текущими делами», которыми обычно тяготился.

Штаб работал четко, лишнего времени у меня не отнимал. А комиссар, гляжу, и вовсе не усаживается за канцелярский стол. Между тем почта и ему приносит немало бумаг.

— Поделись, — говорю, — опытом.

А комиссар:

— Инструкции шлют, наставления о постановке политработы в ротах, взводах, батальоне... Не нахожу ничего нового. Слово партии у меня на слуху.

«На слуху слово партии...» Меня поразили эти простые слова. Как глубокий и как значителен их смысл!

Узнаю комиссара все ближе. Приказы и распоряжения мои по батальону, замечаю, обретают такую силу воздействия на людей, словно к воле моей незримо присоединяются сотни воли, плечо мое как бы подпирают сотни плеч. Понял, что меня, беспартийного командира, до такого могущества поднимает партия в лице комиссара и коммунистов батальона. Это побуждало меня быть особенно строгим к себе, всякое свое распоряжение основательно взвесить, обдумать. И, требуя от людей дисциплины, самому подавать пример исполнительности. Словом, я стремился стать лучше, совершеннее, чем был.

Комиссар положил за правило: не навязывать мне своих мнений, а мою уважать. Но когда я спрашивал у него совета, откликался с большой охотой. «Ум хорошо, а два лучше», — напоминал он, что и подтверждалось на деле.

Когда на фронте, в боях, я вступил в партию, мы еще больше сблизились.

Утро дня рождения батальона. В полной форме спускаюсь из своей комнаты. Рядом комиссар с красными звездами на рукавах. В нижнем коридоре улавливаю запахи оборудованной нами кухни — немножко чада в воздухе, немножко жирного и чуть подгорелого. В другое время и в другой обстановке поморщился бы, но сейчас эти ароматы, как и звон прибираемой после завтрака сотен людей посуды, только радуют: батальон начал жить!

Переглядываемся с комиссаром, слова излишни, да и не выразишь словами душевный подъем, который оба ощущаем.

— Позавтракаем после? — спрашивает Владимир Васильевич.

— После, после,— говорю я. — Сперва поглядим, как разворачиваются строевые...

Когда-то студентом на железнодорожной практике, с разрешения машиниста паровоза, я дал ход поезду. Отпустил рычаг тормоза, другим рычагом включил пар — и с бьющимся сердцем замер в ожидании... Внутри паровоза зашипело, заклокотало, ноги ощутили дрожь напрягающейся машины, и — незабываемое мгновение! — товарный поезд в десятки тысяч пудов весом, послушный моему желанию, моей воле, моей руке, двинулся с места... Нечто подобное испытывал я и сейчас.

Вышли с комиссаром на воздух, остановились на крыльце. Лучи раннего солнца, пронизывая листву деревьев и кустов, разбегались перед глазами зайчиками. И сколько же этого веселого народа — не счесть! Уже с крыльца сквозь зелень вижу группы занимающихся ополченцев. Топают по аллеям Михайловского сада, еще закрытого для посетителей; топают среди кустов сирени, акации и жасмина на Марсовом поле; топают на торцовой площадке, отделяющей сад от канала Грибоедова. С разных сторон зычные выкрики: «Ать-два, ать-два... Шире шаг!.. На месте... Кру-угом!.. Прря-ямо!..» Звонкое в утреннем воздухе эхо вторит голосам.

Стою и сам себе улыбаюсь: тогда, в юности, возликовал, сумев дать движение поезду. А сейчас даю движение жизни батальона почти в тысячу человек... Что ж, посильно и это.

Между тем одна из групп направляется к крыльцу. Шаг крепнет.

— Кажется, решили продефилировать мимо командования батальона,— замечает комиссар.

— Определенно,— говорю я. — Похвалиться группе пока нечем — ни выправки, ни шага, ни равнения, но молодцы, дерзают.

В нужный момент я вытягиваюсь, беру под козырек. То же проделывает и Осипов.

— Здравствуйте, товарищи саперы! — И я поздравляю ополченцев с началом боевой учебы.

— Смерть немецким фашистам! — восклицает комиссар.

Прошагала еще группа ополченцев — эта уже неплохо. Еще группа... Но что такое? Гляжу: уже не группа, а колонна вытягивается из-за кустов персидской сирени... Я озадачен: где же последовательность в строевой выучке бойца? Кто это посмел вывести на учение сразу роту?.. Однако колонна не разваливается: шагают с песней — старинной саперной. Вчера я познакомил с нею ополченцев:

Отчего сапер таскает
Лопату, кирку — кирку и топор?
Оттого, что дело знает,
Что касается сапер!..

— А ладно поют,— замечает комиссар. — Ишь ты, даже с посвистом!

— Обожди,— говорю,— задам я им сейчас посвист!

А взгреть некого — колонна без головы... Вон она, голова: с любопытством из-за сиреневого куста выглянула. Вот он, самовольщик. Покинув засаду, ко мне подбежал командир второй роты Коробкин.

Фасонисто, с отяжкой руки, ротный козыряет, но, едва стащиваясь глазами, бравый вид его гаснет: на лице готовность получить заслуженную взбучку.

— Докладывайте,— требую я,— и прежде всего о том, как понимаете дисциплину.

Коробкин молчит. За несколько дней знакомства он, подозреваю, учуял, в чем моя слабость: пасую перед отличной строевой выправкой. Не отнимая кисти руки от пилотки, хитрец эффектно разворачивает грудь. Он строен, рост 185 (выше меня), у него красивое породистое

лицо, которое сейчас выражает полную мне, командиру батальона, преданность. Но не больше. Человек горд и, как говорится, знает себе цену.

Владимир Петрович Коробкин — сын царского генерала интендантской службы. По старинному дворянскому обычаю мальчик едва ли не со дня рождения был зачислен как бы уже на службу в один из гвардейских полков. Подростком, но одетый уже в форму полка, он запах конюшен предпочитает аромату любого цветка; в манеже широко открытыми от восхищения глазами наблюдает, как гарцуют всадники. Он дружит с бородатыми и усатыми дядями солдатами, а те балуют шустрого и любознательного паренька, сажают в седло и — верх блаженства для всякого мальчугана — позволяют прокатиться верхом. Жизнь определена: ничего иного — только служба в кавалерии! Но произошла революция. Отец генерал, честно послужив Советской власти, умер в 1920 году. И мальчик с матерью, чтобы прокормиться в те нелегкие годы, принялись колесить по стране — от родственников к родственникам. Все же Владимиру удалось закончить среднюю школу. Коробкин стал архитектором, но влечение к коню не угасло. В одном из ленинградских манежей он прошел курс верховой езды, стал совершенствоваться в вольтижировке.

Но призыв в армию — и присваивают ему не желанное звание кавалерийского командира, а скучнейшее — воентехника. Коробкин разочарован, подавлен. Вот и сейчас, на Марсовом поле, называя в рапорте, как полагается, свое звание, он споткнулся о постылое ему слово «воентехник».

— Спрашиваете о дисциплине? Отвечаю: как и вы, товарищ капитан, держусь дисциплинарного устава. — И улыбнулся не без самодовольства: — А моя вторая рота разве плохо показала себя?

— Отвратительно, товарищ воентехник! Это еще не рота, а вольная команда. Где равнение в затылок? Где равнение в рядах?.. Ротные учения как преждевременные отставить. Попрошу держаться установленных правил в строевой подготовке бойца!

Коробкин поскущел. Ответил вяло:

— Слушаю... — И кинулся догонять своих бойцов.

Комиссар поглядел ему вслед.

— Есть у него гонор... Есть, есть гонорок... Но не круто ли ты с ним, командир?

— Считаю, что встряска ему только на пользу, — сказал я. И не ошибся. Внушение подействовало. Коробкин взялся всерьез за обучение ополченцев и вывел-таки свою роту по строевой подготовке на первое место в батальоне.

Владимир Петрович Коробкин пришел в батальон уже обстрелянным: участвовал в одной из недавних войн при защите наших границ. Это ценно. Благодаря его боевому опыту в батальоне избежали книжности в преподавании.

Человек от природы общительный, веселый, Коробкин обладал звучным голосом, подобрал и в роте хороших певцов. А в вихревой красноармейской пляске не только в роте, но и в батальоне не имел соперников. Все это открыло ему путь к сердцам подчиненных. Вторая рота сделалась во всех отношениях сильнейшей в батальоне. А когда батальон выступил на фронт и достиг первых боевых успехов, мы с комиссаром возбудили ходатайство о присвоении Коробкину строевого звания взамен технического, а затем и поздравили его со старшим лейтенантом.

Приняв на себя обучение ополченцев минно-подрывному делу, Коробкин оборудовал специальный учебный столик. На столике — корпуса мин, макеты подрывных зарядов. Однако наглядное это пособие не привлекло людей, а отпугнуло. **Никогда не служившие в армии отцы**

семейств побаивались взрывчатки. Но Коробкин проявил настойчивость и недюжинные педагогические способности.

В потоке ополченцев к нам прибыли большой группой студенты Горного института — ребята бывалые, усвоившие практику горновзрывных работ. Взрывчатка в их глазах — всего лишь материал для работы, как бревно для плотника или кусок жести для кровельщика. Оставалось познакомиться горняков с особенностями подрывных работ в военной обстановке, что Коробкин и сделал. Участвовал в семинаре Коробкина и я. Старый подрывник — как же упустить случай потолковать с молодежью об этой мужественной и вместе с тем лихой военной профессии, с которой сам я когда-то сроднился!

Из подготовленных минеров впоследствии особенно выделились на боевой работе двое студентов-горняков, закадычные друзья Катилов и Потылов. Об этих отважных ребятах рассказал в одной из своих книг писатель Иван Виноградов.

Особняк стал похож на улей в период медосбора. В какой бы класс ни заглянул — всюду деловая обстановка: учатся ополченцы, и стар и млад. А вот уже почин самих ополченцев. Не успел я рассчитать часы, какие следовало бы отвести на стрелковое дело, как, гляжу, люди уже занимаются изучением винтовки. В руководителях — ополченцы из отставных солдат. Устроится этакий ветеран редко в классе, чаще где-нибудь в коридоре на подоконнике либо на какой-нибудь тумбочке, постелет тряпицу, разместит на ней что требуется — флакончик ружейного масла, ежик, клок ветоши — и приступает к делу. Сразу около него группа ополченцев, и пошел говор: «Стебель затвора... спусковой крючок... боек...» Разобрали сообща винтовку, почистили, смазали, вновь собрали. И людей уже тянет к мишеням... Потянуло — пожалуйста, в коридорах уже развешаны мишени. Здесь же станки для прицеливания.

Стрелковое дело способно увлечь едва ли не каждого — ведь в нем элементы спорта, соревнования. И я не удивился, когда обнаружил, что и в свободный час красноармейца — единственный, который удалось выкроить в сверхплотном распорядке дня, — люди не отходили от винтовки. Между тем предстояло еще более интересное: боевые стрельбы на Семеновском плацу в туннелях. Там каждый получит оценку по выбитым из винтовки очкам.

В батальоне собралось немало специалистов. Почти тридцать плотников у нас — сила, несколько строительных бригад! Но ведь и плотницкая работа на фронте большая. Будем ставить дзоты. Это вот что. Заготавливаются два сруба, каждый из которых сгодился бы для деревенской избы. Срубы разные — один побольше, другой поменьше. Малый вставляется в большой, а пространство между стенами обоих засыпается землей и камнем. Отсюда и название постройки — дзот: дерево-земляная огневая точка. Внутри постройки, к амбразуре, вкатывается пушка или пулемет.

Это один из примеров работы сапера-плотника в обороне. Но ведь мы не засидимся на месте. Придет час, когда погоним прочь фашистских захватчиков. А в наступлении у сапера-плотника дела жарче. Случается, прикажут за ночь, а то и за несколько часов построить мост, который в мирное время строился бы месяцами. Над головой остервенело воют вражеские самолеты, вокруг рвутся бомбы, а сапер будто и не замечает опасности, размеренно и сноровисто помахивает топором.

Но к столь необычной работе людей надо подготовить. Усадили за парты и плотников. И учителя налицо: в батальоне немало инженеров строительных специальностей, начиная с комиссара.

Хотелось бы, конечно, пополнить этот основной для батальона отряд рабочих (не закроешь глаза на предстоящие потери в боях). Однако

плотницкому делу новичка за месяц не обучишь, а вооружишь топором неумелого, он раз — по полену, а другой — по колену...

Для занятий ополченцам потребовалась литература. Лапшину, работавшему и за начальника штаба, новая забота: раздобыть необходимые учебники, справочники, наставления. Впрочем, Александр Васильевич уже набирает книги по военным библиотекам города. В подсказках он не нуждается.

Казалось бы, поезд, которому я уподобил начавший жить батальон, не только двинулся со станции со всем своим многообразным грузом, но и развивает неплохую скорость... Однако чуть не каждый день, если продолжать железнодорожные сравнения, надобилось подбивать путь. Схватало нам с комиссаром забот! И однажды Владимир Васильевич сказал, поморщившись:

— Пойдем-ка из канцелярии, здесь больно сургучный дух. Потолкуем о наших делах за чайком.

Но лучше бы мне не знать этого чаепития. Едва я не распрощался с батальоном. Вынужденно. Не по своей воле...

Пришли в свою комнату. Распахнул я окно — и зеленый мир перед глазами: окно выходит прямо в Михайловский сад.

А комиссар — к посудному шкафчику на стене. Домовитый, как погляжу, человек Владимир Васильевич! На письменном столе уже свежая, захрустевшая от крахмала скатерть, а на ней целое воинство чайных предметов и принадлежностей: сахарница, сухарница, чашки, блюдца, банка с домашним вареньем и розетки для его потребления, масло в масленке, сливочник — хотя и пустой, но, как видно, обязанный быть в строю...

Командовать парадом явился из шкафчика Кот в сапогах. Сказочный этот герой в присвоенных ему доспехах был изображен на фарфоровой кружке, пузатенькой, старинного фасона. Да и сама эта кружка — если взглядеться — была возраста почтенного: вся в мелких, волосяных трещинах, которые, как известно, на фарфоре то же самое, что морщины на лице состарившегося человека. Налив мне и себе чаю, сказав «приступим», Владимир Васильевич пододвинул к себе кружку, постучал пальцем по котовой мордашке. Улыбнулся: «С детства мой сотрапезник». И, причмокивая, углубился в любимое, как видно, свое занятие — попивать чаек. Время от времени он брал щипчики и раскалывал куски сахара. Чай Владимир Васильевич признавал только вприкуску.

Сидим чаевничаем — и только бы заговорить о делах, как вернулся Чирок. Хлебосольный Владимир Васильевич тут же усадил его за стол. Чирок покосился на меня, замялся, стал отнекиваться, мол, крайне занят, только проведать забежал... Но комиссар пресек возражения: «Не горит?» — и налил ему чашку.

— Не стесняйся, Алексей, бери сахар, печенье, гребни варенье: смогодина с малиной, мой кулинарный эксперимент.

Разговор не складывался, и тогда, чтобы разрядить неприятную паузу, дернуло меня вспомнить один забавный случай из своей литературной жизни.

Был я начинающим писателем, только-только, при содействии Самуила Яковлевича Маршака, вышла в свет моя первая книжка для детей. И я был польщен, когда однажды оказался в компании с Корнеем Ивановичем Чуковским, еще писателями и самим Маршаком. Отправились в Капеллу для литературного выступления.

В зале столик, стул, а перед столом, в местах для публики небольшая группа ребят: приодетые, с пионерскими галстуками девочки и мальчики. Это было время, когда писатели только еще приучались вы-

ступать по радио. Мне объяснили, что говорить в механический прибор, да еще как бы в пустоту не каждому нравится. А обращаться к живым людям привычно каждому, оттого здесь и дети.

Сел я читать то, что выбрал из моей книжки Самуил Яковлевич: наиболее выигрышный эпизод. Читаю и радуюсь, что голос звучит как надо, даже с бархатным оттенком. Глянул на ребят — лица заинтересованные; это подбодрило меня, свободнее пошло чтение, естественнее, в интонациях устного рассказа. Мысленно уже похваливал себя: справился, мол, с писательским выступлением... Как вдруг перед самым носом кулак — в черной перчатке, на черной же, изогнутой вопросительным знаком руке... Угроза? Откуда? Что?..

Не успел я и сообразить, что это микрофон, как голос мой сел. Никакого звучания, шелест какой-то. Пробую голос усилить — пришепетывание превращается в мычание, слова не выговариваются... Юные слушатели, на которых я уже не смел глаза поднять, захихикали. Кто-то из них фыркнул, кто-то громко рассмеялся... Я уже в поту, а прекратить чтение, понимаю, нельзя: меня слушает весь Ленинград! Едва добрался до конца рассказика. Словно весь разломанный ушел за кулисы...

Маршак глядел в окно и даже не повернулся ко мне. Но Корней Иванович Чуковский, высокий, тонкий, размахивая руками наподобие крыльев мельницы на ветру, набросился на меня и стал гневно мне выговаривать:

— Безобразие, молодой человек! Хороший рассказ — и так испортить! Что с вами случилось? Если больны, надо было предупредить об этом. А то ведь всю программу испортили!

Я молчал, но от огорчения жестоко поносил себя: «Так мне и надо! Поделом! Не лезь не в свое дело. Подумаешь — книжечку состряпал, да и ту наполовину чужими руками... Серьезным делом занимался бы — ты же инженер!»

Но Корней Иванович уже смягчился. Стал давать советы: как выходить к публике, как держаться в зале. «А главное, — учил он, — лучше не читать, а рассказывать. Прочитал текст заранее и тут же забудь его. Тогда и получится натурально. И не робеть. Публика верит только смелому». Что-то еще говорил Корней Иванович, все добрее и добрее. Но вернул мне веру в себя лишь Маршак. И не словом, а дружеской улыбкой, с которой он наконец повернулся ко мне...

Вечерний чаек, устроенный комиссаром в уютной обстановке, выпит. Чирок пошел к себе, легли спать.

А через два-три дня в часы напряженных занятий комиссар берет меня под руку и предлагает прогуляться по саду.

Я заподозрил недоброе:

— Что это вдруг?

Оказалось, в батальоне переполох. Никто из ополченцев еще не знал, что я писатель. Видели во мне военного, щеголяющего выправкой, требующего от каждого дисциплины и осанки... И вдруг разочарование: «Да это же не командир! Писатель, да еще детский. Их корреспондентами назначают в армию. По ошибке он у нас...» Встревоженные люди кинулись к комиссару: мы и сами, мол, не «браво солдатушки», а с этаким командиром только голову сложить...

Если бывает, что человек от возмущения и обиды готов головой об стенку, то я был близок к такому состоянию...

— К черту все, к черту! Сейчас же пойду к генералу. Не уважит — в штаб фронта пробьюсь, пусть в самом деле ставят корреспондентом!

Владимир Васильевич схватил меня за руку и пытался шутить: «Вяжите его, вяжите!...»

Я вырвался.

— Что я теперь, ты понимаешь? Строил, строил мне авторитет, а где он?.. Честь имею представиться: оплеванный капитанишко!

И вдруг догадываюсь: Чирка работа! Послушал мой рассказ за чаепитием, да и оболгал меня перед ополченцами, мол, никакой наш капитан не сапер...

Прошлись по саду. После долгого молчания комиссар спросил:

— Что намерен предпринять?

Я задумался: смешно и глупо сводить счеты с человеком недостойного поведения. Иначе сказать — равняться с ним. И я ответил комиссару так:

— Полезен Чирок батальону? Полезен, но и на недостатки его не следует закрывать глаза. Словом, пусть работает, а там видно будет.

Владимир Васильевич заулыбался, с жаром пожал мне руку:

— Правильно, командир! Уважаю твое решение.

— Командир? — возразил я. — Нет, я уже не командир батальона. На растоптаный авторитет заплаты не поставишь. Отношения с ополченцами испорчены. Остается одно: переведусь к кадровым саперам...

— Нет, погоди, — гневно возразил комиссар. — Для игры самолюбий не время и не место. Мы в обороне страны! Кроме того... — И губы его дрогнули. — Мы ведь с тобой друзья...

— Верь, — поспешил сказать я, — нашу дружбу ценю и не удеру втихомолку.

Затем Осипов поспешил в класс на занятия, а я заперся в нашей общей комнате. Обиделся я на людей.

Я взял с полки том Дюма — захотелось присоединиться к веселым и справедливым мушкетерам. Сижую читаю, между тем ухо караулит — что за дверью?.. Вот в тишину коридора ворвался шум голосов, топот. Это перемена... Опять тишина — занятия в классах возобновились... А в дверь ни стука. Никому больше ко мне и дел нет...

Вечером опять вышли с комиссаром в сад. Устроились в павильоне Росси, над зеркалом едва струящейся здесь Мойки. Владимир Васильевич заговорил сухо, официально. Оказывается, он успел побывать и в политотделе дивизии, и у генерала и заручился обещанием, что из батальона меня не выпустят.

Я вспылил:

— Это не по-товарищески! Заглазно решать судьбу человека — да как ты, комиссар, пошел на это?

— Не огорчайся... — Комиссар улыбнулся и тронул меня плечом. — Еще спасибо скажешь. Знаешь, что мне посоветовали в штабе дивизии: ты сделаешь батальону доклад...

— Еще чего!

— Капитан! — рассердился Осипов. — Способен ты наконец набраться терпения и выслушать меня?

— Хорошо, — уступил я. — Но что это еще за доклад? О чем?

— О себе, — сказал комиссар. — О своей жизни. Чтобы люди не сомневались, что умеешь воевать.

Слушал я комиссара рассеянно, не очень-то веря в успех его затеи. Обнаружил, что с балкона над водой в глубь павильона ведут семь ступеней. «Почему именно семь? — заинтересовался я. — Семь слоников расставляют на трюмо или этажерках; семь чудес света...»

— А знаешь, Владимир Васильевич, — обернулся я к комиссару, — архитектор Карло Росси был суеверным. Не веришь? Пересчитай ступени.

Осипов поморщился:

— Не балагань, капитан, мы здесь — не ступени считать.

Не хотелось мне больше сердить хорошего человека, и я сблизил Вла-

димира Васильевича. Глянул вперед, а на Марсовом поле — слон. В сумерках фигура животного расплывчата. Или мне померещилось? Массивное тело движется...

Спрашиваю комиссара:

— Видишь слона?

— Вижу,— говорит.— Только это не слон. Это аэростат воздушного заграждения.

— Вот так сюрприз!..— только и нашелся я вымолвить. Не вязалось в мыслях: небо Ленинграда уже доступно для врага!

— Гляди, вон еще один,— показал комиссар.— И вон, и вон...

В самом деле — над городом тут и там всплывали неуклюжие мешки на привязи. На чистом, светлом от смены зорь небе будто тифозная сыпь выпадала. Я пришел в смятение, а комиссар между тем говорит:

— Пока ты, самоустранившись от жизни батальона, почитывал своего Дюма, поступил приказ: сформировать из саперов-ополченцев маршевую роту, вооружить, снабдить инструментом и с трехдневным пайком — на Варшавский вокзал.

— Что? — поразился я.— Что такое?.. Но ведь саперы еще не готовы...

А комиссар:

— Недоученные, но большинство из четырехсот сами вызвались ехать. С энтузиазмом, — добавил комиссар веско.

— Четыреста...— Цифра меня ошеломила: от живого тела батальона отрублена почти половина.— Куда же они, скажи, эти сотни неумелых?

— В помощь саперным частям. Под Лугу.

— Ну, это недалеко, сто километров.— И я уже готов был успокоиться.— Какие-нибудь резервные построики... В сущности, это даже на пользу ополченцам. Наживут трудовые мозоли и вернутся завершать учебу.

— Не вернутся,— сказал комиссар.— Под Лугой уже отстреливались от фашистских мотоциклистов. В штабе дивизии сведения о подходе крупных сил врага. Приказано остановить фашистов на рубеже реки Луги, не подпустить к Ленинграду.

Я не сразу опомнился. Враг у ворот!. С чувством жгучего стыда и уже не помня обид, я поспешил возвратиться к своим командирским обязанностям.

Однако доклад о себе — я уже сам почувствовал — необходим. За-маранная репутация — это грязь, и пока ее с себя не смоешь — ты не командир.

Собрались в единственном в особняке просторном помещении — на четвертом этаже. Здесь и артисты выступали перед ополченцами, и заведенный комиссаром духовой оркестр, терзая слух, устраивал сыгровки, и бильярд стоял, короче, здесь был батальонный клуб. Оставшиеся в батальоне шестьсот человек, стоя, в солдатской тесноте, но кое-как уместились все.

Случалось мне как писателю выступать в библиотеках, школах, в пионерских лагерях. Но там — любознательная детвора, и отрадно было видеть, как у слушателей — мальчиков и девочек, — едва увлечешь их рассказом, загораются от восторга глаза, рдеют щеки, как тут и там порываются аплодировать, но спохватываются, боясь проронить хотя бы слово писателя.

Короче — там друзья, а здесь?.. Не враги, конечно. Но глядят настороженно. Ждут от меня оправдания... В чем же? Я ни перед кем из них не виноват. Сложная обстановка... Прежде чем войти в зал, я постоял, чтобы внутренне собраться. Команду для встречи отменил зара-

нее, заставляю себя улыбнуться и к ополченцам **выхожу** со спокойным достоинством человека, ни к каким недоразумениям не причастного.

Не стану пересказывать часового доклада: говорил я о своем участии в войнах — всегда на командирских постах. Ополченцы сперва озадаченно переглядывались, потом, поверив в мое слово, уже не сводили с меня глаз. А я старался не засушить речь, не отягощать второстепенными подробностями, говорил так, чтобы людям было интересно. Следил за настроением зала, не переставая поглядывать на лица слушателей. Как известно, и в серьезном докладе уместна шутка. Удавалось сострить — и в зале смеялись; смех перекачивался в коридор, значит, и там опоздавшие меня слышат и внимают моим словам...

Наконец я мог сказать себе: «Доклад удался», и с чувством удовлетворения присел на краешек бильярдного стола.

— Можно и без рукоплесканий, товарищи, — сказал комиссар, водворяя тишину. — У нас деловая встреча с командиром. Есть вопросы?

Поднялись десятки рук. Комиссар предложил, чтобы не затягивать собрания, изложить вопросы в записках.

— Есть желающие выступить?

К столу подошел один из студентов-горняков. Гляжу: в руках у него книжка «Бронепоезд „Гандзя”». Он сказал, что еще с детства — мой читатель. Тепло отозвался о содержании книги: «Всем советую прочитать эту очень достоверную повесть».

Выступил комсорг батальона Матвей Якерсон. Едва окончив университет, он был мобилизован комсомолом в ополчение. А сам — историк. «Не успел даже разговеться, — смеясь, говорил он. — Ни дня, ни часа не поработал по специальности — сразу в батальон!..» Но к сегодняшнему дню не упустил случая покопаться в архивах. И вот результат. Он поднял вверх тетрадку.

— Всем видно?..

— Видим... видим...

— Тогда слушайте: «Стенографический отчет первого всесоюзного съезда писателей, год тридцать четвертый. Председательствует Алексей Максимович Горький. Извлечение из доклада С. Я. Маршака «О большой литературе для маленьких». Читаю: «...У нас рассказы о профессиях, рассказы о труде только начинают появляться... В этом году Николай Григорьев написал рассказ «Полтора разговора»... Читая рассказ, любуешься великолепной стремительной «Элькой», но зато по-настоящему уважаешь «Щуку». «Щука» не торопится, налегает мелкими, как зубы, и цепкими колесами на рельсы, а вытягивает она тысячу тонн на колесах: хлеб, кирпичи, трактора... Недаром, — замечает далее Маршак, — главные герои самого важного эпизода книжки — «Щука» и ее машинист Коротаев...»

Якерсона слушали с поощрительными улыбками. Но глянул он на часы и заторопился:

— Регламент не позволяет огласить все, сказанное на съезде Маршаком о книжке. Закрываю его же словами: «Новое отношение к хозяйству, к труду, к социалистической ответственности разительно отличает книжку Григорьева от старых рассказов о стрелочниках и вагонных бандитах...»

В зале — аплодисменты. Но я, автор книжки, скажу без рисовки, испытал неловкость: вероятно, так в старину чувствовали себя невесты на смотринах...

Потребовал слова Попов, начальник нашего доморощенного проектного бюро. Начал с того, что брезгливо выпятил нижнюю губу.

— Какой-то прошшальга — я не хочу и знать его имени — пустил дрянной шшепоток о капитане. Постыдно это для нас, ленинградцев. Как путеец могу сказать про капитана только одно: знающий дело

командир! — И с высоко поднятой головой старый петербуржец пошел из зала. Перед ним уважительно расступились.

Были и еще ораторы: сказал слово плотник, сказал инженер, сказал ополченец из служащих, замкнул выступления грузчик Гулевский.

Комиссар уже несколько раз закрывал собрание, гулко хлопая сложенной совком ладонью по бильярдному столу. Но теперь уже я нарушал регламент: отвечал и отвечал на вопросы, не в силах растаться с людьми, которые дружески потянулись ко мне. И любопытно: военные дела как бы отступили в сторону — разговор почти целиком пошел о литературе.

Усталый, но — не побоюсь выпренных слов — ошастливленный расположением людей, я ложился уже близко к полуночи спать.

— Спокойной ночи, Владимир Васильевич. Спасибо, что поставил мой доклад, — укладываясь, сказал я комиссару.

— Благодарю Чирка, — отозвался он, благодушно погружаясь в сеник, как в перину, — это он тебе удружил. А вообще, — добавил комиссар уже серьезно, — моя промашка: следовало сразу же, первым пунктом программы, представить тебя, командира, ополченцам. Но не все ведь и углядишь... Впредь умнее будем.

Позабавило недоразумение, когда в штаб батальона пришла девочка. Первой моей мыслью было: «Делегация из какой-нибудь школы. Пригласить на выступление. Самую смелую послали вперед, остальные таятся за дверью». Однако девочка оказалась вовсе не школьницей. Нахмутив, видимо, для солидности светлые брови над светлыми же голубыми глазами, она объявила:

— Я врач. Назначена в саперный батальон. Кому здесь предъявить документы?

Разговор требовал официальности, и я встал. В документе прочитал вслух: «Капитан медицинской службы...»

Находившиеся в штабе Лапшин, Попов, Грацианов, Коробкин один за другим медленно поднялись...

«Козик» — значилась в документе фамилия. «И в самом деле козлик... Козик-Козлик», — усмехнулся я, видя перед собой маленькую и совсем молодую женщину.

— Разрешите, доктор, представить вам, — заявил я с подчеркнутой вежливостью, — ваших будущих сослуживцев, а возможно, и пациентов.

Тут каждый из присутствующих подошел к медицинскому капитану и назвал себя. Попов со стремительной элегантностью, опережая Коробкина, подал даме стул.

Анна Марковна была украинкой, что обнаружилось уже в ее говоре. Отвечая на вопросы, коротко рассказала о себе. Юной колхозницей из черниговского села она отважилась для продолжения образования поехать в Ленинград. Окончила медицинский институт и, получив звание капитана, попала к нам.

Слушая будущего соратника, мужчины сели, завязался общий разговор. Я упомянул, что в гражданскую воевал за Советскую Украину, любил украинцев, их быт, нравы, их культуру. Причмокнув от кулинарных воспоминаний, назвал знаменитый украинский борщ, домашние колбасы, вареники с вишнями...

— Воны, батче, ще смэтаной польоти, — уточнила украинка и впервые улыбнулась. Обнаружилось, что Козик и на язык остра, и хохотунья. Подтрунивая над собой, рассказала, как при поступлении в институт едва не провалилась на вступительном экзамене по литературе. В сочинении написала «Тымчасовый уряд». Экзаменаторы не поняли. А она никак не находила русского значения этих слов. Наконец

общими усилиями: «Временное правительство». И зачли работу отважной украинке.

Рассказ, переданный с юмором, вызвал общее веселье.

А тут подоспел и комиссар.

— Так, так, следовательно, дочкой обзаводимся... — И он присел напротив девушки. — Добре, добре. Анна, это значит — Ганна?..

Козик в ответ на ласку окончательно расцвела.

— Ну-ка, где у нас Чирок?

— Я здесь, товарищ комиссар! — И помпохоз вынырнул из-за двери.

— Экипировать батальонного врача.

— Есть! — Чирок увел девушку, но вскоре прибежал озадаченный.

— Сапожник спрашивает, как быть? У него нет колодок на детскую ногу.

Я вмешался:

— Вас ли, товарищ Чирок, учить ловкости, находчивости? Потребуйте от сапожника, чтобы пошевелил мозгами. В армии не может быть ответов «нет» или «не могу».

— Сапожки чтоб сшил не только по размеру, но и по ее вкусу, — сказал комиссар. — Наверно, захочет каблучок повыше. Да коженный товар сам выбери — женской ноге требуется помягче.

Чирок кивнул, но с места не двинулся.

— Ну? — нахмурился Осипов. — Неужели не уразумел?

— С сапожками ясно, товарищ комиссар. Но ведь ей юбку защитную надо сшить. А из чего? У меня на складе обмундирование мужское в комплектах.

Осипов развел руками — и ко мне:

— Видал ты беденького: «Ах, пожалейте»... Ладно, даю тебе, Чирок, совет. Возьми балахон, в который ты меня, на смех людям, в бане обрядил...

— Я не обряжал, — смутился помпохоз, — вы сами.

— Не перебивай. В балахон не только девушка, пара дюжих мужиков влезет. Распусти балахон на материал и поставь портного кроить. Получатся и юбка, и гимнастерка врачу, а у тебя еще лоскутья останутся — заплатки ставить... Понятно?

Одели, обули врача за один день. А когда Козик приступила к обязанностям батальонного врача, ну и цепкой оказалась особой: уходила меня заявками и требованиями на всякого рода медицинское оборудование, приборы, стерилизаторы, перевязочные материалы, лекарства, медицинские сумки для санитарок, даже особое белье пожелала иметь для раненых... И не угомонишь ведь этакого живчика: **врачу лучше знать, что ему необходимо для выполнения работы.**

Кончилась неделя существования батальона, пошла вторая — вдруг Козик взволнованно: «Бачьте, у червоноармейцев наших — цинга!»

Я усмехнулся: «Скороспелые суждения скороспелого врача». И строго:

— Не надо страшных слов. Цинга, как известно, болезнь полярного севера.

А девчонка как вскипит... Глазки-незабудки уже как темные омуты, в голосе и слезы, и негодование. Потащила меня к себе в медчасть, тычет пальцем в журнал приема больных. Но в записях ее, как и в объяснениях, я ничего не понял. Козик беспомощно развела руками, и взгляд ее в это мгновение можно было понять только в одном варианте: «Эх, ты, дубина стоеросовая!»

Я сделал попытку уйти, но она мгновенно повернула в скважине ключ, вновь усадила меня к столу и достала из шкафа аккуратно сколотые **листки раскладки солдатского меню за все минувшие дни. Вот,**

оказывается, чем нас кормит интендантство: ни кусочка свежего мяса — только консервы, картошка в виде сушеных пластинок, остальные овощи — ломкая стружка. К этому — макароны, лапша, и хотя бы перышко свежей зелени...

Козик усмехнулась:

— В тарелку бы свою глядели, колы на кухне не бываете.

Я смиренно принял упрек.

— А что же, — говорю, — Чирок? Продовольствие — первейшая его обязанность.

Козик махнула рукой и на отличном русском языке выдала:

— Кишка слаба!

Я поднялся в штаб, к телефону. Соединился со снабженцами дивизии. Говорю:

— В батальоне заболевания от плохой пищи. Интендантство сплавляет ополченцам то, что у него залежалось на складах. Живем без овощей!

Голос в трубке:

— Знаем и принимаем меры...

— Что-то не видно результатов! — обрезал я. — Посылаю трехтонку в ближайший совхоз для закупки овощей!

— А мы вас к суду за растрату.

— Буду только рад увидиться с вами на суде! -- И я повесил трубку.

Вызываю казначея батальона:

— Есть деньги в наличности?

— Но... — замялся ополченец из банковских служащих. — На какой предмет, товарищ командир?

Я объяснил.

Тот испуганно:

— Это невозможно! Вы идете на преступление...

Я приказал ему выдать мне деньги под расписку.

— В лучшем случае... — бормотал казначей, нервически поплеывая на пальцы и отсчитывая мне кредитки, — на вас будет начет, и уж, конечно, не избежать вам выговора по службе...

— Ничего, сдюжу!

Овощи были закуплены, после чего лук, капуста и прочая зелень стали поступать и через интендантство. К суду меня не привлекли, а жаль: уж я бы сразился с бюрократами! А за то, что начета не сделали, не заставили меня раскошелиться, — спасибо.

Подготовка батальона к военным действиям, если вновь обратиться к сравнению с поездом, шла на всех парах. Близился день, когда командир дивизии, взглянув на календарь, поднимется из-за стола, наденет свою генеральскую фуражку с золотым рубчиком на козырьке и: «Баталь-он, сми-рно!»

Но нет, рано принимать генерала — счет до тридцати еще не исчерпан, а последние дни особенно горячи. Самое тревожное, что батальон не укомплектован. Лейтенанты, старшие лейтенанты, младшие лейтенанты — эти на местах, возглавляют роты и взводы. Но нет в цепи звеньшка, без которого цепь не цепь. В отделе кадров дивизии заявили: «Ни сержантов, ни ефрейторов не получите — для ополченческих формирований не предусмотрены...»

Странно было услышать такое. А готовить самим сержантов — еще нелепее. На действительной службе специальные полковые школы. Но и там требуются месяцы, чтобы из рядового красноармейца подготовить младшего командира.

Еще совет из отдела кадров: «Есть же в батальоне среди ополченцев старые солдаты, вот и ставьте их отделенными командирами, помощниками командиров взводов, старшинами рот».

Совет запоздал. Уже поставили нескольких. Среди отставников обнаружались товарищи деятельные, инициативные, к примеру, те, что успешно проводят занятия стрелковым делом. Но не каждый из бывших солдат согласился принять должность. Отвечали: «Командовать? Нет, не берусь, стар уж. Помочь людям, чем могу, это пожалуйста, а треугольнички в петлицы сажайте молодым». Но даже из тех, кто брался начальствовать, не всякий выдержал проверку у врача: при одышке или радикулите на боевое задание сапера не пошлешь.

Отправился я к нашим студентам-горнякам. Дружные ребята, пришли в батальон коллективом. Вот и староста их институтской учебной группы. «Следовательно, — соображаю, — юноша авторитетный». Но едва я заикнулся о том, что намерен украсить его петлицы треугольничками, как в группе поднялся шум:

— Нет!.. Не годится!.. Не хотим!

Я сел среди студентов. Просматриваю газету. Постепенно успокоились, и сам староста заявил:

— Это не самоотвод, товарищ капитан. Но мы не на сопромат идем, на войну. Просим назначить нам в командиры знающего военного — лучше всего сержанта.

Пошел я дальше по батальону — те же возражения против неподготовленных самостоятельных начальников. Комиссар двигался по батальону с другого конца. Встретились.

— Ну, чем порадуешь, Владимир Васильевич? Подобрал командиров? Покажи список.

Но комиссар и в карман не полез.

— Не получился список, капитан. А у тебя как?

Я только в затылке почесал. Сержанта им подавай, как сговорились — всем сержанта!

— А где его взять? — говорю.

Вспомнился тут мне Гулевский. Бригадир, держал первое место на загрузках в порту, не молод и не стар: 35 лет. Чем не командир отделения... Кстати, где он? Узнаю — при кухне. Чирок забрал силача на черную работу: колоть дрова, выносить помой... Я велел прислать Гулевского ко мне. Вот он — тихий, деликатный. Но едва человек понял, что от него хочу, изменился неузнаваемо: передо мной уже не портовый грузчик, а сам Нептун, в гневе поднявший морскую бурю.

— Не пойду в начальники, нипочем! — раскричался он. — У меня четырехклассное, и не «носаки» у вас, а инженеры да профессора! — Волосы у него растрепались, как пшеничное поле от шквального ветра. — Осрамить меня задумали, а я не дамся... Не дамся — и весь сказ!..

Комиссар позвал Гулевского к себе:

— Ты, Георгий Борисович, кандидат в члены партии. Посидим, чайку попьем с сухариками да с вареньем. Ну и потолкуем о том, о сем по-партийному...

Наутро я подписал приказ о назначении Г. Б. Гулевского командиром отделения в первую роту. И случилось так, что адъютант, подготавливая приказ, определил грузчика именно к инженерам и ученым.

Комиссар, не откладывая дела, провел по ротам партийно-комсомольские собрания.

— Расшевелил коммунистов! — сказал он с победным видом, и я тут же попытался вспомнить, где же еще я видел его таким разгоряченным?.. «Ах да, когда он из бани вернулся».

— Даже в горле пересохло,— весело посетовал комиссар.— Придется, хоть и не ко времени, а чайку согреть... Составишь компанию?

И он продолжал, уже за чаепитием:

— Как, говорю, не совестно, товарищи. Батальону, чтобы стать воинской частью, требуются младшие командиры — а вы друг за друга прячетесь!.. Слов нет, и за порученное в бою саперное задание, и за жизнь своих подчиненных младший командир первым в ответе. Но что-то не слышал я за свою долгую партийную жизнь, чтобы коммунист и комсомолец боялись ответственности.

Владимир Васильевич отхлебнул из кружки, как всегда, переглянувшись с Котом в сапогах. А в заключение чаепития положил передо мной листок с колонкой фамилий и прихлопнул ладонью:

— На, получай кадры, которых не хватало. Здесь и члены партии, и комсомольцы, и беспартийные... Народ хороший. Вышлишь — и будем с младшими командирами. Так что берись за дело.

— Начнем с пуговицы,— сказал я, когда будущие отделенные и помощники командиров взводов (помкомвзводы) собрались в одном из классов на инструктаж.— Внешний вид, товарищи, определяет сущность человека, а военного — в особенности. Человек, поглядишь, как будто и одет по форме, а пуговицы на гимнастерке не все, над кармашком торчит хвостик от ниток... Спрошу я за этого неряшливого красноармейца раньше всего с командира отделения. Мало того, у меня, комбата, возникнет подозрение, что в этом подразделении дела вообще шалей-валяй, мирятся с отсутствием дисциплины... Чаще всего это при проверке и подтверждается.

Так я начал разговор.

— Но требовать дисциплины, — сразу же предостерег я, — это не значит кричать на подчиненных, топтать ногами. Подразделение будет сплоченным и дисциплинированным только у командира, который заботится о подчиненных, чуток к их нуждам. А в военной обстановке плохих командиров быть не должно — здесь за ошибки платят кровью...

Так я говорил, и мне было приятно услышать от того или иного бойца: «Все ясно. Ваш военный опыт, товарищ капитан, нам пригодится. Но не трудитесь ополченцу все разжевывать. Мы ведь не зеленая молодежь. Прожито каждым из нас немало. Немало и сделано за мирные годы — есть чем дорожить. И поверьте, знамя батальона вы с комиссаром вручаете в надежные руки!»

Впоследствии, на фронте, личность ополченца раскрывалась все ярче. Бои выявляли героев. Одно за другим рождались в батальоне изобретения и тут же превращались в новые и новые средства инженерной обороны Ленинграда... Но об этом дальше.

Между тем дело у командира отделения Гулевского не заладилось. Обязанности он усвоил — целый вечер я посвятил ему одному, да и человек он смекалистый. Сказать «не нашли общего языка» — не совсем точно, хотя именно на языке человек и споткнулся.

Вот что мне доложили. Ополченцы — инженеры и ученые — позавтракали, отправились на занятия, а научного работника Лютикова не добудиться.

Гулевский возле него и так и этак:

— Нецелесообразно, товарищ ученый, опаздывать. Вставайте. Она уже строится.

Тот через зевоту:

— Кто это она?

— Я уже сказал: наше отделение.

Лютиков вдруг нервно расхохотался:

— А она (ткнул себя в грудь) не желает и знаться с вами, темный вы человек. Научитесь хоть говорить по-русски, а потом уже лезьте командовать.

Так и не подчинился, мало того — стал и ученых коллег подбивать на бойкот грузчика.

Надо было принимать меры. Вызвал я Гулевского, дал ему взбучку за телячьи нежности с подчиненными и распорядился:

— Лютикова на комендантскую гауптвахту: Садовая, четыре. Для прояснения мозгов.

А Гулевский — вот чего не ожидал — в заступники. Залепетал взволнованно:

— Не надо, товарищ командир, Лютикова... Сымайте меня с должности, мне поделом, а у этого человека чую... Ну, не со зла он!

— Чуете? Это еще что — особый у вас нюх?

А он:

— Хоть до завтра подождите! Дозвольте поговорить с Лютиковым...

Я разрешил.

На другой день он опять ко мне:

— Беда у научного кандидата — так я и чуял. Жена с ребенком на даче. Под немцев-фашистов попали. Это я ночью вызнал. Плачет кандидат в подушку, размяк... Все мне и рассказал. Я же говорил: не со зла он.

Гулевский глядит на меня, ждет решения. Конечно, теперь уже не о гауптвахте речь. Случай печальный, но что тут сделаешь?

— А может, — говорит Гулевский, — женка его и выскочит от фашистов? Смекаю я, товарищ командир, навить, есть же такая инстанция, чтоб люди находили друг друга? Война ведь многое множество семей разбросала... Вот и сделать бы туда запрос... Это мое конкретное предложение.

Я одобрил такой ход, и Гулевский шумно и с облегчением вздохнул.

На запрос пришел в батальон ответ, что упомянутая гражданка уже на Урале, что и ребенок при ней. Но молодой ученый не поверил извещению. С ним стало плохо, и Козик принялась выхаживать человека от нервного потрясения. Бывает, что человек слабовольный от первого же удара судьбы становится нетерпимым в общезитии. Таков Лютиков. Зато впоследствии он стал примерным красноармейцем.

Надо ли говорить, что имя Гулевского стало известно всему батальону и называлось с самыми добрыми эпитетами. Запомнился рассказанный здесь случай и мне, побудив задуматься о том, сколь не просто понятие, обозначаемое словом дисциплина.

Наступил день, когда батальон в громоздком своем саперном снаряжении построился для похода. Роты заняли главную аллею Михайловского сада. Сноровисто образовались шеренги — будто две строго параллельные линии прочертили сад, нарушив свободный английский стиль его планировки. Вид у батальона — хотя и не тысяча теперь, а шестьсот человек — внушительный.

Разрешил саперам стоять вольно, я прохаживался перед строем, поджидая командира дивизии.

— И все-то он улыбается, — заметил лукаво комиссар, преграждая мне дорогу. — Чему бы это?

— Чему я улыбаюсь? Да тому же, что и ты.

— Да, брат, — сказал Осипов, сияя улыбкой, — никогда бы не поверил, что из сугубо мирных людей, да еще «за срок без срока» удастся сформировать и подготовить воинскую часть. Вот что значит — «Социалистическое отечество в опасности!»

Выставленный маяком у главной калитки ополченец помахал флагом. Это значило, что командир дивизии приехал.

Рапорт я рванул на фортиссимо, чем вполне успешно оглушил генерала, заставив его через улыбку поморщиться.

Генерал повернулся к строю:

— Здравствуйте, товарищи саперы, доблестные ленинградцы!

Ответили дружно и враз, без хвостов.

«Для начала неплохо»,— подумал я, подавляя волнение: ведь начался экзамен на зрелость батальона.

Генерал неспешно, с видимым интересом вглядывался в лица ополченцев. У одного тут же возьмет винтовку, откроет и вынет затвор, и наведет ее, как телескоп, на небо, проверяет, зеркален ли канал ствола. Другого потрясет за плечо, проверяя, не брякнет ли, выдавая нерадивость бойца, котелок или фляга. Третьему прикажет снять с саперного инструмента чехол... И что бы ни брал генерал в руки: топор, лопату, пилу — все оглядывал с пониманием.

— А ну-ка, молодец,— и генерал вывел из строя одного из ополченцев,— разуйся...

Гляжу — Лютиков. Я в тревоге... Человек он неуравновешенный — как бы, думаю, чего не выкинул.

Лютиков конфузливо вспыхнул. Нерешительно поглядел на свои ноги в непривычных ему армейских сапогах.

— Разуйайся, разуйайся, ведь не при дамах! — пошутил генерал.— Вот присядь на уголок скамейки...

Насторожился я, насторожился и комиссар. Встали плечом к плечу на манер футболистов, в ворота которых бьют штрафной. Дело в том, что для некоторых из ополченцев труднее всех наук оказалось обувание с применением портянки. Портянка! Сейчас она держит экзамен. За батальон.

Посаженный на скамью Лютиков принялся стаскивать сапог. От усилий выпучил глаза и закусил губу. Побагровел уже... Ну же, ну!.. Наконец сапог со звуком откупоренной бутылки соскочил с ноги — и в сторону. Портянка, полуразмотавшись, повисла на ноге.

— Прибери-ка,— подсказал генерал,— а то в песке замараешь.

Лютиков обхватил портянку обеими руками, словно опасаясь, что она ускачет вслед за сапогом.

— Ногу покажи. Кажется, чистая...— И комдив повернулся ко мне: — В бане перед походом были?

— Вчера вечером всем батальоном, товарищ генерал.

— И белье на всех свежее,— добавил Осипов.

Но генерал на это:

— А как же иначе? Иначе и не бывает. — И опять к ополченцу:

— А теперь, голубчик, обувайся. Ну-ка, наворачивай портянку, наворачивай... Так-так, вот тут морщинка, расправь... Ну, молодец, тысячу километров, ручаюсь, протопашь. Откуда ты? Кем был на гражданке?

Лютиков замаялся. Опустил глаза — и с виноватым видом:

— Я, собственно... кандидат наук. Химик.

Генерал крикнул от неожиданности. Покосился на постриженную под нулевку голову ученого — «солдат как солдат»...

— Обувайтесь.— И отошел в сторону. Снял фуражку и некоторое время, отдуваясь, обмахивался носовым платком. Вероятно, подумал: «Ополченцы... Вот и пойми, как с этим народом обращаться...»

Постояв, генерал подозвал меня и комиссара. Сказал, что батальон произвел на него хорошее впечатление, и поблагодарил за службу. Я ликовал: экзамен выдержан!

— К походу! — распорядился генерал.

Я и ротные отдали команды, и батальон всей своей огромной чело-

веческой массой враз качнулся вперед — сделал первый шаг и... Домощенный наш оркестр пустил медного петуха — одного, другого...

Люди сбились с ноги... Скандал! Не будь на мне военной фуражки, кажется, в отчаянии схватился бы за голову...

А злосчастный оркестр, шествуя во главе колонны, знай рывкает, пускает трели, бьет в барабан... «Марш авиаторов», — разъяснил мне шагавший рядом комиссар.

Но что это?.. Вдруг грянула стройная музыка. Ополченцы вмиг будто ростом стали выше, лица расцвели улыбками, а от дружного шага земля загудела... Что же произошло? Оказалось, с генералом прибыл оркестр военных музыкантов. Он и оттеснил наших портачей, встав во главе колонны.

Оркестр в батальоне штатом не предусмотрен. Но комиссар пошел навстречу пожеланиям ополченцев иметь свою музыку. Один из музыкальных магазинов прислал в дар батальону комплект инструментов. Сели ополченцы за трубы, старались дудеть по правилам, но много ли достигнешь в музыке за тридцать дней?

Как видно, обо всем этом проведал генерал и сам устроил саперам проводы, да еще в виде сюрприза. Душевность комдива произвела впечатление. Строгого служаку сразу полюбили, а искра любви, зароненная начальником в сердце солдата, способна вспыхнуть на войне и подвигом, и самопожертвованием...

Батальон под музыку покинул Ленинград...

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Промаршировали два десятка километров. Жарко. Шагаю бок о бок с комиссаром во главе колонны и улавливаю на слух, что шаг саперов становится вялым, разбродным.

— Не пора ли привал? — говорит комиссар, да и сам я подумал о том же.

Командую:

— Взять ногу!.. Ать, два... ать, два... Чище ножку, чище... Поднять буйны головы! Носы морковкой!

Растормошил бойцов: смеются, торопливо застегивают вороты, надевают пилотки, подправляют на себе саперное снаряжение — словом, подтягиваются. Теперь можно и отдых дать.

— Прии-вал! — объявил я.

Мы уже на Пулковской горе, точнее, на относительно плавном восточном ее отроге, по которому змейкой пролегает шоссе. Спешу разгрузить бойцов от лишнего — отдых так отдых. Здесь трава некошена, к августу особенно вошла в рост, и батальон отдыхает замаскированным.

Однако не все поспешили прикорнуть. Немало бойцов остановилось в задумчивости на бровке шоссе. Над нашими головами, на вершине Пулковской горы — купол башни, но уже, кажется, без телескопа, говорили, что знаменитый прибор вывезен. А внизу, перед Пулковской грядой, широко расстилается невская равнина. На горизонте дымно от заводских труб, взблеснул в лучах солнца шлем Исаакия... Больше на нашей дороге уже не будет случая увидеть Ленинград.

Лица ополченцев мрачнеют.

Надо взбодрить людей, и я говорю:

— А ведь наш город в семнадцатом, восемнадцатом, девятнадцатом годах отстояли, в сущности, ополченцы.

Вижу, ко мне поворачиваются.

— Да,— продолжаю я,— наши с вами предшественники, рабочие Питера, не пустили в город дикую дивизию генерала Краснова, два ж-

ды разгромили Юденича, вынудили еще от Пскова убраться прочь германскую армию Вильгельма...

Тут очень кстати подошел комиссар.

— А вот, — говорю, — и сам ополченец того времени — бывший питейский красногвардеец товарищ Осипов.

Меня отозвала в сторону Козик. Вижу, врач озабочен. Кивнул на лужайку, и я увидел девушек с санитарными сумками — они наклонялись над разутыми ополченцами.

— Потертости? — спрашиваю.

А врач холодно:

— Плохо учили пользоваться портянками. Человек двадцать-тридцать я снимаю с похода. ЧП — обязана донести начсандиву.

— И правильно поступите, — скрепя сердце, согласился я. Досадный случай — и не первый подобного рода в моей жизни... Числясь в запасе, бывал я на сборах в военном городке Череха, близ Пскова. Там дислоцировалась 56-я стрелковая дивизия. Однажды на зимних маневрах, командуя саперами, я невзначай обморозил руку. Пришлось, передав командование помощнику, забежать в деревенскую избу. Ужасно больно, когда в обмороженной руке, опущенной в воду со снегом, медленно восстанавливается кровообращение. Кисть становится похожей на красно-белый бутерброд. Хотелось, чтобы мне посочувствовали, пожалели меня, а вместо этого — бац, выговор в приказе по дивизии: какой же ты, мол, командир, если даже мороз выводит тебя из строя. Хорош пример бойцам!

Приказ подписал начальник штаба дивизии Федор Иванович Толбухин — милейший человек, впоследствии маршал и один из выдающихся полководцев Великой Отечественной войны.

Ясно, что и за попорченные ополченцами ноги отвечать мне. До боя еще далеко — а уже убыль в батальоне.

— Товарищ доктор, — распорядился я, — берите на санитарные повозки кого забраковали.

Козик запротестовала: мол, у нее только небольшой фургон для раненых, который продезинфицирован и опечатан.

— А повозки, — добавила она язвительно, — спросите у Чирка. Вам, надеюсь, не откажет.

Пришлось дожидаться обоза.

— В ажуре идем! — храбро отрапортовал Чирок. — Можете удостовериться. — И он постучал ногтем по стеклышку часов на браслетке. — Обоз веду точно по расчету времени, который вы утвердили.

— Благодарю за службу! Но у меня к вам просьба. Есть больные, надо разместить их в обозе.

— А это не моя забота! — отрезал помпохоз. — У Козик свой транспорт.

— Забота не ваша, — сказал я миролюбиво, — но будет вашей.

Чирок захныкал:

— Ну ей-богу, товарищ капитан, хоть динамитом разорвите меня — некуда сажать... Обоз переполнен.

Стою, раздумывая, как быть. Мимо катятся повозки — и одноконные, и пароконные. На облучках порой люди, никогда не державшие вожжей. Такого узнаешь сразу — лошадь в мыле, и сам в семи потах... А вот и профессор философии, старый чудак с эспаньолкой а-ля... какой-то Карл или Генрих. Как ни доказывал я почтенному ученому, что служба в ополчении не по годам ему, — ничего не подействовало. Наконец подвернулся, показалось мне, убийственный довод: «Не в повозочные же вас сажать!» А профессор так и расцвел:

— Дорогой мой, это же прекрасно! Я всегда бывал только седоком — прежде на извозчике, потом в автомобиле. Но надо же быть честным: любишь кататься — люби и саночки возить! Хочу и даже

обязан в эти грозные дни быть полезным армии. Назначайте повозочным!

Сейчас едет на одноконной телеге с мешками овса.

— Арсений Георгиевич, — кивнул я профессору, — здравствуйте. Как себя чувствуете?

Философ отозвался на мои слова быстрым взглядом. Был он целиком во власти лошади, но затряс вожжами — для престижа:

— Нн-оо, милая, н-оо, пошевеливайся!.. — И, причмокивая, проследовал дальше.

А вот и один из немногих в батальоне автомобилей — не тот, который Чирок сам где-то раздобыл и превратил в личную машину, а полученный нами по мобилизации гражданского транспорта. Но что это на грузовике? Похоже на матереого быка, уложенного вверх ногами. Животное под брезентом. Я в недоумении.

— Чирок, вы что же — на бойню заезжали?

Помпохоз пролепетал что-то невнятное.

— Скиньте брезент! — приказал я, и обнажились ноги с толстыми ляжками. Только не быка — а бильярдного стола...

Стол выставили на бровку шоссе, а в освободившемся грузовике Козик разместила захромавших.

Подошел комиссар. Провел ладонью по зеленому сукну.

— Неужели мы так и бросим бильярд? Ведь ценность. К тому же подарок ополченцам.

— Ах, вот оно что... — Я рассмеялся. — Далеко же простирается твоя домовитость, Владимир Васильевич: с бильярдом — на фронт!

Бильярдный стол вместе с шарами и киями снесли в обсерваторию.

Вступаем в Гатчину. Город горит, и на улицах ни души. Не блеснет даже каска пожарного. Клубы дыма, толкаемые взрывами бомб с самолетов, порой откатываются к парку, и тогда кажется, что в ужасе от происходящего деревья парка седеют.

Иду вдоль каменных домов в два-три этажа. Стены своей толщиной напоминают крепостные (градостроительство Павла), и авиабомбы лишь кое-где расковыряли их.

Но что же внутри? Выбираю дом, в который еще можно заглянуть. Окна над самым тротуаром, стекла осыпались. Приподнимаю дымящую занавеску — и передо мной стол, на котором собран завтрак или ужин. Кричу внутрь: «Эгей, есть кто живой?». Ни отклика. Я готов ступить внутрь — может, людям помощь нужна, — но меня опережает вестовой, прыгает в окно. Едва успевает возвратиться, как внутри квартиры что-то грузно обваливается, и сноп искр выстреливает из окна.

Другой дом, другое вросшее в землю окно. Среди посуды фырчит и брякает крышкой кофейник, вновь закипая от горящего стола... Третий дом, столь же стремительно покинутый жителями, четвертый, пятый... Особенно тягостно видеть в комнатах детские игрушки без детей. Вот бархатный мишка, загоревшись, он словно ожил — пытается встать на дыбы... Вот медная кастрюля, брошенная у порога, а в ней кукла; тут словно наяву я слышу плач обиженного и перепуганного ребенка... Но где же семья? В толпе беженцев или погибла, расстрелянная фашистским самолетом?..

А вот и здание, где комдив наметил разместить свой полевой штаб. Просил нарядить саперов плотничать, приспособить помещения для штабной работы... Но вход завален, и над каменной коробкой светится небо.

Стою потрясенный: «Неужели... с генералом несчастье?» Но выясняется — жив старик! Приказывает... Правильное решение: построить для командного пункта дивизии надежный блиндаж!

В глубине Гатчинского парка мы присмотрели поляну. Вокруг вздымаются вековые деревья. Комдив выбранное место одобрил. Для маскировки работ натянули сеть, в которой, как рыбки, зеленые лоскутки.

Взялись саперы дружно. Травянистый покров рассекли лопатами, дернины для сохранности отнесли в сторону. Вскрыли материковый слой — и остановились зачарованные... Невиданного цвета глина: яркий пурпур. В прекрасных гатчинских парках и недра способны вызвать восхищение...

Но копнули глубже саперы — и очарование улетучилось: глина, напоминая густое желе, намертво присасывалась к полотну лопаты. Размахнется сапер, чтобы выбросить ком наружу, а вместе с комом вырывается из рук лопата и улетает, как праща. Вылезай из котлована, беги, шарь по кустам. А нашел лопату — соскребай с нее глину щепкой, а то и ножом.

Ворча, расхаживал по краю котлована наш Попов. Ему не понравилось, что проект подземного города изготовлен в штабе дивизии, а не в конструкторском бюро батальона.

— Пошшему начали работать где попало? Следовало в разных частях парка заложить шшурфы — вот и установили бы, где подходящий грунт!

Но сапер, как поется в старинной песне, «дело знает, что касается сапер», приспособились и ополченцы к работе. Копают, перебрасываются шутками, а в гуще деревьев уже хриповатое: «шарп... шарп... шарп... шарп...» Ласкающие слух звуки! Вступила в действие пилорама — собственная, батальонная! С пожарища навезли годных еще бревен, и вот началась их разделка на плахи, брусья, доски. Все это требуется для подземной постройки.

— У ополченцев — пилорама? — уместен вопрос. — Но откуда?

Собрана в Ленинграде из обломков, подобранных на свалке. Изделие ополченцев. Батальоны и полки народного ополчения формировались из людей невоенных, к тому же и не очень молодых — в этом их слабость. Но есть и оборотная сильная сторона: человек в годах обладает жизненным опытом, силен в своей профессии; далее: в батальоне не только мастеровитые плотники, кузнецы, механики, сапожники, портные, но в большом количестве — инженеры и ученые. Вырванные войной из мирной жизни, все они, учаь военному делу, старательно, я бы даже сказал, с любовью обстраивали свой новый дом — батальон.

Помимо рамы, собранной в техническом взводе, батальон обзавелся двумя АЭС (электростанциями на колесах) — силовой и осветительной. В основе их два грузовика, а электрическая часть тоже смонтирована из чего попало. Редкую изобретательность в постройке АЭС проявили инженер-кабельщик из Ленэнерго Владимир Михайлович Дмитриев и главный энергетик хлебопекарной промышленности города Семен Наумович Шнеер. Силовая АЭС в 20 киловатт давала движение пилораме; мало того, позволяла целому взводу саперов, отложив старинный и утомительный свой инструмент и взяв электрический, с легкостью пилить, строгать, долбить древесину, да и камень разворачивать.

Осветительная АЭС была оснащена гибкими проводами разной длины с гроздьями электрических лампочек, как делают на елку. Чтобы дать свет в блиндаж или землянку — достаточно было мгновения.

Между тем подземная стройка завершалась. Обширный блиндаж был разгорожен перегородками, застлан полами; двери, запоры, специальное вентиляционное устройство сделали КП неуязвимым на случай газовой атаки. Поверх вырос холм из брсвен, вперемежку с железными балками, опять-таки с пожарища. Замаскировали постройку дерном. АЭС осветила подземелье.

Генерал похвалил саперов:

— Полагаю, мой КП краше Гатчинского дворца!
Распушив и без того пышные усы, крикнул и стал спускаться к себе.

На подступах к Гатчине были замечены немецкие мотоциклисты, и ополченцы едва не натворили глупостей: в охотничьем азарте начали бросать пулять по фашистам. Вмешался комдив. В строжайшем его приказе было сказано, что каждый выстрел только помогает фашистским разведчикам распознать, как устроена оборона Гатчины, выявить в ней уязвимые места. А уязвимых мест было еще много: Гатчину не успели укрепить полностью. Главные силы Ленинградского фронта были сосредоточены под Лугой. Но вот фашисты после месячных бесплодных попыток перейти пустяковую речушку Лугу сделали передышку, потрепаннные свои дивизии заменили свежими и ударили во фланг лужского плацдарма. Гитлеру нужен был Ленинград, и он не считался с потерями.

· Наши отступили. Бои завязались на рубеже Гатчины. Саперы рыли окопы, пехотинцы тут же, можно сказать, из-под лопаты, их занимали. Командир дивизии был непрестанно среди войск, и блиндаж его в выстроенном нами подземном городке — пустовал.

Плечом к плечу с ополченцами дрались бойцы, отошедшие от Луги, и все же в поясе обороны Гатчины возникали опасные бреши. И тут «кто кого» решали расторопность и отвага минеров: успеешь заткнуть дыру минами — и враг обломает себе ноги.

Здесь, в Гатчине, дивизия получила боевое крещение — и осиротела: погиб наш пышноусый генерал. Обнаружив, что один из полков, теснимый врагом, сдает позиции, старик возглавил по-чапаевски контратаку и пал смертью храбрых...

Как известно, восьмого сентября 1941 года над Ленинградом в большом количестве появились гитлеровские самолеты. Было это в 18 часов 55 минут — и не случайно: к этому времени, после рабочего дня, улицы города многолюдны. Двинув на Ленинград армаду самолетов-бомбардировщиков, фашисты рассчитывали посеять в городе панику. Но просчитались: ленинградцы (и ленинградки!) проявили выдержку, быстро поняли, в чем для города главная опасность, и принялись тушить многочисленные пожары, вспыхнувшие от зажигательных бомб. Без помощи населения пожарные не справились бы с «морем» (так сказано в официальных документах) огня.

Повторные налеты врага наталкивались уже на организованный отпор. Горожане дежурили на крышах домов и гасили «зажигалки». Зенитчики наловчились самолеты со свастикой отправлять носом в землю. Летчики расстреливали их в воздухе.

Ведя бои в почти уже окруженной Гатчине, мы, саперы, не сразу узнали о том, что произошло восьмого в Ленинграде. Сведения об этом трагическом для города, но и героическом дне получили лишь на рассвете девятого. От Чирка. Он находился в Ленинграде по хозяйственным делам батальона. Вот эти сведения:

— Погибли!.. Нет больше Ленинграда... Все пропало!

В Гатчинском парке, куда Чирок примчался на бричке, врач Козик и военфельдшер лейтенант Ольга Павловна Сергеева в два корыта стирали белье для раненых саперов. От панических выкриков женщины остолбенели. Но вид трясущегося мужчины в военной форме со значками (их приняли за ордена) был столь омерзителен, что женщины тут же и опомнились.

— Ты что это несешь такое, а? — закричала Козик. В гневе она затопала ногами и, не находя нужных слов, костила труса то по-русски, то по-украински.

— Замолчи! — вторила ей Сергеева. — Замолчи! Замолчи! Язык оторвем!

Но тот, видимо, потерял всякую власть над собой, схватился за голову и выл, не умолкая: «Нет Ленинграда... Нет больше... Нет!»

Тогда Козик, не раздумывая, толкнула свое корыто. Белье вывалялось на землю, а она — бац вальком по железному днищу!

— Вот оно... И нам конец... — пробормотал Чирок; у него закатились глаза, и он упал в обморок.

— Девочки, шприц мне! — распорядилась Козик. Теперь она была только врачом, оказывающим помощь пациенту.

О происшествии мне доложили. Говорю комиссару:

— Когда-то я обещал ему посодержать в получении оружия. Прикомандирую, мол, к роте, прихлопните в бою какого-нибудь фрица — вот вам и пистолет. Так, может быть, его для проявления храбрости в роту?..

Комиссар не дал мне окончить:

— А Чирок уже с пистолетом. И как раз с трофейным.

— Но... — Я был озадачен. — Но каким образом?..

Комиссар усмехнулся:

— Как видно, сумел очаровать наших саперов-разведчиков. Те и приподнесли ему фрицевский пистолет.

Подумали мы, подумали — и пока оставили Чирка в прежней должности.

В ночь на четырнадцатое сентября дивизия получила приказ: оставить Гатчину. Уходили ополченцы с горестным ощущением незавершенной битвы. Дивизия способна была и далее удерживать этот узел обороны. Но оказалось, что враг уже в Красном Селе, Ропше, в Дудергофе. Иными словами, вклинился непосредственно в оборонительный пояс Ленинграда. Теперь, как мы поняли из приказа командующего фронтом, важно было сохранить жизнь бойцов: предстояли бои уже за самый город.

Поклонившись братским могилам, мы возвращались в Ленинград.

Шушары — поселок и совхоз. Вспаханная земля. Унылые барачные постройки, где, видимо, стоял скот. Сорванное с петель и наполовину поваленное полотно деревянных ворот без слов обозначает: «Ушли. Точка!» Внутри и заглядывать не хочется.

Впереди, на отчетливо видимом горизонте город Детское Село (ныне Пушкин), который, вслед за Гатчиной, захвачен врагом. Мы оказались на окраине Ленинграда. Здесь много военных.

Все подавлены, маячат оказавшиеся не у дел командиры различных званий, и никто не взглянет в глаза другим... Стыдно, на каждом лежит ответственность за отступление. И бесплодно ломать голову, стремясь понять, как это случилось, что гитлеровские захватчики уже вплотную у Ленинграда! Томишься — хоть бы чем-нибудь заняться, а приказаний нет. Отступившие перемешались, и начальство еще не разобралось — что и от каких полков, батарей, обозов уцелело. Слышны переключки, пытаются осколки собирать и склеивать.

Я ищу инженерного начальника, который распорядился бы батальоном. Слышу: зовут, но это голос моего комиссара. Оборачиваюсь: ко мне спешит Осипов, в руке газета. Я кидаюсь навстречу: узнать, что делается в Ленинграде, в стране, на фронтах... Ведь после Гатчины мы как слепые... Уже несколько суток.

Жадно раскрываю «Ленинградскую правду». Это номер за восемнадцатое сентября. В газете — встревоженные письма рабочих и работ-

ниц. Обращаются к воинам фронта. Читаю: «Сестра отвернется от брата... Мать проклянет сына... Жена будет с презрением и стыдом думать о муже... Дети откажутся от отца!..» Мурашки по спине — какое страшное письмо... Кто же это казнит нас? Подпись: «Работницы трикотажной фабрики „Красное знамя“».

Знаменита своими изделиями фабрика. Пронзительно справедливы слова трикотажниц. За ними, за трикотажницами, гневно поднялись все женщины Ленинграда. Миллион проклятий падает на наши головы. И поделом, поделом...

Разве я смогу теперь зайти в магазин-полуподвальчик, где из куточков парчи мне собрали нарукавный знак командира. Что там пообещал, а? Уверил женщин, что тревожиться не надо, побьем фашистских захватчиков. Теперь и на улицы города нос не сунешь: осрамит каждый...

За тягостными раздумьями я и не заметил, что стою уже без газеты. Комиссар пустил этот номер по рукам ополченцев батальона. Прочитав газету, стояли потрясенные. Многие присаживались писать в газету ответные письма...

К ночи появился железнодорожник:

— Это вы саперы? А где от вас дежурный на станции Шушары?.. — И раскричался: — Не встретили — пеняйте на себя! Я не желаю сжечь котел! Вода в паровозе кончилась, заворачиваю обратно.

— Да о чем вы?! — сорвался и я. — Скажите толком!

Оказалось, на платформах у него стальные колпаки для пулеметных гнезд. Вот-то была радость. Наконец-то есть чем руки занять!

— Да мы тебе... Говоришь, вода кончилась? В поселок, ребята, за ведрами, живо!.. Полный тендер налить — или хватит половины?

Машинист отступил под таким напором. Занкаясь, признался, что опасности для паровоза, в сущности, нет, — воды хватает, топка приглушена, простоит до утра.

Двинулись за машинистом всем батальоном. Сентябрьская темень, дороги нет. Спотыкаемся, падаем, но все равно весело. Наконец — каменные развалины, и веселье гаснет. Вот во что превратили фашисты полустанок Шушары. Паровозу ходу нет, пыхтит за семафором. Саперы принялись расчищать завал на рельсах, взялся за лопату и комиссар. А я к платформам. Ощупью и при осторожной подсветке рассмотрел груз. Стальные колпаки, а точнее бы сказать — шестидесятипудовые кепки. Прислонены одна к другой, как на полке в шапочном магазине. Но кепки дырявые: у каждой на затылочной части вырезано окошечко — ясно, амбразура для стрельбы.

— Здесь вы распоряжаетесь?

Оборачиваюсь — в темноте силуэт человека.

— Да, я, — говорю, — а вы кто?

Усмешка:

— Извозчик.

— А если всерьез?

Оказалось, нам прислали в помощь танк.

Теперь все сошлось, как в удачной игре. Маневровый паровоз доставил броню. В Шушарах разгрузка. А отсюда каждую «кепочку» потащит на буксире танк, но не по голой земле, а на подстилке: для этого танкист приволок огромный лист котельного железа. К слову сказать, я не сразу разглядел, что танк без башни. Это тягач на танковом ходу. А на нем только водитель — «извозчик», как иронически он назвал себя.

А вот и еще посланец из Ленинграда. Верховой, но явно не кавалерист. Слез с лошади — и одеревеневшие ноги врастопырку. Вспомнил я страдания на уроках в цирке «Модерн» и посочувствовал человеку.

Предъявили друг другу документы.

— Уединиться бы,— сказал посланец,— у меня секретное.

Залезли в яму — и в нос ударило перегаром тротила. Свежая воронка от авиабомбы. Но другого помещения для секретного разговора не было.

Склонились, почти касаясь головами, над картой. Я стал водить по ней, как пальцем, коротким лучом электрического фонарика. Находил места, где предписывалось установить броню. Постройки несложные, но требовали времени. Надо вкопать прочную бревенчатую клетку, сколотить стол для пулемета, скамью для пулеметчика, после чего надвинуть на пулеметное гнездо бронеколпак. Если время позволит — настлат пол для уюта. Само собой — прокопать к пулеметному гнезду ход сообщения и тщательно его замаскировать.

Я тут же собрал плотников и поставил их сколачивать клетки. Необходимый материал оказался на платформе у того же паровоза. Управились они еще затемно. Подошло время подтаскивать броню. Взревел танковый двигатель... Я испугался: да таким ревом мы оповещаем немецких фашистов о своих работах! Но не было у меня средств для звуковой маскировки. Пришлось утешиться мыслью, что враг еще не успел обосноваться на новых позициях и прозевает ночной шум.

К рассвету я снял батальон с работ. Саперы старательно замаскировали и сделанное, и еще неоконченное. Противник мог увидеть — хоть с земли, хоть с воздуха — только вспаханное совхозное поле...

Работать над сооружением бронеточек, как стало ясно, придется здесь не одну ночь. А потом еще будут ночи, когда саперы выйдут для ограждения бронеточек минами, для установки проволочных заграждений... Работа сапера на фронте не прерывается.

Дело начато. Оборудуем передний край! Ребята повеселели... Однако тревога на сердце осталась: тревога ленинградца за Ленинград. Несколько позже я имел случай тайно порадоваться. Оказалось, что в самом городе строят, а частью уже и готовы мощные пояса обороны. Они прорезают город в разных направлениях. В дело идут бетон, железо, корабельная броня. Узнал, что из-под земли тут и там, например на Марсовом поле, могут появиться пушки крупных калибров, чтобы сокрушительным огнем ударить по врагу, если тот посмеет сунуться в город. Ударят — и опять под землю: никакая авиация не успеет их заметить.

Город становится крепостью. Это вдохновляет, но — молчок! Это секрет обороны!

Гулевский уже старшина роты — первой, в которой и службу начал. В петлицах по четыре треугольничка в ряд. В старшины рот ставят людей хозяйственных, житейски опытных. Заслужил Гулевский похвал как командир отделения, пришелся к месту и как старшина. Должность хлопотливая, обязанности многообразны, и первейшая из них — временно и досыта кормить бойцов.

А одежда на людях? В боевой обстановке все быстро изнашивается, но плох тот старшина, в роте которого боец в рванье. У Гулевского такого не случается. Заведено у него ни в чем не отказывать бойцу из собственных припасов. Оторвалась пуговица — открой коробку, возьми, какая требуется. Хочешь выглядеть понаряднее — есть утюг, пользуйся; свой принес, заправляется угольками.

Кандидат наук Лютиков так и не расстается с Гулевским. Помогает ему во всем, особенно по «письменной части». Однако в ротные писаря определиться не желает.

Итак, Гулевский — старшина. Однако он еще и минер. Это уже сверх должности. Ночами отправляется на передовую. Каждый сапер несет за рукоятки по две, по три мины (в противотанковой мине примерно восемь килограммов). Ну, а Гулевский набирает целый мешок этих сковородок с «пирогом» из тротила.

Ставит ли Гулевский мины или вылавливает вражеские — возле него всегда новички. Держась степенного и рассудительного старшины, эти ребята приучались к работе минера. А он — извиним ему эту слабость, — давая указания, любил и пофилософствовать:

— Мину ставишь — смотришь в лицо смерти, и тут уж глазом не моргни, а то себя угробишь. — Страшал примером: — Сапер потянулся к спелой ягоде малины и лишился обеих ног. — И обобщал: — Саперное дело не любит трусости. Кого первого пуля берет? Труса.

Между тем в минных полях врага то и дело обнаруживались зловещие новинки. Но мало, если сапер перехитрит врага и мину обезвредит. Важно, чтобы и в дальнейшем на mine новой конструкции не подорвался никто из пехотинцев, танкистов, артиллеристов, оборонявших Ленинград. Образовалась в батальоне группа лекторов. Вошли в нее знатоки минноподрывного дела: Коробкин, студенты-горняки Катиллов и Потылов, еще некоторые товарищи.

— А Гулевский? — сказал комиссар. — Разве не годится? Он и с учеными сумел объясняться, когда пришлось.

Попробовали и Гулевского на новом поприще.

Выловил очередную мину-новинку. Разряженная, поступила она в бюро к Попову и Виноградову, там начертили схему ее действия. Минеры составили памятку, как избежать поражения миной, — все это размножили, и лекторы отправились по воинским частям.

Гулевский — «по писаному разговаривать не обучен» — потребовал себе настоящую мину, повозился с нею, входя в соображение, что к чему, и в путь. Не лекции читал, а располагался среди бойцов полка или батареи для беседы.

— Гляди сюда, — подпускать он к mine то одного, то другого из слушателей: — Видишь, надпись не по-нашему? «Scharf» — шарф, острый, значит, мина на боевом взводе. А ты не позволяй этой фашистской сковородке тебе по ногам да в живот. Вот эту штуковину повернул — рраз — и мина на запоре, бояться ее нечего, шагай дальше!

Приходили из воинских частей отзывы о лекциях. Фамилия Гулевский сопровождалась не только словами благодарности, но и похвалой.

Случилось Гулевскому захватить в плен фашиста. А было дело так. Однажды ночью, устанавливая мины на ничейной полосе, старшина натолкнулся в темноте на дрожавшего от мороза ефрейтора, протянул руки и обнял немца заодно с его автоматом. От этого русского объятия тот не только не вскрикнул — дышать перестал. А представить языка в штаб интересно живым.

Оттащил Гулевский омертвевшего врага в сторону от фашистских траншей, кинул на снег и принялся катать его, мять, тузить, по щекам исхлестал. Крутые солдатские меры подействовали лучше всякого искусственного дыхания. Очухался фашист и потянулся к шубе, которую с него сбросил старшина. А шуба — штатского покроя, с каракулевым воротником шалью.

— Цыц! Цурюк! — оттолкнул его старшина. — Не тобой сшита — не тебе носить. Кого-то ограбил, мародер?

И повел фашиста, а шубу приказал в руках нести.

Смело, находчиво воевал Гулевский, имел боевые награды, но до Берлина не дошел — тяжелое ранение вывел его из строя.

...И опять он в Морском порту. Только уже не бригадиром и не с «носаками» работает. «Носака» после войны в порту не увидишь —

разве только на фотоснимках в музее порта. Погрузку экспортного леса на морские суда осуществляют машины. Георгий Борисович Гулевский теперь начальник одного из экспортных участков, где целая серия машин. Участок его — лучший в порту, мало того — стал школой, которую прошли молодые инженеры, возглавляющие ныне другие участки.

К Гулевскому приезжают поучиться работе лесовщики с других наших морей. За крупные усовершенствования в лесоэкспортном хозяйстве он удостоен дипломов ВДНХ и правительственных наград.

В батальоне появилась красивая русоволосая девушка. Она тут же постриглась под мальчика и, передеваясь в военное, потребовала мужские штаны. Каптер расхохотался: чудит, такого еще не бывало... Но Саша Днепровская — так звали вновь прибывшую — надела штаны, не задумываясь о том, что о ней скажут, решила, что на фронте в штанах сноровистее, чем в юбке, вот и все. Выдержала характер — и глядь, у нее уже последователи: сандружинницы в ротах помялись, помялись — да и сами стали примеривать красноармейские штаны.

Пришла к нам Днепровская, расставшись с Военно-транспортной академией, которую из Ленинграда эвакуировали. Работала там лаборанткой, готовила препараты для слушателей. Тяжелое детство в разоряемой недородами поволжской деревне приучило ее с малых лет полагаться только на себя. «Пекла хлеба, косила, пахала, сажали возчиком к лошадям, к быкам... Всяко крутилась...»

В Ленинграде, в военной академии, ожила: «Коллектив спаянный, веселый, и платят хорошо!» Стала спортсменкой: плавала, стреляла, выбивая призовые очки, на гарнизонном соревновании лыжниц вышла на первое место. Усердно занималась в вечерней школе: за неполных три года приобрела знания за классы с четвертого по девятый. Окончить школу помешала война. Но успела пройти курсы санитарок.

Батальонному врачу Козик эта деятельная, самостоятельная девушка понравилась, и Днепровская была назначена в первую роту, которой полагалось быть лучшей в батальоне.

Побывав у бойцов, Днепровская заявила ко мне. Подала руку, не церемонясь села.

— Товарищ майор (я уже был в новом звании), это что у вас — воинская часть или хухры-мухры? Люди запущены, я выгнала взвод саперов на берег и остригла всех подряд, как овец... Теперь собираются на меня жаловаться, а я люблю раньше жалобщиков поспеть.

Вижу, девушка напористая, умеет поставить на своем. К ее милой внешности как-то не шли «хухры-мухры», но суть не в этом.

Немецкие фашисты замкнули блокаду Ленинграда. В городе возникли затруднения с продовольствием. Почувствовали это и мы в армии. Труд сапера — это прежде всего физический труд. И я вижу — ослабели бойцы. Отправляясь ночью на минирование, сапер уже не решается тащить на себе две-три противотанковые мины: «Не донесу». Берет для верности одну. А иные вскоре и с одной лишь вдвоем управлялись... А задания нам не сбавляли: как хочешь, а выкручивайся.

Появились признаки разлаживания дисциплины. Пришлось усилить строгости. Делал замечание каждому, кто не брит, плохо умылся или идет, распустив в стороны клапаны шапки-ушанки. Требовал такой же придирчивости к внешнему виду саперов от всех командиров, а самим за неряшливость, в чем бы она ни выразилась, доставалось от меня все крепче и крепче.

А тут — эта девушка-чистеха... Вот кстати!

— Правильно, — сказал я, — что остригли взвод. Беритесь за другой, за третий. И к батальонному врачу зайдите — пусть и другие у вас поучатся.

Днепровская, получив от меня поддержку, осмелела.

Построит бойцов для санитарного осмотра, совестит небритых: «Вы что — свиньи, чтоб в щетине ходить?» А сама уже бритву направляет.

Иной скажет:

— Сам бы побрился, да руки дрожат. Харч пошел не тот. А ты не порежешь?

— Эка беда! Заштопаю.

— А мыло? Без мыла ведь больно...

— Оскоблю и без мыла. А напросишься — могу шею намылить!

Саперы только головами покачивали:

— Крутой ты человек, Саша, холоду иной раз нагонишь больше самого комбата... Младшеньких-то, оставшись без отца-матери, пошлепывала?

Днепровская уже бреет, придерживая человека за нос, чтобы не увертывался. Но и отвечать успевает:

— Если бы так, то, наверное, меня не взяли бы в няньки в соседнюю деревню, в докторское семейство к новорожденному!

Отдыхая, Саша любит тут же, в землянке, взять гитару. Перебирает струны и напевает что-нибудь из кинофильмов, а то ударится в озорные деревенские частушки. Голос у нее чистый, звучный, приятно послушать.

Но вот Саша забыла о слушателях, ушла в себя, на задорном лице ее тень грусти... Не задалась у нее личная жизнь. Встретила человека, полюбила, расписались, но не ужились. Почему оставила себе его фамилию — сама не знает...

От горьких воспоминаний крепко шипнула струны, и гитара отозвалась бравурным аккордом. Встала:

— А скучно с вами, ребята... Уйду из роты, попрошусь к разведчикам. Там жизнь!

У батальона, теперь уже армейского ранга, зачисленного в состав регулярных войск, была своя разведка. Специальная, инженерная.

В старой русской армии существовало понятие «охотник». Имелся в виду вовсе не тот солдат, что доставлял дичь офицеру к столу. А солдат большой отваги, который взялся бы проникнуть в расположение врага и выведать то, что требуется для успеха боевой операции. Начальство понимало, что столь рискованное поручение не подкрепишь приказом. Тут и «слушаюсь» обманчиво. Поэтому было принято, построив солдат, выкликать охотников.

Я рассказал об этом комиссару, и мы дружно решили: сформируем подразделение инженерной разведки из охотников!

Я уточнил:

— Только не мы с тобой, Владимир Васильевич, будем выкликать охотников, а предоставим подбор людей командиру разведки.

Отважных ребят в батальоне хватало. Высмотрели мы среди них Рыжикова — этот парень и жил-то словно играючи. Ничего не страшился в бою — от таких, есть солдатское поверье, и смерть отскакивает. Рыжикову и поручили сформировать подразделение разведчиков. Надо ли говорить, что работа наших разведчиков, их рейды в глубь полосу вражеских укреплений помогли действовать не только батальону, добываемые ими сведения интересовали и высокие штабы.

Днепровская пришла ко мне, сказала, что хочет сопровождать разведчиков, — «мало ли ранят кого».

— Похвально, — говорю, — разведчикам как раз не хватает медработника.

— Вот и назначьте меня.

— А это не могу.

— Почему?

— Обратитесь к Рыжикову. Понравится — возьмет. А неволить его никто в батальоне не имеет права.

Днепровская усмехнулась с сомнением:

— Даже вы?

— Даже я.

Возвратилась она от Рыжикова гордая:

— Взял. Даже без испытанья.

— А я, Саша, и не сомневался, что разведчики будут вам рады.

Много можно было бы рассказать о славных боевых делах санинструктора Саши Днепровской. Вот что, например, в 1942 году писала о ней газета нашей армии «Боевая красноармейская»:

«Ненависть к врагу сделала девушку лаборантку Сашу Днепровскую бесстрашной разведчицей. С двумя бойцами Саша подкрадывается к немецкому взводу и взрывает его вместе с гитлеровцами. Темной ночью она прикрывает своим огнем товарищей от преследования врага, помогает буксировать наш танк из-под самого носа противника».

Спустя тридцать лет (1973) напомнила о героине и «Ленинградская правда» в подборке (к Восьмому марта) о ленинградских женщинах, отличившихся в боях за родной город. Александра Андреевна Днепровская теперь пенсионерка.

Капитан Александрович Титов пришел на службу в батальон после гатчинских боев, уже в Ленинграде.

— Сам вологодской я. Междуреченский район теперь. Деревня Брюхово. Рекой, ежели на пароходе, то от Вологды сто километров. Отслужил действительную, в кадрах был два года, присвоили сержанта. Демобилизовался в Ленинграде на Кировский завод. В кузнечном деле я бывалый, сразу пробу сдал. Определили меня в старую кузницу на трехтонный молот кузнецом. А молот-то паровой, жар от него. День проработаешь — ведро воды со льдом выпьешь. Не каждый там и держится...

Говорит, а меж бровей строгая складка, как у человека, повидавшего жизнь, проторившего себе дорогу непросто. В движениях угловат. Даже и сидя, осматривается: как бы, мол, не задеть чего, не уронить. Комиссар, посылая ко мне Титова, сказал:

— Воевать, сдастся, лихой. Но бирюк — слова не вытянешь. Может, ты расшевелишь его?

Я предложил папиросу. Закурили — и беседа наладилась.

— Начал я войну в ополчении под Лугой — сперва был сапером, потом попал в пехоту, потом опять в саперы... Дела были жаркие.

Когда Лугу оставили, сержант Титов оказался в одиночестве. Стал пробираться к Ленинграду. Однажды видит, по шоссе катит мотоцикл с коляской: два немца фашиста, один у пулемета. Прицелился Титов из-за куста, спустил курок... Подстреленный водитель свалился кулем на землю, а мотоцикл с пулеметчиком, описав полукруг, кубарем полетел под откос.

Но вслед за мотоциклом появилась колонна машин с солдатами. Горланили песню, но, увидев мертвого мотоциклиста, да еще без мотоцикла, умолкли. Глядит Титов — обратно повернули.

Когда машины скрылись, вышел он из засады, снял с убитого парабеллума, обшарил — нет ли документов — и прыжком под откос. Но второго мотоциклиста там уже не было — сбежал. А мотоцикл кстати. На действительной окончил школу мехтяги, водил и «даймлеры». Подняв мотоцикл, приготовился сесть и ехать, но глядит — экая досада! — бак лопнул, все горячее вытекло... Пришлось и дальше топтать пешком.

Между тем на шоссе появился другой мотоциклист. Титов нагнуллся и — шмыг в колосистое поле. А пули — цык, цык — срубают пшеничные колоски.

— Соображаю, разрывными садят по мне, — рассказывал дальше Капитон Александрович. — Вот привязался!.. Где пригибом, где ползком — но добрался до леса. И до чего же есть захотелось — страсть. Вторые сутки во рту ни корки. Птичка, говорят, по зернышку клюет да сыта бывает. Поклевал и я зернышек из колосков. Умаялся. Сморил — да и заснул. Просыпаюсь — вижу, я в кустах. А поблизости, слышу, шорох. Вскакиваю — фашисты. Со всех сторон обложили, как медведя в берлоге. Я за лимонку — сдернул кольцо... Сам присел. Взрыв, крики... С этой стороны чисто.

Но приближаются другие, сзади. Я ползком — да к мертвецам. Двое их. Успел навалить одного из них на себя — меня в кустах и не заметили. А еще, перед тем как гранату кинуть, заметил я у одного из тех двоих ручной пулемет. Лежу, пошарил по сторонам — вот он, миленький. Поднимаюсь на колени да как полосну из ихнего же пулемета! К своим пришел в тройном вооружении: своя русская винтовка да трофейные пулемет и парабеллум. Проверили, как полагается, кто я такой. Пулемет отобрали, а парабеллум сам отдал. Потому что я опять надавился в саперы повернуть, техника-то мне сподручнее. Вот я и у вас. Винтовкой, понятно, не поступился, она при мне. Винтовка — это честь солдата.

Рассказывая о себе, Титов как бы между прочим упомянул, что на Лужском рубеже он водил ополченцев в атаку и был представлен к званию лейтенанта. Решил, что документ затерялся, — не до бумаг, мол, было в тамошнем пекле.

Но запросили мы штаб фронта, и вскоре я нацепил Титову в петлицы по два кубика.

Назначили мы Капитона Александровича командовать третьей ротой.

Титов показал нам письмо, которое уже стало рассыпаться на кусочки. «С самой Луги в кармане», — заизвинялся он.

Это было письмо из деревни Брюхово от жены Титова Варвары Павловны. «Любезный наш супруг...» — так обращалась она к мужу. Эвакуировалась она из Ленинграда с детьми, а ей ни жилья, ни продовольственных карточек на семью фронтовика. Спрашивают документ, а она впопыхах да по незнанию его и не выправила...

Разумеется, мы тотчас отправили в тамошний сельсовет установленную справку, и Варвара Павловна с детьми получила паек, и дров ей привезли, и обветшалую крышу избы к зиме почилили.

В каждой роте у нас девушки-сандружинницы. В регулярных частях их не было, но наш батальон, даже став регулярным, от добрых женских рук не отказался. Отважные молодые ленинградки по-прежнему, как и в ополчении, сопровождали саперов на боевые задания. У каждой — санитарная сумка со всем необходимым для оказания раненому первой помощи еще в поле, вплоть до наложения шины на перелом. Эти брезентовые сумки, и без того громоздкие, становились для девушек, слабевших от недоедания, все более тяжелой ношей. Но ни слова жалобы!

В роте Титова состояла сандружинницей худенькая и застенчивая девушка — Галя Дубовицкая. Работала на небольшом заводе «Красный металлист» револьверщицей. «Втулочки всякие делала. Но могла и на фрезерном, и на сверловочном». Перед самой войной старательную

девушку выбрали цеховым комсоргом, с комсомольцами она и ушла на фронт.

Титов сразу оценил деловитость сандружинницы: «Она у меня, как топор за поясом; выступишь с ротой на ночное задание — и темень, и под обстрел попадешь под ракетой, а она всегда под рукой». И девушка научилась понимать своего немногословного командира. Скажет: «Галина!» — значит, будь наготове; «Галя!» — считай, на душе у Капитона Александровича потеплело, доволен работой сандружинницы. А если она на «большой» с делом управится, значит, ласковое: «Галинка». Однако случалось ей услышать и сухое: «Галина Спиридоновна, вы...» Это уже принимай как замечание...

Дубовицкая умело и ловко перевязывала раненых. Увидев бойца окровавленным, слыша стон, словно вскипала вся. Становилась на дыво сдлачом: вытаскивала из-под огня, а то и на себе выносила и одного, и другого, и третьего, как одержимая...

Галина Спиридоновна Дубовицкая была удостоена впоследствии особо почетной солдатской награды — ордена Славы.

Константин Иванович Гаврилов из тех людей, жизнь которых овеяна легендой: потомственный питерский пролетарий, старый член партии. Был он уже сед, но, придя в батальон, довольствовался скромным положением политрука. Стал душой третьей роты. К новому командиру Титову отнесся по-отечески. Но немного послужили они вместе — погиб Гаврилов...

Комиссар привел в третью роту Ваню Виноградова.

— Знакомы?

Титов насторожился. Взгляд у него исподлобья, а тут и вовсе брови насунили.

— Примечал... — процедил он. — В штабе чертежи чертит... Кажись, в комсомольском бюро батальона еще...

Комиссар улыбнулся:

— А молодое растет, Капитон. Это уже не Ванюшка-комсомолец, а Иван Иванович, молодой член партии. Принимай. Ставим товарища Виноградова к тебе политруком.

Титов, вскинув брови, усмехнулся и стал лепить сигарку.

— Политрук — это считается политический руководитель... — сказал он. И к Виноградову: — А не молод ты меня учить?

Разница в годах была и в самом деле значительной: Виноградов моложе почти сорокалетнего комроты лет на пятнадцать.

Напряженная пауза...

— Вам что, ребята, сваху, что ли, привести, — усмехнулся комиссар, — из сочинений Гоголя? Иначе не столкнетесь?

Тут Виноградов, осмелев, протягивая руку, шагнул к Титову. Тот подал свою... Виноградов побелел от боли и... нашел в себе силы улыбнуться. Выдержка молодого человека решила дело. Титов вторично пожал руку парню, уже уважительно:

— Кажись, сладимся в работе...

И сладились. А потом и подружились комроты Титов и политрук Виноградов, уравнившись на боевых заданиях в мужестве.

В землянке прогудел зуммер полевого телефона. Я поднял трубку.

— Угломоните вашу Козик, или я ее арестую!

Крутоват... Кто же это? Назвал себя «Семнадцать». Не опуская трубки, заглядываю в код. На сегодня это — начсанарм, полковник. Ему по медицинской части подчинены все врачи армии.

— Простите, товарищ Семнадцать, но Козик прекрасный врач. И дисциплинированный. Я не допускаю мысли, чтобы она...

Ядовитый возглас:

— Не допускаете? Вести себя не умеет! Мешает работать! Я сделал ей замечание. Доложил вам об этом ваш распрекрасный врач?

— Но в чем дело, товарищ?..

В трубке звякнуло. Отбой.

А тут и сама Козик. Вошла с вызывающе поднятой головой. Сдержала шапку-ушанку и даже не прикоснулась к волосам, чтобы проверить, не сбилась ли прическа. Вижу, намерение у девушки драчливое.

— Товарищ майор! Начсанарм...— Она говорила через силу.— Замечание мне... А за что? — Закусила губу, на глазах сверкнули слезы.

— Успокойтесь,— поспешил я сказать. Не терплю слез, оказываешься перед женщиной в глупо-беспомощном положении.— Успокойтесь и объяснитесь.

— Я права. В батальоне дистрофия, а он... а он...

— Да успокойтесь же! Сядьте! — Я налил воды в кружку.

Отпила глоток. Заговорила, от волнения путая украинские слова с русскими.

— Я ему работать не мешала! Дала заявку на спецпайки повышенной калорийности та сила тихонечко у стенки. Полковник прочитал — и мою бумагу в сторону. Поводил мохнатыми бровями: «Спецпайков не будет. А появились дистрофики — обязаны из батальона эвакуировать». А я будто не чувю. Сижу. Вин снова: «Не будет!» А я сижу. Пуговки пересчитываю на гимнастерке, а сама будто немая. Вин як вскоче: «Уйдете вы наконец?» А я сижу. Вин мэнэ пид руку и до двери. А я вырвалась та и кажу: «Не треба мэнэ чипати. Не на вечорныци!»

Я сдержал улыбку. Пробую ее урезонить. Не надо, мол, упрямитесь: ни сил у батальона, ни средств, чтобы ставить больных наших товарищей на ноги, нет. Это функция госпиталей.

Козик не слушала меня. Встала, надела шапку: «Пусть арестует! Это он не меня посадит под арест, а свою совесть... А пайки все равно высижу!»

Напоследок Козик сказала:

— Сегодня к себе в медчасть уложила Грацианова. Тяжелая форма дистрофии. «Анна,— говорит,— Марковна, помереть пришел на твоих руках...» Что же, я его выпровожу из батальона? Нет, буду лечить! И других тоже...

— Да ведь не управитесь, Анна Марковна! И раненые, и больные — все в вашей клетушке. А что, если и сами свалитесь, подумали вы об этом — батальон без врача?

Я тревожусь, а Козик:

— Не пропадете! Еще лучше будет с фельдшером. Оля Сергеева не то что я — дисциплинированная!

Спецпайки Козик-таки «высидела». Мало того, начсанарм лично побывал в негласном лазарете Анны Марковны. Узаконил его, помог оборудовать и назначил врача ей в помощники.

О девушке, батальонном враче, которая смело добивается своего, прознали в соседних с нами воинских частях. И к Козик на прием потянулись больные из пехоты, артиллерии, от танкистов...

Росту он среднего, да и внешностью ничем не примечателен: в строю от других не отличишь. А человек интересный. По рождению Федоров петербуржец, сын рабочего Металлического завода. Рос среди озорных мальчишек Выборгской стороны. Прослышал, что есть институт, откуда выходят силачами, и, окончив школу, поступил в институт Лесгафта. Но не понравилось — бросил институт. А тут объявление. Пригла-

шают на курсы: окончишь — сможешь участвовать в экспедициях Академии наук. И вот юноша уже на Памире. Высота — 4200 метров. Верблюды подняли туда юрты и научное оборудование. За верблюдом утвердилось прозвище «корабль пустыни», а оказалось, что это неприхотливое животное с широкими мягкими стопами еще и «корабль гор». Экспедицию возглавлял академик Н. П. Горбунов. Закаленный в подполье большевик, Николай Петрович был одним из ближайших сотрудников В. И. Ленина в Совнаркоме, а в последующие годы, будучи геохимиком, посвятил себя науке.

Памир еще только начинали изучать, и внимание Академии наук привлек ледник Федченко, самый крупный в СССР: длина 86 километров, толщина льда местами до восьмисот метров. Исследования гиганта приурочили к программе второго Международного полярного года, который был только что объявлен.

В экспедицию отобрали людей отменного здоровья, но и здоровяк, как рассказывает Федоров, на такой высоте похож был на рыбу, вытащенную из воды: «Разинешь рот, а дышать нечем! Пройдешь сорок-пятьдесят шагов и скисаешь, надо посидеть. А когда зазимовали — совсем беда: морозы, вьюги, белая пелена перед глазами — измаешься, пока снимешь показания приборов. Но работали, как демоны в заоблачной выси! Очень я себе нравился».

Страна остро нуждалась в электроэнергии, и на Волге запроектировали гидроэлектростанцию, каких еще не существовало. Даже Гранд-Кули в США — «Электрическая королева мира» — должна была уступить ей в мощности.

Как ни странно, Волга была слабо изучена. А чтобы построить гидроэлектростанцию, надо знать о реке все. Начались исследования. В числе исследователей — Федоров. Работает увлеченно. Его — и не только его — поражает огромность испарения могучей реки. В жаркий день с квадратного километра поверхности улетучивается в воздух до ста тонн воды. Федоров сообщил эту величину расчетчикам, и ее исключили из общего количества воды, которая будет вращать турбины станции. Это только один из примеров работы самоучки гидрогеолога.

Волга, как известно, впадает в Каспийское море. А если встанет поперек нее плотина — как это отзовется на жизни моря? Новые проблемы — и Федоров в группе гидрологов, ихтиологов, метеорологов уплывает на Каспий.

Его увлекает в жизни богатырское. Вот он уже за Полярным кругом, на Колыме. Край вечной мерзлоты пробуждается, в недрах его несметные богатства, но, чтобы овладеть ими, необходим источник энергии. Проектируется и здесь гидроэлектростанция. Федоров в числе ее зачинателей. После Памира к морозам и вьюгам не привыкать. На Волге и Каспии углубились его знания гидролога. Но ледяной покров Колымы нарастает за зиму до трех метров, чего, конечно, не случается на Волге. А каков здесь паводок — все сметает с берегов прочь... Радостным был труд — обуздать эту реку-дикарку.

В возрасте тридцати двух лет Владимир Петрович Федоров пришел ополченцем в батальон. На военной службе не бывал, но с обстановкой быстро освоился.

Определил я гидрогеолога во вторую роту, к Коробкину. Увлёкся он минноподрывным делом. Однако военных порядков не признавал: «Ни подчиняться не желаю, ни свою волю людям навязывать!»

Но война есть война. В роте погиб в бою взводный командир. Решили поставить Федорова. Прочел он приказ по батальону — и опе-

шил. Но не кинулся, как я ожидал, буянить. Притих, задумался. От приказа в боевой обстановке не открестись, надо браться за дело...

Впоследствии Федоров говорил: «Никогда в жизни ничего не пугался. Начальства не признавал. Выговоры на меня не действовали. Работу делал такую, какая самому интересна. А тут, как подчинили мне людей, стало страшно. Ведь не за прибор-вертушку или термометр — за жизнь человека в ответе! Дрожал, как цуцик...»

Зимой того же первого года войны Федоров был тяжело ранен. Врач Козик назначила его в эвакуацию из Ленинграда. Во взводе с Петровичем расставались как с родным человеком. Превозмогая страдания от пробитого разрывной пулей легкого, он приложил к губам гармошку, попытался что-то сыграть... Не вышло.

Тогда он передал гармошку одному из бойцов, и тот по его просьбе сыграл «Катюшу».

Федорова увезли. А его взвод и при новом командире остался в батальоне одним из передовых.

К декабрю сорок первого сгустился мрак блокады. Казалось, не столько вражеский огонь, сколько голод косит бойцов. Сделавшись кадровым, батальон помолодел, но и молодые бойцы при свете дня выглядели старичками. Никто не побежит, не схватится бороться, не услышишь в батальоне и громкого голоса.

Ждали ледовой дороги через Ладожское озеро. Рассчитали, что дорогу можно открыть при толщине льда минимум в 200 миллиметров. Но медленно, очень медленно нарастал лед. Ждать было мучительно, ведь голод что ни день уносил жертвы... И не дождалось двухсот — рискнули, пустили к Ленинграду для пробы конный обоз при 180. На дровнях лишь по два мешка продуктов. Возчик шагал рядом. А впереди тридцатикилометровый путь, над которым рыскают фашистские самолеты. И не весь караван достиг Ленинграда... Через два дня по следу лошадей покатали едва загруженные грузовики, и все же несколько машин затонуло. Доставили на автомобилях в город 33 тонны продуктов, почти в двадцать раз меньше суточного голодного пайка тех дней...

Прошло немало времени, пока зимний путь через Ладогу обрел право называться Ледовой дорогой жизни.

Мрачные дни декабря... Включишь в батальоне радиоприемник, и, на какую бы волну ни настроился, в эфире одно: горланят, беснуются фашистские мужские дуэты, трио, квартеты, солдатские хоры. Долбят на разные лады: «Капут Москве! Капут большевикам! Капут России!..»

В один из этих дней в батальон поступил приказ: явиться на военную игру.

Игра? В декабрьских снегах блокады? Само это слово из лексикона мирного времени в моем сознании прозвучало нелепостью.

Комиссар усмехнулся.

— А ты еще ссадил в чистом поле бильярдный стол. Поставили бы шары, разыграли с тобой пирамиду, и воцарились бы у нас с тобой на КП мир и благоволение!

Позлословили, ответи душу. Но приказ есть приказ. Из текста следовало, что игра намечена командная, — хоть на этом спасибо: бойцов не потревожили. Собрались на игру втроем: я с комиссаром и начальник штаба батальона, на этой должности прекрасно управлялся Лапшин, теперь уже старший лейтенант.

Лапшин отправился к армейскому начальству, чтобы получить карту района игры и выведать, если удастся, причину столь неожиданного для действующих войск занятия.

Возвратился Лапшин ошеломленный. Не сразу и выговорил:

— Игра на отступление... В глубь города...

— Что вы несете? — закричал я. — Опомнитесь!

— Повтори! — потребовал комиссар.

Оба мы, видать, настолько были страшны, что Лапшин попятился.

— Нет, нет, не отступление! Это только игра. На сокращение фронта обороны нашего южного сектора.

Тяжелое молчание. Развернули карту.

На карте поселок и паромная пристань Усть-Ижора. Места знакомые. Когда-то я высаживался здесь, неся знамя Николаевского инженерного... Но прочь праздные мысли... Спрашиваю Лапшина:

— Известны вам исходные позиции для военной игры?

Старший лейтенант показал здешний, левый берег Невы.

— Так, — говорю, — понятно, начинаем игру с района, который обходим... — Мы с комиссаром переглянулись: зловещее начало. — А дальше, — спрашиваю, — как развивается игра?

Палец ткнулся в противоположный, правый берег Невы... Все ясно, Лапшин не обманулся: игра на отход с нынешних позиций.

Игра — всего лишь игра... Но почему же так мучительно к ней приступать? Отдать без боя землю, где на каждом шагу и труд, и кровь, и могилы защитников Ленинграда... Подумать страшно, что затевается!

Но приказ есть приказ. Диспозицию, а затем и ход операции следовало на местности обозначить условно, расставив красноармейцев с плакатами. Квадрат фанеры с соответствующим знаком — это рота, взвод или машина с инженерным имуществом. С фанерками вступали в игру и пехотинцы, танкисты, артиллеристы, связисты.

Едва мало-мальски рассвело, как на исходных позициях все пришло в движение. Войска (условные) вышли на гребень высокого здесь и крутого берега. Как спуститься на лед? Соблазняет лестница, сбегаящая по откосу, — ею пользуются местные жители. Но хлипкая лестница развалилась бы, и понесла нас вниз сила земного притяжения — кого лежа, кого сидя, кого кувырком.

Кто-то выкрикнул:

— Переход Суворова через Альпы... Только задом наперед! Александр Васильевич наступал, а мы даем деру... Ура, братцы!

Отряхивая снег, я поискал глазами комиссара.

А Осипов, гляжу, лежит без шапки, без рукавиц, без одного валенка. Пытается встать и не может. Я — к нему. Послал вестового подбирать потерянное, а сам подал ему руку. Осипов сел.

— Зря мы не захватили с собой медицину, — говорю. — Может, Козик вызвать?

— Не надо, — возразил комиссар. — Хоть и ломота во всем теле, но посижу, отпуетит... А ты не задерживайся, играй. Вон фанерки-то уже двинулись вперед. Я присоединюсь потом.

Внезапно перед нами как выросли капитан и лейтенант. Щеголевато одетые незнакомцы. Спрашивают, что случилось.

Гляжу, оба с повязками на рукаве. Посредники! Скандал... Вот заступают: «Комиссар инженерного батальона еще на исходной, не вступая в бой, выбыл из строя...» Одним духом повернулся я к посредникам сзади, заслонил Осипова. «Спрячь шпалы, — шепчу, — застегни полушубок и молчи, молчи, сам скажу, что надо, сойдешь за рядового...» Осипов, не понимая меня, только глазами моргал, и я, обламывая в спешке ногти, сам застегнул на нем полушубок до горла и еще воротник поднял.

Встаю, называю себя. Капитан кивнул лейтенанту, и тот застрочил в полевой книжке. Удрученный грозившими неприятностями, я и не рассмотрел толком, как выглядел этот капитан. Внешность не запомнилась, но зато бурки на нем... отдай все — и мало! Видать, теплые,

но такие легкие в ходу, будто не из шерсти сработаны, а из пуха. Позавидуешь, когда у самого валенки как пудовики на ногах.

— Ополченец? — Капитан пренебрежительно кивнул в сторону упакованного Осипова. — Последний, так сказать, из могикан, и тот сковырнулся?

— Обозник, — сказал я, сам не зная почему.

— Ах, даже так? — Капитан оживился. — Добросердечие к обозу в ущерб управлению действиями батальона?

Я возмутился:

— А вы не забываетесь, капитан? Повязка на рукаве еще не дает вам право развязывать язык.

Лейтенант с треском перекинул страницу, продолжая записывать. Но тут произошло неожиданное.

— Хватит, комбат, в кошки-мышки играть!

Осипов стоял, опираясь на руку вестового, — гневный, в полушубке нараспашку.

— Я комиссар батальона и сам за себя отвечу! Так и запишите, лейтенант. Что вы так уставились — я не привидение! А расшибиться, к вашему, капитан, сведению, может каждый. И добросердечие в армии не порок! А что касается игры, то я и комбат тут ни при чем. Игра штабная, и за батальон играет наш начальник штаба, ему и карты в руки. Запишите фамилию, товарищи посредники: старший лейтенант Лапшин. И до свиданья!

Посредники молча удалились.

— Накормленными ушли, — усмехнулся Осипов им вслед. — Это же для них хлеб — обнаружить нескладницу. А я своим превращением им целый каравай подкинул... «Обозник»! — тут же вспомнил Осипов. — А ловко ты меня оформил, маскировщик! — И он захохотал.

Подхватило и меня. Стоим и хохочем, глядя друг на друга, до слез насмеялись.

Пошли мы с комиссаром вперед, к маячившему за снежной целиной берегу. Ясное морозное небо, солнце... благодать! Но как подумаешь о том, что обозначает этот переход через Неву, — вскипаешь от протеста, а ноги словно чугуном наливаются...

Проворство проявляли только посредники. Явно заинтересованные в игре, они мелькали тут и там.

— Слушатели какой-нибудь эвакуированной академии, — заметил комиссар. — Как считаешь?

— Стажеры? Вполне вероятно, — согласился я. — Обстановка на Ленинградском фронте исключительно интересна для теоретических обобщений, будущих диссертаций.

Тяжелые раскаты стрельбы за спиной сотрясли воздух.

Комиссар взглянул на часы:

— Пообедали фрицы. Не откажешь им в пунктуальности.

Фашисты что ни день били из дальнобойных по Ижорскому заводу. На старинной плотине перед заводом мы установили сеть с лоскутками, окрашенными по сезону. Но маскировка не вводила в заблуждение вражеских артиллеристов. Все здесь было давно пристреляно, а корректировку с большой высоты вели самолеты, едва достижимые для наших зенитчиков.

Снаряды неслись в воздухе, пришепывая, — звук, характерный для крупных калибров. Фашисты клали на завод, что называется, «чемоданы». Стены цехов от обстрелов с каждым днем становились все ниже и ниже — даже те, крепостной толщи, что были сложены еще петровскими мастерами. Но странно — крыши, хотя и продырявленные, оставались крышами, только оседали. Создавалось впечатление, будто завод-

гигант стремится уйти под землю, избавиться от издевательств современных варваров.

И все-таки завод, хоть и по закоулкам, а действовал. Ремонтировал поврежденные в бою танки, артиллерийские орудия. Мы, саперы, получали на Ижорском броневые колпаки.

Комиссар вздохнул:

— Опять сейчас там кровь в цехах, а мы с тобой в игру играем...

Но внезапно артиллерийский залп ударил с нашей стороны. С острым свистом понеслись снаряды. Среди гостей — переполох. «Прекратите стрельбу! — раздались крики. — Отставить... Вы же по своим!..» Непривычным людям показалось, что огонь настильный и что снаряды вот-вот оборвут головы.

А я ликовал:

— Живем, комиссар? — Так стало легко на душе, да и в ногах тоже.

— Эге, живем! — И Осипов, приветствуя наших артиллеристов, помахал рукой в сторону берега. — Да здравствуют морячки!

Стреляли эсминцы. Стремительные и яростные по своей природе, эти боевые корабли, если можно так сказать, были «спешены», включены в полевые войска. Стояли они здесь, в верхнем течении Невы, и давали огонь по вызову с КП нашей армии. Сейчас эсминцы, видимо, в ответ на варварский обстрел завода произвели артиллерийский налет на пехотные позиции фашистов. А снаряд морской артиллерии — не шутка!

Случалось видеть эсминцы в разное время года — и всякий раз я огорчался сначала: «Пустынно на Неве. Ушли кораблики, покинули нас». Но протрешь глаза: и, как на загадочной картинке, по черточке складывается облик кораблей — одного, другого... Нет, не ушли, все с нами! Спасибо, верные друзья! И уже смеешься над собой, восхищенный изобретательностью моряков. Великолепный камуфляж! Встав у берега, эсминцы утратили свой суровый шаровый цвет, уместный в открытом море. Сделались как бы частью ландшафта, меняя по сезону окраску. Сейчас корабли стоят во льду. Кругом сугробы снега, и среди них эсминец — словно тоже сугроб... Искусство маскировки делало корабли для врага невидимками.

Крепко, видать, выпали они в этот раз фашистам! Обстрел Ижорского прекратился.

Слух о прошедшей военной игре с быстротой степного пожара облетел войска. Воспринята игра была как репетиция отступления внутрь города и даже сдачи Ленинграда. Что тут поднялось... У Козик опустели койки, больные добровольно возвращались в роты. «Стояли на смерть и будем стоять! Не бывать врагу в Ленинграде!»

А тут подоспело радио — да какое. Немецкие фашисты, подбиравшиеся уже к Москве, биты! Легенда, родившаяся в поверженных странах Европы, что коричневые орды непобедимы, лопнула, треснула, растоптана советскими танками!..

Укрепился зимник через Ладожское озеро, и нам прибавили хлеба. Ликование вызвало появление в пайке квашеной капусты. Ели с наслаждением, открывая в этой более чем простой пище множество до толе неведомых достоинств. К столу изголодавшихся это была целебная добавка.

Стала Ладога доставлять и другие продукты. Повеселели бойцы. Оживилась заглохшая было художественная самодеятельность. Завязались шефские отношения с городом. Тут потрудился член комсомольского бюро батальона сапер Болотников. Ополченец из учителей, Аркадий Львович умело подготавливал встречи. Дружба установилась со швейной фабрикой имени Володарского. Шефство было обоюдным: то

к нам приезжала делегация рабочих, то саперы во главе с комиссаром отправлялись на фабрику.

Однажды приглашение с фабрики озадачило бойцов: «Ждем вас в саперном снаряжении». Было это в канун Восьмого марта (1942), и бойцы изготовили для подарков всякого рода самоделки. Поехали, а потом с восторгом рассказывали, в какое грандиозное событие вылился этот женский праздник. На улицы и на площади вышло все население Ленинграда. Людям раздали лопаты, метлы, совки, кирки, ломы... Началась очистка города. Саперы работали бок о бок с «володарками». Не отставали и наши медички: Ольга Павловна Сергеева Аля Калинкина, Мария Крупина-Смирнова, Нина Чебан, Днепровская, Дубовицкая.

Болотников предусмотрительно захватил из батальона музыкальные инструменты, так что состоялся и концерт.

Мы с Осиповым сидели в замороженной комнатухе барака, где прежде жили рабочие близлежащего кирпичного завода. Под землей жить надоело, а здесь хоть и опасно при обстрелах, зато белый свет в окошке. Комиссар за столиком, с кружкой кипятка, а я напротив, и тоже с полной кружкой. Кипяток хоть немного, но утоляет чувство голода. А то сосет и сосет под ложечкой, а в желудке будто кол переворачивается. Схватывает тупая боль, а во рту полно слюны — поташнивает... Отвратно!

Комиссар отхлебнул глоток, крикнул и улыбнулся: «Эх, хорошо! Самое вкусное на свете, убеждаюсь, не чай, не кофеи, а кипяточек из свежей колодезной водицы...»

С мороза забежал Чирок. Как всегда, быстрым своим взглядом он оценил обстановку, глянул на стол и сокрушенно вздохнул:

— Дожили. Командование отдельного армейского пробавляется кипяточком.

— Так ведь согревает и тело, и душу! — возразил комиссар. — Налить кружечку?

Но помпхоз солидно изрек:

— При ослабленном организме научная медицина не рекомендует пить лишнее.

— Ишь ты... — Комиссар усмехнулся. — По-научному стал жить. То-то все худеют, а ты ядреный, как репка.

Я вгляделся в помпхоза. Доходили до меня слухи о каких-то якобы темных его комбинациях, но узнать что-нибудь толком не удалось. Решил: наговоры. Но и бойцов нельзя винить — голодают, оттого и болезненная подозрительность.

— Предлагаю, — сказал я, — поставить лекцию товарища Чирка для бойцов на тему: «Научный способ не пить, не есть, но быть сытым».

Чирок мои слова пропустил мимо ушей. Открыл полевую сумку и выложил на стол два пакета.

— Получены командирские пайки. — И поспешил убраться.

Раскрыв пакет, комиссар, человек некурящий, как всегда, отдал мне свою пачку папирос.

— Гляди-ка, а печенья больше — ведь четверть пачки в месяц давали... И карамелек уже десять... А это что? — Осипов и рот разинул. — Корейка!

Я поспешил развернуть свой пакет.

— И у меня!

Комиссар покачивал драгоценный кусок на ладони.

— Грамм двести пятьдесят, а то и триста вытянет... Вот это подарок... Старается Ладога!

— А может быть, старается Чирок? — сорвалось у меня с языка.

Осипов глянул на меня — в глазах испуг.

— Ты что это... — прошептал он. — Чирок в партию подал.

Я достал блокнот.

— Пишу, Васильич, в приказ: «Назначается комиссия для проверки батальонного хозяйства в составе...» Подсказывай.

Комиссар залпом допил кипяток, уже остывший.

— Пиши председателем Хралова.

Это был не молодой уже инженер. В прошлом конник корпуса Котовского. Благодарственной грамотой за подписью Григория Ивановича гордится не только он сам, но и вся вторая рота, где он политруком. Ввели в комиссию Гулевского, ввели Сашу Днепровскую...

В штабе в присутствии комиссара я спросил Лапшина:

— Командирский паек получили?

— Получил.

— Что в нем?

— А как всегда, — усмехнулся старший лейтенант. — На один укус. Тут же и съел.

В батальоне комсомольцы создали плакат-газету «Динамит». Ее не назовешь стенной. Стенная газета живет прочно на стене, оттого и «стенная». «Динамит» и не многотиражка — готовят его регулярно, но в одном экземпляре. И тем не менее, свежий номер «Динамита» успевают прочитать во всех подразделениях батальона. А ведь батальон, напомним, армейский, роты обычно разрознены, каждая работает на боевом участке какой-нибудь дивизии из входящих в армию.

Это и определило характер газеты. В основе — это складень из трех фанерных створок, так что газету можно повесить, а можно и поставить. Удобно и то, что материал можно менять по частям и в любое время. Это сделало газету злободневной.

Изготовили складень в комсомольском бюро батальона. Составлять газету и редактировать поручили комсоргу Якерсону и члену бюро, бывшему чертежнику Виноградову. Но Виноградов приступил к делу не с чертежными инструментами, а обнаружил способности стихотворца. Якерсон оказался неплохим рисовальщиком.

Разведчик Богуславский подорвал вражеский пулемет. Через день уже стихи на первой полосе:

Моряк, сапер, разведчик смелый
К врагу вплотную подошел,
Гранатой действуя умело,
Так пулемет его разделал —
Фриц и обломков не нашел.

А на третьей полосе карикатура на нашего батальонного почтальона и стишок:

Все дела, брат, все дела,
Некогда умыться.
До чего ж ты довела
Парня, экспедиция.

Якерсон расцветивает полосы газеты. А карикатуры его поддерживает стихами Ваня Виноградов.

Теперь Виноградов политрук третьей роты, но с газетой не порывает. К обоюдной пользе.

Знакомлюсь со свежим номером «Динамита». Уже поступают сведения из комиссии, проверяющей каптерки и склады батальона. И вот отклик «Динамита» — карикатура и острый стишок:

Каптер вешал табачок,
Под тарелку — пятак,
Пятачок, мол, пустячок —
Не заметит простачок.

Наш боец не простачок,
Он заметил пятак,
Он заметил, что каптер —
Вор!

Комиссия вскрыла и хищение хлеба. Обирали голодного бойца не только с помощью пятак под тарелкой... Пришлось акт комиссии передать прокурору.

И вот суд. В бараке стол, скамьи, уже переполненные саперами. Привели под конвоем Чирка и двух кладовщиков, сообщников его по воровским делам. Все трое, бледные до неузнаваемости, едва переставляли ноги. То одному, то другому становилось дурно, и заседание суда никак не могло начаться. Напряженная тишина, которая могла прорваться и самосудом... Я усилил конвой. А председатель, юрист из трибунала, видать, бывалый человек, не стал медлить. Постучал ладонью об стол и огласил обвинительное заключение. Рядом с ним за столом — заседатели из рядовых бойцов.

Председатель: — Встаньте, Чирок. Признаете себя виновным?

Чирок стоит истуканом. Пуговицы на гимнастерке срезаны (так полагается), все ремни отобраны, и он, казалось, озабочен только тем, чтобы не сползла одежда.

Так ничего и не сказал. Но когда председатель предоставил слово бойцам, разделив их на обвинителей и защитников, — единодушный грозный голос презрения как бы пробудил истукана. Чирок признался в воровстве и повалился на колени.

Кладовщики, напротив, пытались изворачиваться, валили вину на помпохоза: мол, понуждал воровать и все забирал себе, возил на продажу в город... Однако справедливый приговор всех троих уравнил:

— В штрафной батальон!

Получил батальон задание — подготовить пути для движения танков. Гляжу на карту — направление указано на юг, юго-запад, юго-восток... Ура, близок удар по фашистским головам! Но — чшш... распорядившись с грифом «Совершенно секретно», и мы с комиссаром порадовались лишь втихомолку. Расписались на бумаге — «читали», и начштаба Лапшин тотчас упрятал ее в свой сейф.

Дело было зимой, но наст на невской равнине обманчив: под коркой льда и снега тут и там таились болотца, а кое-где и трясины. Даже в лютые морозы, на которые не поскупилась зима 1941/42 годов, многие из них не замерзали.

Рекогносцировку я поручил Попову.

Он по-прежнему видел во мне не столько командира, сколько коллегу по путейскому институту. Однако это не порождало ни с его, ни с моей стороны фамильярности — отношения определял устав.

Никто не уследил, что Попов отправился на рекогносцировку днем. День, правда, был туманный, но, когда путеец выбрался на передний край, его окликнул разведчик Рыжиков; замаскировавшись, он вел наблюдение за немецкими траншеями.

— Ложись, товарищ Попов... Не маячь!

— Да вы что, товарищ... Чтобы я голову склонил перед каким-то... — и не договорил, сраженный пулей.

Так погиб наш неутомимый конструктор, немало сделавший для усовершенствования боевых оборонительных построек.

В канцелярии батальона он не оставил никаких адресов, и некого было известить о его смерти. Но саперы сохранили о чудаковатом инженере светлую память. Проведали, что Попов участвовал в сооружении монумента Сергею Мироновичу Кирову, что на площади Стачек. Сам он ни разу этим не похвалился.

На моем служебном столе все чаще появлялась толстая тетрадь с отрезными бланками извещений («похоронными» назвали их в народе). Я ставил подпись, в молчании передавал заполненный бланк коммиссару, ставил свою подпись и он. Лапшин тоже молча отгискивал печать, и скорбный ритуал заканчивался тем, что фамилия погибшего вычеркивалась из списка батальона.

Вскоре после того, как Попова предали земле, погиб Рыжиков. Не уберегся в разведке, и фашисты его растерзали. Разведчикам не удалось и останки собрать, чтобы похоронить своего доблестного командира... Погибли отличные минеры, студенты-горняки Катилов и Потылов...

Многие и многие саперы, героически павшие в боях за Родину, приумножили славу защитников Ленинграда.

Я — владелец завода. С уважением смотрю на себя в зеркало. Бо-гач! Только глаза от голода провалились.

Главный цех завода — изгибающийся улиткой большой зал. На каменном полу рельсы. Сюда вкатывают вагонетки с серым кирпичом-сырцом. Затем зал наглухо закрывают, и внутрь напускают жар. Кирпичи румянятся, все больше и больше. И когда вагонетки выезжают наружу — это уже звонкие красные кирпичи, годные в постройку.

Когда вблизи развернулись военные действия, директор кирпичного завода заторопился прочь, но ему требовался акт, из которого следовало бы, что он не сбежал, бросив государственное имущество, а передал его в надежные руки.

Акт я подписал. Приложил, к удовлетворению директора, печать батальона. Но ни пускать завод, ни стеречь его не собирался, да и разваливались уже от обстрелов каменные строения. Сушильным сараем я соблазнился, вот чем. Прикинул на глаз: доски, рейки, брусья, столбы — это же материал, в котором все острее нуждается. Правда, у нас, во фронтовой полосе, есть деревья и даже рощи, но не рубить же их, не создавать в окрестностях Ленинграда пустыню. А сосны, ели нам и жизнь поддерживают: настой из хвои — целебный при голодании напиток.

Порадовались мы, что разбогатели, да не надолго: весь строительный материал быстро ушел в дело.

Но развилась у саперов смекалка. Гляжу — на хозяйственный двор батальона въезжает грузовик с прицепом, груженный бревнами, за ним — второй.

Радостные возгласы:

— Сироткин с добычей! Вот это да... Расстарался!

Михаил Васильевич Сироткин — начбоеспитания. Он торжественно восседал за баранкой на головной машине.

Увидев меня, выскочил из кабины, рапортует.

Вон он каков! В поисках лесных материалов неутомимый Сироткин закатился на Тучков Буян. Казалось, это лишь захламленный уголок в городе. И вдруг этакий подарок батальону от Буяна!

Сироткин — инженер-автомобилист из ополченцев. Уже в батальоне аттестован лейтенантом. Он и начбоеспитания, и начальник транспорта. Но еще и колдун. В его руках и не горячее — горячее, тянет машину. У многих автомобили на приколе, а в батальоне действуют.

Небольшого роста, подвижный, Михаил Васильевич ни при каких затруднениях не терялся, всегда умел найти и выход, и разумное решение. За блокаду он похудел, пожалуй, больше других, но от этого сделался только подвижнее. Вежлив, дружелюбен, лицу его свойственна, кажется, только приятная улыбка. Очень он подружился с нашей милой врачихой Козик...

Однажды комиссар сказал мне: «Пойдем поздравим молодоженов». И я только мог порадоваться тому, что Козик и Сироткин поженились.

Командовал нашей Н-ской армией генерал Владимир Павлович Свиридов. Образованный артиллерист, он много делал и для обороны Ленинграда, и для подготовки войск к предстоящим наступательным боям. Однако не замыкал себя кругом военных интересов. Знал литературу и не терпел порчи, оказывания русского языка, в чем бы это ни выражалось. «Сукно уместно в шинели, — говаривал генерал, — а не взамен языка человеческого. Попрошу составить бумагу коротко и грамотно!» Замечания Свиридов делал не только работникам своего штаба. И на него не обижались. Дело говорил.

Не без участия этого культурного и требовательного генерала к работе в армейской и в дивизионной печати были привлечены писатели Александр Гитович, Владимир Лившиц, Владимир Иванов (Муха), Дмитрий Остров, Кесарь Ванин, Дмитрий Левоневский, Павел Кобзаревский, а также и художники.

В начале второго года войны, летом, стали проникать от наших людей из немецкого тыла тревожные сведения. Передавали, что по железным дорогам с разных направлений сюда, на северо-запад, движутся эшелоны с танками, и подсчет машин показывал, что гитлеровцы не оставили попыток овладеть Ленинградом.

Перед фронтом нашей Н-ской армии, закрывая горизонт, виднелся город Детское Село (Пушкин). Фашисты там сильно укрепились. А в обширных дворцовых парках могли скрытно сосредоточиться сотни танков. И путь к Ленинграду тактически в пользу врага: равнина — есть где развернуться танковой армии... Это пугало. Ближние подступы к Ленинграду, разумеется, были ограждены: бетонные пирамиды-надолбы, минные поля, колючая проволока. Но колючка для танка ничто; по надолбе выстрел-другой из танковой пушки, и бетон — в куски. Было о чем призадуматься и артиллеристам, и нам, саперам.

У комсомольцев родился клич: «Батальон саперов — батальон изобретателей!» И пошли ребята мозговать. Только успевай подхватывать идеи да облекать в технические решения. Придумали ловушку для танков. В штабе армии проект утвердили, и он был осуществлен. В чем он заключался?

В сущности, на поверхности перед линией обороны ничего не изменилось — ни разрытой земли, ни помятых травы или кустов. Но достаточно затаившемуся в засаде саперу крутануть рукоятку подрывной машинки — и разверзнется земля, возникнет каньон, в который, как горох из порванного мешка, посыплется вражеские танки. Но надо угадать момент. Вид у грохочущей и с ревом продвигающейся танковой армады страшный, сапер у подрывной машинки может и растеряться. Это предусмотрено. На боевом посту всегда двое солдат во главе с лейтенантом. Пост связан по телефону со штабом армии и, разумеется, с батальоном.

Соорудили каньон-невидимку, а в нашем «бюро изобретений» новые заявки. Позвали меня. Иду и вижу — Лапшин ковыряется в мусо-

ре. «Эка, чем развлекается... начальник-то штаба!» — думаю. Свернул к нему.

— Что это? — шучу. — «Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно»?

— Так точно! — отчеканил Лапшин, пружинно распрямившись, и кивнул на кучу битого кирпича. — Здесь жемчужина, а может, штучка и поценнее жемчуга!

Оказалось, что среди лома коробочка, раскрашенная под кирпич.

— Ваше изделие?

— Мое. Узнаете коробочку?

— Любопытно, любопытно... — И я наклонился над кучей. Но с маху не угадал. Кирпичи как кирпичи — иные со следами штукатурки, покрывавшей разрушенную бомбой стену дома...

Пришлось присесть на корточки. Вглядываюсь по отдельности в каждый кирпич... Нет, не дается в руки коробочка!

Озадачил Лапшин комбата и, довольный этим, позволил перебрать кучу руками. Только по весу я обнаружил пустышку.

— Замечательно, Александр Васильевич, браво!

— Это еще не всё. — И Лапшин подвел меня к груде булыжника, а потом к кучке блеснувшего синеватой искрой каменного угля.

И опять я не узнал коробочек.

— Восхищен вашим искусством. Но не пойму, к чему эти муляжи?

— Вам как владельцу кирпичных заводов... — Лапшин улыбнулся своей шутке, — открою секрет.

И я услышал следующее. Заводы стоят давно, и дороги, к ним и от них ведущие, замусорены всякой всячиной. В колеях и по сторонам земля красная от утерянных и раздавленных телегами и машинами кирпичей. Вперемежку с красными — черные полосы: уголь. А уже во время войны булыжники, которыми были вымощены дороги, от обстрелов разлетелись далеко в стороны.

— Кажется, догадываюсь, — осторожно сказал я. — Коробочки начините взрывчаткой, приладите запалы...

— И к действию! — подхватил Лапшин. — Разложим умненко го-стинцы... Много и не потребуется, сотни за глаза хватит!

Расчет тут не столько на удар по танковым гусеницам, сколько по психологии сидящего в танке фрица. Представляете: едва выйдут на траверс кирпичных заводов — как под танками бух-бух-бух! И достаточно, если останутся какие-нибудь полдесятка машин. Фрицам взмерещится, что каждый кирпич и обломок кирпича, каждый уголек, каждый булыжник у большевиков взрываются, — а их миллионы! Замешательство неминуемо. Тут наша артиллерия и даст им прикурить!

— А можете, — спрашиваю, — сделать валун пудов на двадцать, на тридцать? — Пришла мне на ум озорная затея.

— Есть! — Щелкнул каблуками изобретатель. — Будет исполнено!

Люблю этого человека — твердого в своей беспощадности к врагу и чуткого, добросердечного в среде товарищей. У него мягкие черты лица, крупный рот. «Портрет у меня простой, — как-то сказал Лапшин, над собой подтрунивая. — Рот на двоих да нос уточкой».

Случалось мне когда официально, а когда и запросто бывать у начальника политотдела армии бригадного комиссара Кирилла Панкратьевича Кулика. Рослый, спортивного вида кадровый танкист, он с первого взгляда располагал к себе простотой и ровностью в обращении. Высокое звание его ничуть не сковывало собеседника. Встреча с ним всегда приносила чувство удовлетворения. Принципиальный коммунист, человек культурный, начитанный, Кирилл Панкратьевич любил в свободную минуту поговорить и об искусстве, и о литературе,

живо интересовался трудом и бытом писателей. Познакомившись близко со мной, Кулик как-то сказал, что партийная организация Ленинграда в боях обескровлена, нуждается в пополнении, и подал мне мысль о вступлении в партию. В декабре сорок первого, в самую напряженную пору блокады, мне особенно захотелось стать солдатом партии, и мое заявление было удовлетворено.

На этот раз я собрался к Кулику в сопровождении Лапшина. Огромный валун с блестками присущих граниту слюдяных вкраплений с трудом впахнули в дверцу моей «эмки» — ведь надо было изловчиться, не помять «камень». Повезли, разумеется, и коробку с муляжами.

Когда нас позвали к Кулику, мы с Лапшиным подхватили с двух концов «валун»; изобразили на лицах крайнюю степень напряжения и, шаркая ногами, сгорбившись под тяжестью ноши, вошли в кабинет.

Кулик вскочил из-за стола. «Сумасшедшие, вы же надорветесь!» И кинулся к нам на помощь. Но мы уже успели взвалить «валун» на стол. «Этого еще не хватало — мебель ломать!» — Из-под черных бровей-серпов Кулик метал в меня молнии, и я поспешил прекратить мистификацию.

— Товарищ бригадный комиссар, — я пожал плечами, — если вы против украшения стола — пожалуйста... — И легким ударом руки сбросил «валун» на пол.

Кулик замер от неожиданности — да как расхохочется... Брызнуло от него таким весельем, что и мы оба рассмеялись.

— Ай да саперы... — уже нахваливал Кулик, — ай да хитрецы!.. — Он подхватил валун с полу и объявил:

— Передам в красноармейскую самодеятельность. Спасибо!

Ознакомившись с муляжами и внимательно выслушав Лапшина, Кирилл Панкратьевич, очень довольный, сказал.

— Оставьте, товарищи, мне эти изделия. Доложу на Военном совете фронта.

Через короткое время Лапшину было приказано разморозить подходящее для муляжной мастерской помещение на «Ленфильме». Готовить папье-маше можно было только в тепле. Получил он дрова (их доставил на батальонной машине Сироткин), получил для клейстера мешок муки — драгоценнейшего в блокированном городе продукта, натаскали ему гору старых газет. В помощники себе он взял красноармейца Щербакова. Вызвалась поработать у Лапшина санитарка Мария Осипова, дочь комиссара (старательная рукодельница, но впоследствии девушку постигло несчастье: в бою лишилась руки). Разыскал Лапшин и кое-кого из сотрудников своего декорационного цеха. Те обрадовались фронтовому пайку. Все картонажники там и жили, на «Ленфильме», соблюдая режим строго секретного военного производства.

По командировке от инженерного управления фронта Лапшин побывал в Москве, после чего картонажная мастерская значительно расширилась. Уже не сотню изготавливали муляжей, а тысячи.

Время от времени командующий армией генерал Свиридов вручал правительственные награды. Случалось это редко — да и мы, оборонявшиеся в блокированном городе, не считали себя достойными боевых орденов и медалей. Появление орденосца воспринималось как честь для воинской части. И можно себе представить, какую гордость за родной батальон испытывали наши саперы, увидев на груди начальника штаба орден — сияющую эмалью в золотом окаймлении Красную Звезду. Разумеется, сияла не только звезда, сиял и сам Лапшин.

Организовал Лапшин производство боевых картонажей и возвратился к своим прежним обязанностям. А штабные обязанности его ужились. Батальон, как и наша армия, и весь Ленинградский фронт, все энергичнее готовился к активным действиям.

Здесь уместно упомянуть, что мины Лапшина в обороне города не понадобились. Фашисты не пошли в танковую атаку. Но партизаны в тылу врага применяли коробочки с успехом.

Его, нашего Александра Васильевича, уже нет в живых. Но отправимся на Кронверк Петропавловской крепости — посетим Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. В одном из залов Великой Отечественной войны увидим скромную настенную витрину. Под стеклом — знакомые, сделанные из папье-маше кирпич, кусок каменного угля, булыжник. И еще один экспонат, которому присвоено имя изобретателя: «Минный взрыватель Лапшина». Это металлический столбик, внутри которого перекатывается стальной шарик. Он играет роль клапана. Пока мина в руках установщика, шарик прочно держит на запоре взрывное устройство. Поставлена мина — и шарик автоматически на другой риск, понятно, какой.

Взрыватель Лапшина предотвратил увечья и гибель не одного нашего сапера из работавших с минами в минувшей войне.

Много посетителей в музее, и перед витриной Лапшина если кто и задерживается, то на какую-нибудь минуту. Но быть может, этого достаточно, чтобы почтить память патриота.

Тем же летом сорок второго, когда мы опасались танкового прорыва на Ленинград, разыгрался один надолго запомнившийся мне бой... Началось с того, что один из командиров дивизий, молодой и воинственный генерал, заявил:

— Засиделись мы в окопах, пора и ударить по фашистам — для разминки. Да и молодежь из пополнений скучает. С виду военные, а сами еще и пороху не нюхали — куда годится?

Войска фронта еще не были готовы к тому, чтобы отбросить фашистов от Ленинграда, но инициативу комдива в военном совете одобрили. Задачу поставили зашифровано: «Улучшить занимаемые дивизией позиции».

И вот на чердаке одного из домов в Колпине приоткрыто слуховое окно. У окна уселся со стереотрубой комдив. Здесь же, отряхиваясь от паутины, занимают места его штабные. Влезли на чердак и мы, несколько армейских саперов в роли наблюдателей: любопытствуем, как сложится эта «операция местного значения».

Со мной командир второй роты, но уже не Коробкин (Коробкин получил капитана и повышен в должности), а старший лейтенант Любош Аркадий Александрович. Тоже архитектор, но ничего в нем саперного. Белолицый, с глазами-сливами молодой человек, про которого хочется сказать: холерный, аристократичный. Он сын известного артиста Александринки.

Но — внимание! Вот части дивизии, покинув окопы, двинулись вперед... Вот уже атакуют врага... Хочется что-нибудь увидеть своими глазами, но к слуховому окну не сунешься — там НП генерала. Спешу прикинуть к одному из отверстий в крыше. Ожил горизонт! Навстречу нашей пехоте катит немецкая артиллерия, фрицы что есть мочи настегивают лошадей. Выжимают скорость полные гитлеровских солдат автомашины — подмога атакованному. Но где же наша артиллерия? «Упустят! — Дрожь нетерпения охватывает меня. — Упустят...»

Но генерал, схватив трубку полевого телефона, яростно командует артиллеристам. Мгновение — и заговорили наши пушки. Гляжу в свое оконце — дым, взблески пламени, дым на горизонте...

Неожиданно командир дивизии повернулся ко мне:

— Включайся в дело, майор!

Я вытянулся:

— Есть, товарищ генерал! — А сам не представляю, какая от меня может быть сейчас польза. У комдива свои саперы — опытные ребята уже докладывают: и колючку вражескую, и минное поле преодолели. Что же еще?

— Прошу, товарищ генерал, уточнить задачу.

Комдив оторвался от стереотрубы:

— Броняшками богат? Закинь вперед полтора-два десятка, укрой мне молодых пулеметчиков... Чтобы ноги задом наперед не побежали!

— Есть, понятно! — И я устремился к лестнице с чердака.

Любош за мной, а генерал вдогонку:

— Учти, первый бой надо — кровь из носу! — дать новичку выиграть, а отступит перепуганным — и он уже не солдат... Моральная травма!

Дальнейшие события развернулись так. Я поспешил на Ижорский завод (рукой подать — здесь же, в Колпине). Сунулся в ворота — вот они, бронеколпаки, припасены для нас! Но в каждой броняшке тонна весу — а где транспорт?

Неожиданно проворство проявил Любош. Из заводских ворот выходил отремонтированный танк, а он ему наперерез: встал, раскинул руки. Командир танка из башни:

— Это еще что за комедь?

А Любош, не сморгнув:

— Приказ командира дивизии! Доставить на передовую броневые колпаки!

Командир танка помолчал, раздумывая. Покосился на стальную грудку.

— А куда ж я их? К себе на спину, что ли?

Но мы быстро сообразили, как действовать. У танка есть крюк, на броняшке — проушина. Стальной трос — и дело в шляпе. Поехали. Только звон колокольный от запрыгавшей по дороге за танком броняшки...

Между тем с передовой уже приходили танки для заправки. Потащили и они за собой бронеколпаки. На корму танков, за башней, я сажал подоспевших саперов — по двое рядовых с сержантом.

Прибыли мы на передовую. И тут случилась такая штука: два колпака, привезенные танками, сели один на другой. Второй коснулся краем уже посаженного на место и так стоит — боком. Саперы растерялись: они уже приладились под каждый бронеколпак делать подкоп — лаз для пулеметчика с пулеметом, а тут как?.. Опасная заминка под огнем.

— Ребята! — кричу. — Да ведь так еще лучше! — И пулеметчику: — Ныряй, парень, в готовое укрытие!

И вдруг — взрыв... Я проваливаюсь в темноту...

Очнулся я от запаха — до того едкого, что слезами давился. Ничего не понимаю: где я, что со мной? Рядом — тихие голоса, а в нос мне тычется что-то противно холодное. Видимо, я застонал. Голоса повеселили, и кто-то сказал: «Довольно. Уберите нашатырный спирт».

Пробую заговорить — не терпится узнать про бой, про саперов, — а

язык словно пьяный, едва вышлепывает слова. Наконец поняли меня, слышу в ответ:

— Осилили наши. И раненых немного. Здесь они, как и вы, в медсанбате.

Я в медсанбате? Это новость. Значит, ранен... Прислушался сам к себе и не ощутил правой ноги. В холодный пот ударило.

Ко мне кто-то склонился. Белый колпак на голове, рот закрыт марлей.

— Будем знакомы, товарищ командир батальона. Перед вами главный армейский хирург Могучий Михаил Александрович. Сейчас я вас прооперирую. А ваше имя-отчество?

Я назвал себя. Про рану спросить не решился, но, бодрясь, добавил: «Могучий — это хорошо».

Трудно было спасти мне ногу. От рванувшего вблизи снаряда правое бедро не только раздроблено — превращено в кашу. Но спасибо врачам — Могучему и еще Фейертагу, который лечил меня в госпитале, — калекой не стал.

Отлежав около месяца в Ленинграде, я был эвакуирован затем на Большую землю. Ночью санитарный поезд, набрав раненых и больных, после многих маневров и остановок, каким-то кружным путем достиг берега Ладожского озера. Нас, прикованных к носилкам, разместили на палубе небольшого парохода. Тронулись тихо, без огней. В глубине суденышка мягко постукивала машина, за бортом с шумными всплесками заструилась ладожская вода... Прощай, Ленинград!

В глубоком тылу мы, валявшиеся в госпиталях, замирали, едва по радио начинали звучать позывные Совинформбюро — мелодия песни «Широка страна моя родная». Затем могучий бас Левитана или огорчал, или радовал положением на фронтах. Но вот я уже на ногах, хотя передвигаюсь еще с костылем. В возвращении на фронт мне отказано, и я, оставаясь военным, преподаю инженерное дело курсантам эвакуированного из Сталинграда танкового училища. В январе 1944 года начались победоносные действия войск Ленинградского фронта. Однажды передавали по радио приказ Верховного Главнокомандующего — назывались особо отличившиеся в боях воинские части, и вдруг слышу: моему батальону присвоено почетное наименование Лужский.

Долго я сидел перед радиоприемником, как зачарованный глядя на его зеленый огонек... Радостно было сознавать, что ополченцы свою задачу выполнили.

Владимир Бровченко

РИСУНКИ ВАСИЛИЯ КАСИЯНА НА БЕТОННОЙ ОГРАДЕ БОЛЬНИЦЫ

Они живут вон там, где травостой,
Где лес к больнице тихо подступает.
Ты молча возле них побудь, постой,
Поймешь,
душа в них зримо прорастает.

Тот как живое чудо возникал,
Та чаровала красотой тела.
А дальше — вдруг —
задумалась рука...
А дальше —
птица вдаль стремглав летела.

Он реквием слагал своим летам.
Все приняла в себя стена бетона.
О чем воркует над младенцем там
Гуцульская бессмертная мадонна?

На выгоне собрал слепой кобзарь
Казацких давних дум совет-громаду...
И трембитар сквозь облачную хмарь
Восславил солнечных высот отраду.

И счастливы дивчинка с пареньком,
Кептарики¹ мелькают и сапожки.
Им в стороне чуть дальше,
за леском,
Вот-вот проляжет свадебная стежка.

И все они, когда над миром ночь
На сон грядущий складывает крылья,
К Художнику идут. Он превозмочь
Спешит величьем духа —
дух бессилья.

Известно всем, как дорога творцу
Его причастность к бытию
людскому, —
И скатится слезинка по лицу
С Кассино², чья судьба
была знакома.

Тогда в палате шепот не смолкал
Уфимцев, киевлян,
гостей из Праги даже.
Здесь дух таких горячих встреч
вита! —
Уста художника томила жажда.

Здесь Гете и Тарасовы тома
У изголовья возникали снова,
Как перед веком исповедь сама,
Как заповедный край труда большого.

Прощаются чуть свет, еще в ветвях
Не слышно птиц. Мир Касияна светел.
Уходят, чтобы сестры на постах,
Чтоб их дежурный доктор не заметил.

Идут с людьми дорогой на бетон,
Тихонько покидаючи палату...
Пока с небес лучей не хлынет
злато,
Пока молчит рассвета камертон.

МАТЕРИ, ПЕРЕСЫЛАЯ НОВОЕ ИЗДАНИЕ „КОБЗАРЯ“

Ты мне как хлеб,
свет солнца и экрана,
Твоим я в жизни вскормлен молоком...
А я тебе, с любовью первозданной,
Дарю сей вечный дух,
где образ Касияна
Братается с Тарасовым стихом.
Мне помнится,
мы эту книгу знали? —
У нас ее соседи зачитали...
Когда металось пламя каганца,
Жилище осветив подслеповато,
Из материнских уст, очей, лица.
Кобзарь входил незримо

в нашу хату.
Как мы по-детски ей внимали свято,
Не пропустив ни одного словца.
Тогда терзал фашист Отчизну нашу,
Но наших душ не смог завоевать.
Мы знали: Зализняк¹ на силу вражью
Не уставал свои мечи ковать...
Я вновь с детьми под сень
родного крова
Приду, и мать заплачет,
встретив нас,
И по складам мне «Катерину» снова

¹ Вид гуцульской одежды.

² Город в Италии.

¹ Народный украинский герой.

Прочтет она

невесть в который раз —
Наперекор невзгодам и годам,
Так, как тогда бывало,
как тогда...
И так опять все ясно станет,
зримо.

А сила «Кобзаря» — необорима.
Любовь и гнев, слеза его горька —
Нам души жжет она и сквозь века.
А жив он правдой вечною, до края...
Того и сыну пожелай, родная.

* * *

Корсунь-Шевченковские высоты,
Дома селений в стороне...
Мне памятни тех дней заботы,
Как мы крошили вражьи дзоты,
Сгорая в гибельном огне.
Полей, долинных роц хоралы,
Дубрав синеющая мгла...
А я-то знаю: умирали
Солдаты наши, генералы,
Чтоб снова тут земля цвела.
Струится Рось промеж камней,
Вон там «Ветряк» — то ресторан...
А я-то верю: в поколеньях
Не сгаснет дух преодоления,
Не смолкнет боль военных ран.
Созревший колос люди косят,
Управиться бы в срок и мне б...
Лелеет жатвы думу Корсунь —
Ему спечет с поклоном осень
Как солнышко румяный хлеб.
Цвети, земля, красуйся снова,
Моя — без меры высота!
Я знаю: здесь моя основа —
Здесь птах шевченковского слова
Над этой высотой витал.
Здесь, где свинцом гремели дзоты, —
Дымит над речкою завод...
Поля. Дороги. Повороты.
На безымянных тех высотах
Живет бессмертный мой народ.

*Перевела с украинского
Мария Комиссарова*

ПЕСНЯ ПРИЧАСТНОСТИ

На рассвете говорила Доля,
Как среди людей меня вела:
— Горизонт для шляха и для поля,
Небо — для крыла.

Сколько, мать-земля,
ты мне дарила
Щедрых весен, ясных дней дала!
Буревое море — для ветрила,
Небо — для крыла.

Зазвенели вешние напевы,
Радуга престо́ры обняла.
Захмелело поле — для посева,
Небо — для крыла.

Даль цветет и маком и гвоздикой,
Где добра тропинка пролегла,
Свет сияет для любви великой,
Небо — для крыла.

Все живое добротой согрето,
И трудом, и ясностью чела,
Вся земля, как есть —
для буйноцвета,
Небо — для крыла.

ОБЛАКО

Клубится облако, живет,
Меняет формы, вырастает,
Но вот над степью проплывет,
И навсегда его не станет...

Лишь разве ливень, окропив
Землицу, что хлебами пахла,
В колосьях среди буйных нив
Оставит грома перелив,
Как память, что жило —

не чахло...

*Перевел с украинского
Петр Жур*

К 110-летию со дня рождения В. И. ЛЕНИНА

Евгений Зазерский, Анатолий Любарский

ЛЕНИН И ЗАПАД

Документальное повествование

Ленин весь — во все мгновения своей жизни — в бою.

Ромен Роллан

Часть I

В НАЧАЛЕ ПУТИ

В «совершенно секретных» ведомостях столичного Отделения по охране общественной безопасности и порядка названы лица, состоящие в Петербурге под негласным надзором полиции.

В той ведомости, которая помечена 1894 годом, значится и бывший студент Казанского университета, помощник присяжного поверенного, проживающий в доме № 7 по Большому Казачьему переулку, Ульянов...

Владимир Ильич снимает здесь угловую комнату.

Ведет в квартиру мрачная лестница, напоминающая угрюмые переходы в Трубецком бастионе Петропавловской крепости.

В небольшой комнате у окна — стол. На нем керосиновая лампа, которая порой гаснет перед самым рассветом.

Весь день, а нередко и часть ночи работает Владимир Ильич.

Он пишет свою первую книгу. О либеральных народниках — тех, кого зовет с иронией «друзьями народа». О том, как эти «друзья народа» стремятся парализовать распространение социал-демократических идей. Как самым пошлым образом глумятся над идеями, тактикой западноевропейского рабочего движения, в то же время толкуя об «идеалах отцов», претендуя на роль хранителей традиций времен,

«когда Франция разливала по всей Европе идеи социализма» — утопического социализма.

Ульянов разоблачает недостойные приемы, к которым прибегают либеральные народники, которые исползует их теоретик Н. Михайловский.

«Если он недоволен тактикой Интернационала, — негодует Владимир Ильич, — если он не разделяет тех идей, во имя которых организуются европейские рабочие, — пусть бы, по крайней мере, прямо и открыто критиковал их, излагая свои представления о более целесообразной тактике, о более правильных воззрениях. А то ведь никаких определенных, ясных возражений не делается, и только рассыпаются там и сям, среди разливанного моря фраз, бессмысленные издевки. Как же не назвать этого грязью? особенно если принять во внимание, что защита идей и тактики Интернационала легально в России не допускается?»

То, что Владимир Ильич сейчас пишет, тоже не издать в России открыто. Но он надеется опубликовать книгу нелегально и потому не принимает в расчет цензуру, обращаясь к прошлому и настоящему революционной борьбы мирового пролетариата.

Зарубежный революционный опыт, теория и тактика западноевропейских социалистов с юных лет в центре интересов Ульянова. Еще семь лет назад, сосланный в Кокушкино, нахо-

дьясь под полицейским надзором, он из русских журналов, оказавшихся в старом дедовском доме, — из «Современника», «Отечественных записок», «Вестника Европы», «Русского богатства», из приходивших туда «Русских ведомостей» и «Волжского вестника» черпал сведения о европейской политической жизни.

В каждую свою поездку в Петербург раздобывал он последние книжки «Неее цайт». И в этом журнале — теоретическом органе германской социал-демократии — знакомился со статьями А. Бебеля, В. Либкнехта, П. Лафарга, К. Каутского, Ф. Меринга и других. Знакомился с заметками и статьями о партийных съездах, международных конгрессах, о состоянии рабочего движения во многих странах.

Зарубежный опыт позволяет доказать, как фальшива политическая программа российских «друзей народа», как погрязли они в мещанском представлении, что самодержавие стоит, дескать, над классами, способно улучшить якобы положение народа.

Но знакомство с западной социал-демократией, с мировым революционным движением немислимо без понимания учения Маркса об обществе, революции, социализме. Без способности увидеть в его трудах, пишет Ульянов, «всю капиталистическую общественную формацию как живую — с ее бытовыми сторонами, с фактическим социальным проявлением присущего производственным отношениям антагонизма классов, с буржуазной политической надстройкой, охраняющей господство класса капиталистов, с буржуазными идеями свободы, равенства и т. п., с буржуазными семейными отношениями».

Еще брат Александр принес ему первый том «Капитала». И когда Владимиру минуло всего лишь семнадцать, в Казани, на нелегальной студенческой вечеринке, он, по воспоминаниям современника, уже «убедительно говорил об учении Маркса». К той — казанской — поре относится и свидетельство сестры его Анны: «Помню, как по вечерам, когда я спускалась к нему поболтать, он с большим жаром и воодушевлением рассказывал мне об основах теории Маркса и тех новых горизонтах, которые она открывала». В удивительном умении Владимира Ильича владеть оружием Маркса убедился здесь, в Петербурге, в кружке студентов-технологов и Г. Кржижановский.

Уже не первый год раздобывает повсюду Ульянов статьи, книги Маркса и Энгельса — все, что можно отыскать в России. Вычитанное стало для него ключом не только к познанию экономического, политического положения царской империи. Стало ключом к изучению и мирового револю-

ционного процесса, богатого опыта западноевропейских социал-демократических партий. И труд, который он сейчас завершает, проникнут творческим пониманием марксизма.

Владимир Ильич ведет в нем речь о «Капитале». Ссылается на работы Маркса «К критике гегелевской философии права» и «Нищета философии», на переведенный им в Самаре «Манифест Коммунистической партии», письма Маркса к А. Руге и в редакцию «Отечественных записок», на «Анти-Дюринг», «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса, на впервые опубликованную недавно в Германии «Критику Готской программы»... Весь этот обширнейший материал понадобился Ульянову, чтобы охарактеризовать в своей книге научное мировоззрение, диалектический и исторический материализм, экономическое учение Маркса, отстоять его заключение о неизбежности превращения капиталистического строя в социалистический.

Сплочение революционных сил, считает Ульянов, — первостепенной важности задача. Изучив программные и уставные документы, резолюции и обращения созданного Марксом и Энгельсом I Интернационала, он убедился, что основной его принцип — братское сотрудничество рабочих разных стран. И напоминает о не столь уж давней попытке русских социалистов-народников Н. Утина, А. Трусова, В. Бартенева «перенести в Россию самую передовую и самую крупную особенность „европейского устройства“ — Интернационал». Когда создана была русская секция I Интернационала. Когда ее представительство при Генеральном совете взял на себя сам Маркс.

Ульянов отвергает всяческое «зубокальство по поводу Интернационала». Он выступает против тех, кто умаляет значение Международного Товарищества Рабочих. Кто никак не может понять простой истины, что единственное средство борьбы с национальной ненавистью — создание самостоятельной политической партии рабочего класса, «соединение таких национальных рабочих организаций в одну международную рабочую армию для борьбы против международного капитала».

Тремя тайком отпечатанными на гектографах выпусками выходит книга «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» Ульянов зовет в ней социалистов быть идейными руководителями борющегося пролетариата. Зовет слить воедино теоретическую и практическую работу. Обращает внимание на то, как определяет эту работу ветеран германской социал-демократии Виль-

гелем Либкнехт: «Studieren, Propagandieren, Organisieren»¹.

Книга становится программой, манифестом российских марксистов. Ульянов предсказывает в ней:

«...Русский РАБОЧИЙ, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ... прямой дорогой открытой политической борьбы к ПОВЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».

Но поведет, подчеркивает Ульянов, «рядом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН».

О том же говорит он рабочим, когда приходит на окраины Питера, в нелегальные кружки. Когда беседует с ними у себя в Большом Казачьем переулке...

Отсюда 25 апреля (7 мая) 1895 года², уведомляет петербургский градоначальник, «состоящий под негласным надзором полиции сын действительного статского советника Владимир Ильин Ульянов... выбыл за границу...»

Донесение доставляют в департамент полиции. А Ульянов сообщает в этот самый день матери из Зальцбурга:

«По „загранице“ путешествую уже вторые сутки и упражняюсь в языке...»

Затем — Женева. Из которой он снова шлет в Москву письмо:

«Теперь уже устроился на месте, — думаю, впрочем, что не надолго и что скоро опять поеду куда-нибудь.

Природа здесь роскошная. Я люблю ее все время».

И все же не роскошная природа — эти нависающие над головой горные отроги, пенящиеся воды, сосновые леса на гористых берегах — нет, не чарующая красота, которой, впрочем, он действительно восторгается, привела сюда Владимира Ильича. И, конечно, не одно лишь желание укрепить здоровье, как утверждал он, получая заграничный паспорт, принудило отправиться в чужие края...

Но письма могут перлюстрироваться русской полицией. И пишет поэтому Владимир Ильич из Швейцарии лишь о ценах на дачи в окрестных деревнях, о том, как дороги здесь прислуга. Ибо не должна догадаться полиция, что вызвана поездка назревшими потребностями российской социал-демократии. Что по решению, принятому в Петербурге, когда из нескольких городов собрались там члены социал-демократических групп, Владимир Ильич должен установить за границей непосредственные контак-

ты с плехановской группой «Освобождение труда». Договориться о совместных изданиях. И, конечно, на месте, в разных странах, ознакомиться с рабочим движением, с тактикой социал-демократических партий в острых классовых боях.

С деятелями группы «Освобождение труда» — это она связывает русскую социал-демократию с социал-демократическим движением Запада — обсуждает Ульянов вопросы теории, тактики социал-демократии, ее задачи в общенациональной борьбе против самодержавия. Высказывает свою точку зрения — разнящуюся с плехановской — о союзниках пролетариата в революции. Договаривается о контактах группы «Освобождение труда» с российскими товарищами. Об издании за границей сборника «Работник»...

Но не только стратегия совместной революционной борьбы — предмет их бесед в Женеве, на тихих улицах Афольтерна, на горных тропках около Цуга. От Плеханова и Аксельрода, столько лет живущих в эмиграции, ждет Владимир Ильич, что они помогут ему установить связи в западноевропейском рабочем движении...

Неизвестно, конечно, Ульянову, что кое-что о его намерениях проводили все же российские власти. И что значится он в препровожденном начальникам жандармских пограничных пунктов списке лиц, за возвращением которых в пределы империи следует установить строжайшее наблюдение. Не знает Ульянов, что уже отдано распоряжение учинить, как только пересечет он границу, «тщательный дозор багажа и о направлении избранного пути уведомить департамент полиции и начальника подлежащего жандармского управления для продолжения негласного надзора...»

Не собирается еще, однако, Владимир Ильич возвращаться. Когда из департамента полиции во все жандармские пограничные пункты уходит «список лиц, за коими надлежит установить наблюдение за возвращением в пределы империи», Ульянов покидает Швейцарию. Но держит путь не в Россию. Перебирается во Францию. И уже отсюда пишет матери:

«В Париже я только еще начинаю мало-мало осмагиваться: город громадный, изрядно раскинутый, так что окраины (на которых чаще бываешь) не дают представления о центре. Впечатление производит очень приятное — широкие, светлые улицы, очень часто бульвары, много зелени; публика держит себя совершенно неприступно, — так что даже несколько удивляешься сначала, привыкнув к петербургской чинности и строгости».

И в этом письме, как и в том, что ушло в Москву из Женевы, ни слова, разумеется, о делах, приведших его в Париж. Ни слова о том, что часами

¹ Изучать, пропагандировать, организовывать.

² Здесь и далее, когда речь идет о событиях в России, даты приводятся по старому и новому стилю, в остальных случаях — только по новому стилю.

просиживает он в библиотеке, конспектируя Маркса и Энгельса. Знакомится с трудами о Парижской коммуне, которых не достать было в России. Что хоть и приехал он сюда уже после массового шествия парижан на кладбище Пер-Лашез, побывал он все же у Стены коммунаров, почтил память расстрелянных героев Коммуны.

С юных лет ценит Владимир Ильич революционный дух французского народа. Радуетя, что верен тот своим традициям. И когда вернется в Петербург, с похвалой отзовется о живой восприимчивости французского рабочего, о товарищеской его общительности.

Одна из парижских встреч — с Полем Лафаргом. Не только зятем — искреннейшим почитателем Карла Маркса, смысл, глубину учения которого в течение десятилетий раскрывает в своих статьях, исследованиях, речах.

О чем беседуют они — умудренный опытом боец, которому идет уже шестой десяток, и двадцатипятилетний русский?

Наверняка о принципах революционного марксизма, страстно отстаиваемых и Лафаргом, и Ульяновым. Наверняка и о тех, кто подвергает ревизии основы научного коммунизма, о тех, с кем борются оба — один во Франции, другой в далекой России.

Россия давно интересуется Лафарга. И знает он о ней немало. Слышал о России от Г. Лопатина — переводчика «Капитала», с которым сблизился еще до того, как тот стал своим человеком в семье Маркса. Рассказывали ему о ней и журналист Н. Русанов, посетивший его лет десять назад, и П. Лавров — ученый и революционер, живущий тут же, в Париже.

Ульянова Лафарг расспрашивает о русских пропагандистах. О том, что обсуждает Ульянов с друзьями в нелегальных кружках, когда собираются они тайком от царской полиции.

— Обсуждаются обычно текущие события, — говорит Владимир Ильич. — Но в кружках более высокого уровня рабочие изучают произведения Маркса.

— И они читают Маркса?! — поражен Лафарг.

— Да, читают.

— И понимают?

— Понимают.

— Ну, в этом-то вы ошибаетесь, — убежден Лафарг. — Они ничего не понимают. У нас после двадцати лет социалистического движения Маркса никто не понимает.

Трудно, конечно, Лафаргу поверить, что есть уже среди русских рабочих не только читающие, но и разбирающиеся в учении Маркса. В то время, как во Франции, в Германии, в других европейских странах даже

многие теоретики, считающие себя марксистами, искажают самый дух марксизма.

Скрытой от всех остается эта встреча с Лафаргом. Хотя запрос о «состоящем под негласным надзором полиции помощнике присяжного поверенного округа С.-Петербургской судебной палаты» из России поступает и в Париж, к главе заграничной агентуры. Тому предписывается «за деятельностью и заграничными сношениями Владимира Ульянова» установить самое тщательное наблюдение.

Однако предписание не застает Ульянова во французской столице. Когда узнают о нем на улице де Гренелль — в резиденции агентуры русской политической полиции, Владимир Ильич уже в Берлине. Он намерен познаться тут прежде всего с германской социал-демократией, с богатым опытом крупнейшей партии II Интернационала. С положением в той самой партии, деятельность которой он изучал в Самаре. На месте разобранся, что из этого опыта можно использовать, приступая к созданию марксистской рабочей партии в России.

Здесь, в Берлине, узнает Владимир Ильич: 5 августа в 10 часов 30 минут вечера не стало Фридриха Энгельса.

Он мечтал о встрече с ним. Мечтал с тех пор, как впервые услышал о Марксе, о его великом сподвижнике, которого считает самым замечательным после Маркса «ученым и учителем современного пролетариата во всем цивилизованном мире».

Ульянов пишет некролог.

Его не удастся отыскать и через десятки лет. Но именно этот некролог послужит ему, по-видимому, вскоре основой для новой статьи об Энгельсе.

Владимир Ильич снимает комнату у фрау Куррейк — в районе Моабита, на Фленсбургерштрассе. И отсюда пишет матери, что ходит «по разным народным вечерам». По-прежнему не забывая о возможности перлюстрации и умалчивая, что «народные вечера» — не что иное, как рабочие собрания.

Однажды Вильгельм Бухгольц — корреспондент газеты «Форвертс», знающий Ульянова еще по Самаре, ведет его в предместье. Там в пивном баре на Франкфуртераллее собираются в этот вечер социал-демократы. Выступает Артур Штадтгаген — депутат рейхстага, принадлежащий к левому крылу социал-демократии. Излагает свою точку зрения на проект аграрной программы партии.

Аграрный вопрос — предмет многолетней дискуссии в германской социал-демократии. Штадтгаген, которого внимательно слушает Владимир Ильич, придерживается ультралевых взглядов. Он отрицает необходимость подобной программы. Утверждает, что при нынешнем строе нечего и мыс-

лить об изменении жизненного уровня крестьян. Обещание же частичных реформ, по его мнению, вселяет в них несбыточные надежды на улучшение их положения в буржуазном обществе.

— Как вы оцениваете то, о чем говорил Штадтгаген? — спрашивает Бухгольц.

И Владимир Ильич решительно заявляет:

— Я не согласен с его позицией...

Сколько таких встреч у Владимира Ильича в Берлине! Но благоразумно умалчивает он о них, когда шлет отсюда матери письма. Сообщает лишь: «...по вечерам обыкновенно шляюсь по разным местам, изучая берлинские нравы и прислушиваясь к немецкой речи». Пишет: «Занимаюсь по-прежнему в *Königliche Bibliothek*¹...» — уж это скрывать ни к чему, даже если и попадет его письмо в полицейские руки.

В Берлине, как и в Париже, поражаются библиотекари: часами не отрывается молодой русский от принесенных ему книг. В его формуляре — уже десятки названий. Он много читает по русской истории. Главным образом напечатанное здесь, в Германии, и строжайше запрещенное в России. Но не меньший интерес проявляет и к тем иностранным книгам, журналам, газетам, которых в Петербурге нет даже в Публичной библиотеке. Отыскивая в них то, что может помочь ему лучше познакомиться с прошлым и настоящим немецкого рабочего движения.

Перед самым отъездом отправляет Владимир Ильич в предместье города — Шарлоттенбург, принимая все меры предосторожности, чтобы не проведдали о том тайные агенты российской политической полиции, наверняка имеющиеся и тут, в Берлине. В Шарлоттенбурге, на Кантштрассе, живет Вильгельм Либкнехт — один из старейших руководителей Германской социал-демократической партии, редактор ее центрального органа — газеты «Форвертс». Плеханов уже уведомил его:

«Рекомендую Вам одного из наших лучших русских друзей. Он возвращается в Россию, вот почему необходимо, чтобы о его посещении Шарлоттенбурга никому не было известно. Он расскажет Вам об одном, очень важном для нас деле. Я уверен, что Вы сделаете все от Вас зависящее. Он сообщит Вам также новости о нас».

Не в эти ли осенние дни устанавливает молодой Ульянов первые свои контакты с «Форвертс»?

Вопрос останется открытым и десятилетия спустя. Отыщется же в архиве лишь короткое свидетельство В. Бухгольца, при посредничестве ко-

торого группа «Освобождение труда» осуществляет связь с Россией, — то, что напишет он из Берлина Плеханову: «...Тот русский, который являлся к Либкнехту с письмом от Вас, посылает лишь изредка сообщение в „Vorwärts“...»

«Тот русский» — не Ульянов ли это?

Он готовится уже к отъезду. «Я начинаю подумывать о разных практических вопросах, вроде покупки вещей и чемодана, билетов и т. д.», — делится Владимир Ильич с матерью предотъездными заботами.

А чемодан на обратную дорогу в Россию — вещь первостепенной важности. Ибо нужен Ульянову чемодан, способный обмануть бдительных таможенных чиновников, давно уведомленных из Петербурга о «неблагонадежном» Ульянове.

Такой чемодан ему раздобывают новые, немецкие, друзья. По поручению руководства социал-демократической партии Германии его изготовляют в доме на Маншгейнштрассе. И Ульянов везет с собой на родину мимеограф — новый множительный аппарат, используемый в практике немецких социал-демократов. Везет в чемодане с двойным дном недозволенные в России книги.

Ни книги, ни мимеограф не обнаруживают даже поднаторевшие в этом деле жандармы. Начальник Вержболовского пограничного отделения Петербургско-Варшавского жандармского полицейского управления железных дорог доносит в Петербург не только о прибытии из-за границы «сына действительного статского советника Владимира Ильина Ульянова». Он сообщает: «По самому тщательному досмотру его багажа ничего предосудительного не обнаружено...»

„СТАТЬ С НИМИ ПОД ОБЩЕЕ ЗНАМЯ...“

Слякотным осенним днем из Петербурга в Цюрих Аксельроду уходит письмо. Ульянов сообщает:

«Беседовал с публикой о сборнике. Большинство согласно с мыслью о необходимости такого издания и обещают поддержку и доставление материала».

Ульянов пишет о сборнике, о котором договорился с Плехановым и Аксельродом. Выходить будет он в Швейцарии, под редакцией группы «Освобождение труда». Но статьи, корреспонденции для него надо готовить в России.

Через Гельсингфорс и Стокгольм, при посредстве шведского социал-демократа Брантинга, одного норвежского социал-демократа и шведского рабочего А. Вейделя, шлет Владимир Ильич в Швейцарию, для сборника,

¹ Королевской библиотеке,

первые материалы. В том числе — статью о Фридрихе Энгельсе.

Еще за рубежом собрал Владимир Ильич материалы о жизни, деятельности основоположников марксизма. Воскрешая в статье жизненный путь Энгельса, он характеризует его выдающуюся роль в освободительном движении международного пролетариата. Подчеркивает, что «самый сочувственный отзыв» нашла в душе Энгельса «героическая борьба малочисленной кучки русских революционеров с могущественным царским правительством». Борьба, по глубокому убеждению Энгельса, важная не только для российского пролетариата. Играющая большую роль в развитии рабочего движения на Западе.

Ульянов отправляет то, о чем условился в Швейцарии. Запрашивает же «вышедшие брошюры в Женеве». Просит прислать «интересные вырезки из „Vorwärts“ — газеты, не поступающей в Россию, чтобы и здесь быть Владимиру Ильичу в курсе всех дел германских социал-демократов.

Второй уже месяц, как снова он в Петербурге, где с лавинной быстротой разрастаются среди рабочих на многих фабриках и заводах нелегальные кружки, действующие, однако, независимо друг от друга.

Глубокой осенью 1895 года на Симбирской, у Степана Радченко, собирается горсточка революционных марксистов. Они решают: все марксистские рабочие кружки объединить в единую социал-демократическую организацию. Пройдет немного времени, и назовут ее «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса».

Но охранка выслеживает участников возглавленной Ульяновым подпольной революционной организации. В ночь на 9(21) декабря Владимира Ильича и его соратников из разных концов Петербурга доставляют на Шпалерную, в дом предварительного заключения.

Русские газеты, разумеется, умалчивают об аресте «лиц, занимающихся, — согласно официальному донесению, — преступной пропагандой среди петербургских заводских и фабричных рабочих». И все же о том узнают за пределами России. Журнал «Ден» Болгарской социал-демократической рабочей партии сообщает об ударе, нанесенном в Петербурге по молодому еще «Союзу борьбы...». О том, что среди арестованных русских социалистических деятелей — «адвокат Ульянов». Корреспонденцию об обысках и арестах в российской столице публикуют и лондонские «Легучие листки». И в них называется имя Владимира Ульянова. О его аресте узнают читатели центрального органа германских социал-демократов «Форвертс». В то самое время, когда Ульянов находится в заключении, газета извещает об из-

дании в России его брошюры «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах». Признавая, что «подобные брошюры... имеют огромное значение для укрепления социал-демократического сознания в широких кругах рабочих». Выражая надежду, что «подобная рабочая литература разовьется в значительный фактор политического пробуждения русского пролетариата».

Из одиночной камеры № 193 Ульянов налаживает связи с волей. Теперь уже отсюда, со Шпалерной, руководит товарищами, действующими в подполье.

Он пересылает написанную в камере майскую листовку. Не этот ли ленинский листок, который не удастся впоследствии обнаружить, ложится в основу тайком распространяемой «Союзом борьбы...» прокламации «Рабочий праздник 1 Мая»?

Прокламация знакомит с тем, как отмечают Первомайский день в Англии, Франции, Германии, других странах. Она выражает братьям по классу пожелание, чтобы их борьба скорее привела к желанной победе. Призывает питерских пролетариев способствовать великому делу объединения рабочих в национальном и международном масштабе.

Ульянов находится в заключении. А созданную им нелегальную организацию российских социал-демократов уже оценили далеко от Петербурга. В июне 1896 года, когда идет седьмой месяц его тюремного заключения, газета польских социал-демократов «Справа роботниза» сообщает: «Политическая организация под названием „Союз борьбы за освобождение рабочего класса“... первое великое выступление русского пролетариата, первый плод продолжительного, неустанного и умелого труда».

К такому же заключению приходит «Арbeiter цайтунг» — центральный орган социалистической партии Австрии. С «Союзом борьбы...» связывает газета стачку петербургских текстильщиков. Впервые, заявляет она, российский пролетариат ведет планомерную, сознательную борьбу.

На следующий день — 27 июня — о том же пишет германская «Форвертс». Она отмечает, что в массы русских рабочих уже проникают, и проникают успешно, идеи научного социализма. «Главная заслуга в этом, — убеждена «Форвертс», — принадлежит петербургскому „Союзу борьбы за освобождение рабочего класса“».

И в эти июньские дни, когда польская, австрийская, германская газеты пишут о «Союзе борьбы...», в тюремном одиночестве, в давящей тишине душевной камеры Ульянов обдумывает следующие шаги к созданию русской пролетарской партии.

В двери щелкает глазок. Заглядывает надзиратель. Все, кажется, в порядке. Заключенный, как всегда, за привычным к стене маленьким железным столиком. И не видит, конечно, фельдфебель, что стоит сейчас перед Ульяновым крошечная чернильница. Сделана она из хлеба. А налито в нее молоко. И молоком между строк не вызывающей подозрения книги пишет Владимир Ильич «Объяснение программы социал-демократической партии».

Он учитывает весь опыт рабочего движения. И здесь, в России. И за рубежом. Учитывает все, что узнал не только из литературы. Что узнал из недавних встреч в Швейцарии, Франции, Германии.

«Борьбу с господством класса капиталистов, — пишет между строк книги Владимир Ильич, — ведут в настоящее время уже рабочие всех европейских стран, а также рабочие Америки и Австралии. Соединение и сплочение рабочего класса не ограничивается пределами одной страны или одной национальности: рабочие партии разных государств громко заявляют о полной одинаковости (солидарности) интересов и целей рабочих всего мира. Они собираются вместе на общие конгрессы, выставляют общие требования к классу капиталистов всех стран, учреждают международный праздник всего объединенного, стремящегося к своему освобождению, пролетариата (1 Мая), сплавивая рабочий класс всех национальностей и всех стран в одну великую рабочую армию».

Из крошечной тюремной камеры пишет Владимир Ильич на волю о важнейших требованиях интернационализма. Подчеркивает солидарность интересов, целей рабочих всех стран. Указывает на то, что их объединение «вызывается необходимостью, тем, что класс капиталистов, господствующий над рабочими, не ограничивает своего господства одной страной».

Ульянов развивает этот тезис. Пишет о все более тесных, все более обширных торговых связях между различными государствами, о постоянном переходе капитала из одной страны в другую, о громадных акционерных компаниях, простирающих свое влияние на значительную часть континента. Он приходит к заключению: «Господство капитала международно». И заявляет: борьба против него может быть успешной «лишь при совместной борьбе рабочих». Следовательно, «товарищем русского рабочего в борьбе против класса капиталистов является и рабочий немец, и рабочий поляк, и рабочий француз, точно так же, как врагом его являются капиталисты и русские, и польские, и французские».

В субботу, когда Крупская приносит на Шпалерную, для Ульянова, но-

вую партию заказанных им книг, ей возвращают те, что она доставила неделю назад. Уже дома наметанным глазом в одном из томов отыскивает Надежда Константиновна чуть пожелтевшие листы. Нагревает их над лампой. И выступает между печатных строк написанное бисерным почерком Владимира Ильича:

«Международный капитал протянул уже свою руку и на Россию. Русские рабочие протягивают руки международному рабочему движению...»

С воли приходят к Владимиру Ильичу вести о грандиозной стачке петербургских текстильщиков, потребовавших сокращения рабочего дня, повышения расценок, правильной и своевременной выдачи зарплат. О стачке, на которую откликнулись рабочие Москвы, Московской и Владимирской губерний, Костромы, Риги, Белостока, Одессы, других городов России.

И не только России!

Через «Арbeiter дайтунг» — газету Австрийской социал-демократической партии — в одном только 1896 году передано для русских рабочих 265 гульденов. Значительная сумма прислана из Германии. В Лондоне на заседании Комитета по подготовке созыва Международного социалистического конгресса сообщение о стачке в Петербурге сделала Элеонора Маркс-Эвелинг, и по ее призыву в Англии также начал сбор средств в пользу петербургских стачечников. Поддержку русским оказывают и рабочие Нью-Йорка. «После вашей стачки, — пишут они в Петербург, — и умственно слепые люди должны признать, что и в России началась освободительная борьба рабочих против хозяйского и правительственного гнета, что и русский пролетариат стал в ряды всемирной армии социал-демократов»...

Из своей камеры Ульянов следит за тем, что назовет знаменитой петербургской промышленной войной. И поздней осенью, возвращаясь к событиям грозного лета, пишет о них в листовке «Царскому правительству». Пишет о том, что впервые применен был в России великий принцип международной братской помощи. «На мирных рабочих, восставших за свои права, защищавших себя от произвола фабрикантов, — заявляет он в переправленной из тюрьмы и на воле отпечатанной на мимеографе листовке, — обрушилась вся сила государственной власти, с полицией и войском, жандармами и прокурорами...» Русские же рабочие держались «на свои гроши и гроши их товарищей, английских, польских, немецких и австрийских рабочих...».

Еще два месяца проводит в заключении Ульянов. И наступает февральский день 1897 года. Подписывается «высочайшее повеление» о его высылке в Восточную Сибирь.

В российских газетах об этом нет, разумеется, ни строчки. Находим мы их зато в румынской «Мискаря социалистэ»:

«Великий император избавил от группы молодых борцов за освобождение пролетариата. Студент Технологического института Петр Запорожец был отправлен на пять лет заключения в Восточную Сибирь. Его товарищи, государственный служащий Ульянов, инженеры-механики Кржижановский и Старков... должны будут отправиться в эту «приятную» страну и прожить там три года...»

Шу-шу-шу, как зовет Ульянов шу-тя Шушенское — место своей ссылки.

Тысячи верст отделяют его теперь от Петербурга и Москвы — от крупнейших российских библиотек, от книжных лавок, где нередко можно раздобыть тайком труды и европейских социал-демократов — те, что вылавливаются на границе, что строжайше запрещены к ввозу в империю. И все же он должен и здесь знать все новое в зарубежной социалистической литературе. Знать, что выходит на Западе о борьбе классов, рабочем движении, теории и революционной практике социал-демократии. И едва обособывается в Шушенском, пишет отсюда сестре Анне: пусть выпишет она ему берлинский «Социале праксис», лейпцигский «Архиф фюр социале гезельцгебунг унд статистик», лондонскую «Лейбор газет». Пусть раздобывает для него каталоги, проспекты — не только русские, но и зарубежные. А когда другая сестра — Мария отправляется в Брюссель, шлет поручение и ей: «Насчет газет и книжек, пожалуйста, добывай, что можно. Каталоги присылай всяческие и букинистов и книжных магазинов на всех языках...»

Ему шлют сюда новые книги, журналы, газетные вырезки, сами газеты. Шлют в таком количестве, что всем этим уже заполнены полки, занимающие стену от низу до потолка.

Среди присланного и литература зарубежная. Даже та, которую в обеих столицах получили совсем недавно. «Читаю я сейчас Labriola, Essais sur la conception matérialiste de l'histoire, — сообщает Владимир Ильич сестре Анне. — Чрезвычайно дельная и интересная вещь». Сообщает в декабре 1897 года. Спустя всего лишь несколько месяцев, как в Париже, в издании «Интернациональной социалистической библиотеки», вышел французский перевод этого труда. Ульянов считает его «чрезвычайно умной защитой» марксизма и настоятельно советует перевести на русский язык.

Еще минувшей осенью во «Франкфуртер цайтунг» Владимир Ильич прочел о Штутгартском съезде Германской социал-демократической партии. Узнал, что впервые обсуждался

на нем вопрос о ревизионизме в немецкой социал-демократии. И хоть не было на съезде Эдуарда Бернштейна — лидера ревизионистов, оглашалось присланное им письмо. В котором проповедовал он «узкий», «догматический» марксизм, призывал к «свободе критики», отвергая идею социальной революции, диктатуры пролетариата, сводя классовую борьбу к мелким постепенным реформам.

И вот доходят в Шушенское вести о новой книге этого теоретика реформизма и ревизионизма. Даже «случайные заметки» о ней во «Франкфуртер цайтунг» и в петербургском журнале «Жизнь» настораживают Владимира Ильича. «...Я вполне убедился в том, — пишет он в Вятскую губернию А. Потресову, — что я понимал отрывочные статьи Бернштейна неверно и что он заврался действительно до невозможности... Новые для меня возражения Бернштейна против материалистического понимания истории и проч. (по „Жизни“) поражают своей слабостью».

Тем более важно познакомиться с самой книгой этого, как назовет он его позднее, «геростратовски знаменитого» Бернштейна. Владимир Ильич сообщает родным, что ждет ее «с великим нетерпением». Ведь чем больше кричат о Бернштейне, чем больше «пользуются им разные тупоголовые буржуи и „молодые“ (во всех смыслах) не буржуи, тем необходимее скорее ознакомиться с этим „новейшим“ героем оппортунизма».

Совсем недавно к М. Сильвину, в село Ермаковское, приехала невеста. Она привезла написанное химическим способом письмо Владимиру Ильичу.

Только через две недели удалось доставить эти листки в Шушенское. В письме Анны Ильичичны оказался текст «Credo» — манифеста этих так называемых «молодых» русских социал-демократов, не раз ссылающихся на Бернштейна. Его концепциями стремившихся обосновать свое намерение свернуть российскую социал-демократию с уже намеченного ею пути, не допустить образования самостоятельной политической рабочей партии.

И Владимир Ильич засел за «Анти-кредо» — за то, что войдет в историю как «Протест российских социал-демократов». Он спорил и с Кусковой — автором «Credo», и с теми, кто поддерживал глубоко возмущивший его манифест «экономистов».

Владимир Ильич призвал объявить войну «новым воззрениям» российских бернштейнианцев. Эти воззрения основываются в значительной степени на неверных представлениях о прошлом и современном положении западноевропейского рабочего движения. «Оппортунистические течения, — заявил Владимир Ильич, — не раз обнаруживались в германской социал-демократии и всякий раз были отвер-

гаемы партией, которая верно хранит заветы революционной международной социал-демократии. Мы уверены, что всякие попытки перенести оппортунистические воззрения в Россию встретят столь же решительный отпор со стороны громадного большинства русских социал-демократов».

С написанным «Протестом...» Владимир Ильич отправился в село Ермаковское. Он огласил его собравшимся там политическим ссыльным, и семнадцать подписей скрепило документ, в котором подлинные марксисты дали решительный отпор ревизионизму в рабочем движении, разоблачили «экономизм» как русскую разновидность международного оппортунизма.

А в Шушенское, между тем, завернутая в номер «Московских ведомостей», приходит наконец книга Бернштейна «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии».

Владимир Ильич поражается: как же теоретически слаба эта книга! И мысли в ней повторяются чужие! Одни лишь фразы о критике. А критики-то серьезной, самостоятельной нет даже в помине. Это, вновь приходит к заключению Владимир Ильич, — оппортунизм, безграничный оппортунизм, притом «трусливый оппортунизм, ибо программы Бернштейн прямо трогать не хочет». Как может он утверждать, что многие русские солидарны с ним!

В эти дни на столе Владимира Ильича лежит второй том «Индустриальной демократии» Сиднея и Беатрисы Вебб. Первый он уже перевел с Надеждой Константиновной на русский язык. Перевод второго ему только что прислали. Он его редактирует, а значительную часть вынужден переводить заново. И, прочтя сейчас Бернштейна, убеждается: истоки его идей, его стремлений свернуть рабочее движение на путь оппортунизма — в работах английских реформистов, в программе враждебного марксизму Фабианского общества, отрицающего необходимость классовой борьбы пролетариата, утверждающего, что только мелкими реформами, постепенно следует идти от капитализма к социализму.

Из Шушенского ссыльный Ульянов поддерживает тех, кто развенчивает лидера крайнего оппортунистического крыла германской социал-демократии. Ибо борьба против Бернштейна направлена и против русских «критиков» Маркса, стремящихся к тому же, что и западноевропейские ревизионисты.

Оставив все дела, Владимир Ильич берется за перевод книги К. Каутского «Бернштейн и социал-демократическая программа. Антикритика». Совсем недавно вышла она в Штутгарте, но попала уже в Россию, и несколько дней назад ее прислал ему Потресов. В книге Каутского есть ценные и меткие

мысли о том, какой должна быть критика, если она серьезна, добросовестна. А возражения Бернштейна против материалистического понимания истории, его взгляды на основные тенденции современного экономического развития опровергнуты положениями марксистской теории.

На скорое издание перевода надеяться не приходится. Но с книгой можно, во всяком случае, познакомить ссыльных социал-демократов. Прежде всего тех, кто вместе с ним поставил свою подпись под «Протестом российских социал-демократов». «Перевод книги Каутского, сделанный на обыкновенных ученических тетрадах, исписанных мелким почерком Владимира Ильича, — свидетельствует М. Сильвин, — переходил у нас из рук в руки, путешествуя по всем окрестным колониям, из Минусинска в Тесь, отсюда в Ермаковское, опять в Шушу. Я помню эти тетради уже в сильно потрепанном виде. Мы переписывали их и пересылали в другие, более отдаленные колонии. Случалось, они путешествовали очень далеко».

Но не носят ли возражения Каутского слишком уж академический характер?

И иным тоном разговаривает с «обновителями» марксистской теории Ульянов, Бернштейна и прочих «обновителей» бичует гневно, возмущенно: «...Они не подвинули ни на шаг вперед той науки, которую завещали нам развивать Маркс и Энгельс; они не научили пролетариат никаким новым приемам борьбы; они только пятились назад, перенимая обрывки отсталых теорий и проповедуя пролетариату не теорию борьбы, а теорию уступчивости — уступчивости по отношению к злейшим врагам пролетариата, к правительствам и буржуазным партиям, которые не устают изыскивать новые средства для травли социалистов».

Без борьбы с ревизионистами, убежден Владимир Ильич, немислимо объединение на прочной почве и русских социал-демократов. Она позволит быстрее организовать, укрепить Российскую социал-демократическую рабочую партию.

Бессонными ночами обдумывает Владимир Ильич, как направить дело по нужному руслу. Переписывается об этом с единомышленниками — такими же, как и сам он, ссыльными. Вновь и вновь обращается к накопленному на Западе опыту рабочего и социалистического движения. К его целям, задачам, к тому положительному, что есть в программах международной социал-демократии.

Размышляя о путях создания социал-демократической рабочей партии в России, Владимир Ильич приходит к заключению: «История социализма и демократии в Западной Европе, история русского революционного дви-

жения, опыт нашего рабочего движения, — таков тот *материал*, которым мы должны овладеть, чтобы выработать целесообразную организацию и тактику нашей партии».

С этой целью обращается он и к принятой восемь лет назад в Эрфурте, не раз читанной им программе германской социал-демократии.

«Мы несколько не боимся сказать, — заявляет он, — что мы хотим подражать Эрфуртской программе: в подражании тому, что хорошо, нет ничего дурного, и именно теперь, когда так часто слышишь оппортунистическую и половинчатую критику этой программы, мы считаем своим долгом открыто высказаться за нее». Так как и в России, утверждает Владимир Ильич, «мы видим те же *основные* процессы развития капитализма, те же *основные* задачи социалистов и рабочего класса».

Но он предостерегает: вполне законны и подражание, и заимствование; исключается, однако, простое списывание. Ни в коем случае нельзя забывать об особенностях России!

Зарубежный опыт подтверждает: повсюду важные функции в создании марксистских партий несли рабочие, социалистические газеты. Они способствовали сплочению единомышленников. Способствовали развитию социалистического движения во всех странах Запада. Еще большую роль, уверен Владимир Ильич, суждено печатному партийному органу сыграть в России.

Нет у русской социал-демократии того, что есть, в частности, у рабочих Германии, Франции. Которые, кроме газет, обладают и другими способами публичного проявления своей деятельности, другими способами организации движения. Владимир Ильич перечисляет их: участие в работе парламента и местных общественных учреждений, выборная агитация, народные собрания, профессиональные союзы.

«У нас *заменой* всего этого, но именно *всего* этого, — призывает Владимир Ильич, — должна служить — пока мы не завоевали политической свободы — революционная газета, без которой у нас невозможна *никакая* широкая организация всего рабочего движения»...

Проходит несколько месяцев. Истекает наконец срок ссылки. Ульянов выбирается из сибирской глуши.

Ему запрещается жить в значительной части России. Однако «состоящий под негласным надзором» Ульянов появляется и в тех городах, где быть ему не положено. Тайком встречается с единомышленниками. Договаривается о шифрах, адресах, связях — о том, без чего немислимо ни издание за рубежом, ни тайная доставка через границу, ни распространение не-

легальной общерусской социал-демократической газеты.

Он покидает Россию июльским днем 1900 года...

“...И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАБОЧИМ ДВИЖЕНИЕМ НА ЗАПАДЕ“

Поезд идет в Нюрнберг...

Ульянов побывал уже в Швейцарии, беспокойной в это лето девяти-сотого года. Со стачками текстильщиков, строительных и типографских рабочих. Со свирепствующей полицией, на улице Шалон-Сюр-Сон, неподалеку от Корсье, избившей забастовщиков.

Он вспомнит эти рабочие выступления, когда в феврале девятьсот семнадцатого года будет писать Инессе Арманд о неверии некоторой части швейцарской молодежи в массовое движение. «Хорошо бы Вам пособрать материал о больших стачках в истории рабочего движения французской Швейцарии», — посоветует тогда Владимир Ильич.

Почти месяц провел он на сей раз в Швейцарии. Сперва в Цюрихе. Потом — в Женеве. Жил в деревенской гостинице в шести километрах от города. Оттуда ездил в раскинувшиеся по берегу озера дачные местечки.

Там, подальше от агентов российской политической полиции, осевших, конечно, и в Швейцарии, обсуждал Ульянов с членами группы «Освобождение труда» проект написанного им заявления редакции газеты «Искра» и теоретического журнала «Заря». Обсуждал пути создания «действительно общерусского социал-демократического органа», без чего немислима организация «единой и крепкой партии, ведущей борьбу под знаменем революционной социал-демократической программы...»

Владимир Ильич подтвердил то, о чем уже писал: «По своим воззрениям мы вполне разделяем все основные идеи марксизма...».

И вновь с марксистских позиций осудил «половинчатые, оппортунистические поправки», которые вошли в моду с легкой руки Бернштейна. Заявил, что газета должна уделять значительное место теории, сохраняя неразрывную связь с вопросами, выдвигаемыми жизнью, с внутренней и международной политикой. Указал на задачу первостепенной важности: «Само собой разумеется, что в неразрывной связи с вопросами общей теории должно стоять и ознакомление с рабочим движением на Западе, его историей и его современным состоянием».

Где обосноваться редакции?

Еще до того как покинуть Россию, Владимир Ильич обратился за содействием к А. Калмыковой, книжный

склад которой в Петербурге служит социал-демократам весьма удобной явкой. «Я должна была, — вспомнит та, — ехать раньше, повидаться с главариами социал-демократической партии, Бебелем и др. Передать им деньги и спросить, куда направляется Владимиру Ильичу для жительства, так как пребывание в Пруссии было невозможно. Ими указана была Бавария».

Так и решили с членами группы «Освобождение труда»: обносится редакция в Мюнхене. В тихом, сытом баварском городе, знаменитом отменным пивом и столь же отменными соисками, картинными галереями, художественными выставками, Мариенплацем со статуей Девы Марии. В городе, где множество русских студентов, но нет политических эмигрантов из России. Где меньше шансов напороться на агента русской охранки и проще укрыться от немецкой полиции.

Из шести редакторов «Искры» в Мюнхен отправляется, однако, один лишь Ульянов. Плеханов по-прежнему будет жить в Женеве. Аксельрод не расстается с Цюрихом. В России еще Мартов. Задерживаются Засулич, Потресов...

Отныне Ульянов — уже не Ульянов. Он — герр Мейер. И под этим именем, прежде чем появиться в Мюнхене, выезжает в Нюрнберг. Тут предстоит встреча с Адольфом Брауном, одним из руководителей германской социал-демократии, в течение ряда лет — фактическим руководителем «Форвертс».

Еще в 1895 году познакомился с ним в Берлине Владимир Ильич. Но многое изменилось с той поры у Брауна. Высланный из Пруссии, живет он теперь в Нюрнберге нелегально, без прописки. Поэтому, встречаясь с ним, соблюдает сейчас Ульянов строжайшую конспирацию.

С Брауном советуется Владимир Ильич, где лучше делать тайный набор, где печатать газету. Ведь немалый в том у немцев опыт. «...У русских социал-демократов того времени, — скажет позднее Крупская, — перед глазами был пример германской социал-демократии, которая во время исключительных законов против социал-демократии организовала свой нелегальный орган в Швейцарии и сумела наладить прекрасную доставку его в Германию...»

Но о встрече с Брауном не должны пронюхать ни немецкая полиция, ни российская охранка. И кружным путем уходит из Нюрнберга письмо в Подольск. Пишет Владимир Ильич матери о своей поездке в Париж, хотя там не был. О том, что ездил якобы кататься на Рейн. Что «проводит время недурно», умалчивая, разумеется,

что находится в Нюрнберге по делам создаваемой газеты.

Здесь перерабатывает Владимир Ильич написанный им ранее проект заявления об издании «Искры». Пройдет некоторое время, и его отпечатают отдельным листком, перебросят в Россию. Уже не «знаменитым своим банкротством», а «экс-марксистом или вернее экс-социалистом» называет Владимир Ильич Бернштейна в этом первом программном искровском документе. Бывшим марксистом! Бывшим социалистом! Еще резче выступает против всяческого «шатанья мысли», против увлечения «модной „критикой марксизма“ и „бернштейниадой“», против «взглядов так называемого „экономического“ направления» — всего того, что призвано задержать социал-демократическое рабочее движение на его низшей стадии. «Прежде, чем объединиться, и для того, чтобы объединиться, — заявляет в связи с этим Владимир Ильич, — мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Иначе наше объединение было бы лишь фикцией, прикрывающей существующий разброд и мешающей его радикальному устранению»...

Снова в пути Владимир Ильич.

На сей раз он выходит в Праге. С чешскими социал-демократами он надеется договориться о «транзитном» адресе для почты от агентов «Искры» в России.

В редакции «Право лиду» ему называют того, кто ему нужен. И во Вршовицах, на углу Колларовой и Нерудовой улиц, Владимир Ильич отыскивает громадный дом. Подымается на четвертый этаж. Переступает порог крошечной квартиры с окнами во двор. Тут живет Франтишек Модрачек, работающий в Кооперативном издательстве социал-демократической партии.

Владимир Ильич излагает свою просьбу.

— Я согласился, — расскажет Модрачек, — так как счел это поручением нашей социал-демократической партии: раз там дали ему мой адрес, значит тем самым поручили мне оказать ему помощь. Он хотел, чтобы в России все думали, будто он живет у меня. Ко мне будут приходиться для него из России пакеты с книгами и различные письма, а я должен буду пересылать их дальше, на запад... Он сам дал мне адрес. Даже два... Мы договорились, что Мейер тоже будет время от времени присылать мне свои письма в Россию, а я должен относить их на почту в Праге, чтобы царская полиция думала, будто он и в самом деле здесь постоянно живет...

Проходит некоторое время, и Владимир Ильич сообщает сестре в Москву: «Повторяю на всякий случай

свой адрес. Herrn Franz Modrácés, Smécky, 27. Prag. Oesterreich. Австрия».

Не в Праге, однако, сейчас Владимир Ильич. Живет он уже в Мюнхене, в старом доме на Кайзерштрассе. Снимает плохонькую комнату у того самого Георга Риттмейера, владельца трактира — социал-демократа, адрес которого оставил Модрачеку. И через чешского товарища идет сюда к нему обширная корреспонденция. Так же, как пойдет позднее через другие «транзитные» пункты: в Нюрнберге, на Новой улице, где проживает владелец табачного магазина Филипп Регнер; в Льеже, где тоже есть верные друзья; через Розу Беекен из Гамбурга, экспедитора книжного магазина «Форвертс» в Берлине Ф. Пецеля, немецкого живописца Ф. Цунделя, предоставившего в распоряжение «Искры» и берлинский, и штутгартский свои адреса...

Герр Мейер — так, мы знаем, зовут Ульянова в Мюнхене — принимает строжайшие меры конспирации: нельзя раскрыть ни себя, ни дело, ради которого он тут.

В Цюрих он сообщает:

«Вот лучший адрес:

Herrn Dr. Med. Carl Lehmann,
Gabelsbergerstraße 20 a.
München.

Внутри, на втором конверте: для Петрова».

Петров — один из псевдонимов Владимира Ильича.

В этот же день шлет он письмо и в Лондон. Но находящегося там агента «Искры» ставит в известность:

«Отвечайте по адресу:

Herrn Philipp Rögner, Cigarrenhandlung, Neue Gasse, Nürnberg.

В 2-х конвертах, на втором: для Петрова».

Лишь несколько человек знают в Мюнхене, чем на самом деле занимается постоялец трактирщика с Кайзерштрассе.

Один из них — Юлиан Мархлевский. Еще два года назад он редактировал в Дрездене газету «Зексисше арбейтер цайтунг». Его оттуда выслали. И поселился тогда Мархлевский в Мюнхене. Здесь, на Кайзерштрассе, почти рядом с трактиром Риттмейера, соблюдая конспирацию, — ведь и за Мархлевским наблюдает баварская полиция! — отыскал Владимир Ильич этого революционера и публициста, блестящего экономиста и великолепного знатока живописи.

С первой их встречи Мархлевский — деятельный помощник газеты русских марксистов. Он использует для «Искры» давние свои связи с руководителями немецких социал-демократов, знакомства в журналистских и издательских кругах, наконец свое знание Мюнхена.

В доме на другой улице — Габельс-

бергерштрассе — Владимир Ильич встречается с практикующим врачом Карлом Леманом — членом местной организации германских социал-демократов. Тот женат на русской. Не так давно побывал на родине жены. И написал после этого книгу «Голодающая Россия» — о том, что предстало перед ним в голодных районах царской империи.

Адрес Лемана Владимир Ильич знал еще до приезда в Мюнхен. Сообщил товарищам в Россию. Наряду с адресом Риттмейера оставил в Праге Модрачеку. И на имя доктора Лемана, в квартиру на втором этаже дома № 20-а по Габельсбергерштрассе, идут уже пакеты из разных русских городов, из Женевы, Цюриха, Берлина, Лондона, Парижа. Внутри — второй конверт. На нем пометка: «Для Петрова» или «Für Meyer». В конвертах — статьи, корреспонденции для «Искры».

Эти статьи и заметки — из Петербурга и Москвы, Харькова и Екатеринослава, Нижнего Новгорода, Одессы, Николаева. Этот «материал корреспондентский» предназначается для первого номера «Искры». Но нет до сих пор иностранной хроники. Без нее газета не может выйти. «...Пришлите поэтому тотчас, — пишет Владимир Ильич Аксельроду, — что есть и что можно. Буду ждать с нетерпением...»

Задерживаются и некоторые другие «иностранные» материалы. А они должны осветить современное положение в социал-демократии Запада. «Выходит недоразумение с темой о парижских конгрессах», — встревожен Владимир Ильич, имея в виду только что прошедшие в Париже международный конгресс II Интернационала, конгресс французской социалистической партии.

А как быть со статьей о Вильгельме Либкнехте? В «Искре» надо обязательно отдать должное скончавшемуся недавно замечательному немецкому социал-демократу. Но разве не знал Аксельрод, что предназначена его статья для газеты?! Владимир Ильич вынужден взяться за сокращение написанного. Оставляя главное. Отметая второстепенное.

Давно уже обдумал Владимир Ильич то, что пойдет на открытие номера. В передовой Владимир Ильич опровергнет «доводы» сторонников экономической борьбы, разъезжающих сейчас по городам Западной Европы, утверждающих повсюду, что борьба между различными направлениями ведет якобы лишь к разрушению единства. Она направлена будет против тех, кто пытается возвести свою узость в особую теорию, использующих для этого модную бернштейниану, модную «критику марксизма».

Со страниц «Искры» обратится Владимир Ильич к опыту рабочего и социал-демократического движения на

Западе. Во всех странах, напомним он, был период, когда эти движения существовали отдельно друг от друга, когда каждое из них шло особой дорогой. Подобная оторванность рабочего движения от социал-демократии ослабляла и тех и других. «Во всех странах, — заявил Владимир Ильич, — только соединение социализма с рабочим движением создавало прочную основу и для того и для другого. Но в каждой стране это соединение социализма с рабочим движением вырабатывалось исторически, вырабатывалось особым путем, в зависимости от условий места и времени».

Эти строки, как и всю статью «Насущные задачи нашего движения», можно прочесть пока еще только в рукописи. Она лежит на столе Владимира Ильича вместе с другими готовыми к набору материалами.

Набирать же в Мюнхене негде. Нет здесь русского шрифта. Отыскался он лишь в Лейпциге — полиграфическом центре Германии, где книги выходят на многих языках.

Немецкие товарищи предлагают воспользоваться крошечной типографией в Пробстхайде, на Руссенштрассе. Принадлежит она социал-демократу Герману Рау. И печатается там «Арбейтер турн цайтунг» — рабочая спортивная газета.

В строжайшей тайне набирается здесь первый номер «Искры». Чтобы «рассовать разные мелочи», так как «здорово общитались в тысячах букв» и приходится выкинуть многое, в Лейпциг на несколько дней приезжает Владимир Ильич. В укромном уголке типографии при свете керосиновой лампы вновь перечитывает он присланные ранее статьи, корреспонденции.

Как и намечал Владимир Ильич, откроет «Иностранное обозрение» обширная статья «Итоги международной социал-демократии». Она познакомит русского читателя и с историей, и с современным состоянием международного рабочего движения. Расскажет, чего достигла уже социал-демократия Англии, Германии, Франции, других западных стран. С какими очередными задачами вступает в новое столетие, какими силами, средствами располагает для их решения...

Итак, в Лейпциге кончают набирать первый номер «Искры». А в Штутгарте немецкие типографчики взялись уже за другое русское марксистское издание, тоже обговоренное Владимиром Ильичем на встречах в Швейцарии, — за научно-политический журнал «Заря».

Еще в октябре он сообщил Аксельроду: «Дитц взялся нам издавать журнал». В молодости набравший в Петербурге «Современник» и познакомившийся там с Чернышевским, Иоганн Дитц возглавляет сейчас изда-

тельство германских социал-демократов. Он — один из совладельцев крупной штутгартской типографии. Ему принадлежит большой книжный магазин, на полках которого — книги Маркса, Энгельса.

С нескрываемой симпатией относится Дитц к русским товарищам. Старается помочь им всем, чем может. И не только своей типографией, где будет печататься «Заря». Его адрес — Штутгарт, Фуртбахштрассе, 12, — теперь в распоряжении редакции «Искры». Она оповестит читателей в одном из номеров:

«Редакция „Зари“ будет всегда немедленно пересылать нам все, получаемое ею для „Искры“».

Убедительно просим всех, пользующихся этим адресом, на внешнем конверте писать только адрес Дитца; указание же о передаче (для ред. „Зари“) должно делаться на внутреннем конверте».

Когда через много лет Владимир Ильич из Поронина поздравит Иоганна Дитца с семидесятилетием, он заверит ветерана немецкой социал-демократии, что Российская социал-демократическая рабочая партия не забыла его братскую помощь в годы «Искры» и «Зари»...

„УСТАНОВИТЬ БОЛЕЕ ТЕСНЫЕ СВЯЗИ...“

Глубокой тайной окружил Герман Рау набор и печатание «Искры». Русские товарищи предупредили: немецкая полиция тесно связана с российской охранкой, только строжайшая конспирация способна обеспечить делу успех.

И все же...

Когда печатался первый номер, в типографию забежал ученик из соседней парикмахерской. Без спроса прошел за перегородку, где стояла печатная машина, а рядом на полу лежала пахнущая краской стопка газет.

— Что вы печатаете? — поразился он. — Это даже прочесть нельзя!

— Ну, конечно, нельзя, — подтвердил Рау. — Это греческий текст...

Мелкий как будто инцидент. Но ведь мальчишка может разболтать. А он, Рау, скрыл русский заказ даже от Макса Пуршвица — члена комиссии по делам печати местной организации социал-демократической партии. И рассказал об «Искре», лишь когда Пуршвиц извлек из наборной кассы русские литеры.

Все те дни, что печаталась газета, не выходил мальчишка из головы Рау. Не оставляет его тревога и сейчас, когда занят он отправкой готового тиража.

Еще мало у редакции «Искры» собственных транспортных путей. Мало пока и подпольных складов литературы. И здесь, за кордоном, и в самой

России. Поэтому особенно ценна помощь лейпцигских социал-демократов. Прежде всего — самого Рау.

Нелегальная пересылка русской газеты, знает он, — дело сложное, опасное. Доверили его только очень верным людям. «Газета, — узнаем мы от Пуршвица, — рассылалась по почте в пакетах, причем каждый пакет отправлялся через другое почтовое отделение и ни в коем случае не из Пробстхайда. Все пакеты шли по разным иностранным адресам...»

Но как ни был осторожен Рау, вызвал он все же, по всей вероятности, подозрение у полиции.

Пришлось через Юлиана Мархлевского перебраться в Мюнхен. Туда же, где обосновалась редакция «Искры».

Владимира Ильича знакомят с Максимумом Эрнстом — владельцем типографии на Зенефельдерштрассе, напротив главного вокзала Мюнхена. Эрнст — тоже социал-демократ. Он берется раздобыть шрифт для «Искры». Готов печатать для русских газету. И, кроме него, будут знать о том лишь трое — коммерческий директор типографии Рихард Этцольд, технический директор Краус и, разумеется, наборщик — Гросс. В целях конспирации записи о наборе и печатании «Искры» не будут заноситься даже в бухгалтерские книги.

В типографии на Зенефельдерштрассе отвели стол и «для герра Мейера». Часами просиживает он тут над длинными полосками корректуры. Сам тщательно вычитывает. Снова правит уже набранные статьи, корреспонденции. Они идут в Мюнхен отовсюду. И на рукописях Владимир Ильич делает пометки: «9/III.01 из Парижа», «Получено 11/III из Берлина», «Получено 23.III.01 из Парижа», «27.III.01 из Берлина», «Получено 28.III.01 из Англии», «Получено 1.IV из Лондона»...

Но откуда бы ни приходили эти статьи, корреспонденции, — отправлены они из России. И сообщают агенты «Искры» о студенческих волнениях в Петербурге, Москве, Харькове, Казани; о расправе в столице у Казанского собора с теми, кто выступил против произвола царского самодержавия; об убитых, раненых и арестованных участниках новой, совместной демонстрации петербургских студентов и рабочих...

Озабочен, однако, Владимир Ильич тем, чтобы шли в редакцию «Искры» материалы не только о положении в России. Чтобы поступали статьи и о социалистическом, рабочем движении Западной Европы, о борьбе между революционным и оппортунистическим направлениями в социал-демократии Германии, Франции, других стран.

Он шлет письмо в Стокгольм, пред-

седателю социал-демократической партии Швеции К. Брантингу:

«Мы придаем очень большое значение тому, чтобы ознакомить русских вообще, и русских рабочих в особенности, с политическим положением в Финляндии и угнетением Финляндии, равно как и с упорной борьбой финнов против деспотизма. Мы были бы поэтому весьма Вам благодарны, если бы Вы передали всем знакомым Вам финским товарищам нашу настоятельную просьбу поддержать нас в этом деле».

Ответ Брантинга малоутешителен. Крупская сообщает в Берлин Вечеслову: «Брантинг писали, он ответил, что сейчас не может сказать ничего положительного, т. к. по почте при теперешних условиях в Финляндии писать не решается, а из финляндцев он никого не видал...».

Но Брантингом не исчерпываются предпринимаемые Владимиром Ильичем шаги.

Он высоко ценит блестящую публицистику Розы Люксембург, за выступлениями которой против бернштейнцев следит давно. Еще с ссылки, где познакомился с брошюрой Люксембург «Социальная реформа или революция?», развенчивающей ревизионизм и реформизм, отстаивающей марксистское учение о революции. Где намерен был писать о другой ее работе «Промышленное развитие Польши».

Чтобы познакомиться с Люксембург, когда та приезжает в Мюнхен, Владимир Ильич отправляется на Унгерштрассе, к Парвусу, давно эмигрировавшему из России и работающему в Германской социал-демократической партии. И, видимо, после беседы с нею сообщает Аксельроду: «...обещана статья Люксембург (новое введение к ее статьям „Die sozialistische Krise in Frankreich“...!)...».

Обещал «статейку об академиках и пролетариях» и Карл Каутский. Личное знакомство с ним еще впереди.

Всего этого, однако, крайне мало! «Как стоит дело с „австрийской“ статьей? — запрашивает Владимир Ильич Аксельрода. — Не дадут ли чего-либо из Америки? — из Швейцарии?.. О Германии некого попросить писать — разве Парвуса, которым обещано (?) иностранное обозрение, но это не то».

Владимир Ильич бьет тревогу: «Иностранных обзоров нет». Братъся ему за них самому? Но он и без того очень загружен «Я временами изнемогаю», — писал уже как-то в Цюрих Владимир Ильич. Сообщал и в Лондон: «...завален кучей мелких хлопот». Другие же члены редколлегии, хоть вся тяжесть редакционных

¹ «Социалистический кризис во Франции».

забот лежит главным образом на нем, затягивают присылку необходимого материала. Потому-то во втором номере «Искры» в «Иностранном обозрении», увы, — одно лишь окончание «Итогов международной социал-демократии». Без «Иностранного обозрения» вынужден выпустить Владимир Ильич следующий, третий номер.

Еще до того как начинают поступать материалы о положении в социал-демократии Запада, из разных стран приходят отклики на волну освободительного движения в России. Они позволяют сообщить читателям «Искры», что «возмущение образом действий русского правительства по отношению к студентам и радостное изумление по поводу смелого выступления русских рабочих на путь политической борьбы охватили революционный пролетариат и либеральную интеллигенцию в Западной Европе». Что почти во всех странах профессора учебных заведений и студенты протестуют против бесчинств царских властей. Что повсюду на многочисленных собраниях рабочие и студенты выражают свою солидарность «с ведущейся в России борьбой».

Это сообщение публикуется в четвертом номере «Искры», открываемом статьей Владимира Ильича «С чего начать?». В статье идет речь о создании революционной марксистской партии, о системе и плане практической деятельности русских социал-демократов, о борьбе против «прискорбной неустойчивости и шатания мысли», особенно вредных в условиях нарастающего революционного движения.

Как важно, чтобы узнали сейчас в России — здесь, на Западе, протестуют против расправы царских властей с русскими борцами за свободу: в Австрии, Бельгии, Швейцарии, Франции, Швеции по призыву секретариата II Интернационала проходят многочисленные собрания, на которых ораторы приветствуют манифестации в Петербурге, Москве, Харькове, Киеве; участники этих собраний заявляют: «Долой русский царизм! Да здравствует русское революционное движение!»...

Совсем недавно, теплым весенним утром, в Мюнхен приехала Надежда Константиновна. Ульяновы сняли уже другую комнату — на Шляйсхаймерштрассе, в многодетной семье плотника — социал-демократа. Не Мейером — болгаринором Иордановым назвался тут Владимир Ильич. В его новый паспорт, который раздобыли друзья, вписана супруга Марица.

Среди друзей Владимира Ильича — болгарские социалисты. Они вошли в группу содействия «Искре». И, по-видимому, не одному Ульянову достали уже надежный паспорт. Владимир Ильич сообщал из Мюнхена в Лондон, агенту «Искры» В. Ногину: «Если хо-

тите, могу достать Вам болгарский паспорт. Напишите, нужен ли, и если да — приметы».

О паспорте — и именно болгарском — поведет речь и В. Носков — один из организаторов Северного рабочего союза. «У меня к Вам просьба, — обратится тот позднее к Владимиру Ильичу. — Не можете ли написать т. Бакалову. Можно на редакцию болгарского социал-демократического журнала, в котором он участвует, — не придет ли он мне паспорт».

Георги Бакалов — активнейший деятель «Ново време» — того самого теоретического журнала ЦК Болгарской рабочей социал-демократической партии, который имеет в виду Носков. Он не только помогает переправлять через Варну в Россию «Искру», но и знакомит с нею соотечественников. «Она раскрывает перед изумленным нашим взором борьбу современной нам эпохи, — напишет позднее Бакалов об «Искре». — Ледовое северное царство тает, там уже наступает весна. Страшные волны возмужавшего русского пролетариата яростно бьют царскую твердыню. Каждый номер «Искры» сообщает нам о новых и новых событиях, предвещающих грядущую победу... Каждый, кто читает по-русски, пусть позаботится регулярно читать „Искру“...»

Итак, Ульяновы теперь — «супруги Иордановы».

Недолго проживают они на Шляйсхаймерштрассе. Оттуда перебираются в предместье города — Швабинг. Поселяются в только что отстроенном доме на тихой Зигфридштрассе.

Нелегкий труд секретаря редакции взяла на себя Надежда Константиновна. Она избавила Владимира Ильича от множества организационных дел. Стала его помощником в переписке с корреспондентами «Искры», с социал-демократическими организациями в России и с теми, кто, как и Ульяновы, вынужден жить в эмиграции. Весной 1920 года в своей книге «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме» Владимир Ильич напишет:

«Благодаря вынужденной царизмом эмигрантщине революционная Россия обладала во второй половине XIX века таким богатством интернациональных связей, такой превосходной осведомленностью насчет всемирных форм и теорий революционного движения, как ни одна страна в мире».

„БОРЬБЫ С ТЕМИ, КТО ПОВОРАЧИВАЕТ К БОЛОТУ!“

Нередко в эти летние дни гуляют Ульяновы чудесной, обсаженной тополями дорогой. И Владимир Ильич, по обыкновению, рассказывает Надежде Константиновне о том, что пишет, о чем думает.

Пишет же сейчас Владимир Ильич статью «Гг. „критики“ в аграрном вопросе». Он намерен дать в ней решительный отпор ревизионистским наскокам на марксову теорию поземельной ренты, на «критику» марксистского понимания законов развития капиталистического сельского хозяйства. Но нет в Мюнхене многих нужных ему книг. «Мне очень нужно бы Liebknecht: „Zur Grund-und Bodenfrage“, которую я не нашел здесь... — пишет он в Женева Плеханову. — Если есть у Вас, пришлите, пожалуйста, ненадолго». А через несколько дней о том же запрашивает Аксельрода: «Нет ли у Вас книги Liebknecht'a „Zur Grund-und Bodenfrage“ (Leipzig, 1876)? Или у кого-либо из цюрихских геноссов? Мне она очень нужна для статьи...». И в этом же письме в Цюрих: нет ли у самого Аксельрода или у Грейлиха — одного из лидеров швейцарской социал-демократии протоколов конгрессов I Интернационала или «Форботе» — журнала его немецких секций, где были, кажется, точные отчеты? И еще одна просьба — в самом конце письма: «...нужна брошюра: W. Wolff. „Die schlesische Milliarde“...» В ней — серия статей, опубликованных в марте-апреле 1849 года в газете «Нейе Рейнише цайтунг» и почти через сорок лет изданных с введением Энгельса.

На просьбы откликаются в Женеве, Цюрихе, Лондоне, Берлине. «Получил вчера книги по аграрному вопросу», — сообщает вскоре Владимир Ильич. Не забывает упомянуть о том и в других своих письмах: «Получил от Вас „Либкнехта“ и „Vorbote“. Большое, большое спасибо!»; «Получил... новые книги („Final Report“, Blondel et Vanderveelde et Destrée), за которые очень благодарю»...

Все более «погружается» Владимир Ильич в «аграрную» свою статью. Направлена она «против Чернова (отчасти Герца и Булакова)» — не только против русских, но и немецких ревизионистов, подвергающих «критике» революционное учение Маркса, утверждающих, что марксистская теория неприемлима будто бы к сельскому хозяйству.

«Вот уже много лет, — пишет Владимир Ильич, — ученые и учейшие люди Европы важно заявляют (а газетчики и журналисты повторяют и пересказывают), что марксизм уже сбит с позиции „критикой“, — и тем не менее каждый новый критик опять сначала начинает трудиться над обстреливанием этой, якобы уже разрушенной, позиции». Он обрушивается против тех, кто «с необычайной хлесткостью и развязностью истинного наездника» фальсифицирует марксизм. Кто повторяет обветшалые доводы реакционных буржуазных экономистов.

По многу часов не встает из-за сто-

ла Владимир Ильич. Делает выписки из толстенных томов и брошюр, громоздящихся на подоконнике, стульях.

Из книг и журналов, отыскавшихся в мюнхенских библиотеках, присылаемых ему из Женевы, Цюриха, Лондона, Берлина, извлекает Владимир Ильич множество данных о состоянии сельского хозяйства в России, Германии, Франции, Англии, Дании. Он подвергает их глубокому анализу. Делает расчеты, критические заметки и доказывает: в сельском хозяйстве действуют открытые Марксом экономические закономерности капитализма; и в нем совершается процесс капиталистического развития; и сельскому хозяйству присущи все противоречия этого развития.

Он работает над статьей все лето. «...Я совсем застрял с аграрным вопросом», — сообщает 30 августа. «Я сижу довольно усердно за своей „аграрной“ статьей, которая разрастается ужасно», — пишет 18 сентября. Но вскоре завершает ее. Отправляет рукопись Дитцу, для № 2—3 «Зари».

Уже первый номер журнала способствовал тому, чтобы не «ложное», а истинное складывалось на Западе представление о революционной борьбе российских пролетарских масс. И Димитр Благоев писал Георгию Бакалову, что с восхищением читал «Зарю», что живет он с надеждой на революцию в России.

В Штутгарте новую книжку «Зари» кончают брошюровать в конце декабря. В ее оглавлении впервые никому еще почти не известное имя — Н. Ленин. Этим псевдонимом — отныне главным своим псевдонимом — подписывает Владимир Ильич статью «Гг. „критики“ в аграрном вопросе», которая станет позднее частью большей его работы «Аграрный вопрос и „критики Маркса“». Направлена она и против русских «экономистов», и против «теоретиков» ревизионизма в западной социал-демократии.

В этой книжке «Зари» — пространное «Внутреннее обозрение». Стоит под ним подпись — Т. Х. Но и обозрение писал Владимир Ильич, высказав в нем мысли, связанные с будущей боевой революционной партией российского пролетариата. Чтобы она выполнила свою роль передового борца за свободу, заявляет Владимир Ильич, она должна воспринять «не только непреклонно революционную теорию, выработанную вековым развитием европейской мысли, но и революционную энергию и революционный опыт, завещанные нам нашими западноевропейскими и русскими предшественниками». И не перенимать всяческие фермы оппортунизма.

Еще в начале ноября, сообщая Плеханову, что «№ 2—3 „Зари“ готов, и дело только за печатанием», упомянул Владимир Ильич: статья об оче-

редном, Любекском, съезде германских социал-демократов тоже уже написана. Очень важно было быстрее высказаться о позиции, занятой на этом партийтаге теми, кто не на деле, а лишь на словах был противником оппортунизма. Важно хотя бы потому, что его решения превратно истолковывались деятелями из «Союза русских социал-демократов за границей», где взяли перевес оппортунистические элементы.

«Искра» уже писала о съезде в Любеке, остановившись главным образом на его позиции в отношении Бернштейна, четвертый год ведущего борьбу за превращение революционной партии в «партию социальных реформ».

«Заря», как и «Искра», обвинила руководство германских социал-демократов в том, что не проявило оно решимости полностью отмежеваться от ревизионистов. Что центральный орган партии «Форвертс», после смерти В. Либкнехта изменивший свое отношение к Бернштейну, не считал нужным высказаться по поводу скандальных «откровений» Бернштейна, стремящегося внести разлад в ряды борющегося пролетариата.

Журнал разоблачает махинации Б. Кричевского — парижского корреспондента газеты. Некогда примыкавший к группе «Освобождение труда», тот стал в конце девяностых годов одним из руководителей «Союза русских социал-демократов за границей», возглавил журнал «Рабочее дело» — заграничный центр «экономистов», пропагандирующий бернштейнианские взгляды. И вот этот, по оценке «Искры», «испытанный оппортунист» на страницах немецкой газеты обливает помоями тех, кто выступает во Франции против ложной социалистической политики компромиссов, за подлинно революционную, подлинно классовую политику социалистической партии.

«Форвертс» вступает за своего французского корреспондента. Начисто отвергает обвинения «Зари».

Разгорается полемика. В нее втягиваются все новые лица: К. Цеткин в Берлинском рабочем собрании выступает в защиту русского журнала; Парвус, пока еще примыкающий к левому крылу социал-демократической партии Германии, публикует статью «Мильеран и „Vorwärts“». К характеристике психологии оппортунизма; правоту «Зари» подтверждает орган французской рабочей партии «Сосьялист».

Владимир Ильич — в центре страстного, непримиримого спора. И поскольку принимает полемика по вине «Форвертс» неблагоприятные формы, поручает Г. Лейтейзену — руководителю Парижской группы содействия «Искре»:

«Г. В.¹ говорит, что в парижской колонии *уторно утверждали*, что онный Борис Кричевский получил *благодарственное* письмо от Мильерана (за его корреспонденции в „Vorwärts“) и что он будто бы даже *хвалился* в свое время этим. Так вот, раз теперь загорелась полемика между „Vorwärts“ и „Зарей“ и вопрос поставлен решительно, необходимо *немедленно приложить все усилия*, чтобы произвести *строжайшее* (с „пристрастием“) расследование этого дела. Возьмитесь, пожалуйста, тотчас же за эту задачу. Соберите показания всех свидетелей как тех, которые видели что-либо, так и тех, которые что-либо *слышали* об этом, и, собрав, напишите нам письмо с перечислением всех этих свидетелей и их показаний...

Итак, орудуйте! Всю энергию!»

Письмо уходит в Париж в марте 1902 года, сразу же после выхода восемнадцатого номера «Искры». Владимир Ильич заверстал в него обширную статью о полемике между «Зарей» и редакцией «Форвертс». На сей раз уже «Искра» обрушивается на тех, кто расточает похвалы «социалистическому министру», сотрудничающему в правительстве с палачом Парижской коммюны генералом Галифе. Уже «Искра» выступает с опровержением «брани» центрального органа германской социал-демократии, против «очевидного нежелания „Vorwärts“ дать возможность рядовым членам своей партии убедиться в справедливости обвинений русского журнала...

В разгар полемики между «Форвертс» и «Зарей» Владимир Ильич завершает работу над новой книгой.

Он упоминал о ней еще в мае 1901 года в статье «С чего начать?»

И вот лежит уже на его рабочем столе внушительная стопка исписанных бисерным почерком листов — готовая к отправки в Штутгарт, все тому же Иоганну Дитцу, рукопись книги «Что делать?» В ее подзаголовке вынесено — «Насущные вопросы нашего движения». Сама же книга — подробный аргументированный ответ на них.

Она — о путях и методах создания боевой революционной марксистской партии русского рабочего класса. О партии как политическом вожде пролетариата. И об уроках международного рабочего движения, о накопленном уже опыте в Англии, Германии, Франции, других странах, о необходимости «критически относиться к этому опыту и самостоятельно проверять его».

Только что законченная книга — и о величайшем значении для рабочего движения, для деятельности революционной марксистской партии теории научного социализма. Она —

¹ Г. В. Плеханов.

об одном из «насушных вопросов» движения — том самом, который вызвал спор с «Форвертс», — борьбе международной революционной социал-демократии с оппортунизмом.

Владимир Ильич вскрывает корни этого «социалистического оппортунизма». Показывает, в чем суть «нового» направления, подвергающего «критике» марксизм. Направления, о котором «с достаточной определенностью» высказался Бернштейн, которое продемонстрировал Мильеран.

Не раз уже писал Владимир Ильич о стремлении бернштейнианцев превратить социал-демократию из партии социальной революции в демократическую партию социальных реформ. И сейчас снова громит Бернштейна. Развенчивает то, что не один уже год утверждается с политической трибуны, с университетской кафедры, в брошюрах, трактатах: что капиталистические противоречия вовсе якобы не обостряются; что несостоятельна сама идея диктатуры пролетариата; что к строго демократическому обществу неприменима история классовый борьбы...

Владимир Ильич срывает покровы с «теоретической критики» Бернштейна. С его «политических воззрений», подхваченных французскими социалистами. Уже не теоретизирующих, а действующих, перешедших к «практическому бернштейнианству».

Он заявляет:

«Мильеран дал прекрасный образец этого практического бернштейнианства... В самом деле: если социал-демократия в сущности есть просто партия реформ и должна иметь смелость открыто признать это, — тогда социалист не только вправе вступить в буржуазное министерство, но должен даже всегда стремиться к этому. Если демократия в сущности означает уничтожение классового господства, — то отчего же социалистическому министру не пленять весь буржуазный мир речами о сотрудничестве классов?»

Не по блестящему мундиру и пышным фразам, не по эффектной кличке, которую дали себе оппортунисты в социал-демократии, призывает судить о них Владимир Ильич. Оценивать их следует, настаивает он, по тому, как они поступают, что они пропагандируют. И тогда станет ясно, что перевозимая ими «свобода критики» сводится лишь к тому, чтобы беспрепятственно внедрять в социализм и буржуазные идеи и буржуазных элементов.

С гневным сарказмом обращается Владимир Ильич к поборникам подобной «свободы»:

«О да, господа, вы свободны не только звать, но и идти куда вам угодно, хотя бы в болото; мы находим даже, что ваше настоящее место именно в болоте, и мы готовы оказать вам

посильное содействие к *вашему* переселению туда. Но только оставьте тогда наши руки, не хватйтесь за нас и не пачкайте великого слова свобода, потому что мы ведь тоже „свободны“ идти, куда мы хотим, свободны бороться не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту!»

В конце января рукопись уже в типографии. «Брошюра моя набирается», — сообщает Плеханову Владимир Ильич. Остается дописать предисловие. Чтобы разъяснить читателю, почему он не ограничивается одним лишь разбором тех вопросов, которым посвятил книгу, а вынужден обратиться к вопросу и более общему — к пресловутой «свободе критики», вступить в полемику с «экономистами» — бернштейнианцами на русской почве.

И Владимир Ильич разъясняет в предисловии: разброд и шатания, составившие «отличительную черту целого периода в истории русской социал-демократии», являющейся частью международного социал-демократического движения, — главная тому причина. «Мы не можем, — заявляет он, — идти вперед, если мы окончательно не ликвидируем этого периода».

Значит, по-прежнему борьба — бескомпромиссная, непримиримая...

„ЧТОБЫ ОГОНЬКИ МОГЛИ РАЗГОРЕТЬСЯ В ПЛАМЯ!“

Многими путями идет в Россию «Искра». А Владимир Ильич изыскивает все новые и новые. «...Весь гвоздь нашего дела теперь, — пишет он, — перевозка, перевозка и перевозка. Кто хочет нам помочь, пусть *всецело* наляжет на это». И находит поддержку — социал-демократы Германии, Польши, Румынии, Болгарии, Финляндии переправляют «Искру» через границу, к агентам газеты, транспортируют ее в разные места империи.

О том — в письмах, уходящих из Мюнхена... В письмах редакции «Искры», Владимира Ильича, Крупской...

В *Берлине*. «С товарищем не успели вчера послать вам посылку, отправим ее в Румынию сами, а для Персии 4 кило пришлем еще на днях с оказией. Итак, в Персию вам придется послать 1) „Искру“, 2) „Зарю“... В Румынию же (предполагая, что „Искру“ уже вы отправили) пошлите „Зарю“ дня через 3 (если получите) и тогда же сообщите...»

В *Выборге*. «В Швеции у нас есть связи. Нам нужен человек, который ездил бы в Стокгольм и брал оттуда чемоданы. Не возьметесь ли за это, мы посылали бы Вам денег на поездки и пособие на прожитие, или, может, удобно для этой цели было бы поступить помощником машиниста или кем-

нибудь в этом роде на пароход? Разузнайте это как-нибудь».

В Баку. «В Персию через Вену... Может быть, и удастся. Известите адресата в Таврисе, что он должен получить из Берлина книги, и напишите нам, когда получатся».

В Киев. «Известите скорее, получена ли квитанция и транспорт. Боимся, не испорчен ли путь. Австрийская полиция проследила посылку вторых 4 пудов и явилась к адресату конфисковать товар...»

«Адресат», о котором идет речь в письме Владимира Ильича и Надежды Константиновны, — уже знакомый нам чешский социал-демократ Франтишек Модрачек.

Верные помощники в переброске «Искры» — и немецкие рабочие, представители левого течения германской социал-демократии. При их содействии уже создано несколько складов нелегальной русской литературы — в самом Берлине, при редакции «Форвертс», в Мемеле, Шарлоттенбурге, Кенигсберге, Тильзите, других местах. Столяр Эренпорт, сапожник Мертинс, кассир Браун, рабочие Трептау и Клейн принимают, хранят, переправляют через границу «Искру», «Зарю», книги, брошюры.

По просьбе царских властей немецкая полиция произведет вскоре аресты среди тех, кто содействует транспортировке нелегальной литературы. Их обвинят в государственном преступлении против Российской империи.

Летом девятьсот четвертого года в Кенигсберге, в старинном здании прусского королевского суда, в течение двух недель будут судить группу германских рабочих. Председательствующий спросит сапожника Мертинса: — Известно ли вам, в переброске какой литературы вы участвовали?

И тот ответит:

— Это была главным образом «Искра».

Спросит председательствующий и экспедитора газеты «Форвертс» Петцеля:

— Известно ли вам, откуда приходили посылки?

И последует ответ:

— Да, от Блюменфельда¹ или от Ульянова из Женевы...

Подсудимые не будут отрицать, что помогали русским социал-демократам. Что сочувствуют их освободительной борьбе.

Процесс обманет ожидания его организаторов. Суд вынужден будет оправдать всех подсудимых. «Наиболее

¹ Блюменфельд И. С. — наборщик, работал в типографии, где печаталась «Искра», заведовал ее транспортной частью.

непримиримые и яростные противники современного рабочего движения — официальная Германия и официальная Россия, — заявит Ф. Меринг со страниц «Нейе цайт», — напрягли все свои силы, чтобы победить, и потерпели позорное поражение. В Кенигсберге оказались наголову разбитыми не только русский деспотизм, не только его вассалы, не только германские органы юстиции... — все те, кто грубыми и насильственными, подлыми и предательскими средствами пытается затормозить рабочее движение...»

Но вернемся в Мюнхен.

Не только транспортировкой «Искры» — и ее финансовым положением озабочен сейчас Владимир Ильич.

Существует газета на средства партийных комитетов. На то, что шлют для ее издания рабочие, интеллигенция Петербурга, Москвы, Киева, Харькова, Сибири, Нижнего Новгорода, Вятки, Дальнего Востока, Саратова, Воронежа, Тулы и других городов. Но всего этого страшно мало!

Редакция постоянно напоминает: «Мы очень стеснены в деньгах...»

Это не секрет и для рабочих Запада. В Мюнхен приходят взносы: из Парижа — 2193 франка, Брюсселя — 129 франков, Цюриха — 613 франков и 105 марок, Лозанны — 191 франк, Дармштадта — 409 марок, Берна — 555 франков и 200 марок, Гейдельберга — 200 марок, Женевы — 700 франков, Манчестера — 2 фунта стерлингов, Лондона — 5 фунтов стерлингов 55 шиллингов, Льежа — 497 франков...

А «Искра», чтобы держать зарубежных пролетариев в курсе того, что происходит сейчас в России, предпринимает издание бюллетеня «Эко де Рюси». Он печатается в Лилле на французском языке. Печатается при содействии социалистической партии Франции. И его цели определяются в первом же выпуске:

«Наша страна призвана сыграть важную роль в политическом и экономическом изменении европейских государств. Общественное мнение не может оставаться равнодушным к событиям, которые там происходят, поэтому мы решили публиковать этот бюллетень; он доведет до сведения французов и всех, кто говорит на этом языке, сообщения о событиях, которые не могут попасть в широкую печать, так как этому мешает русская цензура».

Сообщениям о размахе в России революционного движения Владимир Ильич придает первостепенное значение. Крупская информирует киевского товарища, что Владимир Ильич «написал по этому поводу статью».

Владимир Ильич пишет об «огоньках народного возмущения и открытой борьбы» в России. Публикует письма о том из разных мест империи. И на газетных полосах эти пись-

ма соседствуют с корреспонденциями об «огоньках», загорающих в других странах Европы. О том, как обретают там рабочий класс политическую силу. Как становится он там «политическим центром для всех недовольных существующим строем».

Триест. Здесь, сообщает № 17 «Искра», на пароходах общества Ллойда, забастовали две сотни кочегаров. Стачечников поддержало еще десять тысяч рабочих. Газета заявляет в связи с этим: «Там, где данная группа капиталистов пасует перед организованным сопротивлением рабочих, на помощь ей прибегает организованная сила *всей буржуазии*, всех имущих классов. Этой организованной силой является государственная власть с ее пушками и штыками, с ее судьями, полицейскими и палачами».

«Искра» выражает уверенность, что расправа над рабочими не внесет в их ряды уныния. Что учиненная австрийскими властями бойня послужит могучим толчком к развитию классового самосознания пролетарских масс...

Барселона. В «Иностранном обозрении» восемнадцатого номера — статья о событиях в Испании. О них сообщали уже «Верлинер тагеблат», «Франкфуртер цайтунг», «Пти су», «Пти републик», «Этуаль бельж»... Но большинство газет умалило роль в стачке рабочих организаций. И «Искра» разобралась в «сумбуре имеющихся противоречивых известий», вновь заклемила сторонников «варварской манеры охраны существующего ужасного порядка вещей»...

В Штутгарте, в типографии Дитца, отпечатали уже, между тем, «Что делать?» На титульном листе книги стоит имя, которым совсем недавно подписана была статья в «Заре», — Н. Ленин.

Нелегально книгу доставят вскоре в Россию. Попадет она и в другие страны.

В Волгарии ее сразу же прочтет Димитр Влагов — основатель и вождь партии «тесных» социалистов. Уже в декабре он дважды сошлется на нее в партийном журнале «Ново време», процитирует те положения книги, в которых дана характеристика разновидностей оппортунизма в социал-демократическом движении. И отнесет к одной из них болгарских мелкобуржуазных оппортунистов. Противопоставит шумихе о «свободе критики», которой прикрывают те свое отступничество от теории и принципов марксизма, то, что пишет об этой «свободе» Ленин...

А в самом начале девятьсот третьего года в Варне выйдет брошюра Георгия Бакалова «Отступничество от социализма». И в брошюре, и в статье, которую Бакалов опубликует в «Рабочнически вестнике», позицию болгарских сторонников революционного

марксизма подкрепит аргументация автора «Что делать?»

В разгар схватки между двумя течениями болгарской социал-демократии «Рабочнически вестник» напечатает перевод отрывка из первой главы книги. Сообщит при этом: «Оппортунисты всего мира, в том числе болгарские, очень любят употреблять громкую фразу о «свободе критики». Много пустых, бессмысленных и пошлых слов наговорили они на эту тему... Вот почему мы сочли интересным дать нашим читателям характеристику, которую Н. Ленин¹ дает так называемой «свободе критики» (в своей отличной полемической брошюре „Что делать?“)».

«Что делать?» попадет и в Сербию. Стефан Иванович переведет первый раздел первой главы. Как самостоятельная статья под заголовком «Что значит „свобода критики?“» отрывок из книги появится в социалистической газете «Радничке новине». Две недели спустя в приложении даст она извлечения и из другого раздела. Познакомит сербов со страницами ленинского труда, где идет речь об Энгельсе, о взглядах одного из основателей научного коммунизма на роль теории в социал-демократическом движении.

Но до этих откликов на книгу Ленина еще несколько месяцев. Пока же — лишь первое сообщение о выходе «Что делать?». Сообщение в том самом восемнадцатом номере «Искры», где названы жертвы «алюгея буржуазного насилия» в Барселоне: сто убитых, триста раненых, пятьсот заключенных. И хоть написана книга до расправы с испанскими забастовщиками, кажется, что и их имел в виду Ленин, говоря о предательстве Мильерана: «Отчего не оставаться ему в министерстве даже после того, как убийства рабочих жандармами показали в сотый и тысячный раз истинный характер демократического сотрудничества классов?»

Как своевременна новая атака Ленина! Когда в типографии Дитца еще печатали «Что делать?», в Туре собрался съезд одной из французских социалистических партий. Той, которую принято называть теперь жорестистской. Не пожелали участники съезда обсуждать вопрос об удалении из партии Мильерана. Но зато звучали с трибуны призывы удалить из программы слово «революция», исключить само понятие организованной классовой борьбы, бороться пролетариату лишь за то, что даст ему буржуазия... добровольно. И утвердил съезд умеренный проект программы

¹ Г. Бакалов поясняет: «...Когда псевдоним Н. Ленин стал у нас известен, его произносили не Ленин, а Ленин...» («Пролетарская революция», 1929, № 10 (93), с. 109—110).

минимума. Принял организационный статут, дающий местным организациям, отдельным членам партии полную автономию.

«Искра» опубликует обстоятельный отчет о Турском съезде. Она заявит: всем должно быть уже ясно, что партия, в которой все еще числится Мильеран, «представляет собой бессознательную часть французского пролетариата, руководимую ловкими оппортунистами». Эта партия, сообщит «Искра», «чужда международному революционному пролетариату», но зато пользуется благоволением французских буржуазных радикалов.

Это — из «Иностранного обозрения» девятнадцатого номера «Искры». Как и во всех предыдущих, его статьи, корреспонденции, заметки редактировал, отправлял в набор Ленин. Но когда на Зенефельдштрассе в типографии Максимуса Эрнста будут печатать номер с отчетом о Турском съезде, расстанется уже Ленин с Мюнхеном...

„TWO NATIONS! ДВЕ НАЦИИ!“

Есть основания подозревать, что местная полиция выследила редакцию «Искры». Что ее местонахождение стало известно и российской охранке. Продолжать печатание газеты в Мюнхене, предостерегают немецкие товарищи, — значит подводить под удар и себя, и владельца типографии.

Ленин предлагает:

— Лучше всего перебраться в Лондон...

В шумной и людной британской столице легче, хоть на время, скрыться от агентов российской политической полиции. Там есть к тому же возможность быстро наладить и набор, и печатание «Искры».

И в поезде работает Ленин. Внимательно, с карандашом в руках читает «Проект Программы Российской социал-демократической рабочей партии», о необходимости которого писал уже не раз. Настаивая: «Опубликование проекта программы крайне необходимо, и имело бы громадное значение».

В основе проекта, полученного перед самым отъездом из Мюнхена, — предложения Плеханова с учетом замечаний Ленина. Полностью согласен Владимир Ильич с тем, что Программу должен открыть параграф, с позиций революционного марксизма утверждающий:

«Развитие международного обмена установило такую тесную связь между всеми народами цивилизованного мира, что великое освободительное движение пролетариата должно было стать и давно уже стало международным».

Ленин и Крупская останавливаются в Льеже.

По словам Надежды Константиновны, в городе царит «громадное возбуждение». Несколько дней назад войска стреляли в бастовавших рабочих. И по лицам стоящих посюду рабочих видно: не утихли еще пролетарские кварталы.

Затем отправляются они в Брюссель.

Перед самым их приездом здесь, в Зале празднеств местного кооператива, заседал годичный конгресс Бельгийской социалистической партии. «Искра» сообщит об этом в ближайшем же номере, который еще наберут и отпечатают в Мюнхене. Сообщит, в частности, о том, что делегат от Льежа предложил выразить свое сочувствие, пожелание успехов в борьбе русским социал-демократам, «ведущим трудную борьбу против царизма».

«Мы попали туда во время маленькой революционной вспышки», — узнаем от Н. Мещерякова — социал-демократа, давно уже живущего в Бельгии и знакомящего Надежду Константиновну и Владимира Ильича с Брюсселем.

«Я повел Владимира Ильича, — расскажет Мещеряков, — показывать город, учреждения рабочей партии, знаменитый тамошний кооператив и т. д. Когда мы вышли из кооператива, вдруг показались толпы рабочих. Это были участники революционной вспышки; собирались толпы демонстрантов; они разгонялись полицией и тут же обращались в бегство, ибо вожди рабочей партии старались всячески удержать рабочих в рамках умеренности и аккуратности... Ленин при виде этой толпы сейчас же оживился и обнаруживал большое тяготение примкнуть к демонстрации. Мне пришлось чуть не повиснуть на нем, чтобы как-нибудь замедлить его движение. Тут как раз сбоку появилась полиция и отрезала нас от толпы».

Уже в Лондоне узнает Ленин, что рабочие, которых он видел на брюссельских улицах, объявили забастовку. К ним примкнуло триста с лишним тысяч человек. События принесли открыто революционный характер. И оппортунистическое руководство бельгийских социал-демократов перетрусило. Оно поспешило дать отбой. Призвало прекратить стачку.

Владимира Ильича радуют и «дух протеста», владеющий бельгийскими рабочими, и их стремление к «самостоятельной борьбе». Не рабочие, убежден он, повинны в своем поражении. «Искра» выражает надежду, что бельгийские события будут уроком для международного рабочего движения. Что повсюду «социалистический пролетариат увидит, к каким практическим результатам ведет оппортунистическая тактика, жертвующая револю-

ционными принципами в надежде на скорый успех».

Статья о бельгийской стачке — в двадцать первом номере «Искры». Он выходит 1 июня 1902 года. Первую полосу целиком занимает в нем «Проект Программы Российской социал-демократической рабочей партии», выработанный редакцией «Искры» и «Зари».

«Считая свою Партию одним из отрядов всемирной армии пролетариата, — говорится в проекте, — русская социал-демократия преследует ту же конечную цель, к которой стремятся социал-демократы всех других стран».

Это — победоносная пролетарская революция, диктатура пролетариата, построение социалистического общества.

Но на пути к конечной цели стоят ближайшие задачи. Пропаганда, развитие сознательности пролетарских масс — к этому сводят их социалистические партии Запада.

О том говорится в Эрфуртской программе германских социал-демократов — программе ведущей партии II Интернационала: «Превратить борьбу рабочего класса в сознательную, придать ей единство и указать ей естественно-необходимую цель».

О том, что партия «есть и может быть только некоторого рода наставником и вербовщиком», заявляет, разъясняя программу рабочей партии Франции, П. Лафарг.

«Социалистическая партия организует экономическое движение», — этим ограничивают свою деятельность американские социалисты.

Иные цели русских социал-демократов определяет проект Программы, опубликованный «Искрой»: «...Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия ставит своей ближайшей политической задачей низвержение царского самодержавия и замену его республикой на основе демократической конституции...».

Когда выходит этот номер «Искры», Ленин обосновался уже в британской столице.

«Лондон поразил нас своей грандиозностью, — пишет Крупская. — И хоть была в день нашего приезда невероятная мразь, но у Владимира Ильича лицо сразу оживилось, и он с любопытством стал вглядываться в эту твердыню капитализма...»

С Надеждой Константиновной и ее матерью Владимир Ильич поселяется в районе Финсбури, на Холфорд-сквер. И тут, как и в Мюнхене, соблюдает конспирацию. «Документов в Лондоне тогда никаких не спрашивали, — рассказывает Крупская, — можно было записаться под любой фамилией. Мы записались Рихтерами. Большим удобством было и то, что для англичан все иностранцы на одно лицо, и хо-

зяйка так все время и считала нас немцами».

Важно было подольше оставаться вне поля зрения агентов российской тайной полиции. И, пересылая Аксельроду свой адрес, Владимир Ильич просит не сообщать его никому, кроме самых близких лиц. «Если можно, — предупреждает он, — постарайтесь и в разговорах употреблять систематически Мюнхен вместо Лондона и мюнхенцы вместо лондонцы».

На Холфорд-сквер, где снимают квартиру Ульяновы, дома узкие, небольшие. В три низких этажа по две комнаты в каждом. С крошечными двориками без дерева, без цветка. Дома здесь, убеждается Владимир Ильич, немногим лучше тех, о которых пишет Энгельс в книге «Положение рабочего класса в Англии».

Ленин познакомился с этой книгой еще в Самаре, почти десять лет назад. Позднее с восторгом отзывался о ней в сборнике «Работник». Подчеркивал, что увлекательно написанная книга — результат тщательного изучения всех доступных Энгельсу официальных документов. И не только документов — личного знакомства с рабочими кварталами Манчестера. Поэтому-то и полна книга «самых достоверных и потрясающих картин бедствий английского пролетариата».

Многое об Англии узнал Владимир Ильич и у Веббов. Их труды — и не только тот, который перевел он в ссылке, — помогли ему разобраться в проблемах английского рабочего движения. Чтобы лучше понять третью-юнионистскую политику, он призывает и других заглянуть «в сочинение основательных ученых (и „основательных“ оппортунистов) супругов Вебб». Это, уверяет Ленин, позволит осознать, какой именно «политический характер» носит экономическая борьба английских рабочих союзов.

И все же не так просто было изда-лека следить за пробуждением английского пролетариата, за тем, как выходил тот из спячки, в которой пребывал всю вторую половину века. Не просто было за тысячи километров от британских берегов разглядеть признаки того, что социализм вновь поднимает в Англии голову, что он проникает там в рабочие массы. Как минимум, следовало знать, что пишут об этом в самой Англии. И из Шушенского Владимир Ильич запрашивал каталоги новейших английских изданий. В Мюнхен просил слать ему вырезки из английских газет. Через родных, товарищей раздобывал выходящие в Лондоне книги. И сколько тратил на все это энергии!

Иное дело теперь, когда пешком каждое утро идет он в Британский музей. В регистрационном журнале читального зала значится он под име-

нем Якоба Рихтера. И имеет свой читательский номер — А 72453.

Не по одним, однако, газетам и книгам знакомится сейчас Ленин с английским образом жизни. «...Смотрим народ, местную жизнь, здесь ее удобнее наблюдать, чем где бы то ни было», — сообщает Надежда Константиновна в Россию.

А наблюдения приводят к весьма неутешительным заключениям. Владимир Ильич пишет вскоре в Женеву, Плеханову: «...гнусное впечатление производит этот Лондон, на первый взгляд!!» И на следующий день, уже в другом письме, — в Цюрих, Аксельроду: «Первое впечатление от Лондона: гнусное. И дорого же все порядком!»

Нередко, отправляясь на прогулку по городу, поднимается Владимир Ильич на верх omnibusа. Внимательно прислушивается, о чем говорят пассажиры, судя по всему — рабочие, мелкие служащие.

Неизменная спутница в этих прогулках — Надежда Константиновна. И то, что с вертухтуры omnibusа видит Крупская, видит и Ленин. А в ее заметках находим мы описание характерных уличных сцен:

«Около баров (распивочных) стояли опухшие, ободранные люмпены, среди них нередко можно было видеть какую-нибудь пьяную женщину с подбитым глазом, в бархатном платье со шлейфом, с вырванным рукавом и т. п. С omnibusа мы видели однажды, как могучий боби (полицейский), в своей характерной каске с подвязанным подбородком, железной рукой толкал перед собой тщедушного мальчишку, очевидно, пойманного воришку, и целая толпа шла следом с гиком и свистом. Часть ехавшей на omnibusе публики повскакала с мест и также стала гикать на воришку... Раза два мы ездили на верху omnibusа вечером в дни полочки в рабочие кварталы».

О том же через два десятилетия вспомнит и сам Ленин:

«На улицах было необыкновенно оживленно. Торговцы расположились везде на улицах, освещая свои товары небольшими металлическими трубочками с нефтью или чем-то подобным. Огоньки были очень красивы. Движение на улицах прямо-таки необыкновенное. Все покупали или продавали...

Мой приятель был «экономист» и принялся сейчас же выкладывать свою премудрость: вот, дескать, за этой необыкновенной экономической деятельностью должно следовать стремление к политической силе. Я посмеивался над таким пониманием Маркса. Обилие мелких торговцев и их оживленнейшая деятельность насколько еще не свидетельствуют об экономической большой силе класса, от которой можно и должно заклю-

чить к „политической силе“... Уличные торговцы в Лондоне, несмотря на замечательное их оживление, от „политической силы“ и даже от стремления к ней были довольно далеки».

Часто гуляют они с Надеждой Константиновной и пешком. Бродят по тихим улицам, вдоль которых протянулись нарядные особняки с увитыми зеленью зеркальными окнами. Забираются на дальние окраины, в заселенные бедняками грязные переулки.

— Two nations! Две нации! — не раз повторяет сквозь зубы Владимир Ильич.

Отыскивая в газетах объявления — где, когда должны быть рабочие собрания — Ленин отправляется в самые глухие кварталы города. Старается не пропустить ни слова из того, что говорят там рабочие.

— Из них социализм так и прет! — радостно восклицает он, вернувшись однажды с такого собрания. — Докладчик пошлости разводит, а выступит рабочий — сразу быка за рога берет, самую суть капиталистического строя вскрывает...

Надежда Константиновна пишет в связи с этим: «На рядового английского рабочего, сохранившего, несмотря ни на что, свой классовый инстинкт, и надеялся всегда Ильич. Приезжие обычно видят лишь разращенную буржуазией обуржуазившуюся рабочую аристократию. Ильич изучал, конечно, и эту верхушку, конкретные формы, в которые выливается это влияние буржуазии, ни на минуту не забывал значение этого факта, но старался нащупать и движущиеся силы будущей революции в Англии».

Какую позицию занимают в рабочем движении английские социал-демократы? — вопрос для Ленина первостепенной важности. К чему зовут они рабочих? Стремятся ли повернуть их на путь политической борьбы?

Однажды попадает Владимир Ильич... в социал-демократическую церковь. С изумлением слушает ответственного деятеля Социал-демократической федерации, читающего в нос сперва библию, а затем и проповедь. Старается понять, какие чувства владеют на самом деле теми, кто заполняет сейчас церковь и произносит в упоении:

— Выведи нас, господи, из царства капитализма в царство социализма!..

Владимир Ильич приходит в церковь еще раз. Снова попадает на проповедь социал-демократа. На сей раз — о «социализме». О «социализме» муниципальном. Начисто отвергающем необходимость какой-либо революции. «Чистой воды оппортунизм», — замечает Надежда Константиновна. А ведь на словах английские социалисты оппортунистов осуждают!

То, с чем сталкивается Ленин в Лондоне, убеждает его, что лидеры

английских тред-юнионов действительно уводят массы от политической борьбы. Что у «английской околосоциалистической интеллигенции» весьма своеобразные представления о том, как следует идти к социалистическим преобразованиям...

Ленин успел прийти к заключению: англичане — народ замкнутый. И рад, когда удается понаблюдать англичан в их собственном доме.

Как-то дождливым вечером Зельда Каган-Коутс застаёт его у своего шурина. В большой комнате собралось несколько английских и русских социал-демократов. Владимир Ильич со смехом рассказывает о хозяйке квартиры, где поселился он с женой, о бурной реакции миссис Йо — так зовут хозяйку — на то, что не носит Надежда Константиновна обручального кольца, что не ведут супруги Рихтер, как принято это в английских семьях, своего хозяйства.

А потом заходит разговор об условиях жизни английского рабочего.

«Ленин, — убеждается Зельда Каган-Коутс, — проявил к этому вопросу глубокий интерес. В ответ на его расспросы один из английских товарищей описал жизнь рядового английского железнодорожника. Больше того, меня при этой встрече поразило то, что Ленин интересовался не только вопросами заработной платы и продолжительности рабочего дня, но и всевозможными конкретными подробностями жизни рабочей семьи».

Ленин устанавливает связи и с теми английскими социал-демократами, от которых ждёт помощи в печатании «Искры».

Один из них — Гарри Квелч. Он — деятель — и весьма энергичный — не только социал-демократии, но и профессиональной организации рабочего класса.

Едва появившись в Лондоне, Ленин отправляется к Квелчу. По поручению Владимира Ильича с ним уже встречался Н. Алексеев, живущий тут русский социал-демократ. Они договорились: «Искра» будет печататься в типографии газеты «Джастис».

Эта типография — на Клеркенвилл-грин. В доме, не одно уже десятилетие связанном с английским революционным движением. О котором вспомнит спустя годы Владимир Ильич:

«Английские с.-д. с Квелчем во главе с полной готовностью предоставили свою типографию. Самому Квелчу пришлось для этого «потесниться»: ему отгорожен был в типографии тонкой дощатой перегородкой уголок вместо редакторской комнаты. В уголке помещался совсем маленький письменный стол с полкой книг над ним и стул. Когда пишущий эти строки посещал Квелча в этом «редакторском кабинете», то для другого стула места уже не находилось...»

„СВОЙ СВОЕМУ ПОНЕВОЛЕ БРАТ“

«Искра» уже набирается и верстается в маленькой типографии в Ист-энде. Печатается на Клеркенвилл-грин.

В первых ее «лондонских» номерах — большая статья Ленина «Революционный авантюризм». Она направлена против тех, у кого нет «ни ясной идеи о конечной цели, ни правильного понимания того пути, который ведет к этой цели, ни точного представления о действительном положении дел в данный момент и о ближайших задачах этого момента».

А на соседней полосе — «Иностранное обозрение». В нем идет речь о недавнем съезде голландской социал-демократии. О принятой съездом резолюции, свидетельствующей о той самой беспринципности, которую обличает в своей статье Владимир Ильич.

Как расходитса позиция Ленина со взглядами тех, кто стремится лишить европейское рабочее движение его революционного характера! Кто ратует за «нейтральность» профессиональных союзов, подразумевая под «нейтральностью» отречение от социал-демократии, от ее принципиальной борьбы!

И в эту осеннюю пору девятьсот второго года почти полдня Ленин — в читальном зале Британского музея. Громоздятся там перед ним книги. Столько не заказывает никто! Английский поэт Джон Мейсфилд сообщает через десятки лет: «Я часто видел его в читальном зале Британского музея... И всегда говорил себе: „Интересно знать, кто этот удивительный человек“, потому что, без сомнения, каждому было ясно, что этот человек необычайный, призванный оставить след в истории человечества».

Часами работает Владимир Ильич и в закутке на Клеркенвилл-грин, где печатается «Искра». А в крошечной квартире на Холфорд-сквер допоздна сидит над рукописями идущих в набор статей — и своих, и чужих.

Но как бы ни был загружен Ленин, по-прежнему следит он за международным рабочим движением. За всем, что связано с социалистическими партиями Запада. И принимает меры, чтобы своевременно откликнулась на все это «Искра»...

«Искра», № 26. Корреспонденция из Галиции сообщает о стачке сельскохозяйственных рабочих, в 250 деревнях охватившей свыше 100 тысяч человек. И хотя различны были выставляемые в деревнях требования, «все беспристрастные наблюдатели, — с удовлетворением отмечается в публикуемой Лениным заметке, — принуждены были отнестись с уважением к выдержанности стачечников, их чувству солидарности, проявлявшемуся даже в мелочах».

«Искра», № 28. Две с половиной газетные колонки отводит Владимир Ильич под корреспонденцию об американских углекопах, более пяти месяцев не спускавшихся в угольные копи. В этой статье, подчеркивает «Искра»; победу обеспечила рабочая солидарность. Дело углекопов Пенсильвании стало делом всего пролетариата Северной Америки. Помощь шла отовсюду. Газета приводит признание филаделфийских тузов: «Социалистическая партия сделалась могущественным фактором в политике нашего района».

«Искра», № 30. Снова сообщает газета о стачке. На сей раз — шахтеров Франции. И в первых же строках отредактированной Лениным корреспонденции обвиняет в предательстве «политиканствующих оппортунистов» из социалистической партии. Тех, кому лишь волей-неволей пришлось склониться перед единодушно выраженным желанием масс...

В то время, когда Ленин публикует эти корреспонденции — о стачках в Галиции, Соединенных Штатах Америки, Франции, — он готовит к переизданию свою брошюру «Задачи русских социал-демократов». Пять лет назад, в Шушенском, написал ее Владимир Ильич. И хоть сделало за это время рабочее движение громадный шаг вперед, хоть произошли в социал-демократии глубокие изменения, не потеряла она своей актуальности.

Нынешнее издание откроется предисловием. Августовскими вечерами писал его Ленин. Сам, видимо, и свез в Швейцарию, куда ездил с рефератами. И в Женеве, на улице Каролин, в типографии Заграничной лиги русской революционной социал-демократии, уже набрали эти тщательно переписанные листки. В них подчеркивается: сейчас важнее всего «положить конец всякому разброду и шатанью» в среде социал-демократов; следует «сплотиться теснее и слиться организационно под знаменем революционного марксизма»; надо «направить все усилия к объединению всех практически работающих социал-демократов, к углублению и расширению их деятельности».

Не только русскую — всю международную социал-демократию имеет в виду Ленин, когда пишет о «разброду и шатанье». Когда зовет «сплотиться теснее и слиться организационно под знаменем революционного марксизма», объединиться всем «работающим социал-демократам». И, переиздавая брошюру, обращает ее против «бернштейнианства вообще и русского бернштейнианства в особенности». Против терпимости к оппортунизму в мировом общественном развитии...

Вскоре отпечатанную в Женеве брошюру доставляют в Лондон. И почти одновременно приходит послан-

ный Дитцем четвертый номер «Зари». В нем — статья Ленина «Аграрная программа русской социал-демократии». Владимир Ильич называет ее комментарием к аграрной части проекта Программы Российской социал-демократической рабочей партии. Отстаивает в ней марксистские идеи. И с возмущением отзывается о носителях «консервативного самодовольства». О тех, кто утверждает на Западе, что крестьянство — «самый мощный якорь оплот против социализма».

Социал-демократическую аграрную программу, ее основные требования, их классовое содержание, историческую обусловленность Ленин намерен разъяснить и в новой своей работе — «К деревенской бедноте». Хоть и обращена она к русскому крестьянству, анализирует положение русской деревни, не может брошюра быть написана на одном лишь российском материале. В библиотеке Британского музея Владимир Ильич делает выписки из книг, изданных здесь, в Лондоне, в Париже, Берлине, Иене, Царберне, Лейпциге. Штудирует статистические труды, сборники, журнальные публикации о сельском хозяйстве Германии, Голландии, Франции. Изучает литературу об отношении к земельному вопросу и подлинных марксистов, и тех, кто подвергает «ревизии» идеи марксизма о гегемонии пролетариата, о союзе рабочего класса с крестьянством.

«Давида я уже выписал и теперь читаю», — сообщает Плеханову Владимир Ильич. Это «Социализм и сельское хозяйство» — сочинение одного из лидеров правого крыла германской социал-демократии. Только что изданная в Берлине объемистая книга — 703 странички! — оказывается ужасно водянистой, бедной, пошлой. А ее автор, стоящий на позиции ревизии марксистского учения, — безбожно «сладкоречивым».

И эту книгу «известного оппортуниста (бернштейнианца тож)» в Москве, в «Русских ведомостях», уже поторопились назвать «капитальным трудом! Ленин спешит обратить внимание на поразительное сходство взглядов ее автора с аграрной программой-минимумом эсеров. Скрыть это тождество не способны ни «разнообразие костюма», ни «варианты то оппортунистической, то „социалистски-революционной“ фразы».

Свой отзыв о «труде» Эдуарда Давида Ленин публикует в тридцать восьмом номере «Искры». На газетных полосах его статья соседствует со статьями, направленными против Мильерана, Бернштейна и прочих оппортунистов. Нет, не случайно вынес Владимир Ильич в заголовок: «Les beaux esprits se rencontrent». Пояснив тут же: «По-русски примерно: свой своему поневоле брат»...

„СТАНЕТ НЕПОБЕДИМОЙ СИЛОЙ“

Опять вынуждена перебраться редакция «Искры» на новое место.

На сей раз — в Женеву.

Теперь уже в «Типографии женевских рабочих», на тихой улице Кулувренье, не только русские — и швейцарские наборщики набирают отредактированные Лениным статьи, корреспонденции, письма.

Он поселился в рабочем предместье Сешерон. Здесь, в крошечной комнате небольшого домика на улице Шмен приве дю Фуайе, пишет Владимир Ильич проект устава партии, проекты резолюций предстоящего II съезда — о месте Бунда в РСДРП, об экономической борьбе, о праздновании Первого мая, о предательстве Российской социал-демократической рабочей партии на международном социалистическом конгрессе в Амстердаме, о демонстрациях, пропаганде, распределении революционных сил по России, о партийной литературе...

Пишет Владимир Ильич и проект резолюции об отношении к учащейся молодежи. О ее сплочении. О выработке у нее цельного и последовательного революционного мировоззрения. О том, что достигнуть этого можно лишь путем «серьезного ознакомления с марксизмом, с одной стороны, а с другой стороны, с русским народничеством и западноевропейским оппортунизмом, как главными течениями среди современных борющихся передовых направлений». Да, и с западноевропейским оппортунизмом. Чтобы быть во всеоружии в борьбе против тех, кто тормозит или уводит в сторону рабочее движение.

Съезд открывается жарким июльским днем 1903 года. В Брюсселе, в громадном складском помещении, которое помогли снять бельгийские социал-демократы, собираются делегаты, нелегально прибывшие из разных мест России.

На девяти заседаниях идут страстные споры о проекте Программы партии, который предлагает «Искра».

Теоретики «экономизма», повторяя то, что проповедают их зарубежные единомышленники, стремятся доказать: развитие стихийного рабочего движения само собой, автоматически порождает классовое самосознание пролетариата, рабочий класс сам, без всякой посторонней помощи доходит до понимания социализма.

Нападкам «экономистов» подвергается и программное требование диктатуры пролетариата. Их главный аргумент:

— Этого нет в программах социал-демократических партий II Интернационала! Нет даже в лучшей из них — Эрфуртской программе социал-демократической партии Германии. Там говорится лишь о необходимости

для пролетариата добиться «обладания политической властью».

А коли так, то следует «изменить самый дух программы» Российской социал-демократической рабочей партии. Иначе говоря — выхолостить из нее революционную сущность. Повернуть партию на путь международного ревизионизма.

Делегаты заседают и днем, и вечером. Но вскоре замечают: за ними установлена слежка. Нескольким делегатам предлагают даже незамедлительно покинуть страну.

— В чем дело? Что произошло? — спрашивают Эмиля Вандервельде — лидера бельгийских социал-демократов. — Ведь русским революционерам вами гарантирована была полная безопасность!.

Тот вынужден признать:

— Да, вы должны уехать из Бельгии. И уехать как можно скорее. В противном случае вам всем грозит арест и высылка в Россию. Русское министерство иностранных дел через своего посла предупредило, что будто бы приехали важные русские анархисты. А по отношению к анархистам, как вы знаете, между всеми странами существует соглашение о выдаче их властям.

Делегаты перебираются в Лондон, с которым Ленин расстался лишь немногим более трех месяцев назад.

Владимир Ильич делает здесь запись:

«14-ое заседание (в Лондоне)...

11.00. Мой доклад об уставе организации партии».

Ленинская формулировка первого параграфа проекта устава закрывает доступ в партию тем, кто способен лишь болтать, но не работать. Она выдвигает требование, какого нет ни в одном из уставов социал-демократических партий Запада. А именно на эти уставы и ориентируется Мартов. Добиваясь, чтобы открыта была в партию дорога и неустойчивым, мелкобуржуазным элементам. И тем, кто неспособен к партийной дисциплине.

Три недели, на тридцати семи заседаниях, идут ожесточенные бои за идеи «Искры». Вокруг Ленина спланиваются последовательные искровцы. Положено начало существованию большевизма. И как течения политической мысли. И как политической партии нового типа, принципиально отличающейся от всех партий II Интернационала, принявшей ленинскую программу борьбы за свержение самодержавия, власти помещиков и капиталистов, за установление диктатуры пролетариата как орудия социалистического преобразования общества.

О том, что произошло на II съезде, о его решениях должны узнать, и узнать как можно быстрее, социалисты в странах Западной Европы. Но как оповестить их, если в целях кон-

спирации материалы съезда решено опубликовать через несколько месяцев, а краткий отчет о нем появится в «Искре» только в конце ноября?

Выход один — личные контакты.

По поручению Владимира Ильича в Париж выезжает Мартын Лядов. Он знакомится с Ж. Гедом, П. Лафаргом, П. Луи, Ж. Жоресом, М. Самба, Ж. Аллеманом. Пытается разъяснить им суть разгоревшейся на съезде борьбы. Дать понять им, в каких невероятно сложных условиях, преодолевая косность, догматизм, оппортунизм, сторонники Ленина завершили процесс объединения революционных марксистских организаций в России.

Но не находит посланец Ленина в Париже взаимопонимания. Как не находит его и в Берлине.

С грустью сообщает Лядов вскоре Владимиру Ильичу о результатах переговоров в редакции «Форвертс». О том, что не лучшая встреча ожидала его у А. Бебеля, П. Зингера, И. Ауэра, Г. Фольмара, других видных деятелей германской социал-демократии.

Но Ленин настаивает: несмотря ни на что, продолжать подробно информировать немцев о положении в Российской социал-демократической рабочей партии. И с этой целью регулярно передает Лядову новости, получаемые из России, сообщает обо всех внутривнутрипартийных делах. Поручает ему написать для «Нейе цайт» статью о сущности разногласий в РСДРП. Внимательно просматривает присланную ему рукопись. Полностью одобряет ее.

Печатать, однако, эту статью Каутский не намерен. И в то же время публикует статьи меньшевиков. Высказывает им свое расположение. Принимает их сторону в недвусмысленной кампании лжи и клеветы.

И все же, хоть и с большим опозданием, в социалистическую прессу Запада просачиваются сообщения о создании единой Российской социал-демократической рабочей партии. В декабре о том сообщает венгерская газета «Непсава». «Новая программа, — пишет газета, — на ясной марксистской основе блестяще определяет требования к цели партии». В эти же дни целую полосу посвящает съезду английская газета «Джастис». Она выражает уверенность, что не только члены РСДРП, но и ее друзья в других социалистических партиях радуются тому факту, что самая молодая сестра вступила в семью международной социал-демократии. Об успехе II съезда в создании единой партии сообщают орган швейцарских социал-демократов «Фольксрехт», венская «Арbeiter цайтунг». Через несколько дней — 20 декабря — под нажимом левых в Германской социал-демократической партии статью о II съезде публикует

газета «Форвертс». Она информирует немецких социал-демократов: II съезд РСДРП — знаменательная веха в дальнейшем развитии революционного движения в России.

О II съезде российских социал-демократов, о победе искровцев узнают и в Болгарии. В январе девятьсот четвертого года журнал тесняков «Работническо дело» оценивает создание единой рабочей марксистской партии как открытие новой славной страницы в истории русского революционного движения...

В эти зимние дни Ленин пишет книгу «Шаг вперед, два шага назад (Кризис в нашей партии)». Она призвана осветить действительные причины, приведшие к расколу на II съезде. В ней Ленин намерен обосновать организационные принципы большевистской партии. Обратит внимание на политическое значение сложившегося на съезде деления партии на «большинство» и «меньшинство». На то, что меньшевизм — это разновидность международного оппортунизма.

«Когда говорится о борьбе с оппортунизмом, — пишет Владимир Ильич, — не следует никогда забывать характерной черты всего современного оппортунизма, во всех и всяческих областях: его неопределенности, расплывчатости, неуловимости. Оппортунист, по самой своей природе, уклоняется всегда от определенной и бесповоротной постановки вопроса, отыскивает равнодействующую, вьется ужом между исключающими одна другую точками зрения, стараясь „быть согласным“ и с той и с другой, сводя свои разногласия к поправочкам, к сомнениям, к благим и невинным пожеланиям и проч. и проч.»

Эта «характерная черта» присуща тем, кто составил на II съезде «оппортунистическое крыло». Она-то и роднит их с «оппортунистом в вопросах программы» Бернштейном, «оппортунистом в вопросах тактики» фон Фольмаром, с Вольфгангом Гейне — «этим типичным интеллигентом, прикнувшим к социал-демократии и принесшим с собой оппортунистические навыки мысли», с бывшим пастором и тоже «ярким оппортунистом» Гёра. «Конечно, национальные особенности различных партий и неодинаковость политических условий в разных странах, — заявляет Ленин, — налагают свой отпечаток, делая немецкий оппортунизм совсем не похожим на французский, французский на итальянский, итальянский на русский». Однако, несмотря на различные условия, «однородность основного деления всех этих партий на революционное и оппортунистическое крыло, однородность хода мысли и тенденций оппортунизма» выступают весьма отчетливо.

Ленин разбивает, таким образом, взгляды не одних лишь меньшевиков. Он разоблачает в своей книге оппортунизм и в западноевропейской социал-демократии.

„ОКАЗАЛАСЬ ОРУЖИЕМ В РУКАХ ТОВАРИЩЕЙ...“

Мартовским вечером, прервав работу над книгой, Владимир Ильич отправляется в зал «Хандверк» на авеню дю Май. Здесь соберется сегодня русская колония политических эмигрантов. И он прочтет им доклад о Парижской коммуне...

«Еще в 1894 году, выступая против Н. Михайловского — виднейшего теоретика либерального народничества, против его «зубоскальства» в адрес «международного общества рабочих», Владимир Ильич решительно заявил: «...Нет иного средства борьбы с национальной ненавистью, как организация и сплочение класса угнетенных для борьбы против класса угнетателей в каждой отдельной стране, как соединение таких национальных рабочих организаций в одну международную рабочую армию для борьбы против международного капитала».

Он напомнил тогда Михайловскому о событиях Парижской коммуны. Противопоставил его «аргументам» свое заключение: Коммуна показала «действительное отношение организованного пролетариата к правящим классам».

Ее завоевания и достижения... Ее недостатки и ошибки... Богатейший опыт величайшего пролетарского движения девятнадцатого столетия... Все, что связано с 72 весенними днями Коммуны, делами, помыслами, чаяниями, надеждами коммунаров, вызывало жгучий интерес и у 24-летнего Ульянова. И позднее — когда родилась его книга «Что делать?», со страниц которой обращался он к единомышленникам: «Где были бы мы теперь без... французской политической борьбы рабочих, без того колоссального толчка, который дала в особенности Парижская Коммуна?»

С конца февраля 1903 года две недели прозел Ленин в Париже. Его пригласила созданная там Русская высшая школа общественных наук. Под фамилией В. Ильин читал в ней Владимир Ильич лекции о марксистских взглядах на аграрный вопрос. И в России, и в Западной Европе. А в свободные часы работал в Национальной библиотеке. Бродил по тем самым улицам, которые почти за тридцать два года до того мартовским утром разбужены были барабанным боем, гулом набата, стрельбой трудового люда французской столицы.

Он вернулся в Лондон полный парижских впечатлений. И через не-

сколько дней отправился в ту часть города, где протянулись километры причалов и мощные элеваторы, — в район угрюмого Уайтчепела.

Здесь в годовщину Парижской коммуны был созван митинг.

Ленин видел тогда в зале ее участников. Слышал страстную речь коммунарки Луизы Мишель — о муках, страданиях своих соратников, о тяжелых днях поражения.

Он поднялся на трибуну вслед за Мишель.

Память одного из тех, кто сидел в набитом до отказа огромном зале, сбегла сказанное Владимиром Ильичем:

«Спокойно, ясно он делает анализ периода, предшествовавшего Коммуне. Рисует характер самого движения, но без жестикуляций, без пафоса, деловито.

Париж — в руках коммунаров. Ленин немного нервно и торопливо перечисляет, критикует, что сделано и как сделано, что хорошо, что плохо, что не сделано, что надо еще сделать...»

Он говорит о причинах поражения Коммуны, подчеркивает особо уроки Коммуны, опыт ее революционеров для будущих боев с капиталом.

Но вот Ленин делает анализ возможного накопления революционных сил. В революционные ряды вовлекается рабочий класс. Ведется организованная боевая подготовка.

Рабочие революционные массы готовы к бою, начинается штурм правительства революционными рабочими под руководством социал-демократической рабочей партии...»

Минул год...

И снова в такой же хмурый вечер на авеню дю Май говорит Ленин о Парижской коммуне. Говорит перед социал-демократами. Бежавшая из ссылки М. Эссен впоследствии расскажет:

«Мы мысленно видели осажденный Париж, трусость и предательство господствующих классов, продажное правительство, сбежавшее в Версаль и предавшее родину, мы увидели героический рабочий класс, взявший на себя защиту отечества и задачу построения государства на новых началах. Ленин показал все трудности выполнения этих задач, вскрыл все противоречия, ошибки Коммуны, рассказал о ее гибели... Из всей речи Ленина, такой вдохновенной и огненной, стало ясно, что Парижская коммуна — не только героический эпизод истории, показывающий силу и мощь рабочего класса, но и вдохновляющий пример для нас».

И здесь речь Ленина о парижских коммунарах вызывает энтузиазм. Возбужденные, покидают собравшиеся зал. Идут по женевским улицам, тихим в этот поздний вечерний час.

— Неужели мы доживем до того

времени, когда Коммуна снова встанет в порядок дня? — спрашивает у Ленина Эссен.

— А вы сделали такой вывод из моего доклада?! — Владимир Ильич всматривается в лицо собеседницы.

— Да, и не одна я, а все, кто слушал вас сегодня, — подтверждает та...

Он вспоминает этот разговор с Эссеном, когда несколько дней спустя пишет проект первомайского листка. Его напечатает от имени Центрального Комитета и Центрального Органа РСДРП. Перепечатают затем в нелегальных типографиях Москвы, Нижнего Новгорода, Твери.

Ленин обращается к рабочим России. Но говорит о пробуждении к сознательной жизни пролетариев всех стран. Рисует широкую картину международного рабочего движения. Войны обездоленных и трудящихся против богатей и эксплуататоров. Великой борьбы труда против капитала, в которой рабочие понесли огромные жертвы, но закалились. И заявляет, что «союз рабочих всего мира растет и крепнет, несмотря ни на какие преследования»...

А вскоре в типографии на Кулурвреньер завершают печатанье книги «Шаг вперед, два шага назад». Ленин придает ей огромное значение. И безмерно рад, когда сообщают из России, что она «оказалась тем оружием в руках наших товарищей-большевиков, которым они должны были крыть меньшевиков».

Не без основания рассчитывают сейчас меньшевики на поддержку лидеров II Интернационала. И прежде всего Каутского, не опубликовавшего статью Лядова в журнале «Нейе цайт». Копию своего ответа Лядову Каутский переслал в «Искру», из редакции которой, уже захваченной оппортунистами, Ленин вынужден был уйти.

Письмо Каутского «Искра» публикует тотчас же. Ведь лидер немецких социал-демократов заявляет в нем, что если бы ему пришлось выбирать между Мартовым и Лениным, то он «решительно высказался бы за Мартова».

Но это письмо, по выражению Потресова, — лишь «первая бомба» в «общем плане кампании против Ленина».

Потресов обращается за содействием к Люксембург. Он просит написать статью «по поводу ленинского памфлета» — книги «Шаг вперед, два шага назад». «Нам весьма важно иметь отзыв об этой брошюре именно от Вас, — поясняет Потресов, — от Вас, которая, с одной стороны, стояла до сих пор в стороне от наших внутрипартийных споров, а с другой — ославлена западноевропейскими ревизионистами, как бланкистка».

Люксембург сознает: идеи централизма в партии, за которые так решительно боролся на II съезде Ленин,

проходили красной нитью через всю «блестящую трехлетнюю кампанию „Искры“, подготовлявшую последний, de facto учредительный, съезд; и та же самая идея владела умами и всего цвета социал-демократической молодежи в России». А Ленина она признает «одним из выдающихся руководителей и борцов „Искры“ в ее подготовительной кампании к съезду».

Люксембург сознает также: совсем не та теперь «Искра», что была при Ленине. Стала она уступчивой «в практической политике». Утеряла то, что так дорого было в ней до съезда. Не проявляет уже непримиримости, непреклонности к немарксистским путаникам. И все же согласием отвечает на просьбу Потресова. Не понимая, какое значение для пролетарской партии имеет борьба Ленина за твердые организационные принципы, за партийную дисциплину, выступает против его книги.

«Искра» и «Нейе цайт» почти одновременно публикуют ее статью, во многом переключаящуюся с письмом Каутского. Отвергающую необходимость принятия против оппортунистов решительных мер. Утверждающую, что центральным учреждением партии не следует брать на себя «создание единой боевой тактики».

Статья Люксембург, как и письмо Каутского, возмущает Ленина.

«Каутский пытался ослабить в „Искре“ ценность формальной организации (т. е. организации вообще). Еженедельник немецкой социал-демократии превозносил дезорганизацию и вероломство (Роза Люксембург в „Neue Zeit“) под тем остроумным и „диалектическим“ предлогом, что организация — это лишь процесс, только тенденция... Итак, „Neue Zeit“ (и не одно оно) желало познакомить немецкую социал-демократию только со взглядами меньшинства. Раздражение по поводу этого в наших рядах было безмерно велико».

Это — запись Владимира Ильича. Но ответ Люксембург напишет лишь некоторое время спустя, когда завершит работу над докладом большевиков предстоящему международному социалистическому конгрессу.

Почти неделю днюют и ночуют у Ульяновых М. Лядов, П. Красиков, В. Воровский. И вместе с Лениным создают документ, призванный познакомить социал-демократов всех стран с тем, что произошло на II съезде РСДРП, дать обстоятельный, беспристрастный анализ разногласиям между большевиками и меньшевиками.

Ленин предлагает название брошюры: «Материал к выяснению партийного кризиса в Российской социал-демократической рабочей партии. Доклад Амстердамскому международному социалистическому конгрессу». На немецком языке ее срочно отпечата-

зает во французской типографии. Успевают доставить в Амстердам к открытию последнего заседания. Успевают раздать всем делегатам конгресса.

Теперь, в эти последние августовские дни, Ленин возвращается к статье Люксембург. Он должен на нее ответить. Но где? В «Искре»? Это исключено. Там, конечно, ему этой возможности не предоставят. К тому же — важнее «Нейе цайт». Чтобы познакомиться с его ответом немецкие социал-демократы.

Ленин посылает Каутскому свой ответ Люксембург. Он предупреждает: «Мне известно о симпатиях редакции „Neue Zeit“ к моим противникам...». Но надеется, что независимо от своих симпатий журнал даст ему все же возможность «исправить имеющиеся неточности».

Как откликнется на все это Каутский, которому, как и другим делегатам, вручили в Амстердаме подготовленный в Женеве, у Ленина, обстоятельнейший «Доклад...»? Благодаря этому «Докладу...» он имел уже возможность объективно разобраться в том, что такое большевизм.

Само собой разумеется, сообщает Каутский, Ленин вправе ответить Люксембург. Но... «для дискуссии о русских разногласиях „Neue Zeit“ — неподходящее место».

Конечно, дело не в этом. А в том, что статья Ленина бьет не только по противникам большевиков в Российской социал-демократической рабочей партии. Бьет и по ортодоксам в западной социал-демократии. По занятой ими позиции в отношении ревизионистов. По организационной структуре всего II Интернационала, позволяющего проникать в партию, влиять на ее деятельность чуждым пролетарским массам людям.

Каутский возвращает Ленину статью: он не намерен знакомить с нею членов своей партии.

„НА ПЛЕЧАХ КОММУНЫ...“

Мы узнаем от Крупской: «В Женеве большевистский центр гнезился на углу знаменитой, населенной русскими эмигрантами „Каружки“ (Rue de Carouge) и набережной реки Арвы. Тут помещалась редакция „Вперед“, экспедиция, большевистская столовка Лепешинских».

Столовую открыли для местной большевистской группы, для приезжающих из России товарищей. Но охотно заглядывают сюда и болгары, поляки, чехи — студенты, эмигранты.

Сегодня их тут особенно много. Едва уместаются они за несколькими сдвинутыми вместе длинными столами.

— Просим к нам, — зовет болгар-

ская студентка, увидев вошедшего Ленина.

Владимира Ильича забрасывают вопросами. И он разъясняет основные положения программы марксистской рабочей партии в России.

— Надо идти рука об руку с рабочими, — убежденно заявляет Ленин, — правильно указывать им путь и место в обществе, с тем чтобы они могли быть в авангарде борьбы за марксизм...

Владимир Ильич намерен писать об этом и в новом большевистском органе. В создаваемом вместо захваченной меньшевиками, «ставшей очагом смуты» «Искры».

«Вперед» — так по предложению Ленина названа газета. Уже согласована ее программа. Обговорено, какие будут в ней отделы. Решено, что в шестом отделе под рубрикой «Фельетон» пойдут, в частности, очерки из истории борьбы пролетариата на Западе. Их готовит один из редакторов, Воинов — под этим именем известен Луначарский. И «Очерки» «Вперед» начнет публиковать с середины января.

А первый номер выходит в самом начале года. В нем — передовая Ленина. Он пишет о неизбежности революции в России. И о величайшей, всемирно-исторической цели, к которой стремится рабочий класс разных стран, — освободить человечество от всяких форм угнетения и эксплуатации человека человеком. «К осуществлению этих целей, — утверждает Владимир Ильич, — он стремится во всем мире упорно, в течение десятилетий и десятилетий, постоянно расширяя свою борьбу, организуясь в миллионные партии, не падая духом от отдельных поражений и временных неудач».

Не проходит и трех недель, как телеграф приносит из России потрясающие сообщения. Владимир Ильич читает их в «Трибюн де Женев». Из первых — скупых и отрывочных — корреспонденций он узнает: в воскресенье 9(22) января солдаты и казаки расстреляли в Петербурге рабочую манифестацию.

— В России революция! — приходит к заключению Ленин.

Из «Тан» он выписывает телеграммы о положении в Петербурге после кровавого воскресенья.

Из статьи «Уличные бои в Риге» в газете «Фоссише цайтунг» узнает, что студенты рижского политехникума выступили с протестом против ареста А. М. Горького.

Из газеты «Франкфуртер цайтунг» извлекает подробности о русских событиях и записывает для памяти: «NB Франкфуртская Газета держалась скептически. Ее выводы интересны!»

На четвертушках листов делает Владимир Ильич выписки из других газет — швейцарских, французских,

германских, бельгийских, английских. С волнением следит за тем, как стремительно развиваются в России события. Как все ожесточеннее становятся там схватки рабочих с войсками. Уже не только в российской столице. По всей империи. Во многих городах которой слышен теперь лозунг петербургского пролетариата:

— Смерть или свобода!

Каждый день сообщает западная пресса о революции в России. Из нее черпает Владимир Ильич материал для корреспонденций, публикуемых газетой «Вперед», — о всеобщей стачке в Варшаве, революционных выступлениях в Прибалтийском крае, беспорядках полиции в Петербурге... Он убеждается: «На пролетариат всей России смотрит теперь с лихорадочным нетерпением пролетариат всего мира».

В Брюсселе тысячи людей направились к российскому посольству с возгласами: «Долой царизм! Долой убийц!» В Вене прошли грандиозные митинги солидарности с русскими пролетариями. По призыву Социал-демократической федерации на митинг собралось множество лондонцев. Против расправы с мирной манифестацией в Петербурге выступили рабочие Праги, Кракова, Триеста. В Милане рукоплескали оратору-социалисту, выразившему надежду на скорейшее низвержение царизма. О том же заявляют виднейшие деятели германской социал-демократии А. Бебель, Р. Люксембург, К. Цеткин, Ф. Меринг, К. Либкнехт.

Ленину в редакцию газеты «Вперед» доставляют обращение Союза синдикатов парижских рабочих. Оно выражает настроение рабочих и студентов французской столицы. И адресовано пролетариям России. «Рабочие Парижа, города революций, — говорится в обращении, — всем сердцем с вами; они громко говорят вам: „Расчитывайте на нас! Наша помощь вам обеспечена! Долой царя! Долой императора! Да здравствует социальная революция!“»

Эти же лозунги Ленин видит и на страницах социалистических газет разных стран.

Центральный орган Итальянской социалистической партии «Аванти!» публикует статью «Час революции в России». И в ней клеймит позором предательскую политику царизма, сравнивает царя со змеей, бежавшей от совершенного ею злодеяния, заявляет: «Чтобы получить аудиенцию у самодержцев, народы должны стучать в их двери оружием».

«Лейпцигер фолксцайтунг», сообщая, что в России началась революция, приходит к заключению: «В победе над царизмом, к которой готовятся теперь русские рабочие, международ-

ный пролетариат видит условие своей победы над капитализмом...».

«Джастис» — газета английских социал-демократов — провозглашает: «Дни самодержавия сочтены. Удастся ли ему подавить петербургское восстание или нет, движение разольется на все промышленные центры России, и тогда самодержавие погибнет...»

Вести, идущие отовсюду, подтверждают заключение Ленина:

«У всех перед глазами стоит теперь пример героев-пролетариев Петербурга».

Подтверждают то, что пишет он в газете «Вперед»:

«Низвержение царизма в России, героически начатое нашим рабочим классом, будет поворотным пунктом в истории всех стран, облегчением дела всех рабочих всех наций, во всех государствах, во всех концах земного шара».

Повсюду собираются средства для петербургских рабочих. И нередко деньги пересылаются через Ленина.

Так на революционное событие в России откликаются в Европе рабочие, многие социал-демократы. А буржуазия, всегда готовая прийти на выручку русскому самодержавию? Поддерживающая теснейший альянс с российским императором? До сих пор не считавшаяся с протестами против этого альянса со стороны пролетарских масс своей страны?

Ленин хорошо помнит те осенние дни 1901 года, когда во Францию прибыл Николай П. Прибыл, чтобы пополнить новыми займы, пополнить оскудевшую казну своей державы. Перед русским императором, вместе со всей буржуазной кликой, пресмыкался тогда «социалист» Мильеран. Французские же пролетарии выступили против этого союза. Единодушно и в самых резких выражениях заклеили «палача русского народа, убийцу русских рабочих и социалистов, наполнявшего тюрьмы и далекую Сибирь борцами за свободу и социализм».

Помнит Ленин и то, что произошло спустя два года, когда российский самодержец снова отправился в Западную Европу после бесчинств царских сатрапов в Вильне, Златоусте, Ростове, Кишиневе, Батуме и других городах. В правящих кругах Австрии, Франции, Италии его, несмотря ни на что, ждала сердечная встреча. Но, как и прежде, всколыхнулись пролетарские массы. «Самое лучшее приветствие, которым мы можем встретить русского царя, будет: „Да здравствует русская революционная социал-демократия!“», — заявила, выражая их мнение, газета австрийских социал-демократов. И, опасаясь нежелательных инцидентов, австрийское правительство вынуждено было сократить визит русского царя. Он поспешно отбыл во Францию. Но в Париже предпочел не

появляться, зная, что и там уготованы ему от рабочих весьма неприятные «сюрпризы». Что же касается Италии, то от поездки туда самодержцу пришлось вовсе отказаться.

Тогда, полтора года назад, социал-демократическая печать разных стран утверждала: своими займами европейский капитал спасает русское самодержавие. Так поступала, в частности, французская буржуазия. Но много воды утекло за столь короткое время. Русско-японская война обнаружила военную слабость России. Следующие одно за другим поражения грозят крахом всей правительственной системы самодержавия. Способствуют внушительному росту в России революционного движения. А это страшит буржуазию разных стран. Она опасается взрыва, способного зажечь Европу.

Владимир Ильич пишет об этом в газете «Вперед», в статье «Европейский капитал и самодержавие». «Буржуазия не только в России, но и в Европе, — заявляет он, — начала понимать связь войны с революцией, начала бояться действительно народного и победоносного движения против царизма». Под влиянием быстро развивающихся событий она все теснее сплачивается в один буржуазный противореволюционный союз — «вопреки различиям национальностей, французские биржевики и английские тузы, немецкие капиталисты и русские купцы».

Этому международному союзу, заявляет Ленин, можно противопоставить только одну силу — международный союз революционного пролетариата. Союз, который «образовался уже вполне в смысле политической солидарности».

Часами просиживает сейчас Ленин в женевских библиотеках. «Ильич, — сообщает Крупская, — не только перечитал и самым тщательным образом проштудировал, продумал все, что писали Маркс и Энгельс о революции и восстании, — он прочел немало книг и по военному искусству, обдумывая со всех сторон технику военного восстания, организацию его».

По-прежнему изучает он и опыт Парижской коммуны, считая ее образцом тактики и для революционного пролетариата России.

В библиотеке «Общества любителей чтения» Владимир Ильич отыскивает мемуары знаменитого деятеля Коммуны Гюстава-Поля Ключере. Главу из них под заголовком «Об уличной борьбе (Советы генерала Коммуны)» публикует в газете «Вперед». Сопровождая ее не только написанной им биографической справкой о генерале. Но и советом: «...Оригинальные мысли Ключере должны послужить для русского пролетария лишь материалом для самостоятельной, применительно

к нашим условиям, переработки опыта западноевропейских товарищей».

На столе у Ленина лежат листки его «Плана чтения о Коммуне». Того доклада, который недавно здесь, в Женеве, он прочел русской колонии политических эмигрантов. План завершает категорическое утверждение Лениным интернационального характера Коммуны, ее всемирно-исторического значения.

«На плечах Коммуны, — заявляет Владимир Ильич, — стоим мы все в теперешнем движении». В нынешнем безудержном стремлении, развивает он в газете «Вперед» эту мысль, не оставить камня на камне «в старой, проклятой, крепостнически-самодержавной рабьей России». В стремлении создать «новое поколение свободных и смелых людей». Создать «новую республиканскую страну, в которой развернется на просторе наша пролетарская борьба за социализм».

„ПЕРЕД ВСЕЙ РОССИЕЙ И ПЕРЕД ВСЕМ МИРОМ“

Владимир Ильич живет сейчас на улице Давид Дюфур, снимает с семьей небольшую квартиру. И сюда идут к нему листовки, письма, корреспонденции о нарастающей в России революционной волне. Отсюда переписывается он с рядовыми членами партии, партийными работниками о сплочении пролетарских сил для предстоящих боев против самодержавия.

В один из этих весенних дней девятьсот пятого года Ленин набрасывает короткую заметку. В ней спорит он с лидером «экономизма» меньшевиком А. Мартыновым. И хоть опубликуют заметку через двадцать с лишним лет, то, что утверждает Владимир Ильич, его соратникам и противникам известно уже теперь.

Ленин ставит вопрос:

— Суждена ли нам революция типа 1789 или типа 1848 года?

Он подчеркивает — типа.

Ибо нелепа сама мысль, что можно повторить безвозвратно минувшие социально-политические и международные ситуации.

Ленин предостерегает от меньшевистской постановки вопроса, сбивающейся «на хвостистое желание революции поскорее». Он зовет к революции «до полного свержения царского правительства, до республики». А за то, чтобы она стала в России именно такой, говорит и «несравненно больший запас озлобления, революционности в русских низших классах, чем в Германии 1848 г.»; и уверенность, что «пролетарская Европа делает помощь русской монархии со стороны монархов европейских невозможной»; и то, что в России «развитие сознательно-революционных пар-

тий, литературы и организации их во много раз выше, чем в 1789, 1848 и 1871 годах». Иначе говоря, выше, чем и во Франции, в пору Коммуны.

Сейчас, когда Россию охватило революционное пламя, когда даже самые неверующие уверовали в неизбежность ниспровержения самодержавия, Владимир Ильич тоже ссылается на опыт Запада. Но видит в нем совсем не то, чего хотели бы меньшевистские лидеры.

Ленин убежден:

«...После гигантского опыта Европы, после невиданного размаха энергии рабочего класса в России, нам удастся разжечь, как никогда, светильник революционного света перед темной и забитой массой, нам удастся, — благодаря тому, что мы стоим на плечах целого ряда революционных поколений Европы, — осуществить с невиданной еще полнотой все демократические преобразования...»

Убежден Ленин и в том, что революционный пожар в России зажжет и страны Запада. Что вслед за русскими пролетариями подымется и «истомившийся в буржуазной реакции европейский рабочий».

Только с таких позиций, считает Владимир Ильич, следует социал-демократу, если только он не безнадежный филистер, обращаться к революционному прошлому Европы.

В конце апреля Ленин снова оказывается на берегах Темзы. Шестнадцать дней руководит он здесь работами III съезда. Обсуждающего вопросы организационного укрепления партии. Ее тактической линии в начавшейся революции.

Он выступал на съезде уже много раз. Выступает и сегодня, в день первого майского праздника.

Его доклад — об участии социал-демократии во временном революционном правительстве. Да, именно так ставит вопрос Владимир Ильич.

Ленин разбивает в докладе догматические суждения меньшевиков о ситуации, сложившейся в Германии 1848 года, в Италии девятидесятых годов, во Франции 1793 года. Доказывает неправоту меньшевиков, которые ставят в один ряд участие ренегата Мильерана в буржуазно-оппортунистическом правительстве с участием в мелкобуржуазном революционном правительстве выдающегося деятеля Парижской коммуны Луи Эжен Варлена...

Перед отъездом из Лондона с группой делегатов Владимир Ильич отправляется на Хайгетское кладбище. Он тут уже не первый раз. Но, как всегда, с волнением подходит к простой, скромной плите, под которой покоится прах Карла Маркса.

Долго стоит Владимир Ильич с друзьями у могилы. Он не спешит уходить. И иронически напоминает о встретившемся у ворот смотрителе,

который, видимо, волнуется, что русские задержались у могилы неизвестного ему человека.

— Несчастный буржуа не догадывается, — замечает Ленин, — что все нетленное, все бессмертное Маркса и Энгельса мы несем с собой и воплощаем даже в отсталой царской России, к ужасу буржуев всех стран...

Владимир Ильич возвращается в Женеву. И сообщает в Международное социалистическое бюро — постоянный исполнительно-информационный орган II Интернационала о том, что в самое ближайшее время выйдет и будет доставлена брошюра на французском и немецком языках с резолюциями III съезда. Что согласно принятому в Лондоне решению «Искра» перестала быть центральным органом партии и отныне является им еженедельная газета «Пролетарий».

«Будучи, согласно новому уставу, единственным центральным учреждением нашей партии, — информирует Ленин, — ЦК назначит представителя партии в Международное бюро. Мы просим Вас обращаться впредь к представителю ЦК, т. Ульянову: 3, rue de la Colline, Genève».

Коллин совсем рядом со знаменитой «Каружкой», как любовно зовут большевики удаленную от центра, протянувшуюся от площади Рон Пуэн де Пленпале до набережной Арвы улицу, ставшую центром их кипучей деятельности. На Коллин разместились большевистская экспедиция. Сюда, в дом № 3, шла отовсюду корреспонденция для газеты «Вперед». Сюда поступает она сейчас для «Пролетария».

Уже вышел первый номер нового центрального органа партии. В нем — написанное Лениным «Извещение о III съезде Российской социал-демократической рабочей партии», об одобренной первым большевистским съездом стратегии и тактике партии в революции.

«Победив в предстоящей демократической революции, — заявляет Ленин, — мы сделаем этим гигантский шаг вперед к своей социалистической цели, мы сбросим со всей Европы тяжелое ярмо реакционной военной державы и поможем быстрее, решительнее и смелее пойти к социализму нашим братьям, сознательным рабочим всего мира, которые так истомились в буржуазной реакции и духовно оживают теперь при виде успехов революции в России».

Выходит и обещанная Лениным «специальная брошюра». Особым приложением публикует ее «Социалист» — теоретический орган Социалистической партии Франции. На немецком языке выпускает брошюру мюнхенское издательство Г. Бирка и К^о Социал-демократической рабочей партии Германии.

Реформистские лидеры II Интернационала встречают решения III съезда в штыки.

Ленин сообщает Центральному Комитету РСДРП: «...Каутский поместил преподлую статью по поводу немецкого издания „Известия“». И от имени «Пролетария» обращается с «Открытым письмом» в редакцию «Лейпцигер фольксцайтунг» — газеты левого крыла германской социал-демократии. Он намерен предостеречь немецких товарищей:

— Если вы действительно считаете РСДРП братской партией, то не верьте ни единому слову из того, что рассказывают вам так называемые беспристрастные немцы о нашем расколе. Требуйте только документов, подлинных документов. И не забывайте: предубеждение дальше от истины, чем незнание.

Но происходит то же, что и с ответом Владимира Ильича на статью Розы Люксембург, в свое время отвергнутым «Нейе цайт»; «Лейпцигер фольксцайтунг» не публикует «Открытое письмо» Ленина.

«После этого нетрудно понять, — сообщает Владимир Ильич о позиции «Лейпцигер фольксцайтунг» в Брюссель, в секретариат Международного социалистического бюро, — почему многие товарищи в России склонны считать немецкую социал-демократию пристрастной и крайне предубежденной в вопросе о расколе в рядах российской социал-демократии».

Он пишет в Международное социалистическое бюро в конце июля, когда новая волна стачечного движения потрясает Россию. В читальном зале «Общества любителей чтения» на Гранд-рю или в библиотеке Женевского университета на улице Кандоль Владимир Ильич, как и прежде, каждое утро просматривает газеты, журналы различных направлений. Что пишут о русской революции в Англии, Германии, Бельгии, Швейцарии, Италии сейчас, когда принимает она все больший размах? И убеждается: та самая «военная и помещичья реакция» Западной Европы, которая сдерживает борьбу собственного пролетариата, готова сделать теперь все возможное, чтобы погашено было в России революционное пламя, чтобы взяли верх русское самодержавие.

Июньским утром из газет узнает Владимир Ильич о восстании на броненосце «Потемкин Таврический». Почти одновременно из России доставляют письмо С. Гусева, а из Лондона — очередной номер журнала «Экономист» с подробностями о революционных событиях в Одессе.

Ленин приходит к заключению: это — новый, крупный шаг в развитии революционного движения. И тем более настораживает телеграмма, доставленная в редакцию «Пролетария».

Товарищ из Берлина информирует: по сообщению «Берлинер тагеблат», русское правительство обратилось к ряду держав с просьбой отправить их суда «из Константинополя в Одессу, чтобы помочь ему восстановить порядок».

Через день-другой Владимир Ильич сам прочтет о том в «Берлинер тагеблат». И напишет по этому поводу: «Насколько верно это сообщение (опровергаемое некоторыми другими газетами), покажет недалекое будущее. Несомненно одно, что переход „Потемкина“ на сторону восстания сделал первый шаг к превращению русской революции в международную силу...»

Через день-другой подтверждение того, о чем сообщил товарищ из Берлина, найдет Владимир Ильич и на страницах «Таймс», и во «Франкфуртер цайтунг». Но уже сегодня считает он необходимым поставить в известность Международное социалистическое бюро о предпринимаемых царскими властями преступных шагах. Ленин опасается, «как бы не заставили европейские народы играть роль палачей русской свободы». Он призывает Международное социалистическое бюро изыскать пути для предотвращения этой опасности. Опубликовать от имени бюро обращение к рабочим всех стран. Подчеркнув в нем, «что в России происходят не бунты черни, а революция, борьба за свободу».

Призыв Ленина встречает отклик. 17 июля Владимир Ильич публикует в «Пролетарии» воззвание Исполнительного комитета Международного социалистического бюро. Оно обличает не только русский царизм — виновника кровавых зверств в России. Оно клеймит правительства и тех стран, которые равнодушно взирают на эти преступления. «Российский пролетариат, — утверждает в воззвании, — ведет героическую борьбу. Он отдает свой покой и свою жизнь для торжества идеи, и его высокая преданность может служить примером рабочим организациям других стран».

Ленин из Женевы продолжает с волнением следить за тем, как развиваются события. По-прежнему главный источник информации — зарубежные газеты.

«Заграничная печать всех стран и всех партий, — сообщает в „Пролетарии“ Ленин, — полна известиями, телеграммами, статьями по поводу перелома части судов Черноморского флота на сторону русской революции. И в другой своей статье: «Никакие репрессии, никакие частичные победы над революцией не уничтожат значения этого события. Первый шаг сделан. Рубикон перейден. Переход армии на сторону революции запечатлен перед всей Россией и перед всем миром».

ВПЕРЕДИ — ПИТЕР

Нередко высказывает сейчас Владимир Ильич сожаление, что «приходится писать все еще из проклятого далека, из постылой эмигрантской „заграницы“». В письме, ушедшем в Петербург, признает, что «значение заграничи теперь ежечасно падает, и это неминуемо». Сообщает: «Надеемся скоро вернуться — к этому идет дело с поразительной быстротой».

Об этих днях Надежда Константиновна вспоминает:

«В начале октября возник вопрос о поездке Ильича в Финляндию, где предполагалось свидание с ЦК, но развивавшиеся события поставили вопрос иначе — Владимир Ильич собрался ехать в Россию».

Все мысли Ленина уже в Питере. И все же до последнего дня пребывания в Швейцарии не ослабевает он установившихся связей с международной социал-демократией. Как и прежде, проявляет живейший интерес к ее делам...

Ранее 7 октября

Владимир Ильич сообщил в книге «Две тактики социал-демократии в демократической революции», что группой сотрудников «Пролетария» готовится к изданию брошюра Ф. Энгельса «Бакунисты за работой (Записки о восстании в Испании летом 1873 г.)». Теперь Ленин редактирует русский перевод статьи. Он придает ей большое значение, ибо она позволит разоблачить «увертки», «несложные хитрости» «путаников новой „Искры“» и, в частности, «путаника 1-го ранга» Мартынова.

9 октября

По поручению Ленина Крупская пишет в Париж Лейтейзену. Она информирует его: в Петербурге в ближайшие дни начнет выходить легальная газета «Новая жизнь». От имени ее редакции Надежда Константиновна просит Лейтейзена статью постоянным корреспондентом газеты во Франции. И писать, разумеется, о рабочем движении, о делах французских социалистов.

18 октября

Ленин информирует Центральный Комитет РСДРП: от Международного социалистического бюро им получено письмо Э. Вальяна — одного из вождей левого крыла II Интернационала. В письме — предложения Социалистической рабочей партии Франции об участии социалистических партий заинтересованных стран в мероприятиях, намеченных II Интернационалом, по предупреждению возникновения войны. Владимир Ильич находит эти предложения несколько наивными, «так как единственно, что может повлиять в случае конфликта между правительствами, — это диктатура пролетариата».

Позднее 23 октября

Из Берлина пишет В. Воровский. Он сообщает Владимиру Ильичу о своих беседах с Каутским и Люксембург. Излагает их точку зрения на Государственную думу, на будущее временное революционное правительство.

Начало ноября

Из «Тан» делает Владимир Ильич выписки о предложенной Вильгельмом II русскому царю военной помощи в подавлении вооруженного восстания кронштадтских матросов. О том, что германские власти принимают меры, чтобы не допустить на границе Верхней Силезии влияния восставших польских шахтеров на немецких.

4 ноября

Ленин пишет в Брюссель, К. Гюисмансу — секретарю Международного социалистического бюро. Он сообщает, что назначен представителем в бюро от российской социал-демократии. Новые возможности открываются теперь перед ним в отстаивании принципов революционного марксизма.

И так изо дня в день...

Ленин покидает Женеву ранним ноябрьским утром.

Поезд пересекает швейцарскую границу. Потом — всю Германию — с юга на север. Владимир Ильич пересаживается на пароход. Снова — в поезд. И прибывает в Стокгольм, где бывать ему еще не доводилось, но с которым связан он давно...

Еще весной 1901 года писал сюда Ленин. Письмо адресовано было Карлу Брантингу — лидеру Социал-демократической партии Швеции. Владимир Ильич просил его содействовать сотрудничеству в «Искре». А вскоре стал Стокгольм для Ленина одним из надежных транзитных пунктов. Тех, через которые тайком шла в Россию корреспонденция. Переправлялась «Искра». Доставлялась искровская литература.

Много воды утекло с того времени. Но хорошо помнит Ленин хранившиеся у Надежды Константиновны тетради. Те, в которых регистрировала она поступающую в «Искру» корреспонденцию. Нередко обращался к этим тетрадям и сам Владимир Ильич. И среди других городов в графе «Откуда» видел вписанное рукой Надежды Константиновны — «Стокгольм». Через Стокгольм, при содействии шведов, доставляли в редакцию листовки, отпечатанные в Петербурге, Курске, Иркутске, на Урале, корреспонденции из Петербурга, Кронштадта, Златоуста, Чернигова, Саратова, Баку...

Итак, слякотным осенним утром, в вагоне второго класса, Ленин приезжает в город, в котором его знают. И где, без сомнения, ждут.

Крупская сообщает:

«Было условлено, что в Стокгольм придет человек и привезет для Вла-

димира Ильича документы на чужое имя, с которыми он мог бы переехать через границу и поселиться в Питере. Человек, однако, не ехал и не ехал, и Ильичу приходилось сидеть и ждать у моря погоды, в то время как в России революционные события принимали все более и более широкий размах. Две недели просидел он в Стокгольме...»

Целые две недели! Когда до России уже рукой подать!

Но дни ожидания он не теряет зря.

Соблюдая конспирацию, Владимир Ильич встречается с левыми социал-демократами — младосоциалистами. С теми, кто подвергает резкой критике оппортунистическое руководство своей партии. Кто призывает отказаться от реформистской политики, перейти к активным действиям.

Знакомится он и с рабочим движением в стране, где под влиянием русской революции, почти до самого его приезда, в течение полугода, бастовали металлисты. Знакомится с борьбой трудящихся Норвегии за национальное свое освобождение от шведской зависимости, завершившейся Карлстадским соглашением. Когда впоследствии обратится Ленин к этой странице скандинавской истории, с похвалой отзовется он о позиции, занятой шведскими пролетариями. Даст высокую оценку тесному союзу норвежских и шведских рабочих. Отметит, что «их полная товарищеская классовая солидарность выигрывала от этого признания шведскими рабочими права норвежцев на отделение»...

В Женеве, до самого дня отъезда, швейцарские, английские, германские, бельгийские газеты оставались главным источником информации Ленина о российских делах. Он не лишился этого источника и здесь, в Стокгольме, куда те же газеты идут в читальный зал Королевской библиотеки.

Не новости ли из России побуждают его и тут взяться за перо? Он пишет статью «Наши задачи и Совет рабочих депутатов (Письмо в редакцию)». Через шведских товарищей отправляет рукопись в Питер, в редакцию «Новой жизни».

Наонец, из Финляндии за Владимиром Ильичем прибывает верный человек, студент Гельсингфорского университета Уло Кастрен. Принадлежит он к партии «активистов», выступающих за активное сопротивление царизму.

В Финляндии, как и в Швеции, Владимир Ильич впервые.

Но и с финнами связи у него давние.

Едва приступив к изданию «Искры», Ленин принял меры, «чтобы ознакомить русских вообще, и русских рабочих в особенности, с политическим положением в Финляндии и угнетением Финляндии, равно как и с упорной борьбой финнов против деспотизма». Писал о том и сам — и в Мюнхене, и в Лондоне. За положением в Финляндии следил и тогда, когда редактировал газету «Вперед». Когда вслед за ней руководил «Пролетарием».

Он знает из поступающих к нему писем, статей, корреспонденций: весь этот — девятьсот пятый год бурлила Финляндия. И в Гельсингфорсе все говорит сейчас Ленину о революционном накале.

Уло Кастрен ведет Владимира Ильича на Виронкату. Здесь, в старинном каменном доме, живет брат Улы — Гуннар, доцент университета, тоже «активист». Тут, на его квартире, останавливается Владимир Ильич. И сюда поздно вечером приходит к нему Владимир Мартынович Смирнов, живущий в Гельсингфорсе давно, откуда писавший еще в «Искру».

Ленин отправляется со Смирновым в одну из гостиниц, где собрались деятели рабочего движения. Они обсуждают итоги всеобщей забастовки финляндских трудящихся.

Среди тех, кого застает Ленин, — секретарь партии Юрье Сирола. Мы узнаем из его записок:

«Со Смирновым был незнакомый человек, оказавшийся Лениным... Я с ним беседовал довольно долго. Говорили о забастовке, о социал-демократической партии и вообще о рабочем движении в Финляндии. Подробности разговора из памяти исчезли, но одно впечатление от беседы с ним осталось навсегда. Я чувствовал, что в разговоре с этим человеком невозможно обойтись одними фразами. Он так ставил вопросы и так смотрел на собеседника, что ему приходилось рассказывать все как есть».

Не с одним Сиролой — этим истинным марксистом беседует в гостинице Ленин. И то, что слышит он от некоторых других руководителей рабочего движения, огорчает Владимира Ильича:

— Не настоящие это социал-демократы...

Позади остаются три прожитых в Гельсингфорсе дня.

И снова в поезде Ленин.

Продолжение следует

Лина Глебова

В ПОЕЗДКЕ И ДОМА

Дневник журналистки

Смирновского я отыскала в сводчатой комнате каменного, старинной архитектуры здания музея, который своими многими прохладными скромными помещениями, длинными хозяйственными постройками, расположенными вокруг водоема с колодцами, напомнил мне древний караван-сарай. Смирновский сидел за столом у окна, в окно заглядывали гроздь позднех мелких роз, и вся жизнь этого человека, столь беззаветно, без остатка отданная истории Дархандарьи, отраженно высвечивалась в том уважительном внимании, с каким слушали его, говорили с ним сотрудники музея.

Я собралась было прислушаться... но тут в единое мгновение все вокруг перестало для меня существовать. Потому что я увидела Будду. Я сознаю, что это благодарное занятие — описывать произведение скульптурного искусства. Не буду и пытаться, скажу только, как много вечно живого, бессмертного разом обрушила на меня эта небольшая, поменьше человеческого роста, скульптура, провалившаяся где-то там в песке и глине многие сотни лет и только-только вновь обратившая лицо к солнцу, — вон еще даже песчинки и комочки глины не все счищены. Поразительным было ощущение проплывших столетий, которые ничего не смогли отнять у мудрой силы искусства, затаенной в этом

спокойно улыбающемся, прекрасном лице.

Да, все было совершенным в этой работе неизвестного мастера, давным-давно сгинувшего в веках, — и ткань, окутывающая Будду, и два бодхисаттвы по сторонам, и крона дерева, осеняющая всех троих. Этот нежный надлом губ, эти четкие овалы грустных век, припухших на глаза, глядящие тебе в душу... Казалось, лицо дышит, меняется... И становилось несомненно ясным, что недавняя эта археологическая находка, сейчас скромно покоящаяся на стуле в углу кабинета Смирновского, есть истинное произведение искусства.

— Эффектная находка, — снисходительно небрежно оторвал меня от созерцания Смирновский. — Типичный образец слияния греко-римской, индийской и местной традиции. Таких Будд здесь было немало...

— Так где же вы нашли его? — спросила я с некоторым недовольством: было жаль отрываться от Будды, и не хотелось считать скульптуру всего лишь одной из потока.

— Здесь ее нашли, под Термезом. Храмовый комплекс Фаяз-тепе. — Смирновский отвечал все так же сдержанно и снисходительно, но тут я увидела его сияющие глаза, уловила затаенную дрожь в голосе. Снисходительная небрежность была, оказывается, просто-напросто не очень удачной маскировкой ликующего восхищения первооткрывателя! — Наш Будда лежал у стены, лицом книзу, это его,

Окончание. См. «Звезда», 1980, № 1.

очевидно, и спасло. Стены комнаты снизу доверху были покрыты росписью. Краски удивительной яркости и красоты. Они сохранялись тысячелетиями в земле, во мраке и сырости, но на солнечном свете очень быстро пропадали.

— Так сколько же лет этому Будде?

— Около двух тысяч. Может быть, чуть меньше. Буддийские монастыри появились здесь во времена расцвета Кушанской Бактрии.

— Две тысячи лет назад? А Термез в это время уже был?

— Да, конечно, но не современный, а древний. Он стоял чуть ниже по Амударье. В те кушанские времена Термез уже был всемирно известным городом, здесь пересекались великие торговые пути. По праздничным дням шум Термеза был будто бы слышен в Балхе, за сотню километров.

— Так сколько же Термезу лет всего?

— Этого вам никто не скажет. Здесь существовали древние протогорода еще за два тысячелетия до новой эры. В древней Бактрии в этих местах известен город Гермата или Термита. Но при Александре Македонском он уже был доподлинно, возле него полководец поставил свою Александрию Терму... Давайте-ка я покажу вам кое-что. — И, любовно выбрав ключ в связке, Смирновский открыл дверь в одно из подсобных помещений. Здесь на широких полках лежали бережно, как новорожденные младенцы, снабженные бирками белые изогнутые женские руки, идеально мускулистые мужские торсы, обломки пилястров и капителей колонн, амфоры, каменные лиры...

Мужественное лицо Смирновского преобразила трепетная нежность.

— Каждому предмету здесь более двух тысяч лет, — говорил он, благоговейно держа на весу то руку мальчика-гирляндоносца из свиты Диониса, то лик Артемиды-Анахиты. — И все это — Греко-Бактрия. — Смирновский приподнимал и осторожно ставил на место кубки и вазы, светильники и статуэтки, черепки с орнаментами и надписями. — А в соседнем помещении, — Смирновский снова взялся за ключи, — уже Кушанская Бактрия. Я покажу вам кое-что из Халчаян. Великолепный дворец! Первый дворец царя Герая, отец которого был еще кочевником. Да и сам Герай, вероятно, родился на войлоках в кочевом шатре... Именно при кушанах Бактрия достигла величия, какого еще не знала никогда. В Кушанской Бактрии объединились не только Северо-Западная Индия и земли до Эритрейского моря, но впервые в истории среднеазиатский народ собрал в едином государстве почти всю Среднюю Азию. Именно при кушанах пролегал

надежный торговый путь через бактрийские города от берегов Хуанхэ до стен Рима. И это кушанские бактрийцы еще за пятнадцать столетий до Васко да Гамы проложили по волнам океана морской путь из Индии в Египетскую Александрию. Мощь Кушанской Бактрии, великой империи, соперницы Рима и Парфии, крепла, росли ее новые города, которые возводили архитекторы, знающие начертательную геометрию и владеющие сложными приборами. Но...

Смирновский выбрал в связке третий ключ.

— Пройдемте в следующую комнату — здесь у меня уже страна эфталитов. Эти воинственные кочевники с севера завоевали кушан. И вот ведь что интересно, вы обратите внимание: эфталиты шли тем самым путем, по которому прошли некогда юэжжи-кушаны. Эфталиты, как и юэжжи-кушаны, поклонялись огню и солнцу, одевались в такие же долгополые кафтаны и высокие сапоги, спали в таких же юртах. Вполне вероятно, что эфталиты были кочевыми потомками тех самых юэжжей, что пятьсот лет назад сокрушили Греко-Бактрию. Многие десятилетия они стояли у границ империи, а затем вдруг перехлестнули границы и легко затопили ее тысячу городов, окруженных высокими и широкими стенами, глубокими рвами... Точно так же, как спустя двести лет и эфталиты сами были завоеваны кочевыми тюрками...

И чем больше я слушаю Смирновского, чем дальше увлекает меня его рассказ, тем отчетливее ощущаю, как настойчиво возникает во мне один вопрос: почему в развитии высоких и могучих древних цивилизаций неизбежно наступал некий момент, когда неграмотные, более примитивные, казались бы, кочевники становились все же сильнее и побеждали? Не раньше, а именно в некий момент? Что происходило внутри цивилизации? Смирновский легко понимает мой недоуменный вопрос и готовно откликается:

— Представьте себе, что если мы свяжем крушение древних царств с распадом семьи, или, точнее, родовой семейной группы, это не будет такой уж фантастической гипотезой. Психология человека патриархально-родового строя совершенно иная, чем горожанина. В патриархальной группе у человека почти отсутствует принцип личности, человек не выделяет себя из родственной ячейки, интересы рода и интересы индивидуума сливаются — они одно. Умереть за интересы рода — естественно и органично, невозможно не умереть, если надо, это чувство неосознанное и непоколебимое, как любовь матери к ребенку. Неписанный, даже не сформулированный свод правил, нравственный за-

кон, воспринимается как внутренний долг каждого. Нарушитель внутреннего долга — бесовестный, не признающий правил морали человек — исторгается из общества, что равносильно смерти...

Этот разговор продолжался уже ближе к вечеру. Мы сидели с Виктором Адамовичем на холме над Аму-дарьей, вблизи недавно вскрытого пещерного буддийского монастыря. Внизу под холмами раскинулось блистающее зеркало великой реки, за рекой в отдалении крутыми волнами разбегались уже зарубежные предгорья, а вокруг нас лежала усыпанная пестрыми черепками дикая и пустынная дархандарьинская степь. Ветер гнал по ней лесовую пыль, пыль оседала в моих волосах. Ветер пригибал к земле жесткую, сухую траву, она гнулась с тревожным, шелестящим, как шепот, шуршанием. И мне подумалось вдруг: точно так же гнал ветер лесовую пыль, пригибал к земле шелестящую траву и тысячу лет назад, и две, и три тысячи... И во времена Заратустры, и в Греко-Бактрии, и при кушанах... Всегда, когда было ему где разгуляться. И во все стороны разбегаются по степи незыблемые колеи древних дорог, русла древних каналов, они не видны сейчас здесь, но я видела их на рассвете, подлетая к Термезу, отчетливо видела под крылом. Четкие и в то же время нереальные, как марсианские каналы в старых телескопах, колеи и русла пересекали бледную утреннюю степь...

— Да, — продолжал Смирновский, — в родовом обществе нет закона, нет права, отдельного от нравственно-этического. Даже религия в патриархально-родовой группе не вторгается в область традиционных нравственных ценностей, они настолько прочны, что не нуждаются ни в какой поддержке. Эти традиционные нравственные установления сохранялись тысячелетия лишь потому, что неизменным оставался весь жизненный уклад племен. И в первую очередь это касалось семейных норм: уважение к старшим, ответственность за младших, привычка полагаться на помощь родных и готовность оказать родным поддержку, сознание, что человек всем обязан семье, страх отчуждения от нее — все это было непоколебимо. Добром было все, что служит благосостоянию общины, злом — то, что общине вредит.

— А что же происходило в оседлых цивилизациях?

— Видите ли, в этих местах уже за две тысячи лет до новой эры процветала оседлая культура бронзового века, культура исключительного благосостояния и богатства верхушки раннеклассового общества. После походов Александра Македонского в Бактрии начался бурный рост городов,

вырывающих человека из естественного окружения общины. Городов, с их повседневной торопливостью, быстрой сменой впечатлений, разрывом родственных связей. То есть начался своего рода психологический кризис, который выдерживали далеко не все. И в Кушанский Бактрии продолжалось воздействие города на деревню. Стандартные наборы посуды, кубки, следы буддизма — все указывает на своего рода колонизацию деревни городом. Теперь уже и в деревне главная роль стала принадлежать индивидуальной семье. Резко обозначились различия в благосостоянии богатых и бедных, начали искажаться понятия справедливости, совести, внутреннего долга, взаимной поддержки, присутствующие патриархальной общине. Им на смену пришли идеалы резко субъективистские: эгоизм, карьеризм, жажда обогащения. Привычный ритм, устоявшиеся нормы быта и поведения нарушены уже не только в городе, но и в деревне.

Виктор Адамович говорил так, будто только что сам побывал в тех далеких временах.

— Исключительной пышностью, — продолжал он, — отличался быт царей. Обильно пили на царских пирах под сладкую музыку рабынь-музыкантш. Пили правители городов и областей в своих дворцах, функционирующих по образу и подобию царских. Им следовал каждый, как мог: пили в подвальчиках-кабачках и в чайханах, пили в банях и пили в мастерских. Даже стража напивалась в сторожевых башнях... Знаете, в каждой башне, какую ни вскрывали, мы находили столько вместительных кубков, что только руками разводили: «Пропили Бактрию!» Трудно судить, как это влияло на семейные и нравственные устои, но вряд ли хорошо... Мельче становилось зерно в колосе, грубее орнамент...

— Даже так?

— Да, это именно так.

Прозорливые правители всегда, правда, заботились о поддержании семьи как основной ячейки общества. Это делал и Хаммурапи в своих знаменитых законах, это делали и римляне, поспешившие в эпоху начинающегося упадка принять ряд законов, ограничивающих служебную карьеру бездетным холостякам. Но если эти законы выпадали из общего стиля, то в условиях нравственного упадка и моральной деградации они были мало эффективны.

Мы уже спускались с холма, когда Виктор Адамович сказал:

— Оседлая цивилизация... Казалось бы, даже ее расцвет... А возможности страны, может быть, даже своего рода психологический потенциал, оказывались исчерпаны. Древняя цивилиза-

ция как общественная система отказывала во всех звеньях, работала на холостом ходу...

Меня не было в «Пахтаабаде» три дня. Но за три дня переменялось многое. Усманов явно сдает. Так что Звонарев, уполномоченный из района, наполовину принял на себя голосовую нагрузку Усманова. Тем более, что теперь «рабочее настроение» формировалось в совхозе дважды в день: не только вечером на наряде, но и по утрам, на экстренных совещаниях.

— Осталось двенадцать процентов! — призывает Усманов. — Чтобы быть первыми, надо напрячь все силы! Подбор теперь все решает! Надо подобрать с земли до последней пушинки! Только первым сортом! Ни одного человека в конторе! Ни одного за калиткой!

— Я бы механизаторов на поля послал! И ремонтников! Пусть понагибаются, поработают руками! — дополняет и развивает Звонарев. — Я знаю, идут разговоры, что хлопка много, времени достаточно. Ваш совхоз должен быть на высоте! Отрапортовать досрочно — вот что значит быть на высоте! Весь район идет к вам на подбор. Мы в районе закрываем базар — никто не пострадает, кроме спекулянтов! Закроем и хлебозавод — ради хлопка можно пожить несколько дней без хлеба! Закроем магазины, закроем консервный завод и ремзавод, автобазу... Звонили, что останавливаются стройки? Пусть останавливаются! Звонили, что гниют фрукты? Пусть гниют, хлопок этого стоит! Экономист, плати за килограмм подбора по 10 копеек, будут лучше собирать, для некоторых и твои копейки кое-что значат.

— По десять не могу, — медленно и осторожно отвечает Каримов. — Могу по пять копеек с половиной.

— Да возьми ты эти полкопейки своим детям на галошки!

— Платить привлеченным больше не из чего, считайте сами.

— Ну до чего же ты жадный! — наступают Усманов и Звонарев. — Зачем не соглашаешься! Смять тебя надо! Ведь не из своего кармана!

Я медленно спустилась по лестнице, села на скамейку у доски показателя, ощущая в душе и в мыслях какую-то невнятную слабость... Нет, что-то нехорошее опасно нарастало в душе. И этот острый холодок по спине...

Вдруг вспомнила: письмо! Еще утром почтальон мне отдал письмо! Торопясь, отыскала в сумочке конверт, разорвала, увидела убористый почерк мужа, теплая радость обвила сердце...

«Даша живет полной жизнью, — пишет муж:» (Ух, гора с плеч!) — Уже сказываются первые результаты жиз-

ни в коллективе. По вечерам она спокойно занимается сама с собой. Общениа хватает в садике. Но вот еще деталь: когда я ей что-нибудь поручаю, она теперь меня спрашивает: „Папа, как мне твое поручение выполнять — честно или нечестно?“»

И здесь? О, господи! Да откуда же это у пятилетних детей? Уже в таком нежном возрасте ребенок разбирается, что дело можно выполнить добросовестно, а можно только делать вид, что добросовестно выполняешь!

Кто-то мягко тронул мое плечо. Подняла глаза: Пак! Главный инженер! Его доброе, внимательное лицо, полное готового желания помочь.

— Вы огорчены? Напрасно. Все идет своим чередом. Сегодня машинам удалось хорошо поработать. Завтра будет готов хлопок на третьем отделении. А в конце недели раскроется курак. Пустим куракоуборку и закончим. Согласно агротехническим срокам этого хлопка. Не раньше, не позже, не быстрее, не медленнее.

Я смотрю на сдержанное, дружески проникновенное лицо Пака и вновь ощущаю: я не понимаю чего-то самого главного в жизни этого совхоза.

И все-таки мне довелось коснуться и подлинных человеческих взаимоотношений, и действительной истории «Пахтаабада». Хотя случилось это тогда, когда уже не только надеяться, но и думать о таком перестала.

В то утро в горах выпал снег. И, выйдя в сад, я увидела, что горы побелели. Они казались совсем близкими, их крутые бока будто повисли над самой головой. И когда влажная прохлада коснулась моего лица, я поняла, как долго я здесь живу. Пора, пора уезжать. Но зато я дожидка до того дня, когда совхоз выполнил план. Все сто процентов! Увижу сегодня праздник, поздравления, награды лучшим. И Каримов наконец освободится, и теперь-то у него найдется время, чтоб составить для меня эту тетрадь со всеми экономическими данными по совхозу.

С такими мыслями я подходила к конторе, поднималась вверх. И вдруг остановилась. Нет, я даже не вошла в комнату. Из-за приоткрытой двери доносились все те же знакомые голоса, знакомые слова! «Вы с вагцем планом, знаете, где у меня будете! На карачках будете ползать! Или вы сдвигайте двести тонн чистого хлопка сегодня, или вас... Или вам придется пожалеть о своей бездеятельности!»

Я стояла, прислонясь к стене, и чувствовала, как опять то нехорошее, опасное возбуждение поднимается в груди. Я старалась смирить его, но снова не хватало воздуха и вновь трепыхалось сердце. Так я почтала у стенки, стремясь расслабиться, пы-

таясь дышать глубоко, — наконец смогла спуститься вниз

Но праздник состоялся. Я не обманулась в своих предположениях. В этом-то и заключалась загвоздка!

Вернувшись в гостиницу, я увидела несомненное его приближение в отмытых, прозрачных окнах гостиной, в свежих портьерах, в белой скатерти на столе. А от кухни, где сегодня snowал в напряжении не один повар, а еще и комendant и какие-то старухи, струились запахи! Ну и аромат! Чистейшей, кристальнейшей воды праздничный! Несомненно, ждали гостей.

Но гости приехали позже. А в обед за праздничный стол сели привычной компанией. Усманов, Звонарев, Каримов и я. И уже установилось почетно в центре огромное блюдо праздничного плова с целыми головками чеснока, и уже заблестели вокруг блюда нарядные горлышки бутылок.

И мы выпили. И отведали дымящийся плов. И сразу на душе стало легче. Совсем легко. Свободно. Раскованно. И какие-то особые дружеские чувства объединили нас всех.

— Уезжать? — возмущается Звонарев. — Ну, это мы поглядим! Вы еще в горы не ездили! К водопаду!

— Да, да, — подхватывает Усманов, — без этого вас не отпустим! А воскресный базар в Денау хотела? Ну, значит вы ничего не видели!

Ей-богу, я хотела и в горы, и к водопаду. И на базар в Денау хотела. И никого я не хотела обижать. И как это случилось, что шагнула за черту, что переступила нормы вежливости и такта, которые обязан соблюдать гость? Может быть, дело в рюмке, выпитой мною? Вместе выпили по рюмке, и вот Усманов и Звонарев стали проще, доступней, и какое-то ощутили мы все дружеское единение. И уж слишком разительным было ощущение контраста между утренним разносом и этим пловом. Оно ни на миг не оставляло меня. Но самым главным, наверно, все-таки было другое: мое насущное желание понять. Понять, постичь Усманова ради самого Усманова. Ведь, собственно, мне нужно было совсем немного. Мне было бы достаточно, если б он сам был недоволен. Не только подчиненными своими, но и собой. Чтоб искал он выход, чтоб видел перспективу, — и тогда бы я могла считать его и прогрессивным, и положительным. Вот потому-то и вырвалось то, что я сказала.

— Почему? Объясните мне, почему вы так ругаете людей?! Людей, ни в чем не повинных?

Усманов поперхнулся пловом. Он глянул на меня оторопело.

— Что вы сказали? — переспросил Звонарев. У него было такое лицо, словно бы с размаху, с разбегу толкнулся на столб.

— Да, да, что вы сказали? — точно так же переспросил Усманов. Так переспросил, что я поняла: задавать этот вопрос совсем-совсем было не нужно. Но отступать некуда, и я повторила.

— Потому что это такой народ! — в сердцах выкрикнул Усманов. — Потому что с ними нельзя по-другому...

— Ну, я бы этого не сказала, — уже осторожно, но твердо выговорила я. — Я такого не замечала.

— Да что вы можете заметить! — в негодовании передернул плечами Усманов. — Вы же здесь слишком мало живете!

— Да, мало. Но свежий глаз тоже кое-что значит, — тихо ответила я.

— Свежий глаз, конечно, кое-что значит, — так же тихо повторил Усманов и посмотрел на меня. И что-то такое пристальное, расчетливое, холодное совершенно спокойно глянуло на меня из маленьких спрятанных глазок.

Но я уже не могла остановиться. Меня несло.

— Да, вы правы, я человек новый, и я вообще мало знакома с сельским хозяйством. Но я убеждена, что и здесь, как и в промышленности, все эти крики, разгоны, нагоняи нелепы, бесполезны и даже вредны. А ваши привлеченные — это же явное разбазаривание средств и кадров.

— Я вам объясню, — сдержанно ответил Звонарев, — суть в следующем — важен каждый экономленый день уборки. А главное — нам нужен весь хлопок любой ценой. Нам нужно все до последней пушинки. И первый сорт, и четвертый сорт. Да, и четвертый. Он идет на матрасы и подушки, вы почитайте, почитайте литературу. Даже на парашюты идет.

Четвертый сорт — на парашюты! Они меня совсем за дуру принимают!

— Нужно подходить с государственной точки зрения. А государству нужно все. Любой ценой, — договорил Звонарев.

— Собрать любой ценой? Сдать первыми любой ценой? Это вы называете государственным подходом? Да ваша себестоимость, она всем нам стоимость. И рубашка, которая должна стоять полтинник, будет стоять шесть рублей? А потери моральные? И люди недаром сопротивляются, уходят из совхоза.

— А вот если будут законы, строгие трудовые законы, какие в войну были, тогда они не будут бегать, — сказал Усманов.

На этот раз пловом подавилась я. Впрочем, удивилась я не так уж сильно. Чего-то такого я уже вполне ожидала от Усманова.

— Ну, знаете! — ответила я. — К счастью, ваши мечты не осуществятся. Не так надо относиться к людям. А вот у вас, несмотря на хорошие заработки, людей не хватает.

Впрочем, не представляю, как вы можете обеспечить хорошие заработки с этими расходами.

— Ничего, — сказал Усманов, — мы заплатим. Мы сколько угодно заплатим. Не из своего кармана берем, из одного берем...

— Да как же не из своего? — наконец не выдержала я. — Откуда же, как не из своего? Ведь вы же на хозрасчете!

— Да, мы на хозрасчете, — повторил Усманов. И снова что-то прикидывающее, холодное выглянуло из его глаз и словно бы измерило меня всю.

— Нет, не понимаю, — закончила я, сникнув от сознания бессилия и чувства, что начисто утратила дар убеждать. — Не понимаю, как у вас с таким отношением к рублю может сохраняться чуть ли не самая низкая в стране себестоимость и такая высокая рентабельность.

Усманов и Звонарев переглянулись. Звонарев посмотрел на меня удивленно, Усманов подозрительно. Все обернулись к Каримову. Тот сидел молча, спокойно ел.

— Вы что, изучали экономику совхоза? — резко спросил Звонарев.

— Пока еще нет. У Раима Каримовича не было времени. Он мне цифры не дал. Но дать их недолго.

— Не дал, — подтвердил Каримов. Оторвав взгляд от тарелки, оглядел присутствующих и улыбнулся. Улыбкой Жерара Филипа. — Не дал ни одной цифры. Ни единой. — Он сказал это с гордостью. С удовольствием. Будто хвалясь и ожидая одобрения. Да-да, именно так сказал. Я сама себе не верила. Я во все глаза глядела и повторяла себе, что ослышалась. Но нет, эти слова, эта горделивая интонация так и стояли у меня в ушах. И я видела одобрение в маленьких, торжествующе прищуренных глазах Усманова.

А между тем у веранды со скрежетом тормозили машины, и первые гости входили в холл. Те, что, узнав о свершившемся, приехали поздравлять. И вскоре вокруг наливали, ужеплыли новые блюда с пловом, пенилось шампанское. Каримов обходил стол, следя, чтоб у всех были полны и рюмки и тарелки. Усманов увлеченно, азартно развлекал гостей.

А я? У меня словно бы отобрали на этот праздник билет. Я ушла.

Бывает же так: одна оброненная фраза — и не только сам человек, но целая цепочка поступков, событий, взаимоотношений предстают совсем в другом свете.

Я сидела одна в своей комнате, и под стук бильярдных шаров, под взрывы хохота, доносившиеся сквозь стены, все мучительней, все нестерпимей во мне становилось ощущение отгороженности, отделенности, непол-

ноценности своей и ненужности. Господи, до чего все не так в моей жизни, не так, как хочу! Минуты капали и капали, как вода из крана, а обида не ослабевала, она лишь нарастала во мне, становясь нестерпимой, ослепляя как яркий, неостановимо накаляющийся свет.

План любой ценой. Невзирая ни на что! Наплевав на все экономические и человеческие законы и взаимоотношения! Парашюты из четвертого сорта, черт бы их побрал! Но нет, не это было причиной моих мук. Это бы я пережила. Все обстояло куда хуже. Я была уязвлена и оскорблена, как может быть уязвлен и оскорблен человек только в самой чистой и преданной любви. Да как же, как не любовью, можно было назвать то чувство, которым я прилепилась к «Пахтабаду», ко всему, что открыла и постигла здесь, в чем видела залог каких-то перемен в собственной жизни? И от всего этого, дорогого мне в «Пахтабаде», неотделим был Каримов. А он, оказывается, обманывал меня. Я ему доверяла. И он это знал. Обмануть доверие — подлость. Даже если не своей волей, даже если не сам по себе, — все равно. Подлость, которой нет прощения. Ах, как я придумала его! И это единомыслие. И взаимопонимание. И то, что он угадывает мои мысли. Предупреждает их. А он просто-напросто водил меня за нос. Прimitивнейшим образом. Тянул время. Он и не собирался давать мне никаких экономических данных. И так ловко он скрыл от меня, что экономика в совхозе совсем не хороша, совсем не благополучна. Так ловко, так чисто. От сознания обмана меня выворачивало наизнанку, темнело в глазах.

И тут я услышала знакомые шаги в коридоре, мягкие и одновременно решительные. В дверь постучали. Нет, я не могла его видеть. Не хотела, а не могла. Но дверь открывалась, и я заставила себя поднять голову.

Я увидела лицо Каримова в дверях. Словно в тумане. Словно в первый раз. Да, это было красивое лицо. Красивое такой высокой, такой светлой, такой страдающей красотой, что за одно это ему можно было простить многое. Простить что угодно. Но не обман.

Я смотрела в это лицо в упор, мгновениями почти его не различая сквозь застилающий глаза туман, смотрела не отрываясь, и вдруг увидела, как он, не выходя из-под моего взгляда, словно что-то читая в нем, стал медленно пятиться назад, в проем двери. И вдруг разом, словно опомнившись, остановился. Он шагнул ко мне, глянул мне прямо в глаза — и туман рассеялся. Я перевела дыхание, он заговорил.

— Зачем вы их об этом спрашиваете? Зачем вы начали этот разговор?

Мне снова стало трудно. Но уже по-другому. Словно вина какой-то частью с его плеч перелегла на мои. В самом деле, зачем я это сделала?

— Зачем? Мне нужно было понять, — с трудом разлепив губы, отвела я.

— Вы как будто с луны свалились. Знаете, у нас есть такая притча. Лиса, волк и собака поспорили, кто первым к назначенному месту придет. Лиса пришла. Волк пришел. А собаки все нет. Лиса и волк уже ждть переждали, дома построили, семьями обзавелись, а собаки все нет. Наконец пришла собака. «Ты что ж так долго?» — ее спрашивают. «А я, — отвечает, — шла прямым путем».

Он замолчал. И я молчала. Наконец смысл притчи дошел до меня. И чувство вины пропало.

— Ну что ж, — сказала я, — значит, задуманной книжки не будет. Я не могу в том, что вижу, разобраться своим скудным, прямым умом. А обходными путями я не умею. Не приучена, не искусшена, не та у меня нервная система. Да, пока я думала, что трудности роста на то и существуют, чтоб их преодолевать, — это было одно. Но если, оказывается, все здесь идет, как надо, что все отлично и не нужно никаких перемен, то тогда я имею право и на кощунственное сомнение. Думаю, что прислали меня не туда, что лучший совхоз не тот, где давным-давно вершин достигли и теперь обеспокоены только тем, чтоб с этих вершин не сползти, а какой-то другой, в котором еще только ищут, еще только движутся вверх. Честным путем, без обмана. Да-да, не будет у меня никакой книги о «Пахтаабаде», как мне этого ни жаль, но что же делать — и не такое теряла. Не привыкать... Что же вы молчите, Раим, возрадите хоть что-нибудь. Скажите, что я не права, что я могу написать хотя бы о вас... А что я могу написать о вас? Подскажите! Что вы официант, а не экономист? Что вы умеете подавать плов и разливать вино в бокалы?

— Я здесь хозяин, — сказал он. — Уедут гости, уедете вы, и я — в поле.

— Нет, Раим, — рассмеялась я, — вы не хозяин. Вы подневольный человек. Вы подаете коньяк и придвигаете тарелки. И еще — вы лжете. Все, что вы мне говорили, ложь. Впрочем, это не имеет значения. Важно другое — то, что в вас нет подлинной любви ни к чему. А меня, наивную, глупую бабу, обмануло ваше лицо. Но теперь-то я знаю, лицо ваше — маска. Одна лишь маска.

Он слушал меня спокойно. Ни мускул не дрогнул в этом бледном смуглом лице. Но до меня вдруг дошло, что он слушает меня с несомненным

удовольствием. Он не обижается, ничуть! Он даже будто любит меня мною. Нет, это было уже чересчур.

— Уходите, Раим, уходите, — сказала я.

— У вас нет материала? Вы нервничаете из-за этого? — спросил он с явным сочувствием.

— О чем говорить! — Я сбавила тон. — Надо было слушать мужа и сидеть дома. А теперь осталось одно — поскорее уехать. Когда вы сможете отвезти меня на вокзал?

— Да, вы правы, — сказал он неторопливо, — вы правы, я не дал вам ни одной цифры. Но я их вам дам. Я вам помогу. Обещаю. Завтра.

Все таким же невозмутимым было лицо, в которое я заглянула, но в то же время на моих глазах черты эти так переменялись, словно что-то создало их заново, заново сформировало какую-то четко определенной мыслью, принятым решением.

Каримов сдержал обещание. Он помог мне. И не только тем, что дал тетраточку, которая, оказывается, давно готова валялась у него в столе. Нет, не только этим.

На следующий день, когда, разобравшись с тетрачкой, мы направились обедать, у гостиницы встретила нас необычная в этот час тишина. На дверях кухни, как безмолвный, но выразительный кукиш, висел амбарный замок...

— Ничего, — сказал, прищурив глаза, Каримов, — мы пообедаем в другом месте.

— Вам от Беккамова привет, — вспомнил Каримов, когда мы селись в машину. — Был у него сегодня утром. Советовался.

— А сейчас куда поедет?

— Сейчас хорошая чайхана будет, там пообедаем.

Листья винограда повисли над железными прутьями веранды чайханы. Высокий чертополох раскачивался посреди голого двора. Перед нами на блюде шашлык. Шампуры выглядывали из шашлыка, как спицы из вязанья. Мы принялись за еду.

— Одного я все-таки не поняла, — сказала я скорее себе, чем Каримову, — почему вы такие разные в одном совхозе. Скажем, Пак, вы, Беккамов и — директор. Будто вы слеплены из разной глины. Будто разный бог вас лепил. Вот, например, вы, Раим, кто вас создал таким, каков вы есть? Кто вас нашел, воспитал, вырастил?

— Кто создал меня? — неторопливо повторил Каримов. Он снял с шампура последний ломтик шашлыка, поднес ко рту, допил чай из палы, вытер рот, отодвинул тарелку. Он посмотрел на меня задумчиво, и тут ли-

«...что его как-то изнутри, рельефно высветила нежность к тому, о ком он думал в этот момент. — Кто создал меня? — повторил он. — Меня воспитал... — И тут он назвал имя, которое я не раз слышала в совхозе, но слышала всегда как-то приглушенно. Имя прежнего директора совхоза. — Да, это он, Азимов, создал и меня, и нынешний «Пахтаабад».

— Ей-богу, это было поразительно, но я в ту же минуту поняла, что все время знала об этом. Что знание это давно жило во мне. И не в каком-нибудь чутком подсознании, а в самом реальном сознании, только я почему-то не решалась прямо сказать это себе.

— Азимов, значит? Азимов! Стало быть, надо ехать к Азимову. Сегодня же надо ехать, ведь у меня не осталось времени!

Мельком, через плечо, Каримов глянул на свою «Волгу», стоящую напротив в тени деревьев. Сказал спокойно:

— А мы и так едем. Вот перекусили, и тронемся дальше.

Как неожиданны и странны подчас человеческие встречи. Как негаданно в наизусть знакомом, близком существовании подчас возникает, нарастая, отчужденность, даже враждебность, и как во впервые встреченном незнакомом человеке вдруг с удивлением открываешь, что он словно из твоей молодости, из тех же самых корней. Шоссе уже давно окунулось в широбадскую степь. Да, конечно, я волновалась в ожидании встречи с Азимовым. Да, конечно, предчувствовала, что столкнусь с чем-то ярким, может быть, даже трагическим. Но с ощущением этим упорно спорила убежденность, что мое время потрясений от встреч с людьми миновало, как миновало и время приобретения новых друзей.

Над степью выплеснулся пенный гребень песчаного бархана. Сначала мне показалось, что он здесь один. Но через минуту дорогу окружали белые, пересыпающиеся на ветру с бархана на бархан пески. Чудилось, пески те затопят, захоронят любой проблеск жизни — до самого горизонта, до скончания веков.

— Вон там, — сказал Каримов и кивнул куда-то вправо. Я пригляделась и увидела в той стороне у подножья приземистых гор маленькие белые домики.

На развилке мы повернули вправо, и как раз на ту же дорогу, только с противоположной стороны, проскочил перед нами совхозный «газик». Каримов нажал на клаксон, человек в «газике» повернул голову — это действительно был Азимов.

И тут же время в своем движении утратило привкус восточной тягучести. И непонятность тоже исчезла.

Едва мы успели пересечь границу совхоза, как у Азимова началось совещание. Нет, не в конторе, не в кабинете. У самого въезда его уже ждали люди, чтобы быстро, не откладывая, разрешить неотложные дела. Я вглядывалась в Азимова. Он был строен, высок, худощав. На загорелом лице голубовато поблескивали белки глаз живого, участливого, умеющего и грустить, и радоваться человека.

Мы ехали с Азимовым мимо новых домов, вдоль пыльных и голых непривлекательных улиц. Но я сама из племени колонистов, я сама обживала свой «марсианский» район севернее Мурунского ручья, о котором друзья мои говорили, что он гораздо ближе к Северному полюсу, чем к Ленинграду. Сама дожила в нем до первых улиц, до первых автобусов и трамвая, до магазина и аптеки и наконец до метро. Я знала по собственному опыту, что и «Москва не сразу строилась», что каждый дом, каждое дерево не забудет, кто и когда его взрастил...

— Вот смотрите, сколько уже построили! А еще сколько построим. Без никаких ссуд, долгов, идем с чистым доходом. — И Каримову: — А вы в долги опять залезете, куда ж вам деваться. Перекачка, непланные расходы! И ругает людей ни за что!

Я слушала, и сердце сжималось от какого-то мучительного, трудного сочувствия. Азимов знает, все знает про «Пахтаабад»! Его детище, его труд! Слово бы улавливает, что происходит там, за двести километров, напряженным магнитным полем своей души. Будто и не лежит на нем этот новый совхоз с его новыми улицами, молодыми садами, поля с урожаями, приближающимися к рекордным.

Один неполный день! Неполный день я пробыла у Азимова, но сколько разом открылось мне! Сколько стало понятным! Мы уезжали от Азимова поздним вечером. По всему поселку горбились груды земли, прямого пути к близким огням шоссе не было. Мы плутали по ночному поселку среди громоздящегося песка, чернеющих котлованов, и в этом раславе проекторов и реве бульдозеров вся вздымленная, вздыбленная земля, казалось, переплавлялась, переходила в другое состояние, как в незавершенной химической реакции. И себя я ощущала такую же неустойчивой и возбужденной, словно бы только-только из химической реакции. И снова стоял в глазах Азимов. Вот, усмехнувшись и пристукнув ладонями по столу, говорит: «Мы умрем, что после себя оставим? Только то, что сами построим. вырастим, сотворим...» Господи, какая знакомая фраза! Ведь что-то подобное я слышала, и не раз! От Усманова? Да, от Усманова. Но там, у

Усманова, она звучала шутовски, она была как клоунский костюм, нарочно надетый не со своего плеча. А здесь в ней естественность вдоха, искреннего, грустного вдоха.

Так, значит, зря я так билась, отыскивая подлинного Усманова. Подлинного Усманова нет. Ибо Усманов — тень. Тень своих предшественников. Да, его предшественники были живые люди, творцы, вокруг них созидалась жизнь, а Усманов лишь пользуется тем, что создано ими. Пользуется своеобразно, портя и коверкая созданное до него. Нет, Усманов, возможно, не упадет, не оступится, не совершит безрассудный поступок. Он будет шагать по намеченной дорожке — напористо и осторожно, ничем не брезгуя и всегда помня о том, что именно потребно сегодняшнему дню, чтоб быть на виду, чтоб заметили, упомянули. Но людям-то, людям, кто сроднился с живым делом всей своей живой, пульсирующей кровью, им-то от этого не легче, ох, как не легче...

Так тревожно бились мои мысли вразлад с колотящимся сердцем, но чем ближе мы подвезжали к «Пахтаабаду», тем смирней и тише становились они, уходя вовнутрь, в глубину, потому что чем ближе мы подвезжали к «Пахтаабаду», тем явственней ощущала я приближение Усманова, и ниоткуда возникала убежденность, что Усманову уже известно о моем новом знании и о моих новых мыслях, и что это знание и эти мысли рядом с Усмановым чуть ли не преступны.

Я шагнула из машины под кроны старых орехов. Как темно было у гостиницы — ни фонаря, ни светлого окна, старый сад стоял тихий, полуполночный, и торжественная, черная бездна ночи распростерлась, выгнувшись над ним, полная невиданно горячих, сверкающих звезд. Звезд, томимых такой выской, требовательной жаждой справедливости, праведности... Я вошла в свою комнату и повернула ключ в дверях. Ночь тянулась. Я легла, но заснуть не могла. Вот уж воистину не сомкнуть глаз — не смыкались. И каждая гулька жилка настроенно, больно пульсировала во мне и прислушивалась, прислушивалась...

Как ждала я рассвета, утра. И оно пришло. Кухня была все еще заперта. Но это меня уже мало трогало.

На дорожке мелькнуло знакомое платье. Почтальонка. Что-нибудь для меня? Мне? О, даже телеграмма! На синем бланке выразительные строки: *«Даша кашляет мама устала ребенку грозит остаться без надзора после двадцать пятого домой не пустим заброшенная семья»*. Он все-таки молодец, мой муж, он еще сохраняет чувство юмора. Домой, домой! Больше всего на свете я бы хотела сейчас подняться в воздух на утреннем московском с аэродрома в Душанбе. Но не выхо-

дит. Осталось немного, и надо дойти до конца.

Я шла пешком, потом ехала на попутной. Шофер ссадил меня у дома Беккамова. Тот как-то сразу понял, что я была у Азимова, да я и не собиралась скрывать. И разговор пошел мгновенно по-иному, чем прежде. Я не буду пересказывать все случившиеся в тот день разговоры, хотя по ним и можно представить, что сложности в совхозе куда серьезней, чем представлялось раньше, не буду потому, что, пожалуй, самым подтверждающим мое новое постижение Усманова было то, что разом исчезла, растаяла перегородка, черта между мной и людьми совхоза. Я стала своя, будто имя Азимова оказалось паролем родства. И говорили мы на одном языке, и с полуслова понимали друг друга, и мысли и чувства наши смыкались, и снова я убеждалась, что понятия добра и зла, совести и бессовестности одинаковы для всех честных людей. Все окончательно встало на свои места. «Людей не слушает, не уважает, молодых вперед не пускает, доброму хода не дает, старые счета сводит», — звучало в ушах. Что же я должна сделать? Как обязана действовать? И вдруг я ощутила в себе твердую отчетливую ясность — и стало спокойно, реакция завершилась окончательно. Я знала, что должна сделать. Именно то, зачем прислали меня сюда. Приехать домой, сесть и написать.

Каримов провожал меня на перроне. И чем ближе придвигалось расставание, тем отдаленней, отстраненней он становился. Я это уловила, — сделалось обидно. И только в поезде, распахав по полкам и под полками чемодан, сумку, ящик с фруктами для Даши, поостыла и поуспокоилась малость. Услышала стук колес, почувствовала, как обступает меня моя реальная, моя прежняя, моя усредненно эмоциональная жизнь, глянула в окно, где в крошечной тьме с курьерской скоростью уплывала от меня долина Дархана, и ощутила вдруг, как все наносное, суетное уходит. Осталась только незатихающая тревога. И было понятно: да, отчуждение, да, отдаление, — потому что я уезжала, а он оставался. И преодолеть эту пропасть если и возможно, то только единственным — написать. Написать как можно скорее.

По ночам мне снится «Пахтаабад»: я поднимаюсь по ступеням правления, толкаю дверь, все, отрываясь от бумаж, поворачивают головы — и никто меня не узнает. Холодный пот покрывает меня. И всякий раз, когда снится этот сон, внутри возникает даже не чувство вины, не сожаление, а напряжение и усталость от невозможности жить так и быть тем, чем хочешь и дол-

жен быть. У каждого человека есть свое дело. Мое дело написать. Да нет, я сознаю, что именно в трудностях своей повседневной нелитературной жизни, в непрестанной схватке с ними, в их радостях — и обретаешь главные корни и зрение. Но ведь нельзя, чтоб только трудности, а мое дело — мой сосредоточенный труд — вдруг оборачивается недостижимым праздником.

Я открываю глаза и вижу, как плывет сквозь комнату серый сумрак, подкрашенный желтым от проснувшихся в домах напротив окон. То просыпается жизнь в районе севернее Муриноского ручья. По заснеженному спортивному полю перед зданием школы уже прокладывают первые стежки будущих тропинок торопливые пешеходы. Я открываю глаза и слышу хриплое Дашино дыхание. Сон в руку! За три месяца после моего возвращения хорошо если походила она в садик три недели. Понятно и закономерно: одеваться как следует не умеет, в группе тридцать детей, погода проклятушая, организм не приновился, потерпим, и наладится, — успокаиваю я себя. И пока еще не звонит будильник, я прокручиваю перед глазами два ряда картин, я составляю два сценария. Оба по возможности оптимистические. Согласно первому у Даши просто насморк, и еще хоть день-два, но в садик она ходит. Можно попросить не выводить на прогулку, не снимать колготок. А я, отведя ее в садик, сяду к столу. Но эти картинки вытесняются другими: не выводить на прогулку нельзя, в это время проветривают комнаты, а по городу ходит отвратительный грипп, от которого пневмония. Так что уж пусть лучше посидит дома с насморком, только бы не заболела всерьез! Оба эти сценария еще спорят между собой, когда резко дребезжит будильник, и единым толчком, будто развернулась в ней живая пружина, Даша садится в своей младенческой еще кровати и говорит ужасным хриплым голосом: «Конечно, можно охрипеть, когда эти сыщики и придворные орут как сумасшедшие. А трубадур построил принцессе такой домик! С садиком, с ванной!»

Все понятно: это, конечно, продолжение «Бременских музыкантов».

— Даша, — задаю я провокационный вопрос, — пойдём на работу?

— Нет, — решительно отвечает она, — меня там Таистов бьет.

— А ты не приставай! Ведь пристаешь? Ты покажи себя с хорошей стороны.

— Мама, — убеждающе сипит Даша, — у нас девочка есть вся с хорошей стороны, у нее даже косы, а он ее все равно бьет. У меня ручки-ножки болят. Я буду себя хорошо вести. Буду помогать. Я знаю как. Тихомолком.

Я живо представляю, как она будет мне помогать тихомолком. Я усажу ее, дам книжки, ножницы, зайца для вырезания, картинку для раскраски и запущу. Но только присяду:

— Тук-тук, можно к вам? — раздается под дверью.

— Дашка, не лезь!

— Я только на минуточку, у меня очень важное. — И она уже будет тереться кудлатой головкой о мои колени. — Мама, а если бы папу убили на войне, я бы так и не появилась на свет? Так бы и осталась в родильном доме?

— Даша, закрой сейчас же дверь! — Мама, ты Шерхан, что ли! А волки все такие, как этот, «Ну, погоди!»? В черных брюках и с черными волосами? А какие есть еще миры, кроме нашего? Подводный и летучий? Да?

— Даша, отстань! Будешь мешать, отдам в круглосуточный, отошлю в санаторий!

— Мама, ты отдай меня сразу в детский дом. Мама, мне плакать хочется. Это оттого, что я чаю пила...

Сколько уж бывало таких разговоров!

А если она и затихнет минут на двадцать, то за краткой радостью грядет расплата.

— Мама, — скажет Даша, сама испугавшись, чего натворила (а уж чего-нибудь натворит обязательно), — мама, ты не расстраивайся, я ведь только решила вытереть пыль с книжек, и только вырезала зайчика, ты же мне разрешила.

— Нет, — изгоняю я жалость из сердца, — идем в садик.

И потому, что она не отвечает, я наклоняюсь, беру ее на руки, и тут, ощутив разом жар всего этого маленького, невесомого, хрупкого тельца, забываю обо всех оптимистических сценариях, потому что не до сценариев, когда надо, пока муж еще не ушел, бежать в аптеку и за молоком, ставить градусник, вызывать врача, капать в нос и совершать другие безотлагательные действия, перед которыми меркнут все прочие помыслы и устремления.

И тут звонит телефон. В трубке моя мама.

— Ну, как моя внучка? — спрашивает мама. — Я так по ней соскучилась! Не пошла в детский сад? Не принимаю твоих методов. Внук Лиды (мамина подруга), вот такие сопли, а возят в бассейн, закаляют. А у тебя?.. Температура? Ты сообщаешь мне одни неприятности... Нет, к сожалению, не могу, у Вали (мамина подруга) приступ, Наташа (дочь маминой подруги) на работе, некому отвести Женечку ни в школу, ни на музыку. Бедный мальчик, сколько в него вложено, теперь болтается один... И завтра не могу, Леле (мамина подруга) нездоровит-

ся, такой гололед, я обещала проводить ее в университет. А послезавтра у меня днем анализы, вечером мы собираемся на девишник...

Что поделаешь, моя мама «человек для людей». Даже и выбравшись и приехав ко мне, первым делом она садится к телефону и обзванивает подруг, разрешая конфликты, улаживая трудные обстоятельства их жизней.

— Ты подумай, — говорит моя мама, положив трубку после разговора с одним из цехов Кировского завода, — как я разумно поступила. Юра (сын маминой иногородней подруги) пожил у меня, теперь он уже в общезжитии, обещают комнату. Все-таки социалистический строй замечательное достижение человечества. А фабричный, заводской коллектив — воплощение лучшего в социалистическом строе. Я так хорошо поговорила с этой женщиной. Она сказала, что внимательно следит за новым мастером и что если он будет хорошо работать, за него нечего беспокоиться. Я так его маме и напишу. Как, ты еще не ушла? Так-то ты бережешь время! Терпеть не могу твою безалаберность!

И я убегаю в город до строго обозначенного срока, и в тот самый момент, когда я появляюсь на пороге, моя мама надевает пальто. Я у нее не одна. И я сама уже не знаю, приезжала ли ко мне мама или только пригрезилось.

«Нет, — киплю я, — так нами пренебрегать! Так нас не любить!» Но я не права. Моя мама любит Дашу. Моя мама все время помнит о ней. Но до Даши двадцать километров, и маме просто не пробраться к нам сквозь все дела, заботы, болезни и вдобавок такое расстройство.

— Мама, — говорю я в трубку, — так жить нельзя. Нам перебраться к тебе трудно...

— Куда вам перебираться? — удивляется моя мама. — У вас прекрасный район, где еще в городе такой воздух, и уже есть магазины...

— Тогда ты переезжай к нам.

— Нет, — говорит мама, — я для этого стара. Это архитектурноеобразие, оно меня давит, эти огромные магазины, я не могу в них покупать. И как я буду видеть своих подруг...

— Мама, — негодную я, — такие мелочи, когда Даша болеет, я не работаю.

— Для тебя моя жизнь — «мелочи», — говорит моя мама. — Ты всегда считаешь, что мне уже ничего не нужно. На днях так и сказала: «Неужели ты не находилась по театрам!» Единственное, что я могу, — взять Дашу к себе.

Отдать Дашу бабушке? Время от времени этот вопрос возникает. И я отдаю. Я отдавала ее, когда ей еще не исполнился год, а нам надо было

переезжать в наш уже сданный и признанный, но еще не готовый для жизни дом, — переезжать, чтоб доделывать в нем недоделки. Я отдавала Дашу и в год с небольшим, когда писала повесть. И Даша, отданная бабушке, своим неумелым язычком, который еще неправильно произносил все буквы алфавита, твердила во дворе каждому, что и у нее есть мама и папа, рвалась на улице к любому такси, считая, что там едут папа и мама, и однажды, только-только научившись держаться как следует на ногах, она ушла, убежала, отправилась к себе на Муринский, туда, где мама и папа. И хоть все я понимала, я снова отдавала Дашу маме.

А она, пожив без нас неделю, начинала просить: «Мама, заberi меня домой, заberi, пожалуйста. Мне здесь снятся плохие сны». — «Господи, какие фразы! — возмущалась мама. — Ты уедешь, и она об всем забудет! Ты обязана настоять, переломить!» — «Мама, не слушай бабушку, — беспокоилась Даша, — бабушка хорошая, но она уговорит тебя не забирать». — «Можешь быть довольна, — говорила моя мама, — она твоя совершенная копия, всем недовольна! Нет, ты яд для ребенка, тебя нельзя подпускать к ребенку!» — И маме становилось нехорошо, и, конечно, мы все никуда не ехали, хотя у мужа с утра лекция, а конспекты на Муринском, мне с утра к машинистке, а рукопись тоже там... «Мама, — шептала Даша, уже лежа в постели, — а ты не забудешь забрать меня завтра после машинистки? Помнишь, в позапрошлом году ты сказала, что забереешь, а сама не забрала. Я тогда тебя так ждала!»

И я знала, что если в самом деле не заберу, если в самом деле не буду приезжать («чтоб не травмировать»), Даша не простит. После такой продолжительной жизни у бабушки она совсем перестает со мной считаться. Тогда-то и прорезается в ней эта ожесточенная строптивость, которая так пугает меня. Тогда-то она и начинает говорить мне: «Ты сказала? Ну и что такого, что ты сказала?» Тогда-то и грозит нам: «Вот уеду от вас к бабушке прямо до следующей дачи». Тогда-то она и говорит моему мужу: «Не нужна нам такая мама! Нет, папа, я тебя серьезно спрашиваю, зачем ты на этой дурочке женился?»

— Нет, — говорю я маме в телефонную трубку, — ребенок должен жить с родителями.

— Твое дело, — холодно роняет мама. — Ну, справляйтесь, я к вам на той неделе приеду. — И в трубке раздаются гудки.

А я сижу у телефона, хотя чего тут сидеть, и повторяю, повторяю: «Что же мне делать, ну что же мне делать...» Все как в одной Дашиной книжке: «Папа работает, мама работает, ребе-

нок зажигает спички, лезет на шкаф, падает. Что предпринять?» В той книжке папа создает кибернетическую няню. Наш папа такого не умеет. Я отыскиваю в телефонном справочнике и набираю номер. Нет, не няню, как трудно раздобыть в «Невских зорях» няню, я знаю по собственному опыту. Но, может, с воспитателями полегче? А Даша подросла.

— Воспитателя к девочке? Нет, нельзя. Почему? Большая очередь. Запись в январе на следующий год.

— Мама! Мама! — зовет меня Даша. — Почему дом стал красный? Был белый, а стал красный.

Я оглядываюсь и вижу, что солнышко уже выкатилось из-за крыши и, просветив дымки и туман, облило розовым снегом на спортивном поле и заснеженные деревца, и детские катальные горки вокруг него, и, расцветив стены, запалило костры в окнах дома напротив. Господи, уже скоро десять, а я еще не занималась ребенком. Я растираю Дашу укусом с водкой, кладу ей в ноги нагретый песок, капаю в нос мед с алоэ, смазываю горло, я привычно, почти машинально сражаюсь с ее болезнью, а в голове стучит одно: «Что же делать? Может, снова дать объявление?» Впрочем, я уж и так их даю и даю...

Первой звонит та самая. По ее звонку я узнаю, что мое объявление вывесили. К счастью, теперь я rozpoзнаю ее голос. А прежде, договорившись о встрече, она вваливалась в квартиру с кошелками и сумками, доставала из-под юбок из несвежего чужка затрепанный паспорт с неисчислимыми штампами о местах прежнего жительства и заявляла, что раз уж она добралась к нам в такую даль, то непременно и останется. Чем явственней ощущала она мое нежелание, тем настойчивей становился ее голос. До чего же легко вздыхалось, когда удавалось отделаться трешкой.

Позвонив, однажды явилась ярко раскрашенная женщина в пальто с богатым меховым воротником. Независимо пройдя в комнату, она села в кресло, придвинув его к столу, через пять минут уже была со мною на «ты», свободно обсуждая трудности нашей — ее и моей — жизни и с ходу предлагая достать дефицитные вещи прямо с базы, можно финские сапожки на меху для Даши, можно туфли мужу или норковую шапочку мне. Она достанет хоть завтра, вот только с деньгами у нее перебой, не смогу ли я дать вперед, если не тридцать, так десять, ну не десять, так три...

— Почему к тебе так льнут подозрительные субъекты? — говорит мой муж. — Не смей больше подходить к телефону.

Приходили старушки. Приятные чистенькие старушки. Они все уже служат где-то вахтерами, уборщица-

ми, сторожами и вот хотели бы еще подработать. Но они, как одна, не хотят и не могут иметь дело с ребенком. «Лучше две смены у станка простоять, — в один голос твердят они, — чем час с дитем». В самом деле, у всех у них за плечами война, жизнь, в которой они были кормильцами, добытчиками, и рыли окопы, давали фронту оружие, шили гимнастерки, работали на торфоразработках, — да чего только не было в их многотрудной, напряженной, непосильной их жизни, которую они одолели, осилили... А если и были у них дети, если и выжидали они, то это были рано взрослевшие, возвращенные в нехватках, самостоятельные дети. И вот самое исконно женское дело, самая испокон веку женская работа вдруг оказывается в числе вымирающих, исчезающих.

Нет, сегодня Даша молодцом, безропотно глотает и димедрол, и аспирин, счастлива, что я сижу возле нее, она читает мне, потом я читаю ей, потом она бодро громыхает копилкой, пока я выметаю пыль из-под кресел и готовлю обед, и даже компресс, который я ей обмотала вокруг горла и завязала хвостиками на макушке, не мешая, и хвостики эти торчат, как уши у зайца.

— Ух, какая ты зайка, — говорю я ей, — давай нарядим тебя зайцем на день рождения.

— Нет, — быстро возражает она, — не хочу с компрессом.

— А теперь давай-ка спать, — убеждаю я.

— Нет, — отвечает она, — буду читать. — Но силенок торговаться со мной уже нету, и уронив голову на подушку, она мгновенно засыпает.

И снова звонок. На этот раз не телефон, а дверь. Какой подарок! В дверях моя давняя знакомая. В самом деле, я ей рада, я так ей признательна за этот приезд, здесь, за Ручьем, меня не балуют визитами. Моя гостыя снимает пальто, распространяя по квартире запах медового крема, и остается в черном облегающем свитерочке и в не менее облегающих черных же брючках. И пока она пьет горячий чай, я читаю ее рассказ, который она привезла показать мне. Рассказ о матери-одиночке, о трудностях материнства. Моя приятельница бездетна, и выдержать ребенка долее трех минут ей не под силу. Это ощущается и в рассказе, и рассказ меня раздражает. Но в том, что не относится к ребенку, можно отыскать и неплохие детали, их я хвалю. Но, вероятно, недостаточно.

— Наконец-то на этой кухне чисто, — говорит моя приятельница. — Конечно, Даша пошла в садик, мама помогает. У тебя квартира, муж, ребенок, командировки, договора — у тебя вполне благополучная жизнь.

Я ощущаю виноватость за это благополучие, а приятельница продолжает:

— Да, у тебя благополучная жизнь, и поэтому ты — поверхностный человек...

Теперь я сознаю, что поверхностно, необъективно отозвалась о ее рассказе. Но следом моя приятельница говорит и более интересные вещи:

— У тебя, видишь ли, все слишком благополучно. Но имей в виду, ты начинала неплохо, а что сейчас? Опять вот взялась писать о хлопке, хотя что ты в нем понимаешь? И какое тебе до него дело?

Я смотрю в очень белое лицо приятельницы, лицо с бровями, выщипанными так, что от них остались лишь узенькие дужки, отчего лицо напоминает сову, смотрю и понимаю, что моя обиженная приятельница в чем-то права. Я действительно мало понимаю в хлопке. Да и не только в том дело...

С тех пор как я снова стала раскрывать и читать новые журналы и книги, а случилось это не так давно, я ощутила себя сраженной — так далеко шагнула, так переменялась литература. За те годы, что я ожидала Дашу, подготавливала нашу жизнь (правда, без особого успеха) к ее появлению, пока я кормила, выхаживала, вытаскивала из болезней, из больницы, поднимала до года, до трех, до садика... пока все это заполняло мой быт без просвета, жизнь вне меня разительно переменялась. Все стало другим. Экономика, наука, отношение к ним. И взаимоотношения между людьми, психология этих отношений... Переместилась и ось литературы в сторону куда большего психологизма, куда более высокого уровня и объема мышления, а ритм, интонация, звучание стали ярче, насыщенней... как-то умудренней. Так свободно, широко, откровенно мы просто-напросто не умели думать и видеть. И я не умею. И не смогу. Может, прежде смогла бы, а теперь — нет...

Но ведь так или иначе, а почти все, что читаю, в глубине своей — о семье, о доме, о подлинности чувств, о той нравственной крепкости и устойчивости, которая рождается лишь в семье и которая вне семьи не существует. Но ведь я же трачу годы и силы на это самое, на семью. Почему же тогда мне приходится так бесконечно много платить?

Приятельница ушла.

И в эту самую неподходящую, самую едкую минутку начинают звонить мамы подруги, которые, не найдя маму у нее дома, разыскивают у меня. И не то чтобы в порыве тотальной усталости, истерики от всех сегодняшних волнений, а скорее в ощущении загнанности и безвыходности, в страхе от непроходимости обступивших меня мелочей я начинаю

разъяснять этим расположенным ко мне женщинам, что дело не в моем неблагодарном эгоизме, а в том, что работать надо не день в неделю и даже не месяц в году, а всегда, каждый день, но не должно это быть во вред ребенку, которого надо вырастить. Вырастить здоровым, подготовленным к жизни. К той жизни, которая, как ни парадоксально, при всей своей облегченности вдруг оказывается в чем-то труднее той, что прошла моя мама или прошла я, хотя и нам досталась своя полная мера трудностей.

Но меня и маминых друзей разделяют словно бы и не двадцать-тридцать, а добрая сотня лет.

— Оставь маму в покое, — говорит мне первая мама подруга, — дай маме пожить. Ей осталось меньше, чем тебе.

— Чего ты хочешь от мамы, — говорит вторая мама подруга, — ты и так ее совершенно заездил.

— Я не знаю, сколько нам осталось, — говорит третья мама подруга. — И, конечно, будет лучше, если мама лишний раз сходит в театр, чем посидит с Дашей. Даже час, даже два с ребенком — это очень трудно. Если бы я могла, я бы тоже ездила, ходила по театрам, а не сидела с Женечкой.

И возразить мне нечего. Они правы. Они совершенно правы с той, своей, стороны.

Но «Пахтабад» уходит от меня. Уплывают, тают азиатские видения. Меркнут и гаснут прозрения, я не в силах их удержать. За частностями уже не угледеть целое, и, более того, совершается нечто уж совсем непостижимо странное — эти мелочи, эпизоды как-то сами собой начинают сдвигаться, перемещаться, укладываться в иную, чем прежде, еще мне самой непонятную схему, словно бы готовясь составить иную картину. Как в Дашкином калейдоскопе: легчайший поворот приводит в действие законы движения и отражения — те же самые стеклышки, а узор иной, и иной цветок польхает в сердцевине.

— А знаешь, у моей мамы никогда не ели на кухне, — весело говорит, возвращаясь с работы и садясь за обед, мой муж. — И никогда не ели первое и второе из одной тарелки. И всегда по субботам пекли пироги.

— Да? — говорю я. — А в «Пахтабаде» всей семьей едят из одной тарелки. И никаких пирогов, одни лепешки.

Я привыкла к неустроенному быту, я спокойно не замечаю, модно ли мое платье и блестит ли у меня в кухне пол. Мой муж иной человек. Я понимаю, что с этим нельзя не считаться. Но где он, тот довоенный быт с приветливой молочницей из Парголова, которая привозила в дом молоко и творог да еще и картошку; с бородатым дворником, что запирал на ночь

подъезды и приходил вытрясать ковры; с домработницами, которым вся эта домашняя работа была — тьфу, с бездетными соседками, тетками, которые, не имея в наличии телевизора, почитали за развлечение и радость потешаться вечером с малышом? Господи, да в том немисливо отдаленном детстве моего мужа присутствовала даже немка с группой! Она сама собирала детей, сама после прогулки и занятий приводила их домой.

И как удобно и легко было в том незамечаемом комфорте обтягивать войну кастрюлям, кухне и пеленкам...

Мой муж любит употреблять округло безличных обороты. «Тюль хорошо бы повесить», — так говорит мой муж. «Пора бы накрыть стол к ужину», — так он говорит. В переводе на личный оборот это означает, что повесить или накрыть должна я. Нет, конечно, мой муж и сам может сделать, если его попросить и напомнить. Но мне как-то проще сделать самой. Без лишних душевных усилий. К тому же во мне неистребимо живуче впитанное со школьных лет убеждение, что личный пример — лучшее воспитание. Но почему-то мой личный пример ни на кого не воздействует, и хотя я стараюсь поспевать все быстрее, я успеваю все меньше.

— Будь добр, попом Дашу чаем с малиной и посиди возле, пока не уснет, — прошу я мужа.

— Хорошо, — готовно соглашается мой муж, — только сначала мне надо подготовиться к лекции, завтра у меня новая тема.

— О боже, — говорю я, — если не лекция, так диссертация, если не диссертация, то философское общество или еще социологическое общество, или районный семинар, или воспитательные часы в общежитии, или в конце концов марки... Но вот воспитательные часы с ребенком никаким расписанием не предусмотрены.

— Но, дорогая, — говорит мой муж, — я же научный работник, за это мне деньги платят, сколько могу я сидеть с Дашей, она мне и так всю шею отвертела.

— Все вокруг научные работники, но кто-то же должен побыть с ребенком! — говорю я и сама пугаюсь не того, что говорю, а того, как говорю.

— Дина, — предостерегает мой муж, — ты прекрасный человек, но у тебя есть один недостаток. Ты иногда начинаешь кричать ни с того ни с сего.

Как возникают ссоры? Отчего? Почему? Вероятно, по психологической неразрешимости эта задача стоит в одном ряду с проблемой возникновения войн и разных мировых катастроф. Ведь я делаю все, чтобы им было хорошо, а в результате мой муж, нахлобучив шапку и не застегнув пальто, уходит гулять в неурочный

час, а Даша, вместо того чтоб спать, обхватив мою шею руками, уговаривает меня не плакать. А сама я чувствую себя так, как если бы по неосмотрительности или в суете влезла в старый кованный сундук — такой до войны стоял у нас в коридоре, — а крышка возьми и захлопнись. И самой не выбраться. И надвигается в темноте что-то страшное, душное, невыносимое.

Я вижу на столе журнал «Социологические исследования». Неужели вышла наконец статья мужа? А он мне даже не сказал!

— Мама, мама, иди ко мне, — зовет Даша. С журналом в руке я присаживаюсь возле нее, глажу горячую, потную ладошку, тихонько мурлычу ей что-то и при свете ночника листаю журнал. Никакой статьи мужа в этом номере нет, но есть другая статья, очень мне интересная.

Оказывается, ничего страшного с нами не происходит, все вполне закономерно и объективно неизбежно. И не потому, что мы дурны или несостоятельны, а просто вытекает из духа времени. Здесь так и написано: «Одна из характерных черт состояния семейно-брачных отношений на современном этапе — значительное увеличение числа расторгнутых браков». То есть если в 1959 году расторгался лишь каждый десятый брак, то в 1970-м — каждый четвертый. И в общем-то это совсем и не плохо. Ибо «в настоящее время семья больше не является производственной... и хозяйственной единицей. Обучение, образование, воспитание детей... осуществляется специальными государственными институтами в детских яслях и садах, общеобразовательных школах и школах-интернатах, техникумах и высших учебных заведениях... Права и обязанности всех членов семьи, в том числе и детей, в отношении к обществу определяются государственными установлениями. Взаимные обязанности родителей и детей в старом понимании сведены к минимуму». Да-да, так и написано! «Основываясь на этих данных, некоторые участники симпозиума высказывают мнение, что семья, утратив свойственные ей в прошлом функции, переживает кризис, который в дальнейшем может привести к ее отмиранию. Другие участники симпозиума, наоборот, видят в этом положительное, прогрессивное явление в развитии семьи».

Так вот оно, значит, как...

«Обязанности родителей и детей сведены к минимуму...» Но так ли это?! Ведь нет никаких абстрактных рук государства, государство все, что делает, делает руками людей. А люди — это уж точно — делятся на тех, кто знает, что такое семья, впитал сумму нравственных законов и требований, которые дает человеку семья, и

на тех, кто вырос, этого не зная. Впрочем, а так ли? Может, я заблуждаюсь? А ведь, пожалуй, что по отсталости не уловила я новых веяний жизни, а ведь многие, многие вокруг меня уже давно отлично сознают, что функции семьи переходят...

И я вспоминаю больницу, где лежала шестимесячная Даша с пневмонией. В той самой палате была еще одна девочка такого же возраста. Но была она там без матери. На посту сменялись медсестры. И если одна из них часто подходила к девочке, перекладывала на животик, брала на руки, подкидывала, носила по палате, доставляя девочке огромную радость, то две другие в свое дежурство совершали только обязательные действия — дать лекарство, бутылочку с кефиром, один-два раза сменить белье. Пропадали с поста, болтали по телефону, но лишний раз в палату не заглядывали. И тут-то я увидела, какое же это страдание, когда человек, пусть и шести месяцев, не может сам ни повернуться, ни напиться, ни попросить о чем-нибудь. А мама к девочке не приходила. Мы с Дашей уже собрались выписываться, когда однажды эта мама возникла в палате, и я сказала, что было бы лучше, если бы с девочкой была мать или хотя бы навещала регулярно. «Но ведь мне бюллетень уже не оплачивают, — удивленно подняла брови женщина, — так почему? Государство само обязано».

И ведь что меня до сих пор корбит, не забывается по сей час: ну пускай, ладно, мало ли что могло приключиться, что не позволило придти, но ведь ничуть не затревожилась она душой, не стала расспрашивать, каково здесь ее младенцу, даже и не пыталась что-нибудь предпринять. Государство обязано. И точка.

И еще я вспоминаю, как этим летом компания подростков заладила играть в мяч на газоне под окном. Почему на газоне, когда вокруг полно спортивных площадок, было непонятно. И, как-то проходя мимо, не вытерпев, я сказала: «Посмотрите, сколько вы травы потоптали, разве не хочется вам жить в хорошем, зеленом районе?» Они насторожились, они даже на мгновение перестали играть. Жить в хорошем районе они хотели. Но когда поняли, что статья хорошим должен именно этот вот район, в котором уже живут, они утратили ко мне всякий интерес. И слова о том, что им самим, их детям здесь жить и расти, вызвали один лишь смех. Ни прошлого, ни будущего для них не существовало.

— Да что вы к нам пристали? Вы взрослым говорите! Вон краска на траве! Вон хлюрку вылили!

— Ну а о том, что человеку насущно, как хлеб, нужна красота? Что каждый обязан хранить дом, в котором

живет, землю, по которой ходит, — такого вам никогда не говорили?

— У моей мамы два образования, — подвела черту милостивая девочка лет пятнадцати, — и она говорит, что мы можем играть, где хотим.

Придя домой в полном расстройстве, я набрала телефон своей подруги, которая, я знала, преподает в этой школе.

— Знаешь что, — сказала мне подруга, — если мне дадут воспитательные часы, я уйду из школы, у меня и без воспитательных гипертония. Не знаю, кто придумал эту акселерацию, но дети не знают простейших нравственных правил. Родители беспокоятся, как бы ребенка получше накормить и одеть, а чтоб о его душе подумать, иным родителям и в голову не приходит. У меня в девятом классе сидит один, во время урока свистит на гребенке! Я говорю: выйди из класса и не приходи. пока не явятся родители. А родители не пришли, хотя я даже на работу звонила. А когда я сама пришла к родителям, мать мне заявила: «На то вы и школа, чтоб воспитывать».

Воспитывать должны школа, государство... Ну, а не происходит ли таким образом некое обездушевление какой-то части нового поколения? Не рассеиваются ли бесследно некие запасы душевного человеческого тепла, которые уходят напрочь из их жизни? И не исчезает ли, ускользая куда-то в холод космического пространства, то, что прежде именовали человеческой душой?

Наугад протягиваю руку к полке с классиками, наугад открываю первый попавшийся том и сразу же натываюсь на слова о том, что в ребенке лишь слезы матери «оживляют нравственное чувство и полагают в сердце первые семена добра и любви». И так это ясно Салтыкову-Щедрину, что и звучат те слова у него даже несколько иронически, дескать, шаблон. А если шаблон этот забыт, если слез материнских и вовсе нету, то что же тогда оживляет и полагает?

— Отдаю все деньги из копилки тому, кто не будет ссориться! Без возврата! — говорит Даша, глядя в окончательно потемневшее окно.

«В самом деле, куда он пропал», — думаю я с тревогой, глядя в заоконную тьму, где одинокий лыжник воздушно скользит вокруг спортивного поля, и, хотя окна учительского кооператива еще освещены во всю ширину этажа, в заводском доме напротив гаснет окно за окном.

Скрипит ключ, на пороге наш папа, запорошенный снегом, румяный и отдохнувший за прогулку.

И вот они уже спят. Тишина.

Я чувствую себя совершенно несчастливой. Так ведь немного по существу надо. Тишина, мир, малая толи-

ка свободы. Чуть-чуть простирнуть, чуть-чуть прибрать — и совершенно свободна.

Но когда, наконец, я сажусь к столу, глаза мои слипаются, ноги гудят, а в голове ни проблемы, ни шевеления. И чтоб дать себе оправданную отсрочку, я звоню маме.

— Ну как там моя внучка? — спрашивает мама. — Поправляется? Спит? Ну и хорошо. А работа твоя движется? Нет? Ну, знаешь, это никуда не годится! У всех людей планы, сроки, все укладываются. Твоя книга, когда ты ее, наконец, напишешь, уже никому не будет нужна. Нет, по-моему, единственный выход — переквалифицироваться в дворники, верные семьдесят, и можно заниматься ребенком.

Поговорив с мамой, я кладу трубку. И тут в памяти моей всплывают «Пахтабад», мама Раима Каримова. Женщина, которая покамест не отделилась от древних, родниковых ключей. Женщина, но обремененная, а гордая своей семьей, своим в той семье положением, своими обязанностями.

Сидит эта женщина среди сыновей в комнате просторного своего дома, где широки дворы, где так близки земля и деревья.

— О, я и тебя маленького не ругала, — говорит она Раиму, — хотя и было за что...

«О чем это она Раиму?» — пытаюсь я вспомнить. Да, это она что-то о семье Раима, воспитании детей. Мне казалось, что ее должно бы огорчать, что сын не очень счастлив в семье, что она могла бы пожелать ему доли более счастливой. Но она с гордостью повторяет одно: «Олт бола! Олт!» Олт бола — это значит шесть детей! И этим сказано все.

И я представляю, что говорила она сыну, когда тот надумал было разводиться, уже имея ребенка. Хотя и одного тогда. И я вдруг встаю на ее жизненную позицию и осознаю этой позиции естественность. Человек должен быть женат, у человека должны быть дети, иначе это неполноценный, незавершенный какой-то, не выполнивший свой долг на земле человек. А ребенок — наиглавнейшая жизненная ценность, перед которой отступают мелочи вроде добавочного ломтя счастья или дополнительного метража удовольствий. Она прожила свою жизнь, стоя на этой позиции, по ее нелегким законам, и подняла девятерых. Все выросли, хорошими выросли, а заботы и горести остались позади. Да, конечно, она бы хотела, чтоб сын был счастливей, чтоб больше любил свой дом, чтоб повезло ему в жизни чуть поболее. Но еще сильнее она хочет отстоять стабильность бытия. Бытия правильного и естественного, созданного таким ее предками.

— Мама, — говорил Раим, — пред-

ки тоже были людьми, они не могли все на тыщу лет вперед угадать.

— Ты теперь у нас стал большой человек. Ты больше меня знаешь. Только больше думай о родных. Надо так жить, чтоб не уронить себя в глазах людей. Чтоб никто о тебе дурное не подумал.

Насколько же эту женщину, жизненный путь которой уже весь, казалось бы, в прошлом, больно тревожит мысль о будущем. Не о своем собственном — о его продолжении. О том, чтоб обеспечить детей и внуков благами не только материальными, но и дать в достатке блага нравственные. Твердую нравственную опору в жизни. Эта верность душе своей, своему корню, которая представлялась мне когда-то «отсталостью», вдруг предстает в облике охранной грамоты, жизнестойкости, в которой человек живет, а не выживает.

Но если это так... И тут неожиданная мысль приходит мне в голову. Настолько неожиданная, что окончательно пропадает во мне ленивое стремление спать, и забываю я, что ноги мои гудели, ибо неостановимо в волнении хожу и хожу по комнате. А в широком моем — во всю стену — окне уже сплошная ночь, лишь одноединственное око спящего парит в темноте на уровне четырнадцатого этажа новой точки. И я, как то око, как тот бессонный глаз, парю над своей сегодняшней жизнью, здесь, за Муринским ручьем, и над собою там, в «Пахтабаде».

Да, если все это именно так, если для того, чтоб семья могла сохраниться, в основе ее должна лежать неизменность, традиционность, — то... не слишком ли торопливо я осуждала Усманова? Ведь именно он так горячо говорил о традициях большой семьи, именно он утверждал, что бездетный человек не надежен, не коренник, «бегона». Мне так понравилось тогда это словечко... И словно бы в какой-то лихорадке листаю я свои записки, отыскивая хоть единое убедительное доказательство, которое бы опровергло эту мою догадку, и... честно говоря, не нахожу.

Да, Усманов руководит, не думая о нравственных критериях, не помня ни о добре, ни о зле, — и тем не менее совхоз выдает свои пятнадцать тысяч тонн хлопка? Выдает! Значит, совхоза-то Усманов не развалил? Не развалил! Так не слишком ли я погорячилась и не проглядела ли в Усманове нечто важное? Ибо не искупаются ли все недостатки Усманова тем, что стоит он за добрую народную традицию? Никак нам нельзя без такой традиции, без преемственности, без этого надежного подспорья.

А впрочем, традиция ли породила Усманова? Разве не возможно такое, что он паразитирует на традиции,

и того хуже. Все выше мы летаем, все глубже проникаем под землю, все быстрее живем. Неисчерпаемы возможности человека! А впрямь ли неисчерпаемы? И не оттого ли, что корни рвутся, а новым не успев укорениться, незаметно налетело, подкралось такое поветрие, что в жизни преобладающим чувством делается подчас не суровое, не созидательное, не влюбленное, — а потребительское желание насладиться ее удовольствиями, удовольствиями на уровне простейшем, от которого пустота и угар, ибо истинное удовольствие, подлинная радость лишь там, где душа глубоко проникает, а для этого по крайней мере душу надо иметь. И как же важно противопоставить этой нравственной неразберихе прочные устои большого человеческого гнезда и то подлинно человеческое, что возникает в нашей современности, рождающей и новые добрые традиции.

Возвращалась я самолетом через Термез с пересадкой в Ташкенте. Я торопилась домой, к тому же начался июнь, жара, которую я переносила с трудом. Но именно оттого, что начался июнь, самолеты на север шли переполненные, и достать билет на рейс раньше, чем за сутки, не удалось. А что может быть более тягучим и пустым, чем сутки на чехомоданах в чужом, раскаленном городе, где ни одного близкого человека, никакого дела... «То есть как это никакого дела? — спохватилась я. — Вот наконец-то я и побываю на земле своего детства, на Тезиковой даче!»

И вот я стояла на Тезиковой даче и оглядывалась вокруг растерянно. Никак взять в толк не могла, где же тут в этом вполне городском мире кирпичных домов и асфальтированных улиц могли уместиться те просторные, нескончаемые сады, где тут могла разлиться та повсеместная глина, что пудами налипала на сапоги, а летом немилосердно обжигала босые пятки... Где же тут мог так уединенно стоять мой орех, с его огромными, просвеченными солнцем ирисами у корней?.. Нет, ничему этому не было здесь места, и даже какое-то заводского облика здание загородило проход к тем, таким пахучим по весне вишневым стволам, к палисадничкам под окошками и к полянкам, где росли травинки, на всю жизнь запомнившиеся именно как травинки Тезиковой дачи.

И тут в лужице у водопроводной колонки я увидела ее, точно такую, как помнила. Я наклонилась, не срывая травинку, провела ладонью по грифелью метелочки, — на ладони отпечаталась коричневая полоска, и вдруг давний мотив зазвучал во мне: «Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах где-нибудь когда-нибудь мы будем вспоминать...» Была в той пес-

не и такая строка: «И к своим любимым мы придем опять». Да-да, не детской была та песенка, но для меня, для моего тогдашнего сознания она была не только детской, но даже еще и сказочной. Потому что впервые подарила ощущение протяженности времени, предчувствие длинной, разноликой жизни впереди, в которой может даже случиться такое, что не будет войны...

И себя я увидела на этих улицах, себя с такими исцарапанными, незаживающими коленками, что где до них Дашиным, себя в ораве ребят, лазающих по дувалам...

Да ведь я же запомнила у Корчака: «Ум бывает активный и пассивный, живой и вялый, настойчивый и безвольный, творческий и подражательный, показной и глубокий, конкретный и абстрактный, ум математика, естествознателя, писателя; блестящая и посредственная память, ловкие манипуляции случайными знаниями и честная нерешительность; врожденный деспотизм — вдумчивость — критicism; преждевременное и запоздалое развитие, односторонность и разносторонность интересов...» Почему же я хочу, чтоб у моего ребенка был наиболее общепринятый ум и характер, тот самый, который удобен мне, когда здесь, на Тезиковой даче, — хоть и перенесла я тогда дистрофию, — несмотря ни на что, именно здесь, в военном Ташкенте, жила я самую свою жизнь — своим умом, своим характером — и потому вся я, какая есть, началась здесь, на Тезиковой даче.

И вдруг я понимаю, что же воспитывало нас, откуда началось наше самосознание, наше чувство ответственности, причастности к общему.

Всю ту информацию, что образовала каркас наших душ, давала нам сама жизнь вокруг, весь ее неудержимый поток, сам воздух, само дыхание времени, которое нас растило. Тот единственный, тот общий для всех душевный рыбок. Ибо как ни исхитрялся иной уцелеть сам по себе, никому не было дано освободиться от сознания, что лишь от усилий каждого, даже самого малого и слабого, зависит — жить нам или не жить... От усилий каждого зависит, свет победит на земле или грядет тьма, устоит в мире добро или осилит зло... От усилий каждого, даже самого малого...

И вот я снова у себя, «за Ручьем», дома.

— Мама! Мамочка! — с пронзительным воплем кидается мне на руки Даша и прилипает — не оторвать.

— Я сижу у мамы на коленях! Мама со мной! — с прелевой гордостью откликается она на каждый звонок телефона.

— Мама, я расскажу тебе что-то важное, — не отпускает она меня ни на шаг, — у нас в подвале случился пожар. Приехала пожарная машина. Мы с Катей стали пожарным помогать. Тут Катя меня толкнула, и я отлетела.

Но, увидев пакет ташкентской черешни, торопливо начинает одеваться, чтоб бежать во двор угощать этим чудом ту самую Катю и других ребят.

Я смотрю, как она сама не только натягивает рейтузы, но и надвигает манжеттики на ботинки, как завязывает шнурки... Я смотрю, как носится она по двору с ребятами, вот повернула назад, к подъезду. Я выхожу на лестницу, чтоб поднять ее на лифте, но из лифта, вся запыхавшись, выскакивает сама Даша: «Мамочка, я уже сама достаю кнопки до нашего этажа!»

Да, она выросла, она раздалась в плечиках, потяжелела, и ручки у нее стали совсем другие — как здорово ставит в шкафчик посуду и не роняет, не бьет, и протирает холодильник, и подметает пол, — так ловко. Впрочем, я всегда подозревала, что она все умеет, только ленится. А сегодня демонстрирует от радости.

И, укладываясь спать, она сама открывает кран, мылит руки, сама снимает плед с тахты, начинает стелить... И, забравшись под одеяло, зовет она меня к себе не столько для колыбельной, сколько для серьезного разговора.

— Мамочка, я говорила на улице с листочками, они так все рады, что ты приехала. Мамочка, а меня без тебя девочки обижали, я тебе сейчас все расскажу. Я нашла у магазина фасолинку и показала им. Они говорят, это у нас будет яичко, дай нам поиграть, честное слово, мы отдадим, а сами взяли и потеряли. Мама, это плохие девочки, да?

...И платье, которое я ей привезла из «Пахтаабада» в ту первую, поездку и которое было ей тогда велико, теперь — в самый раз. Да, тогда ей было четыре с половиной, а теперь уж пошел шестой.

— Мама, послушай, какую мы песню выучили в садике про мамочку... Мама, посмотри, какую мы книжку склеили. Эту картинку рисовала я: царевна-лягушка снова обратилась девицей, и бегут мамы-няньки. А это возник.

— Кто-кто?

— Ну, который лошадами управляет.

— Это возница, Даша.

— Какая же возница? Это возник!

«Да-да, она стала рассудительна и самостоятельна. Все в жизни идет своим чередом, и дети вырастают», — думаю я, закрывая к ней, уже заснувшей, дверь. Думаю отчасти и с грустью, но скорей с удвоением.

— Боже мой, наконец-то, — говорит мой муж, когда мы оказываемся вдвоем. — Какое напряжение свалилось! Ровно месяц непрерывного покоя. Ты посмотри, как мы с Дашей готовились к твоему приезду. Мы приколочивали полки и говорили: «Мама приедет и увидит». Мы вешали тюль, перетирали книги, красили лоджию, покупали цветы и говорили: «Мама увидит».

Да, верно, тюль наконец-то повешен! И книжные полки прилажены на стене, книги уже не вздымаются плотинами по стульям и на серванте. И как они подружились — отец и Даша. По вечерам они сидят рядышком, и отец показывает ей марки со сказками. И Даша вся преобразается, расцветает, и так прелестно улыбается, и так разумно отвечает. А очки и серебристый ежик моего мужа излучают внимательность и заботу. И тиски одиночества, которые уж стали привычны до неощутимости, вдруг отпускают, незнакомое размягчение охватывает меня. И, окутанная этой размягченностью, я, быть может, впервые за всю сознательную жизнь обретаю право быть слабой и беспомощной, а вернее — спокойно заняться своим делом. Счастье возвращения домой! Счастье вдыхать воздух своего дома, видеть эту мебель, книги... С новой нежностью глажу я свой письменный стол, трогаю машинку, сажусь в свое кресло.

Правда, в эту идиллию врываются и диссонансные нотки. На следующий день я вдруг нахожу на письменном столе заключение врача детской неотложки, направление на анализы.

— Мама, — спрашиваю, — у Даши опять были по ночам рвоты? Почему ты мне не сказала?

— О чем говорить, — пожимает она плечами, — у детей бывает всякое.

И воспитатели в садике жалуются:

— Очень она нервная девочка. И все время витает в облаках. Есть не умеет. Читать умеет, а есть не умеет.

И на утреннем празднике в садике (я выбираюсь на праздник в первый раз за весь год, Даша уж очень просила), когда все дети увлеченно совершают свои прыжки, хлопки, верчения, занятия только музыкой, только удовольствием и собой, Даша все крутит головенкой, отыскивая среди родителей меня. Так крутит, так от меня не отрывается, что даже другие родители замечают. И когда я вижу ее среди детей, никак мне не сдержать наворачивающиеся слезы: только дома казалось, что она здорово выросла, поправилась, — от других детей она по-прежнему отстает. И одета она не очень, и подстрижена не к лицу.

Мне есть о чем задуматься. Но я не задумываюсь. Мне не хочется думать о сложном, плохом. Мне нравится

ся думать такое простое и приятное: ей было хорошо с отцом и с бабушкой, они прекрасно без меня обходились, и ей только на пользу, когда я уезжаю. А витамин любви, как и всякий витамин, нуждается в дозировке, потому как с нашим-то женским умением переливаться, отдавать себя всей несублимированной душой — детям, мужу, семье — так легко оказаться всею лишь шеей, на которую распрекрасно сесть и поехать, так легко создать им ту сладкую жизнь, которая может обернуться и очень горькой.

И я уезжаю снова. Нет, не надолго, дня на три-четыре. Уезжаю в Москву, вместе с мужем, которому по делам службы нужно побывать на ВДНХ. Мне тоже надо в Москву — повидаться с редактором. Да и на ВДНХ не лишне заглянуть.

И вот они все были передо мной — в хороших европейских костюмах они дружно представляли с фотографии свое хозяйство.

Устремлялись в неведомые дали прищуренные глазки Усманова, теряющиеся среди монументальной каменности черт.

И так же, как прежде, пронзало лицо Пака проникновенное, все преодолевающее сочувствие и понимание.

А вот и Каримов. Лицо на фото — горячее, словно остановленное на бегу, и в плечах застыл порыв движения... Но все-таки он словно бы постарел за то небольшое время, что прошло с нашей встречи. И того обаяния, того света, то открытого и яркого, то сумеречного, диковатого, не смогла я увидеть. Может, пленка была не слишком чувствительна...

Да, сплоченный коллектив на фоне отличных показателей.

Впрочем, что это? Не может быть... Но нет, в самом деле... Конечно, я бы ничего такого не заметила, будь я рядовой посетитель, просто пройди я вдоль стендов. Но я сидела на табуреточке — вглядывалась, проникалась, сосуществовала, — и я заметила эту, никем заранее не предусмотренную, но наличествующую сравнительную систему цифровых показателей. Откуда она взялась? Видимо, чертежник свято соблюдал режим экономии и писал новые показатели на листе, который использовался в прошлом году, а растворитель, которым он снимал прошлогодние данные, тоже был экономленней, отчего предшествовавшие цифры и просматривались под демонстрируемыми. Просматривались, отчетливо и недвусмысленно показывая, что все до единого итоги хозяйствования в «Пахтаабаде» в истекшем году хуже, чем прошлогодние.

Это неожиданное открытие не могло оставить меня равнодушной. И вот я уже сижу в той небольшой комнате,

где хранятся папки с подробными многолетними экономическими данными по демонстрируемым в павильоне хозяйствам. И самым ошеломляющим из всего, что открылось мне, было то, что в «Пахтаабаде» не только снижалась рентабельность, не только уменьшались заработки, — в «Пахтаабаде» падала урожайность! То есть вал-то рос, но если брать один лишь первый сорт, то по многим бригадам, даже по отделениям — урожайность падала. Это открытие было настолько неожиданным, что я даже не сразу сообразила, что вот и пришло ко мне искомое доказательство: ведь если так далеко и широко пойдет, то совхозу просто-напросто не выстоять. Не было всего этого в той тетрадке, которую передал мне Раим Каримов. Многие было в тех столбиках цифр — и интересное, и, казалось бы, откровенное. А самого-то главного — нерадостного сравнения с прошлыми годами — не было.

И тут-то наконец вопросы экономики, производства и нравственные категории, семейные традиции, которые по сей день представлялись мне разрозненными, отделенными друг от друга, — завязались в единый узел, обернувшись цельным, неразделимым комплексом. И наконец-то приходит ко мне долгожданное ощущение, что я не только хочу — я могу написать о том, что открылось мне в «Пахтаабаде».

Я уходила из сказочной страны Выставки. Я шагала дорожками среди зеленых, раскиданных ее привольий, и было в сердце так молодо, так свободно, что казалось — все по плечу.

Неподалеку от дома, где остановилась, был междугородный телефон-автомат. Я зашла, набрала ленинградский номер.

— Дашу увезли в больницу, — услышала я в трубке мамин голос. — Да, опять рвота. Я ничего не знаю и ничего не могу поделать. Приезжайте домой.

Даша в больнице. В инфекционной больнице. Опять случилась неудержимая рвота посреди ночи, мама звала неотложку, сказали, что есть опасность для жизни...

Я мчусь в больницу, прошу отдать ребенка домой, но оказывается, нельзя. «Лето, — говорят, — по прогнозу жара, необходимо получить все анализы, ребенку следует пройти лечение». — «Ей не нужно лечение, у нее так бывало и проходило. Проходило бесследно». — «Мамаша, — говорят мне, — вы рассуждаете несерьезно. Обращайтесь в санэпидстанцию».

Дни проходят между санэпидстанцией и больницей с одинаковым неуспехом. Я брожу с другими родителями под окнами больницы, где оди-

ноко проводит дни мой ребенок. «Ох,— думаю я, — она там без воздуха, она там не ест, ее там лечат, колют, хотя я совсем не уверена, что ее надо колоть...» Но вот наконец-то страшные дни позади, Даша дома. Худющая, прямо прозрачная, и только два глаза светятся, как два голубых прожектора, свет льет снопами без остановок, и сыплются, сыплются счастливые слова:

— Мы сели обедать. Тут сестричка говорит нянечке: «Она приехала на такси!» Я как подпрыгнула: «Кто приехал на такси?!» Я ведь знала, мамочка, знала! Мне говорят: доедай. Я быстро доела, меня умыли, обстригли ногти, ведут в коридор, вижу — мама! Выхожу на лестницу — папа! Выхожу на улицу — бабушка!

Но все-таки что же с ней было, ведь анализы в полном порядке? И ведь такое не в первый раз! Я таскаю Дашу по врачам, но всюду слышу, что ребенок здоров. Я везу ее к врачу, давно уже вышедшему на пенсию, старой школы, старой закалки, я очень верю этой женщине, которая когда-то научила меня самым простым и необходимым вещам — кормить, растить. И она тоже уверяет меня, что Даша здорова. И еще она говорит, что все эти недомогания, рвоты — какая-то патология нервного порядка.

— У детей вообще здоровье в огромной степени зависит от нервного состояния, — говорит она мне.

Отыскиваю специалиста по нервным детям, везу к нему Дашу. Он тщательно осматривает ее, а когда мы остаемся вдвоем, задает мне совершенно неожиданный, казалось бы, вовсе к делу не относящийся вопрос:

— Вы часто расставались с вашим ребенком?

— Да... Расставалась... — растерянно отвечаю я.

— Когда? На сколько?

— Первый раз, когда ей еще не было семи месяцев, начался коклюш, и она полтора месяца провела в больнице, без меня. Совсем без меня, потому что и я тогда свалилась, лежала в другой больнице.

— Тяжелый коклюш? Не было прививки?

— Да.

— Почему?

— Потому что были пневмонии — в пять месяцев, в шесть...

— Так часто болела? Отчего?

Как трудно все объяснить... Как рассказать про нашу комнату с тончайшими стенками в той небольшой, но так прочно загруженной соседями квартире? Их было немного, одна семья, но они размещались в квартире основательно, с неоспоримым чувством хозяина, которое во мне рождало чувство зависимости, примерно такое, какое возникает, когда тебя берут за горло.

Как рассказать про инспектора в жилищном управлении, который смог дать нам разрешение на вступление в жилстройкооператив только когда Даша уже родилась, а не тогда, когда она уже существовала, но — еще «во чреве матери». Еще не была оформлена на жилой площади. Так что в свою квартиру мы смогли перебраться, лишь когда ей пошел второй год.

Или про ту квартирную хозяйку, у которой мы сняли квартиру... Сняли, отремонтировали, и хозяйка сразу же нам отказала, едва узнала, что я в родильном доме.

И о том, как в редакции, где я сотрудничала уже двенадцать лет, такая вдруг пошла боязнь, что именно теперь-то я и не сумею ничего из того, что умела прежде. Перестали заказывать мне очерки. Такая пошла осторожность, что рождался протест, необходимость то недоверие опровергнуть, пусть через силу, пусть надрываясь, пусть совершая глупость за глупостью, но переубедить, преодолеть...

— Да, — отвечаю я, — был коклюш. После него рахит начался. Я носила ее на руках ночи напролет, только так она утихала.

Да, все так и было, и ведь ничьи требования ко мне не стали ни на йоту меньше. Многим и в голову не пришло, что можно было бы пойти навстречу, помочь. Нет, напротив, такое недоброжелательство сквозило, что нередко мной ощущалось: есть в жизни нужные, серьезные дела, а я вот от них отошла, доставляю себе какое-то чуть ли не антиобщественное, государственно бесполезное удовольствие. И таким плотным было это отношение, это понимание (на уровне того самого парня из очереди, который кричал женщине: «Ты ребенком не прикрывайся»), что я и сама предположить не могла возможность отношения иного.

— Потом уезжала, отдавала ее бабушке...

— Ну что ж, — говорит врач, — все ясно, у вашей девочки комплекс безматеринства, обостренное чувство необходимости матери. В этих ночных рвотах она не виновата, не нарочно же она их вызывает, тут работает подсознание. У вашего ребенка в его неполных шесть лет за плечами достаточно тяжелая биография. И ребенку нужна мама, которая возле него всей душой. Мать тем и отличается от отца, что не может отдавать в дом только деньги и труд, а должна отдавать себя. Это не такая уж дорогая цена за будущего человека. Конечно, вы можете попробовать и переломить... Но имейте в виду: вы рискуете потерять ребенка. Читайте, вам еще очень повезло: у вас чудесная девочка! Прекрасные тончайшие рефлексy, отличная координация движений, гармоничное развитие, ясное, своеобразное

мышление. Та болезнь отбросила ее немного назад, организму еще надо с этим справиться, и только вы ей можете помочь.

Я возвращаюсь с Дашей домой, а во мне все звучат эти слова... Как все ясно! Ведь ни разу, буквально ни одного раза эти приступы не начинались при мне. Всякий раз без меня, в мое отсутствие. Кажется, и сама могла бы сопоставить это, догадаться...

Да, ничего не проходит бесследно. Я слишком рано решила, что трудности мои позади.

Да, все, что не сложилось в моей жизни, ложится на плечи моего ребенка.

— Мама, — говорит мне Даша, — я высунусь в окошечко, взмахну руками и полечу!

— Вниз головой, дурашка.

— Нет, мамочка, я не упаду, а полечу вот так — ручки раскину, и прямо к тому облачку.

— Ты смотри, не вылети из автобуса.

— Мама, а хочешь, я скажу тебе, сколько будет десять плюс восемь? — Она долго шевелит губами и пальчиками и, торжествуя, произносит: — Восемнадцать!

— Даша, — удивляюсь я, — это кто же тебя научил? В садике, да?

— Мама, — отвечает серьезно и важно Даша, — ты сама мне читала: «Думай своим умом, слушай своими ушами, смотри своими глазами».

В самом деле, читала, но ведь давно, еще зимой. А она, смотри-ка, запомнила.

А вечером, уже забравшись в постель, она вдруг открывает глаза и спрашивает:

— Мама, а для чего люди на свет нарождаются?

— Как? Как?.. — переспрашиваю я с испугом.

— Ну да, коровы для молока, астры для красоты, а люди для чего? — Я молчу, я готова капитулировать. Но ведь должна же я суметь ответить ей на этот вопрос так, чтобы могла она и запомнить. Ответить всерьез, без фальши, как самой себе.

— Люди, Дашенька, для того, чтоб дарить себя. Дарить и домам, и тем же коровам, и тем же астрам, и дру-

гим людям, и детям — ведь никто не может без людей.

— Мамочка, — вдруг спрашивает она, — а ты никогда не умрешь?

— Когда-нибудь умру. И ты останешься жить на свете вместо меня.

— Нет, мамочка, — возражает она, — ты не умрешь. Я хочу, чтоб ты всегда была бессмертной. Ведь ты мне говорила, что тот, кого помнят, не умирает. Я всегда буду тебя помнить, значит, ты не умрешь.

И этого ребенка я вечно отправляю к бабушке, куда-то уезжая, убегая... О, как же построить свою жизнь, чтоб пыль и шлак моего напряженного существования не летели ей под ноги, не засоряли ее дороги... Да ведь для этого мне самой нельзя быть задуренной и вечно спешащей, издерганной и раздраженной. Для этого мне самой надо быть доброй, уравновешенной, понимающей.

И совсем по-другому вдруг освещается, насколько неотделимо все, что открылось мне в «Пахтаабаде», от моей собственной судьбы. Все ниточки — в одном узелке.

А Даша спит... Как безмятежно, как исполнено чистейшего доверия лицо спящего ребенка. Она и во сне не выпускает моей руки, и я чувствую в своей тепло ее ладони.

Я помню, как долго в ту ночь сидела, не выпуская ладошку Даши, и повторяла, твердила одно: «Что-то должно перемениться, должно перемениться». Я понимала, что не могу, не имею никакого права не написать про «Пахтаабад». И не только ради «Пахтаабада», но и ради самой Даши. Потому что все взаимосвязано в жизни, и самое далекое неотрывно от самого близкого.

Что-то должно перемениться.

Да-да, что-то должно перемениться во мне самой, в нас самих, в самом нашем воздухе, в самом сознании, в самом сердцевинном, сокровенном и личном... Ибо должно, должно стать нашим общим, убежденным общественным мнением осознание того, что именно в семье завязан тот узел, которым все мы взаимосвязаны и оттого взаимозависимы и взаимоуязвимы, — и не только в сегодняшнем, но и в завтрашнем, и в послезавтрашнем дне.

Эрнст Генри

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ МЕРЗАВЦА

Есть тип мерзавца, которого ничто никогда не меняет. Его жизнь протекает последовательно. Где бы он ни проживал, в какой бы обстановке ни находился, он неизменно идет по кривой дорожке. Другой он не ищет и не желает. Живя от подлости к подлости, он не только не раскаивается, а находит в этом особое, всепоглощающее удовлетворение. Буржуазное общество с его острыми противоречиями рождает таких людей с регулярной, почти механической закономерностью. Они очень живучи и нередко в своем окружении играют важную роль. Имена некоторых из них остаются в истории, и не всегда со следами грязи; им удается обмануть не только современников. Других начинают разоблачать уже при жизни. Одно из таких имен — имя Жоржа Дантеса, убийцы Пушкина.

Об обстоятельствах этого убийства все или почти все с того времени известно. Целые книги написаны на эту тему. Но что стало с Дантесом после? Эта вторая часть его жизни, в которой, как впоследствии указывалось в некрологах, он достиг больших успехов и почестей, еще недостаточно исследована. Между тем, именно она бросает особенно яркий свет на его характер. Становится яснее, с какой именно личностью имел дело великий поэт.

Сам Дантес явно считал дуэль с Пушкиным только предисловием к своей биографии. В роковой день убийце было всего 25 лет; жить ему предстояло еще 58. Настоящая карьера была впереди. Приемный сын барона Геккерена имел все основания так думать. В Европе того времени уже возникал широкий рынок для Дантесов. Контрреволюция повсюду готовилась к схваткам с революциями, и на людей определенного типа рождался спрос.

В течение первых лет после высылки из России Дантес все же держался сравнительно уединенно. Видимо, он боялся. Он очень хорошо знал, какую глгучую ненависть к себе он

возбудил в стране, откуда после преступления унес ноги. Укрываясь в эльзасском поместье своего родного отца, Дантес ждал своего часа. Час этот настал через восемь лет после трагедии у Комендантской дачи. Человек, убивший Пушкина, внезапно бросился в политику: в самую грязную политику.

По-видимому, Дантес уже в первой половине 1840-х годов через своего отца связался с реакционными католическими кругами в Эльзасе, за спиной которых стояли иезуиты. У этого могущественного ордена, специализирующегося на закулисной политической игре, в Эльзасе была влиятельная база. Но Дантес еще раньше, до поездки в Россию, был сам связан с ультраправым лагерем во Франции. Его покровительницей была герцогиня Беррийская, невестка низложенного в 1830 году короля Карла X. В 1845 году с помощью этих кругов Дантес проходит в генеральный совет французской провинции Верхний Рейн и три года спустя избирается в Национальное собрание, французский парламент того времени. Теперь, наконец, он в Париже, центре кипящей политической жизни страны, городе, стоящем накануне революции.

Дантес в Париже тех лет — это прежде всего классический прообраз мопассановского «милого друга». Перечитывая этот роман и следя за жизнью Дантеса после отъезда из России, перестаешь сомневаться; сходство между тем и другим неотступно бросается в глаза. Иногда кажется, что Мопассан просто списал «милого друга» с Дантеса. Едва ли великий французский писатель знал убийцу Пушкина лично. Хотя Мопассан написал свой роман еще при жизни Дантеса¹,

¹ 73-летним стариком в 1885 году Дантес не мог не прочитать эту вышедшую тогда и шумевшую на весь мир книгу, не мог и не узнать в ней, несмотря на некоторые различия и оттенки, самого себя. Он умер десятью годами позже, пережив Мопассана.

тот возвращался в другом кругу: ни к литературе, ни к журнализму салонный «лев» Дантес отнюдь не имел. Тем не менее нарисованный Мопассаном литературный портрет поразительно на него похож; сходится даже внешность.

Дантес предвосхитил «милого друга». В Париже, как до того в Петербурге, это все тот же авантюрист, хлюст без следа совести, делающий карьеру любыми средствами, во что бы то ни стало. Тот же профессиональный ловелас, сахарный красавчик, охотящийся за женщинами, чтобы использовать их в карьеристских целях. Тот же шакал в шкуре льва, ищущий прибыльных салонных связей, играющий в любовь для политики; политикой он пользуется для коммерции, коммерцией для политики. Тот же сутенер высокого, великосветского разряда.

Теперь нельзя, вероятно, доказать, что Дантес и в Париже, хотя бы в самом начале, делал карьеру с помощью женщин. Известно только, что он был постоянным посетителем парижского салона княгини Ливен, урожденной Бенкендорф (родственницы начальника III отделения при Николае I), салона мадам Калержи, урожденной графини Нессельроде, родственницы царского министра иностранных дел; позднее и салона императрицы Евгении Монтихо, жены Наполеона III. Судя по его портретам, несомненно, что он до конца своих дней, даже в старости, выглядел франтом; у «милых друзей» этого не отнять. Друзья Дантеса, которые сами его презирали, все же ему завидовали.

Но бесспорно и другое. Уже через год после своего появления в Париже в звании депутата Национального собрания Дантес нашел своего нового политического покровителя. Переметнувшись к нему от своих старых друзей, роялистов легитимистского толка, он от него уже не отходил. Это был принц Луи Наполеон Бонапарт, племянник Наполеона I, ставший в декабре 1838 года президентом Французской республики, а в 1851 году, после устроенного им государственного переворота, императором Франции.

Как Дантес проник к Луи Наполеону, с помощью ли салонных дам или через друзей по Эльзасу — неясно, сказать трудно. Так или иначе он еще до государственного переворота в 1851 году включился в окружение будущего Наполеона III — самого отъявленного мошенника в тогдашней Франции.

«Авантюристом, скрывающим свое пошло-отвратительное лицо под железной маской мертвого Наполеона»¹, — называл Маркс Наполеона III

в 1851 году. — «...Долгая бродяжническая жизнь авантюриста наделила его крайне тонким чутьем к критическим моментам, когда можно было вымогать деньги у буржуа. Он занимался форменным шантажом...»¹ «Старый, прожженный кутила, он смотрит на историческую жизнь народов и на все разыгрываемые ею драмы как на комедию в самом пошлом смысле слова, как на маскарад, где пышные костюмы, слова и позы служат лишь маской для самой мелкой пакости»².

«Луи Наполеон иногда нарушает молчание, — писал о нем же Виктор Гюго. — Но тогда он не говорит, а лжет. Этот человек лжет так же, как дышит».

Именно такому человеку, отчаянно-му игроку, десятилетиями стремившемуся к трону, и нужен был такой сообщник, как Дантес. Карьеристу большого размаха всегда в неограниченном количестве требуются карьеристы мелкого пошиба; нужна своя свора. Видимо, эти двое сразу узнали и поняли друг друга. Так Дантес стал одним из приближенных агентов Наполеона III, когда тот еще был заговорщиком.

В сентябре 1849 года в Париже внезапно возникло странное «филантропическое» общество под названием «Общество 10 декабря». Состав организации был необычным. Во главе стояли два самых близких к Наполеону человека: его сводный брат, бывший сахарозаводчик Ш.-О. Морни, впоследствии министр внутренних дел и герцог, и Ж.-Ж. Персини, разорившийся богач, впоследствии также министр внутренних дел и герцог. Вокруг них теснились другие бонапартистские сановники. Но в то же время в организацию гуртом принимались отбросы парижских низов. Маркс писал об «Обществе 10 декабря»:

«Под видом создания благотворительного общества парижский люмпен-пролетариат был организован в тайные секции, каждой из которых руководили агенты Бонапарта, а во главе всего в целом стоял бонапартистский генерал. Рядом с промотавшимися кутилами сомнительного происхождения и с подозрительными средствами существования, рядом с авантюристами из развращенных подонков буржуазии в этом обществе встречались бродяги, отставные солдаты, выпущенные на свободу уголовные преступники, беглые каторжники, мошенники, фигляры, лацдарони, карманные воры, фокусники, игроки, сводники, содержатели публичных домов, носильщики, писаки, шарманщики, тряпичники, точильщики, лудиль-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 8, с. 121.

¹ Там же, с. 166.

² Там же, с. 168.

пики, видне — словож, вся неопределенная, разношерстная масса, которую обстоятельность бросают из стороны в сторону... Бонапарт, становящийся во главе люмпен-пролетариата... таков подлинный Бонапарт, Бонапарт sans rhgase.¹ В своем Обществе 10 декабря он собирает 10 000 бездельников, которые должны представлять народ... Во время его поездок члены этого общества, размещенные группами по железнодорожным станциям, должны были служить ему импровизированной публикой, изображать народный энтузиазм, реветь: „Vive L'Empereur“², оскорблять и избивать республиканцев — разумеется, под покровом полиции...

Обществу 10 декабря предстояло до тех пор оставаться частной армией Бонапарта, пока ему не удастся превратить государственную армию в Общество 10 декабря»³.

Читая эти строки Маркса, написанные об организации, действовавшей 131 год назад, современник не может не подумать: да ведь это типичные черносотенцы! Такого же толка, как те, каких много лет спустя под вывеской «Союза русского народа» насаждало в России царское правительство. Есть даже немалое сходство с немецкими эсэсовцами. У Гитлера и Муссолини были ранние предшественники. Хотя формальных доказательств не сохранилось, не подлежит сомнению, что в бонапартистском «Обществе 10 декабря», этой первой модели фашистской организации в Европе, с самого начала участвовал приближенный Наполеона, Морни и Персиньи — Жорж Дантес.

В краткой биографической сводке, переданной когда-то потомком Дантеса Л. Метманом П. Е. Щеголеву, вскользь упоминается, что Дантес «очутился в числе политических деятелей, образовавших комитет, известный под именем Комитета улицы Пуатье, и подготовивших водворение империи». «Комитет улицы Пуатье» представлял в то время все правые силы во Франции, в том числе и организаторов «Общества 10 декабря». Так или иначе, Дантес был замешан в эти дела. Он принадлежал к погромной организации. В знак благодарности Наполеон III после своего государственного переворота назначил Дантеса пожизненным сенатором и камергером с огромным по тому времени окладом.

Но темными политическими делами на службе реакции деятельность Дантеса в Париже в то время не ограничивалась. Он же принимал непосредственное участие в бешеных биржевых спекуляциях, потрясавших то-

гда Францию и всю Европу. Инициаторами этих спекуляций были те же стоявшие вокруг Наполеона авантюристы.

Уже через несколько месяцев после бонапартистского переворота в Париже под названием «Сосьете женераль де Креди мобилье», или «Главное общество кредита под залог движимого имущества», был учрежден банк, ставший вскоре притчей во языцех. Как впоследствии объявили учредители, банк должен был стать «разумным стражем финансов и кредита», «способным предотвратить тревогу и ненужное возбуждение», равнодушным «к пристрастной или завистливой критике», отвечающим улыбкой на «резкие или обдуманные нападки» и гордо возвышающимся над пошлыми «измышлениями клеветников».

Это не из романа Золя, а из заявлений самих руководителей «Креди мобилье». Вероятно, ни один банк в истории до него или после него не выступал с такой возвышенной философско-этической программой своего бизнеса. Что же за ней скрывалось?

Маркс в те годы назвал банк «Креди мобилье» «крупным жульническим концерном»¹. В то же время он указывал на его важное значение. «„Crédit Mobilier“, — писал он, — представляет собой одно из самых любопытных экономических явлений нашего времени, подлежащее самому основательному рассмотрению. Без такого изучения невозможно ни определить перспективы Французской империи, ни понять симптомы всеобщего социального потрясения, проявляющиеся во всей Европе... „Crédit Mobilier“ открыто признается в своем намерении сделать себя собственником, а Наполеона Малого — верховным директором всей разнообразной промышленности Франции». Маркс добавлял, что помимо всего прочего Наполеону III с помощью этого банка «необходимо было уплатить свои собственные долги, а также долги respectableного сброда Общества Dix Decembre (10 декабря. — Э. Г.) и обогатить как себя, так и этот сброд за общий счет буржуазии и рабочих»².

Главная часть акций «Креди мобилье» находилась в руках семьи ростовщика Ашиля Фульда, личного банкира Наполеона III, которого он после прихода к власти сделал министром финансов. Директорами банка были ставленники Фульда братья Перрейра, ловкие биржевые спекулянты. Членом правления был сводный брат Наполеона герцог Морни. Акционером через подсобных лиц явно был и сам Наполеон. Иностранцами делами бан-

¹ Без прикрас.

² «Да здравствует император!»

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 8, с. 167—170.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, с. 215.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, с. 24—25, 27.

ка вместе с Перейра негласно заправлял барон Геккерен — Жорж Дантес. Чем он занимался?

К «кредиту под залог движимого имущества» деловые операции «Креди мобилъе» не имели никакого отношения. Фульдъ и Перейра были строителями молодого французского капитализма, но, как указывал Маркс, занимались при этом прямым мошенничеством. Речь шла о широко поставленном грабеже публики и государства.

Договариваясь частным порядком — обычно путем подкупа — с министрами во Франции или в другой стране, «Креди мобилъе» задешево получал ценные железнодорожные или промышленные концессии, выпускал на огромные суммы акции нового предприятия и затем спекулировал ими как хотел. Сначала курс акций вздувался сверх всех ожиданий, затем резко снижался манипуляциями на бирже; оторопевшие вкладчики вынуждались спешно продавать свои акции — тем же спекулянтам. Потом все начиналось сначала. Люди обирались до нитки. Это делалось систематически.

Так, например, курс акций основной банком во Франции Южной железной дороги был искусственно вздут с 400 до 800 франков, акций Тионской железной дороги — с 635 до 1835 франков и т. д. Подстроенное банком ложное сообщение об его деловых успехах в течение двух дней подняло курс его акций с 1200 до 1865 франков, а последовавшее затем «опровержение» бросило их вниз до уровня 1100 франков.

Состояния владельцев «Креди мобилъе» росли из месяца в месяц. Золя ярко описал эту бешеную игру в романе «Деньги». Когда в 1867 году «Креди мобилъе» наконец переиграл самого себя и обанкротился, состояние, оставшееся в руках одних лишь братьев Перейра, оценивалось в колоссальную для того времени сумму в 180 миллионов франков. Любой добросовестный суд должен был бы запрятать организаторов этого публичного разбоя в тюрьму на долгие годы. Но шайка, которая вела эту игру, сама правила Францией.

Дантес не принадлежал к числу руководителей «Креди мобилъе», для этого его калибр как игрока был все же недостаточно высок. Перейра или Фульдам он в подметки не годился. Он занимался всего лишь заграничными аферами банка; например, представлял его в правлениях таких предприятий, как «Компания привилегированных австрийских железных дорог», «Компания Североиспанской железной дороги», «Главное общество испанского „Креди мобилъе“», «Главное общество торговли и промышленности» в Амстердаме. Но в этих делах он был вполне на своем месте.

Для того чтобы выгодно приобрести ценные железнодорожные и другие концессии в те годы, надо было не только уметь ловко вести переговоры с теми или иными правительствами. Надо было знать, кого и за сколько подкупать; красоваться в аристократических салонах, завязывая важные связи; иметь любовниц при дворе; узнавать личные тайны влиятельных сановников; обманывать одних, превращать в соучастников других. Это ремесло Дантес знал. Никто не умел делать такие вещи лучше, чем «ослепительный» «милый друг».

В Париже, Вене, Мадриде он вызывал в кругах великосветской черни такое же восхищение, как когда-то в Петербурге. В возрасте 45 лет он все еще не утрачивал своей профессиональной обольстительности. Судя по всему, аристократические дамы-посредницы были и теперь повсюду к его услугам.

Не сговорившись, Бальзак, Мопсан и Золя, каждый по-своему, описывали Дантесов и их окружение в те годы. Они ничего не преувеличивали и ничего не утрировали. Перед глазами этих больших писателей благородству и мужеству французского народа, в гнев подымавшегося на восстания 1830, 1848, 1870-х годов, все время противостояла невообразимая по грязи и жестокости жизнь крупной французской буржуазии. Фигура самого Дантеса в этой галерее была, разумеется, второразрядной. По существу он был ничтожеством. Но он был и особенно типичен. Салонный «лев» оказывался бесчестным дельцом. То и другое в жизни Дантеса не только совмещалось, но и взаимодействовало.

Было бы, например, интересно установить, какую роль он играл в 1855 году в деле приобретения банком «Креди мобилъе» от венского двора богатейшей концессии на постройку «императорских и королевских железных дорог» в Австрии. Послом Голландии в Вене в то время еще был его приемный отец барон Л. Геккерен, до революции 1848 года тесно сотрудничавший с самим Меттернихом. Но помогли, вероятно, также графини и баронессы. Дантес сам стал одним из членов совета австрийского железнодорожного концерна и ввел туда своего друга герцога Морни.

Еще интереснее было бы исследовать подлинную историю возникновения в январе 1857 года под эгидой «Креди мобилъе» «Главного общества российских железных дорог» — крупнейшего частного предприятия в России в то время, которому царское правительство передало концессию на постройку сети железных дорог длиной около четырех тысяч верст с проходом через 26 губерний. Официально Дантес в этом деле, конечно, не фигурировал. Явиться вновь в Россию по-

сле преступления 27 января 1837 года он не мог. Более чем вероятно, однако, что он и в этом случае помогал банку «Креди мобилъе» за сценой. Переговоры о концессии начались еще при жизни Николая I, с которым Дантес находился в прекрасных отношениях; как мы увидим, он имел личную встречу с Николаем в связи с другими делами в Берлине в 1852 году.

В «Главное общество российских железных дорог» были привлечены в качестве соучастников такие тузы тогдашней царской бюрократии, как позднейший министр финансов А. А. Абаза, генерал-адъютант А. Е. Тимашев, генерал-адъютант Н. М. Ламсдорф, шталмейстер двора граф Г. А. Строганов, товарищ министра внутренних дел А. И. Левшин, генерал-губернатор балтийских губерний граф Э. Т. Баранов, управляющий министерством путей сообщения граф В. А. Бобринский. Другой член совета общества, придворный банкир А. Штиглиц, через которого проходило дело, был известен своими приятельскими отношениями с царским министром иностранных дел графом К. В. Нессельроде. Как уже упоминалось, в салоне Марии Калержи, племянницы Нессельроде, вращался Дантес. Это были сливки сановного петербургского общества — того самого, которое с таким равнодушием или даже злорадством отнеслось к убийству Пушкина.

Контакты Дантеса с Петербургом шли через Париж. В сентябре 1858 года, через полтора с лишним года после получения банком «Креди мобилъе» концессии на постройку железных дорог, Герцен сообщал в своем «Колоколе»: «Несколько месяцев тому назад la fête fleur¹ нашей знати праздновала в Париже свадьбу (князя Н. А. Орлова с княгиней Е. Н. Трубецкой. — Э. Г.). Юриковские князья и князя вчерашнего дня, графы и сенаторы, литераторы... и чины — все русское население, гуляющее в Париже, собралось на домашний русский пир к послу, один иностранец и был приглашен как почетное исключение — Геккерен, убийца Пушкина!»

Многое говорит за то, что Дантес действительно приложил свою руку к афере «Главного общества российских железных дорог», обошедшейся России в десятки миллионов рублей. Здесь опять осуществилась не только финансовая, но и темная политическая махинация в его вкусе. Уже через четыре года после своего учреждения железнодорожное общество «растратило» капитал, приостановило работы, и правительству пришлось взять новые расходы на себя. Компанияны Дантеса из «Креди мобилъе» умыли руки, предварительно основательно погрев их.

В самой Франции Дантес тогда же вошел в правление основанной банком «Креди мобилъе» «Парижской компании газового освещения и отопления». Эта афера была косвенно связана с предпринятой банком и дельцом бароном Ж.-Э. Османом грандиозной перестройкой Парижа. Главная цель была опять-таки политическая: убрать из столицы узкие извилистые улочки, которые так часто позволяли революционным рабочим строить баррикады. Но и тут одновременно велась спекуляция. Квартирная плата для простых парижан повышалась, и дельцы из «Креди мобилъе», в том числе Дантес, наживали на этих делах большие деньги. Их подрядчик барон Осман, обвиненный в незаконных манипуляциях, был вынужден подать в отставку.

Банку Фульдов, Перейра, Морни и Дантеса не удалось осуществить свою главную цель. Маркс писал в 1866 году, накануне банкротства «Креди мобилъе»: «Если бы Обществу («Креди мобилъе». — Э. Г.) удалось обменять акции всех промышленных компаний на свои собственные облигации (о чем и мечтали его основатели. — Э. Г.), то оно действительно стало бы верховным распорядителем и собственником всей промышленности Франции...»¹. В 1867 году «Креди мобилъе» потерпел крах и после падения империи Наполеона III был ликвидирован. Но Дантес, в числе прочих, нимало не пострадал, он снял сливки с бизнеса прежде, чем это произошло, умножив свое состояние.

Европейская буржуазия как бы уплачивала задним числом вознаграждение человеку, совершившему единственное в своем роде преступление против европейской культуры. Если считать по этому вознаграждению, то кровь автора «Евгения Онегина» оценивалась на парижской бирже во многие миллионы франков.

Стоит отметить, что Дантес в те же годы вмешивался даже в самую высокую международную политику. Установлено, что Наполеон III пользовался им как тайным эмиссаром для переговоров с иностранными правительствами и для всевозможных интриг. Так, в мае 1852 года, через несколько месяцев после бонапартистского государственного переворота, Наполеон III послал Дантеса с секретной миссией ко дворам Вены, Берлина и Петербурга, чтобы благоприятно заручиться их признанием своего восшествия на императорский престол. Дантесу, а не профессиональному дипломату, было поручено это дело, и он преуспел. Дантес был принят австрийским императором и прусским королем и в Берлине же получил аудиенцию у гостив-

¹ Цвет.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, с. 37.

шего там тогда Николая I. Его потомок Метман с восторгом сообщил позднее, что царь выказал Дантесу «благодарность, напомнил ему о его службе в русской армии и разрешил ему со всей откровенностью высказать пожелания и надежды принца Луи Наполеона». О Пушкине Николай I Дантесу, видимо, не напомнил.

Четыре года спустя Наполеон III послал друга Дантеса Морни на коронацию Александра II и назначил его послом в Петербурге. Через Морни Дантес, очевидно, сохранял свои связи и «пружинки» в России — спустя 20 лет после высылки из страны. Теперь, однако, речь для него шла уже о чисто коммерческих аппетитах. Морни доносил Наполеону III: «Я вижу в России рудник для французской эксплуатации». Вскоре после этого и началось вторжение французского капитала в тяжёлую промышленность царской России.

Можно утверждать, что в середине прошлого века Дантес принадлежал к внутреннему ядру крайней реакции в Европе. Его главным покровителем был Наполеон III. Его приемный отец Л. Геккерен, как уже упоминалось, на посту голландского посла в Вене был близок к Меттерниху. Ему благоволил Николай I. Прусский принц Вильгельм I, ставший в 1871 году императором Германии, был благодетелем Дантеса еще задолго до Наполеона III: в октябре 1833 года Дантес приехал в Петербург с личной рекомендацией именно от принца Вильгельма. В Испании, где Дантес помог создать мадридский филиал «Креди мобиле», у него тянулись нити ко двору королевы Изабеллы II, считавшемуся одним из самых реакционных в Европе. В самой Франции Дантеса, начиная с 1840-х годов, поддерживали иезуиты, столпы крайне правого католического клерикализма, а еще раньше его опекала герцогиня Беррийская из семьи Бурбонов. К таким силам он примазывался повсюду. Политическое лицо этого человека выглядывает из его биографии так же отчетливо, как его нравственное лицо.

Подтверждается и в данном случае, что политический и нравственный облик человека, как правило, неотделимы друг от друга. Не бывает морально грязных людей, которые становились бы справедливыми и честными политиками. Одно исключает другое. «Гений и злодейство — две вещи несовместные», — сказал устами Моцарта человек, которого убил Дантес. Отнюдь не случайно, что Дантес во второй части своей жизни оказался в лагере самых злобных реакционеров в Европе. Его место было именно там.

Вот почему биография убийцы Пуш-

кина относится не только к истории литературы, но и к политике. Пушкин был убит не просто легкомысленным французом-аристократом, а одним из первых фашистов в Европе. Можно пойти дальше и сказать, что с философской точки зрения сама дуэль Дантеса с Пушкиным, одним из светлейших умов в современном ему мире, была как бы наглядным уроком по исторической диалектике.

После крушения империи Наполеона III Дантес продолжал жить на награбленные капиталы и дожил до 83 лет. Такие люди обычно живут долго: они о себе заботятся. Все эти годы он оставался верен своей политической и моральной подлости. 22 марта 1871 года, через четыре дня после создания Парижской коммуны, по улицам французской столицы прошла демонстрация взбешенных контрреволюционеров. Участниками были офицеры-монархисты, биржевики, остатки черносотенного «Общества 10 декабря». В рядах демонстрантов шагал старик Дантес. Маркс по этому поводу назвал его в числе «известнейших выкормышей империи»¹.

Говорят, что именно Дантесу было посвящено стихотворение Виктора Гюго «Написано 17 июля 1851 года по уходе с трибуны»².

Все эти господа, кому лежать в гробу,
Толпа тупая, грязь, что превратится
в прах.

Да, да, они пройдут, они умрут.

Пока же

Для сердца честного они что день,

то гаже.

Завистливы, тая ребячий злобный нрав

И с бешенством свое бесплодие осознав,

Идущему вперед они кусают пятки.

Им стыдно, что их лай — лишь слабые

зачатки

Рычания, и тем унижены они.

Бегут они спеша: добыча там! гони!

Кто всех проворнее? И, тьявка все

чаще,

В сенат врываются, как бы в лесные

чащи...

И брызжет их слюна, летя со всех

сторон,

В наказ народный, в честь,

в республику, в закон...³

Дантесы еще существуют. На Западе их сколько угодно. Рожденные классовым обществом эксплуататоров, они будут существовать до его конца. До тех пор мерзавцы этого типа едва ли переведутся.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 17, с. 335.

² После антибонапартистского выступления Гюго в законодательном собрании.

³ Перевод Г. Шенгеля.

Даниил Гранин

КНИГА О ВЕЛИКОМ ЧЕЛОВЕКЕ И ВЕЛИКОМ УЧЕНОМ

Книга эта трудная и интересная. Признаться, давно не попадались мне столь трудные книги. Ее читаешь все время с неубывающим напряжением. Мысль автора поднимается до уровня мысли его героя, а мысли его героя — результат огромных и долгих усилий ума гениального, работавшего над проблемами строения вещества, мира, а значит, и над проблемами философии.

Речь идет о книге Даниила Данина «Нильс Бор», о книге, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» в 1978 году. Книга эта значится под номером 582. Сотни книг разных и о разных, казалось бы, исчерпали за эти десятилетия возможности жанра. Среди них было много жизнеописаний великих умов человечества, и тут тоже сложился свой набор приемов, и не приходится здесь рассчитывать на значительные новации. Тем не менее книга получилась во многом новаторская.

Из биографических книг больше всего меня занимали книги о ученых. О тех дарованиях созидательных, смелых, творящих, которым человечество обязано нынешней цивилизацией. Личность Нильса Бора отличается тем, что ему удалось открыть целую новую эру не только в физике и в современном понимании строения материи, но и в понимании законов существования этой самой материи. Его открытия порывают с прежней наглядностью представлений, с так называемым здравым

смыслом. Это законы, которые выглядят фантастическими, даже безумными, они изменили все наши представления о мире. Во всяком случае, так воспринимались открытия Нильса Бора его современниками.

О Нильсе Боре написано немало, в том числе и на русском языке. Книга Данина особая, и прежде всего хочется говорить об этих особенностях. Перед автором, очевидно, было несколько возможностей. Сама по себе биография Бора не очень-то выгодна для книги биографического жанра. Он был физик-теоретик, его жизнь, во всяком случае, довоенная его жизнь, проходила в размышлениях и обсуждении этих размышлений. Месяцами, годами человек ходил и думал, подсчитывал и обговаривал что-то со своими коллегами, стуча по доске мелом и рисуя. Жизнь почти без событий. У физика-экспериментатора, у того, по крайней мере, существует событийность эксперимента, как, например, у Фарадея, у того же Резерфорда, о котором до этого написал книгу Данин. Ставятся опыты, делаются приборы. Деятельность Бора была, что называется, кабинетной в большей своей части, без каких-либо внешних событий. Автор мог рассказать о его научных достижениях, мог привести довольно большой научно-биографический фольклор, связанный с его научным окружением: занятые рассказы о взаимоотношениях людей, истории некоторых дога-

док, рассказать о шутках, о доброте и порядочности героя. Однако автор выбрал вариант иной, более сложный и более существенный для того, кто хочет понять природу гения. Может, это не было целью, но так получилось. Шаг за шагом прослеживает он рождение и ход мысли своего героя, ее прыжки, ее препятствия. Он забирается в тайное тайных, святая святых, как бы в работу мыслительного аппарата; воссоздает историю этой работы по логическим соображениям, по воспоминаниям героев, документам, по фразам, наконец, по каким-то мало, на первый взгляд, значимым словам, оброненным спустя годы и десятилетия. На наших глазах проводится тщательная реставрационная работа. Надо восстановить не просто историю какой-то одной догадки, а стиль, манеру мыслительной работы, и не кого-нибудь, а одного из величайших физиков-мыслителей — Нильса Бора.

Такого рода работа требует от самого писателя восхождения. Подняться, чтобы быть на уровне, чтобы не восхищаться, а понять или хотя бы представить.

Казалось, осенением, озарением было то, что произошло в 1912 году, когда Бор нацупал самый общий принцип построения системы Менделеева. Закон радиоактивного смещения и вообще понимание планетарной модели атома. Произошло это разом, эффектно, но писателя интересует другое: как могла возникнуть эта догадка, что ей предшествовало. Почему именно Бору она пришла, не кому другому, и что воследовало за этим — все это скрупулезно исследуется и описывается доказательно. Настолько, что верить автору, даже там, где он уже не пользуется ссылками, документами. Разрывы между фактами — это не прямая. Пути и тропинки, по которым пробиралась боровская мысль, извилисты; работа писателя, который, как следопыт, идет по незаметным, занесенным временем следам героя, все более захватывает читателя. Мы погружаемся в мир боровских исканий, который лишь теперь, спустя многие десятилетия, стал проще и доступнее. Именно боровской мысли. Мы постепенно привыкаем к его индивидуальности, присущему только ему способу мышления.

У каждого ученого своя диалектика, свои подходы к истине. Сама истина, очевидно, безлика. Она принадлежит природе, а вот то, как ее открыли, поиски ее, путь к ней, со всеми ошибками, заблуждениями — в этом неповторимая личность ученого. Можно вспомнить, как причудливо соче-

тались естественнонаучные взгляды Ньютона с его религиозными исканиями. Можно вспомнить, как с бесконечной терпеливостью перебирал Фарадей всевозможные сочетания проводника и магнита, доискиваясь до связи между электрическими и магнитными явлениями. У Бора все это происходило на экспериментах мысленных, условных, догадки вызревали даже не столько в тайниках ума, сколько в тайниках души.

Повествование показывает, с чего все началось, самые первые истоки, восходящие к первым самостоятельным научным работам, к знакомству с философией датского философа Кьеркегора. Не прямо, а косвенно, по далеким ассоциациям создавались предпосылки будущих открытий Бора, которые привели к новой, неклассической физике. Теперь, конечно, обратным ходом проследить этот путь легче, тем более, что автор мог пользоваться интереснейшими материалами, собранными историками науки во главе с Томасом Куном. Они выясняли, как все начиналось, опрашивая самого Нильса Бора и его учеников. Но Данин проделал большую самостоятельную историческую работу, собрал новый фактический материал: работал в архивах Копенгагена, опрашивал ближайших сотрудников Нильса Бора, бывал в доме Боров, разговаривал с его родными, близкими. Тщательно, годами собирал он факты, изучал написанное Бором. Ценность нового материала книги несомненна. Еще большую ценность представляет работа по освоению этого материала. Все эти факты надо было осмыслить, понять, для того чтобы сложить из них историю творческой личности героя, образ Творца. Это была уже работа не историка, а писателя. Начиная с 1912 года неотступно, год за годом, выясняется, как формировалось у Бора новое понимание физики. Как он совершал революцию, производя титаническую работу строительства, как казалось тогда, абсурдной, безумной квантовой физики.

Физик-теоретик, Нильс Бор работал иногда на самой границе между философией и физикой. Это опасное для всякого менее мощного ума соседство обогатило и философию, да и сам Нильс Бор невольно соприкасался с коренными проблемами теории познания. Поэтому, когда читаешь книгу, невольно задумываешься над философским смыслом принципа соответствия, над идеей спонтанной вероятности, над квантовыми скачками. То и дело нас подстерегают неожиданности, вдруг возникает проблема — понять, что означает само слово *понимание*. Необходимо создать философию квантов. Принцип дополнительности — ко-

гда надо было уразуметь двойственность электрона, представляющего собой одновременно и частицу и волну. Немудрено, что и автор затрагивает, исследует философские проблемы, роящиеся вокруг этой революции в физике, вокруг квантовой теории. Разворачивается волнующая картина прощания с основной, вековечной философией природы, извечным детерминизмом, с причинностью, причем с причинностью однозначной. Нелегко объяснить, как отыскивались причины «бестричинности». Так, чтобы были доступны и интересны эти высшие достижения теоретической физики, суть споров между такими гигантами, как Эйнштейн и Бор. Объяснить это может хороший популяризатор (дар тоже драгоценный!). Данин же увлекает нас не только формой, а и природой этих разногласий и борьбой умов. На протяжении повествования даже не сведущий в физике читатель начинает ощущать себя полноправным участником событий. Такова история единоборства с Эйнштейном, которая происходила на 5-м конгрессе Сольвея. Мы видим разницу в способах оценки основных физических законов Эйнштейном и Бором и то, как они спорили, какие аргументы приводили. Великие умы, великие характеры, великие души стояли за этим: «Я не верю, что господь бог играет в кости», — утверждал Эйнштейн, считая, что природа не прибегает к помощи случая и что квантовая механика неспособна объяснить мир, ибо опирается на соотношение неопределенностей. Какое же философское возражение найдено Бором? «Не наша печаль приписывать господу богу, как ему следует управлять этим миром».

Происходила, как говорил Бор, решительная ломка понятий, лежавших до сих пор в основе описания природы. Немудрено, что книгу читать нелегко. Но это не трудность зарослей, а трудность восхождения. Книгу такую читаешь долго, так, что начинаешь с ней жить, есть такие книги — для дальней дороги, для одиночества. Она требует проникновения. Недаром книга эта — плод многолетней работы.

Интересно, что Бор не другим, а себе, как пишет Данин, препоручил создание философии квантов. «И не потому, что в других верил меньше, чем в себя. Просто он не мог жить не понимая. Отказ от собственных попыток понять грозил бы ему душевным разладом». Вот характерное объяснение чисто внутренних психологических мотивов и состояния Бора. Объяснение, которое помогает проникнуть нам в сокровенную душевную потребность Бора — понять... Объяснение психологически достоверное, почти как вывод. Такие психологические откры-

тия и находки в книге соединяются одно с другим, составляя цельное жизнеописание, историю ума и души, а не просто хронологически нанизываемая рассказы о известных случаях. История открытия и становления квантовой механики сочетается с историей ее творца, и мы уже не сетуем на бедность жизненных приключений, жизнь Бора оказывается насыщенной действием, пусть внутренним, она становится напряженно-событийна — неважно, что это события духовной жизни, в них вся полнота переживаний, чувств, связанных с поиском, с борьбой...

История становления боровского миропонимания предстает не просто страницей истории физики. Мы видим методы и способы добычи знания, которые и составляют науку, может быть, самое ценное в ней.

Человеческим достижением Бора была созданная им школа физиков. Далеко не каждый великий ученый мог создать свою школу. Есть характеры, неспособные на это, таков, например, Эйнштейн. У Эйнштейна не было учеников. И у самого Бора немногие из учеников его, которые выросли в Копенгагене, в боровской школе, сумели последовать примеру своего учителя. Как учитель Бор обладал исключительной притягательностью для молодых физиков. Почему? Привлекал он сам как человек, привлекали принципы, на которых он объединял вокруг себя талантливейших физиков-теоретиков мира. В его школе не было старших и младших, Бора называли на ты, этим подчеркивалось равноправие. Бор сам, не считаясь ни с чем, приходил к младшему своему сотруднику Гейзенбергу, когда ему нужно было обсудить проблему. Примечательна каждая история взаимоотношений Бора с учениками, хотя бы с тем же Вернером Гейзенбергом. Это был, может быть, один из самых великих его учеников. Тяжелым испытанием для их взаимоотношений был приход Гитлера к власти. Возникла сложность, которая нарастала и привела к трагическим расхождениям между ними с начала второй мировой войны. Летом 1941 года Гейзенберг приехал из Германии в Копенгаген, чтобы поговорить с Бором. О чем они говорили — неизвестно. Версия, предложенная в книге, не единственная. Однако выглядит она убедительной, так же как убедительно выстраивается вся логика поведения Гейзенберга в годы войны. Хотя, опять-таки, на мой взгляд, существуют и другие, может быть, более жесткие оценки поведения Гейзенберга, который стал не только националистом в эти годы, но и руководил созданием атомной бомбы для гитлеровской Германии. Были

моменты, когда Гейзенберг явно сотрудничал с гитлеровскими властями во имя Германии, во имя немецкой физики. Но, повторяю, тот характер Гейзенберга, который создан в книге, вполне историчен и возможен.

Начиная с 20-х годов, один за другим к Бору приходят молодые физики, сотрудничая, оппонируя с ним, — такие, как Вольфганг Паули, Отто Фриш, Хевеши, Костер, Лев Ландау, Крамерс, Оскар Клейн. Каждый приходил к Бору по-разному, и перед нами разворачивается научная индивидуальность целой плеяды замечательных ученых нашего века. Естественно и деликатно проходил процесс формирования этого редкостного содружества талантов. Чисто человеческий материал потребовал художественных средств воплощения. Известные нам ученые появляются во всей плоти, в своеобразии характеров, собственного стиля мышления, со своей научной физиономией. Физические школы такого масштаба — редкость. История русской физики знает школы, созданные Петром Николаевичем Лебедевым, а в советское время — Абрамом Федоровичем Иоффе и Петром Леонидовичем Капицей. Правда, это школы экспериментаторов. Важна не только история возникновения школы — важны ее традиции, ее порядки. Д. Данин это сумел показать без поучений, но сравнение и мысли приходят тут сами по себе. Как приятно умение Бора быть не авторитетом. Признавать свои ошибки. Видеть недостаточность своих аргументов. Прекрасен дух полного доверия, товарищества, отсутствие всякой косности, дух высочайшего абсолютного интернационализма. В школу Бора приезжали отовсюду. И не было никакой разницы ни для Бора, ни для других — русский, венгр, немец, американец, индеец... Все находили у Бора приют, внимание — требовались лишь талант и преданное служение истине.

Все это достаточно само по себе для интересного рассказа. Однако постепенно выясняется, что наш интерес держится не на истории физики и не на истории работы ума, нас все сильнее притягивает нравственная значимость фигуры Нильса Бора.

Он прожил большую, насыщенную историческими событиями жизнь — первая мировая война, вторая война, оккупация, фашизм. Начиная с 1941 года спокойная кабинетная жизнь ученого кончается. Судьба как бы навстречивает... Побег, опасности, приключения. Нильс Бор становится активным участником крупнейших событий. Но среди этих приключений мы

уже заняты другим, мы следим за тем, как умеет он в самых сложных условиях оставаться примером высочайшей нравственности. Ему приходится решать трудные нравственные проблемы и в отношениях с людьми, да и для себя лично. С какой настойчивостью он добивается встречи с Рузвельтом, с Черчиллем для того, чтобы разъяснить им опасность атомного шантажа. По сути он был первый, кто оценил зло и безнравственность атомной бомбы. Еще в ту пору, когда война не кончилась и американские физики гордились своей работой, он понял всю бесчеловечность нового оружия.

С ним бывало всякое, не миновали его личные трагедии — смерть близких, он не всегда был безупречен, он ошибался в людях, из-за его ошибок страдали другие. Но в любых случаях он оставался верен благородству и честности. Он бескорыстно любил науку, а не себя в науке. Он заботился о других, насколько у него хватало времени и сил.

Впрочем, не стоит тут повторять и воссоздавать ту целостную нравственную атмосферу, которая сопутствовала этому человеку до конца его дней. Хочу лишь сказать, что именно эта чисто человеческая и такая дорогая нам всем сторона его деятельности наполняет особым светом всю книгу. Нельзя не упомянуть здесь о счастливой семейной жизни в доме у Боров, полной добра и взаимоуважения. Великие люди бывают действительно великими и в этом личном, даже интимном, и это создает редкое удовольствие гармонии.

Художественные достижения автора заставляют и судить его по законам художественного произведения. Чисто литературные приемы не всегда совместимы со своеобразной тканью этого повествования. Так, автор, цитируя Бора в момент его наибольшего успеха, задается вопросом: почему вдруг Бор говорит об одиночестве? Откуда это чувство? Данин не спешит с ответом. Он закидывает крючок заботливости и далее продолжает рассказ о жизни Бора. Время от времени он возвращается к этому вопросу, стараясь удержать в нас интерес. Но чувство меры изменяет ему, прием обнажается, становится назойливым, как чисто литературное ухищрение. То же самое происходит и в разговоре-воспоминании Паули и Бора. Они ведут свою устную летопись в 1927 году, обговаривая все то, что случилось в предыдущие годы. Опять прием для того, чтобы половчее вытащить прошлое, и длится это десятки страниц. Досадно, когда автор перестает доверять себе, своему материалу, своему превосходному уменью рассказывать

просто и интересно о своем герое. Добротная талантливая литература противится такой нарочитости.

В образе Нильса Бора торжествует пушкинская мысль: гений и злодейство — вещи несовместные! Гений Бора действовал как активная нравственная сила, действовал, гармонично соответствуя его натуре.

Современный читатель, особенно молодой, жадно ищет героев действия и духовной красоты. В критике бытует понятие положительного героя. Однако понятие это условное, академичное, невольно предпочитаешь ему понятие *любимого героя*. Мне кажется, оно ближе к жизни, где мы делим людей не на положительных и отрицательных, а скорее на тех, кого мы любим или не любим.

Наше время испытывает настоятельную потребность в примерах нравственной жизни. Альберт Швейцер не случайно стал одним из героев нашего века. Имя его пользуется неубывающей любовью, уже которое десятилетие привлекает к себе сердца людей разных континентов. К такого же рода героям, украшающим галерею человечества, относится и Нильс Бор. Достоинство книги Д. Данина в том, что он дал еще один пример для раздумья, еще одного человека, достойного признания, и укрепил и развил наше чувство любви к Нильсу Бору. Он рассказал нам не только историю великих открытий физики, но и приоткрыл бесценные богатства великой души, пленяющей своим благородством и духовностью.

Галина Любацкая

МИР ЛИЧНОСТИ И ЛИЧНОСТЬ В МИРЕ

Нравственность служит для того, чтобы
человеческому обществу подняться выше...

В. И. Ленин

В этой емкой, как всегда у В. И. Ленина, фразе вождь пролетариата исходит из конкретных условий времени — он говорит о роли нравственности в уничтожении эксплуатации труда — и вместе с тем со всей определенностью утверждает непреходящую роль нравственности в будущем, когда «эксплуатация труда» станет книжным понятием.

Недаром в этой же речи, обращенной к тем, кому предстоит строить новое общество, Владимир Ильич убежденно подчеркивает: «Надо, чтобы все дело воспитания, образования и учения современной молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали».

И действительность подтверждает: отправная точка любого рода человеческой деятельности в нашем обществе — нравственность. Она — первооснова всего, формирующая отношение к труду и контакты с людьми, мотивирующая поступки и способы разрешения конфликтов.

Ей, коммунистической нравственности, с самого рождения свойственны были боевой задор и активность. Не случайно сразу же после победы революции, когда шла гражданская война, В. И. Ленин выдвинул лозунг «именно практической и именно деловитости», подразумевая под этим высококонтрастную повседневную организационную работу по строительству социализма.

Во время многослетней литературной полемики вокруг «делового чело-

века» произошла путаница и подмена понятий «деловитость» и «практичность».

Их первоначальный, революционный и нравственный, смысл в пылу споров порой забывался, более того, до неузнаваемости подчас искажался, ассоциируясь у некоторых участников дискуссии с делячеством, то есть видимостью работы, с утилитарным отношением к людям и жизни, наконец с безнравственным рационализмом. Если иные литературные герои и давали основания для подобных обвинений, то истинно деловой человек никак не был повинен в адресованных ему претензиях.

Он продолжал истово, изо дня в день делать свое дело — и не как-нибудь, а мастерски, вкладывая душу, — помогал, не щадя себя, людям и, не мудрствуя лукаво, стремился направить на путь истинный нерадивых.

Вот такой герой — Василий Ивлев в новой повести Ю. Сбитнева «Житейская история» («Знамя», 1979, № 9) — название повести выбрано удивительно точно. Именно «житейская» — рядовая, обыкновенная — история, потому что речь в ней о жизни без прикрас и подмостков; потому что характер Василия раскрыт в событиях и поступках повседневных, ничем, казалось бы, не примечательных, кроме заботы о людях, порой даже во вред себе; потому что в герое коммунистического труда Ивлеве нет, на первый взгляд, ничего выдающегося, героического, и сам он по своей скром-

ности и простоте не приемлет никакого пафоса.

Тем явственнее и глубже зреющая к концу повести читательская убежденность, что именно такой Ивлев, с его деловитостью и творческим горением, с его совестливостью и душевным тактом, с органическим неприятием лени, распушенности, лжи, и есть, вслед за героями В. Кожевникова и Н. Евдокимова, тот обыкновенный герой нашей современности, которому под силу самые необыкновенные дела.

Повесть оставляет ощущение подлинной встречи с живым, близким человеком — потому, вероятно, что автор предпочитает показывать, а не рассказывать (если же рассказывать, то как бы от имени Василия и в его разговорной манере), свободно перебрасывая мостки между прошлым и настоящим героя, посвящая нас через живую ткань диалога в его отношения с людьми. Такая естественная манера письма и делает полнокровным, художественно убедительным характер рядового современника, в котором самоотверженная преданность делу сплавлена с не менее самоотверженной преданностью людям и нашему образу жизни.

Отрадно, что понятие «делового человека» не связано более с представлением только о командире производства. Это понятие оказалось глубже и многообразнее термина, переросло его. Ведь то, о чем мы говорим, касается каждого. «Социализм не требует жертвенности. Он основан на власти всего народа в интересах общего блага и свободного развития каждой личности. Он предполагает активность, инициативу всех людей труда», — пишет Л. И. Брежнев в предисловии к французскому изданию своих воспоминаний.

И вместе с тем не снимается с повести и несколько не умалется проблема командира производства, ответственность которого выше, поле деятельности шире, функции в коллективе и связи с людьми многограннее.

Перед нами герой романа Вл. Попова «И это называется будни...» («Роман-газета» № 7, 8, 1979) Валентин Саввич Збандут, директор металлургического завода, личность крупная, неординарная, человек дела в лучшем и подлинном смысле слова. Нет в нем и намек на ставшие чуть ли не обязательными для литературного героя этого амплуа официальность, замкнутость, требовательную властность, как бы стоящие на страже высокого авторитета.

Наблюдая поведение Збандута на заводе в обычных и в самых критических ситуациях, в отношениях с ниже- и вышестоящими, вчитываясь в пункты предложенного им морального кодекса руководителя, читатель

проникается личной симпатией и доверием к этому человеку (что само по себе является подтверждением всесторонней достоверности характера), разделяя отношение к нему большинства героев романа.

Действительно, Збандут — руководитель ленинского типа не на словах, а по делам, не по схеме, а во плоти: читатель — очевидец его профессиональной компетентности и гражданского мужества, его государственного кругозора и заботы о людях.

А вот как быть с повестью И. Герасимова «Старые долги» («Октябрь», 1978, № 6)? С одной стороны, ее герой Александр Петрович Кочнев — директор крупного завода, но сам завод становится местом действия в повести один-два раза, не более. Запоминается читателю, пожалуй, лишь сцена (кстати, одна из наиболее удачных в повести) директорского «приема», написанная живо и ярко, с меткими характеристиками эпизодических персонажей, выразительным диалогом, удачно сочетающимся то с кратким авторским комментарием, то с внутренним монологом героя. Все это дает возможность нам воочию убедиться, как Александр Петрович демократичен, проницателен и деликатен с подчиненными: вдумчиво, быстро, на месте — без волокиты (при участии тут же присутствующих заводских руководителей всякого ранга) решает он жизненно важные, а порой и сугубо личные для людей вопросы.

В отличие от Вл. Попова, сознательно избравшего основным местом действия своего романа завод, будь то цех или кабинет директора, и сконцентрировавшего сюжет главным образом вокруг проблемы современного стиля руководства, — И. Герасимова, несмотря на то, что его герой — тоже директор крупного завода, занимают в первую очередь не производственные обстоятельства и конфликты, а семейная, личная сфера жизни героя, которой в романе Вл. Попова отведено весьма скромное место.

Вероятно, прав Вл. Тендряков, говоривший в своем недавнем интервью: «...Казалось бы, простейшая человеческая связь — «он» и «она». Более простой, более короткой и в то же время более сложной, важной связи, чем эта, ...нет. С нее начинаются все отношения — и личности с коллективом, и коллектива с личностью, и одних сообществ с другими и т. д.». Вот и И. Герасимов берет «молекулу» «он» и «она», стремясь раскрыть то «тайное», что определяет человеческую близость. «Понять, — по выражению Тендрякова, — почему другие люди, вторгаясь в нашу жизнь, ломают, подавляют или возвышают нас».

Так вышло, что Александр Петрович Кочнев у И. Герасимова женился трижды и представил читателю вна-

чале не прямо, а опосредствованно — через воспоминания и восприятие его жен.

Каждая из них видит в Кочневе прежде всего то, что ей близко, и для каждой (а они такие разные: уравновешенная и мягкая Надежда Николаевна, преданная, но взрывчатая и беспокойная Ольга и, наконец, умная, волевая, умеющая все расчитать наперед Катя) существует как бы свой Кочнев, порой очень не похожий на сегодняшнего — 55-летнего уверенного в себе, известного в городе человека, с которым знакомит нас автор где-то к середине повести. Но нет, похож, пожалуй. Очень скоро к нам приходит эффект узнавания, как будто мы, переводя взгляд с лица пожилого человека на его фотографии юной и молодой поры, постепенно угадываем за видимыми следами прожитого и пережитого те же знакомые черты. Да, он это, Александр Петрович, с его неуемностью, веселой энергией, неожиданностью решений.

Это он после отчаянно смелой стычки с тремя бандитами — весь в садинах, в растерзанной шинели — успокаивал Надежду (с этого, — вспоминает она, — и началась их совместная жизнь). «Ничего, я ребятешек возьму, мы тут попатрулируем, покончим с этой мразью...»

И он же, казалось бы, такой самолюбивый и напористый, сумел обуздать себя ради любимой, достойно, по-человечески выйдя из закрыченного жизнью любовного треугольника. Недавний фронтовик, Александр Петрович знал цену слову, которым его жена была связана с другим. Так ретроспективно мы знакомимся с молодостью героя, его поведением в трудных обстоятельствах. (Именно они ярче всего, естественно, запомнились близким.) И вместе с тем становимся очевидцами мужания героя, его духовного роста на протяжении как бы трех этапов его жизни, связанных с тремя женщинами. И когда на Александра Петровича неожиданно обрушилась болезнь, он, мучимый желанием подвести итоги, вызывает телеграммой Надежду и Ольгу. «Я хотел увидеть вас троих вместе, — говорит он, — потому что вы — моя жизнь... Может быть, самое близкое и дорогое, что было в моей жизни...» Эта мастерски схваченная писателем сцена у постели тяжело больного Кочнева — пик повествования, его кульминация. Именно здесь — с появлением вроде бы необязательного персонажа Бориса (сожителя разведенной жены Кочнева Ольга) — и выплескивается наружу до поры до времени тлевший подспудно конфликт: обнаруживается несовместимость миропонимания бойца, деятеля, с одной стороны, и обывателя-иждивенца, с другой. Столкновения в лоб вроде бы и не было

(Александр Петрович, собственно, даже не знаком с Борисом), а между тем в восприятии окружающих разворачивается незримая, но оттого еще более впечатляющая баталия между теми, кто, живя честно, трудно, открыто, подобно герою, отстаивают истинные ценности, и теми, кто, как Борис, видят смысл жизни в потребительстве и личном комфорте. И каким же ничтожным и порочным увиделся Ольге рядом с Кочневым человек, которого она считала близким.

Писатель достиг желаемого — сумел раскрыть в своем герое личность сильную, жизненно активную, творческую, раскрыть через поведение, конкретные поступки.

И. Герасимова всегда интересуется процесс, движение — мысли, чувства, характера, и он любит, чтобы читатель шел к выводам сам, а не подталкиваемый автором. Поэтому он так внимателен к внутреннему состоянию своих персонажей, к деталям, фиксирующим интонации, жесты, реакции, — не всё ведь люди выражают словом.

Это подтверждает и вышедшая одновременно со «Старыми долгами» повесть И. Герасимова «Остановка» («Знамя», 1978, № 6). Ее герой — Юрий Петрович Полукаров — тоже руководитель и деловой человек, но совсем другого психологического склада, чем Кочнев, и совершенно иной жизненной ориентации. Если Александр Петрович и в 55 лет сохранил способность удивляться миру и людям, открывая в них всякий раз новое для себя (вспомним, как он с радостью обнаружил в «старом министерском служаке» Сукоцкове «славного мужика», ветерана войны), то Юрию Петровичу, убежденному поклоннику «рацио», чужды эти «сантименты».

Полукаров — прекрасный специалист, инженер «от бога», с огромной эрудицией, страстно увлеченный делом, преданный заводу. И это не голословные утверждения: мы видим Юрия Петровича в цехе, в моменты талантливых находок, неожиданных решений, одним словом, в самом процессе творчества. Казалось бы, идеальный главный инженер, чего еще можно от него потребовать? Однако Юрий Петрович не любит, не понимает и не умеет ценить людей. Он равнодушен ко всему, кроме машин. Случись в жизни «остановка» (по причине аварии, травм, больницы, как в повести) — и ему нечем заполнить себя, нечем жить. Вот как, оказывается, бывает: человек умеет творчески мыслить, способен принять неординарное решение, но безразличен к книге, искусству, глух к тем, кто рядом, — одним словом, эмоционально непробиваем.

Вот писатель и предлагает нам задуматься: может ли талант существо-

вать сам по себе? Вряд ли, ведь всякий дар живет любовью к человеку и ко всему сущему — иначе он чахнет, как вырванное с корнем растение. В этом трагедия Полукарова, несмотря на видимое благополучие и внешние успехи в его жизни.

Понять это нам помог автор, сумевший через внутреннее монологи-исповеди героя ввести нас в тайное тайных человека — его внутренний мир, в самую лабораторию его раздумий, эмоций, самоанализа. Интересно, что в «Остановке» почти нет открытого диалога, что опять-таки соответствует мрачному, необщительному характеру Полукарова и сдержанности, немногословию его шофера.

Кстати, о шофере. Здесь, нам кажется, автора постигла неудача. Дело в том, что Чугуев, по всей вероятности, был задуман автором как антипод Юрия Петровича. Характер самобытный, с богатыми возможностями, он, однако, художественно не завершен. Не ясны его гражданская позиция, отношение к людям, самооценка, не нашел он, думается, и своего места в жизни. Отдавая должное его великодушью (спасая Полукарова, Чугуев обреч на гибель себя), человеческому достоинству, сочувствуя его любви к Кате, мы вместе с тем не можем объяснить его нелюдимости, замкнутости, недовольства собой. Так и уходит он из нашего поля зрения неразгаданным. Истинным же антиподом Полукарова после знакомства с обеими последними вещами И. Герасимова воспринимается нами Александр Петрович Кочнев, человек для людей, для жизни. О нем, вероятно, можно сказать, что он счастлив. Счастлив не в узко личном смысле, не потому, что достиг всего, чего желал, или не знал горестей и трудностей, а потому, что всегда любил жизнь и людей.

* * *

Каким бы ни казался себе человек, на самом деле он еще в большей мере таков, каким видят и воспринимают его люди. Потому что они судят о нем не по желаниям и намерениям, а по делам, поступкам. В общении с людьми и проявляется главное в человеке — его верность на деле идеалам добра и справедливости.

Поэтому основной ракурс художественного исследования личности сегодня — ее взаимоотношения с людьми, на производстве, в коллективе, в быту, семье.

Андреаса Яллака, героя П. Куусберга (П. Куусберг, «Капли дождя». «Роман-газета», 1978, № 5), многие сочтут закоренелым неудачником. Еще бы: трудное, обделенное радостями детство, военная юность под пулями, несчастный брак с истеричной, вздорной мещанкой, сделавшей сына и дочь

врагами отца; тяжелая контузия в результате бандитской акции и вынужденный отказ от любимой работы лектора, пропагандиста, борьба с злоупотреблениями и несправедливостью на новых местах и как следствие этого постоянные конфликты с начальством; и, наконец, инфаркт в 50 лет и одиночество: любимая женщина ушла, испугавшись обузы. Но как часто внешние факты, анкетные вехи еще ничего не говорят о человеке, как они бедны в сравнении с внутренним миром человека!

Так и здесь. Вопреки трудно сложившейся жизни, наперекор драматическим обстоятельствам, Яллак, комиссар по призванию, бесребренник и правдолюб, чувствует себя счастливым. Оттого, что ни разу не дрогнул, не струсил, не отступил, наконец, оттого, что любит людей и ради их блага не жалеет себя.

И, напротив, погруженность в микромирок собственного благополучия, отъединенность от окружающих неизбежно приводят человека к разладу с собой, фальши в общении с людьми и нравственному одичанию.

Такова в романе печальная судьба Эдуарда Тынупярта (опять-таки вопреки его внешнему благополучию и удачливости), яростного и убежденного противника Андреаса в юности. Кажется бы, снова традиционный конфликт между человеком партии, борцом и потребителем-обывателем. Однако писатель вносит в него новый смысл и особую остроту: на наших глазах медленно, но неотвратимо идет процесс духовного прозрения Тынупярта, оказавшегося неожиданно соседом Андреаса в больничной палате. Еще не придя в себя от близкого дыхания смерти, Эдуард против воли размышляет о своей жизни, мысленно сравнивает ее с жизнью своего врага Андреаса, и, странное дело, все, чему он еще так недавно радовался, чем гордился — дом — полная чаша, дача, машина, — все это под влиянием непривычных дум и споров с Яллаком как-то тускнеет и теряет для него свой прежний смысл.

Внешне Тынупярт продолжает упорствовать, раздражается, срывается на грубость, не желая признать себя побежденным. Однако для нас несомненно его моральное банкротство, переданное автором через критическое душевное состояние Эдуарда с приступами тоски, подавленности, неприязни к жене и ее притворству.

Пауль Куусберг — тонкий психолог, умеющий зафиксировать различные моменты душевной борьбы героев, их настроение, самый процесс мысли и движение чувства. Крупным планом дан воспроизводимый писателем мир человеческих чувств и взаимоотношений, когда авторское описание душевного состояния героя как-то

незаметно и естественно переливается во внутренний монолог, пересекаемый по мере появления других героев диалогом.

Андреас Яллак, при всей активности своей природы, — личность сложная, противоречивая, с напряженной внутренней жизнью. Он склонен к самоанализу, мучительно ищет собственное решение «вечных» проблем, ему свойственны подчас и борьба с собой, и самобичевание, он обладает мужеством признать свои ошибки — все это и есть та бессонная работа души, которая необходима личности для совершенствования ее отношений с миром. Без такой работы души недостижима гармония мысли, чувства и действия — та гармония нравственных и деловых качеств в человеке, которая знаменует появление всесторонне развитой социально активной личности.

Такая личность — уже не отвлеченный идеал, и подтверждение этому — в самой жизни. Вдумаемся в охарактеризованную советским космонавтом П. Климуком человеческую атмосферу в космическом корабле, которая определяется «постоянным, ежедневным соревнованием в том, кто больше доставит друг другу радости...»

Правда, это не значит, что процесс воспитания и самовоспитания подобной личности протекает гладко. Бывают и отступления, случаются на этом пути и болезни роста, замедляющие процесс.

Много и умно пишет об этом лауреат премии Ленинского комсомола Вяч. Шугаев. Не морализирует, не предлагает готовых рецептов на все случаи — просто делает читателя своим единомышленником.

Заставляет задуматься каждого: умеешь ли беречь любовь, дарить тепло, быть внимательным в текучке будней, почувствовать боль другого, как свою собственную? Сознаешь ли, что в ответе за тех, кого любишь и кто любит тебя? Понимаешь ли, что можешь стать виновником несчастья, трагедии близкого человека? Да разве перечислять все, над чем заставляют размышлять повести и рассказы В. Шугаева.

Вот, например, рассказ «Помолвка в Боготоле» («Наш современник», 1975, № 10). На первый взгляд, ничего нового — еще одна история безответной любви, несбывшихся надежд, горького женского одиночества. Но почему же обычная эта история так необычно волнует, вызывает столько субъективных ассоциаций и мучительных раздумий о том, кто виноват в трагедии героини и как можно было бы избежать ее? Писатель, мастер ма-

лого жанра, умеет образно и предельно сжато — через диалог, деталь внешности или поведения героев, через брошенное вроде бы вскользь авторское замечание (авторский голос в шугаевских вещах открытым текстом слышен редко, зато весомо) — выразить все, что думают, чувствуют его герои.

Григорий Савельевич Кузаков, человек, по собственному убеждению, порядочный, но увлекающийся, как-то неожиданно для себя самого стал бурно ухаживать за коллегой-врачом, милой Ириной Алексеевной. И начались встречи, для него обременительные (ведь он любит жену и сына), а для страстно полюбившей Ирины их свидания — весь свет в окошке.

Вот опять, казалось бы, предмет художественного исследования — отношения сугубо личные, интимные, но в их перипетиях открываются до дна человеческие характеры и жизнь с ее конфликтами, сложностями, загадками. Видимо, понятие «личная жизнь» в наше время неизмеримо выросло, включая в себя все, что кровно интересует человека, а значит, и работу, и проблемы долга, ответственности, и мало ли еще что. Ирина Алексеевна поверила в искренность своего избранника («По-моему, быть искренним — очень страшно. И говорить, что думаешь, и не скрывать, что чувствуешь, — очень смелым надо быть», — говорит она Кузакову, бравирующему искренностью) — и обманулась в нем.

Так что же, Кузаков — злонамеренный обольститель, легкомысленный искатель приключений? Ничего подобного. Серьезный, честный, требовательный к себе человек (не всякий на его месте бросил бы почетную, высокооплачиваемую, но «бюрократическую» должность ради «живого дела» рядового стоматолога). И добрый он, Григорий Савельевич: ему жаль Ирину, но страдает он и за жену, разгадавшую его ложь и фальшь. Одним словом, «удяз» Кузаков. Надеялся на мимолетную, приятную интрижку, передышку от «будничных, утомительно прочных уз» (у всех ведь так бывает), а вместо этого вызвал ненужное ему серьезное чувство. Поэтому-то он так обрадовался решению Ирины, догадавшейся о его муках и нерешительности, выйти замуж. А она убеждала себя: «Без него ей все равно: можно и замуж». И тоже искала утешения в житейской мудрости: «стерпится — слюбится», тем более, что давний искатель ее руки Андрей Романов — человек трезвый и без предрассудков.

Вот здесь самое время сказать о непримиримости В. Шугаева к расхожим, обывательским «истинам», которые парализуют волю, заставляют мириться с ложью, разрушают счастье. Одна из его недавних повестей так и называется «Вольному — воля»,

и рассказано в ней, как эта досужая «мудрость» многое непоправимо сломала в жизни молодых супругов.

Но вернемся к «Помолвке в Боготоле». Итак, «помолвка» состоялась, но уже на следующий день Ирина почувствовала, что задыхается в обывательском раю и ненавидит его хозяина — своего новоявленного мужа. Андрей Романов из тех «деловых» людей, которые, не забывая о деле, помнят прежде всего о себе. Для «геометрически ясной натуры» Андрея не существует никаких проблем, и собственную жизнь он рационально «запрограммировал» на много лет вперед. А вот Ирине с ним «больно, тошно, пусто». Так не лучше ли одной — решает героиня и бежит из Боготола.

Вероятно, однозначный ответ невозможен — слишком сложно здесь все переплелось. Ясно лишь одно: если бы научиться чувствовать боль другого, как свою собственную, и жить без «ограничителей на сердце» (выражение одного из персонажей Шугаева), то подобные трагедии случались бы гораздо реже.

Ту же тему, правда, с иными акцентами, продолжает и развивает в повести «Мужские прогулки» («Наш современник», 1978, № 7) В. Ермолова.

Семья Гавриловых в повести, как и Кузачковых у В. Шугаева, внешне выглядит вполне благополучно. Но какое это обманчивое, зыбкое благополучие! Легкость, вседозволенность в отношениях между мужчиной и женщиной не только калечит судьбы взрослых, но, разрушая семью, необратимо обездоливает детей. В обоих семействах вся тяжесть семейных обязанностей и ответственность за воспитание малыша ложатся на плечи женщины. Мужчины же чувствуют себя вольными казаками, свободными от всяких забот, и предпочитают семейным вечерам повседневные «мужские прогулки». Не странно ли, что интеллигентные (во всяком случае, с высшим образованием) герои В. Ермоловой, вполне взрослые и даже семейные, ежевечерне шатаются по всяким сомнительным «злачным» местам в компании таких же, как сами, приятелей, склонных к выпивке, авантюрам, а то и драке, а более всего — к пустым разговорам и бахвальству? Что это? Затянувшаяся инфантильность? Привычка убивать время? Или распущенность и преступная безответственность?

Но что бы это ни было, подобный образ жизни сочетается в них с отличными деловыми качествами (оба героя — «инженер по призванию» Иван Гаврилов и врач-педиатр Михаил Фиалков — эрудированные специалисты, самоотверженно преданы делу и непримиримы к халтуре и обману), а значит, с чувством ответственности и добросовестностью. Более того.

Оба — и жесткий, самоуверенный, скорый на решения Иван, и мягкий, лиричный, склонный к рефлексии и колебаниям Михаил — одинаково бездушны к любимой (любимой ли?) женщине и предают ее в самый трудный для нее час. Совместимо ли это с их «высокообразованностью, широтой взглядов, умом»?

А что же героиня, Зоя Гаврилова? Она в этом любовном треугольнике, пожалуй, самая пострадавшая, в том числе и по собственной вине, сторона.

Тоже, как и муж, талантливый инженер, женщина с устроенной, казалось бы, судьбой (замуж вышла по любви, дом — полная чаша, очаровательный мальш), Зоя чувствует себя глубоко несчастной и одинокой. С утра работа, а затем мыть, стирать, стирать — и так изо дня в день без радости и просвета. Неправдоподобным воспоминанием кажется ей связавшая их с Иваном всего несколько лет назад любовь, близость интересов, гордость друг другом. Сейчас у нее не осталось даже элементарного уважения к мужу-квартиранту, ее мутит от его самовлюбленности, эгоизма, холостяцкого времяпрепровождения. Оскорбленное самолюбие ищет какой-то отдушины, опоры, и Зоя отвечает на давно угаданное ею чувство Фиалкова, который покоряет ее душевной тонкостью и чуткостью. Благо, она одна (Иван в командировке) и сама себе хозяйка, тем более, что внутренне убеждена в неминучести разрыва. А что же Фиалков? Он действительно чуткий и ласковый, но до тех пор, пока обстоятельство не вынуждают его сделать выбор между Зоей и привычной свободой. На решение благородное, требующее мужества он не способен. Проще увильнуть, оставить все как было — так спокойнее.

Кульминация повести — попытка героини к самоубийству. Опять трагедия, и снова не так легко найти виновника. И в том, что все не так просто, — первое доказательство жизненной достоверности повести. Заслуга писательницы в том, что она сумела уловить (и дать почувствовать нам) обнадеживающие сдвиги в душевном мире своих героев — признаки глубоких перемен в будущем. Что ж, человек часто и к себе самому идет через муки и потрясения. Особенно выразительно намечены эти подспудные сдвиги в душе Ивана Гаврилова: дремавшее в нем и пробудившееся, наконец, отцовское чувство заставило его понять, как далек он был от сына и семьи и этим как обкрадывал себя. Мысль о ребенке помогает и Зое найти опору в жизни: ведь она, мать, необходима маленькому человеку, как же она могла забыть об этом? В этих мыслях и чувствах родителей можно увидеть первые шаги по пути преодоления семейного кризиса. Поэтому нет

у нас ощущения безысходности. Повесть В. Ермоловой, тонкого психолога и аналитика, перерастает рамки сугубо личных и семейных отношений. Писательница видит новую их ступень в преодолении эгоизма и культуре эмоций.

Как можно было убедиться, человеческие взаимоотношения — главный объект художественного исследования в современной литературе. Обо всем этом по-доброму, со свойственными ей юмором и остроумием рассказывает в своей повести «Кафедра» И. Грекова («Новый мир»; 1978, № 9). Главная особенность манеры писательницы — создаваемый ею эффект живого присутствия героев среди нас, настолько они узнаваемы и достоверны. Происходит это, вероятно, потому, что характеры раскрываются во всех человеческих проявлениях и отношениях — на работе, с друзьями, в семье, с детьми. Все это и составляет в целом мир связей личности с обществом — без пограничных столбов и водоразделов между общественным и личным. У Грековой всегда все — и личное, и общественное существует нераздельно.

Неоднозначны коллизии повести, но вот ее главная нить: умер профессор Н. Завалишин, или просто Энэн, долгие годы возглавлявший кафедру кибернетики и сумевший внимание и уважение к человеку, душевный такт, готовность помочь сделать обычной нормой в отношениях сотрудников. Нового заведующего — профессора Флягина, несмотря на его эрудицию, трудоспособность, добросовестность, кафедра встретила в штыки. При чем главная вина в конфликте с коллективом лежит, безусловно, на самом Викторе Андреевиче, с самого начала взявшем неверный — сугубо официальный, все подвергающий сомнению — тон с преподавателями и студентами, начисто исключаящий юмор, человечность, тепло — одним словом, душу. А ведь он тоже по-своему человек хороший. Дома — с дочкой-шляпницей, с парализованной тещей — профессор поражает нас мягкостью, бесконечным терпением, деликатностью. На кафедре же является неузнаваемым — сухим, чопорным, наглухо застегнутым, как бы стряхнувшим с себя все земное. И неукоснительно требует соблюдения «формы, отчетности, порядка». На работе все сводится исключительно к работе — в этом убеждении основная ошибка Флягина и объяснение враждебности к нему сотрудников. В этот трудный для него самого и для кафедры период Флягин не сумел понять тоску людей по участию и доверию, так внезапно утраченным со смертью старого профессора.

Так доказательством от противного И. Грекова снова утверждает: доброта и доверие — самая прочная основа

человеческих отношений. Коллективу необходимы живое человеческое общение, полнокровные человеческие связи — только при этом условии возможна творческая спаянность коллектива, в котором легко дышится, работается и где каждый чувствует себя членом большой семьи.

Со всей очевидностью можно утверждать, что отныне человечность становится единственным и полноценным критерием надежности личности — надежности гражданина, работника, семьянина.

Неудивительно поэтому, что культура человеческих чувств и отношений стала отныне для литературы (как и в действительности) первостепенной проблемой.

А. И. Куприн полагал, что «не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте выражается индивидуальность. Но в любви...» Подразумевалась, вероятно, любовь ко всему сущему, но, безусловно, главная роль отводилась любви между мужчиной и женщиной.

Думается, что и в наш бурный, деловой век нельзя забывать эту истину. Современная литература, когда она обращается к образу рационалиста, во всех его ипостасях, стремится показать его односторонность, узость, эгоизм и во всех случаях — неизбежное родство с обывателем.

Вот Рудольф Сергунин из новой повести Ан. Ткаченко «Четвертая скорость» («Наш современник», 1978, № 5—6), объявивший войну «душе, духу, подсознанию» — этой, по его мнению, «хитрости лентяев, чтобы меньше думать». Гордо именуя себя «работягой», который «ценит Вещь с большой буквы» (то есть как бы отрешиваясь от собственнической расчётливости), этот прагматик тут же опровергает себя: помятое крыло личной машины для него — трагедия, и он развивает бешеную деятельность ради отмщения и компенсации ущерба. Но самое интересное из предпринятого Сергуниным — его женитьба по соображениям расчета на «деревенской красавице».

Возможно ли подобное рассудочное благоденствие, в основе которого лежит «некий неподписанный договор на верность, счастье, семью»? — спрашивает себя герой повести Максимилиан Минусов — Максминус. И мы полностью разделяем его сомнения. Сама жизнь, прожитая трудно, на семи ветрах, вопреки инстинкту самосохранения, с людьми и для людей, убедила героя, что человеческие отношения с их сложностью и непредугаданностью не поддаются расчету и не могут быть запрограммированы. И что связь между людьми жива прежде всего чувством.

Значит ли это, что жизнь неуправляема и что «покой нам только снится»? Почему же, вероятно, можно запланировать на будущее свою работу, учебу и при благоприятных обстоятельствах реализовать эти планы, но любовь, дружбу, душевные порывы, отношения с людьми, их течение невозможно ни сконструировать, ни предвидеть.

Что же касается покоя, то он всегда сродни самоуспокоенности, несоместимой с подлинной человечностью. Есть в повести Ан. Ткаченко небезынтересный для нас «спокойный» персонаж — некий Яков Иванович Журба, подполковник в отставке, проживший, по мнению Максминуса, «правильную, полезную, нужную» жизнь. Но такую ли уж правильную и для кого прежде всего полезную? Не иронизирует ли автор? Действительно, Якову Ивановичу не занимать целеустремленности и самоуверенности, он понятия не имеет о «смуте душевной», он начисто лишен «колебаний, сомнений, угрызений». Однако совместимо ли, особенно последнее, с культурой чувств, с развитым интеллектом, с откликом на чужую боль? И снова мы единодушны с Максминусом: путь человека к себе и людям немислим вне поиска и преодоления, а значит, возможны на этом пути и сомнения, и душевное беспокойство, и ошибки. Умиротворенность, покой — от равнодушия к людям и эгоизма. Это позиция, которую Ю. Скоп остроумно назвал «техникой безопасности» и которую во всех случаях предпочитает обыватель. Максминус и сам чуть было не поддался соблазну этакой созерцательной умиротворенности, оправдывая ее старостью и усталостью от бурной жизни. Однако он очень скоро понял, что это — самообман. Открыла Минусову глаза самоотверженная любовь к нему и неожиданная гибель Ольги Борисовны, «надорвавшая... и пробудившая» Максминуса от созерцания. Сцена эта написана в эмоционально-дирижеском ключе (кстати, в повести гармонически сочетаются разные по стилю пласты — от научно-популярной информации до философского раздумья или лирически проникновенного отступления) и вместе с тем очень сдержанно: лишь одна-две детали убеждают нас в том, как эта смерть перевернула всю душу Максминуса. Отныне и навсегда бесспорной становится для героя истина: пока человек жив, ему свойственно терять и находить, сомневаться и ошибаться, радоваться и страдать за себя и других — ведь он в ответе за любящих его и любимых им.

Выстрадал эту истину на собственных ошибках и другой — молодой — герой повести Михаил Гарущенко: ему тоже помогла преодолеть скепсис

и разочарование, поверить в жизнь его любовь.

Именно с Гарущенко в первую очередь связано название повести (здесь, как и у Ю. Скопа в его романе «Техника безопасности», профессиональный термин «Четвертая скорость» употреблен в глубоко символическом значении). Смысл названия особенно полно раскрыт автором в напутствии Максминуса Михаилу перед разлукой.

«Вы уже поняли, Миша, что такое четвертая скорость, — говорит Максминус. — При езде на автомобиле, если не сдерживать ее, она несет в беспредельность, к потере чувства скорости, к концу, к взрыву мотора... В жизни четвертая скорость почти то же самое: безоглядность, беспредельность желаний, мелькание лиц, деревьев, городов. Только мимо, только дальше, только скорей. И взрыв — конец... Вы перешли сейчас на изначальную, первую скорость, а вернее всего, пошли пешком. Это хорошо, у вас еще есть время оглядеться, подумать обо всем и понемногу набрать уже свою, естественную, по вашей силе и таланту, скорость».

Традиционный конфликт между «рацио» и чувством сегодня углубляется. В то, что казалось давно известным, исчерпывающе раскрытым литературой, — в явление, именуемое «обывателем», — каждый из современных писателей вносит что-то новое, свое, потому что многообразны формы проявления мещанства в современном мире и неисчерпаема его способность к мимикрии.

В повести Л. Ильченко «Старый двор» («Нева», 1978, № 7) внешне почти ничего не происходит. Живут обычной своей повседневной жизнью герои, ровесники, знающие друг друга с детства, вместе учившиеся и выросшие. Они, как Игоша (Игорь) Раменский, преуспевают, другие, как центральный герой Кирилл Веретьев, сознательно предпочли научной карьере ежедневную «гуцу» будней, трети, как Ленка Луков, мучительно ищут выхода из душевного кризиса и находят опору в друзьях — таких, как Кирилл. В центре внимания писательницы психологическое состояние героев, их переживания, взаимоотношения — этим тихая и тонкая повесть Ильченко близка всем современным повестям.

Чем же она особенна? Не темой, не конфликтом (бой обывателям всякого рода — цель нашей литературы) и не законченным художественным совершенством.

И все-таки есть у автора главное — умение через обывательные факты и будничные отношения проследить развитие характеров от детства к зрелости и объяснить в какой-то мере, почему так по-разному сложились у друзей

детства стремления, требования к жизни и сама жизнь.

Что есть кто — окончательно выявляет финальная экстремальная ситуация: во время дворового субботника нагруженная машина грозит опрокинуться, все, рискуя быть сбитыми, удерживают машину из последних сил, и в эту минуту Игорь, струсив, без предупреждения, чуть не угробив Леньку Лукова, выбирается из-за борта и бежит.

Каков же он, Игоша Раменский, откуда в нем это сознание собственной исключительности и полное пренебрежение к окружающим, в том числе к жене и сестре? С юности он стремился стать «выдающейся личностью», делая для себя упор на первом слове и мечтая быть известным, знаменитым. Чтобы добиться этого, годны, по мнению Игоря, любые средства. Так его целенаправленность вырождается в карьеризм, выработанная им для себя «система» поведения основана на рационалистическом эгоизме, когда оскудевают чувства и взаимоотношения с людьми вырождаются в элементарные «контакты», целесообразные или нецелесообразные.

В современной литературе нередки случаи ненамеренного дублирования писателями друг друга, вариаций одних и тех же проблем, конфликтов, а то и характеров. Причина в том, что волнующие современников вопросы и противоречия улавливают одновременно не один и не два из пишущих. Явление это естественное для литературы, оно даже обогащает ее в том случае, когда, пользуясь своими жизненными наблюдениями, своим личным опытом, авторы дополняют, а то и поправляют друг друга. Талант художника и свое видение мира исключают ненужные повторения.

Повесть С. Абрамова «Проводы» («Нева», 1978, № 6) многим — проблематикой, конфликтом, характером главного героя — напоминает нам «Остановку» И. Герасимова и в то же время новым поворотом темы, материалом, уже не говоря о нюансах, отличается от нее.

Проблемы «человека и дела», «человека среди людей» С. Абрамов стремится решить на материале армейской жизни, во многом не похожей на жизнь гражданскую. Одна из этих проблем — как офицеру-воспитателю совместить человечность к подчиненным с требованиями воинской дисциплины и субординации. А вот еще одна проблема: может ли честолюбие сыграть роль положительного стимула в поведении человека вообще и особенно в частности?

Кажется, всем взял герой повести — майор Олег Седов: образцовый офицер, отличный специалист, самозабвенно, как Полукаров у И. Герасимова, преданный любимому делу, да

к тому же еще смел и принципиален (не стал покрывать пьянство и нерадивость сынка генерала-начальника). Неприятны только (только ли?) в Олеге неумное честолюбие, несовместимая с творческим беспокойством самоуверенность и совершенное равнодушие к людям (опять по ассоциации вспоминается нам Юрий Полукаров), которыми он командует.

В отличие от И. Герасимова, С. Абрамов оставляет своему герою возможность прислушаться к справедливым замечаниям друзей и осознать свои ошибки. Что ж, задача очень трудная для полностью сложившегося человека. Справится ли с ней майор Седов — остается неясным. И тем не менее основная мысль повести не вызывает сомнений. Действительно, «...талант... — это не только в деле своем равных не иметь... Ты, брат, сумей человеком талантливым быть. Со всеми прилагаемыми к сему качествами».

* * *

Как жить, как вести себя, как строить свои отношения с людьми, как стать лучше, в чем смысл и счастье жизни — на все эти вопросы наш современник ищет ответов в искусстве.

Бурное влияние времени сказалось, безусловно, в том, что быстро уходит в прошлое разница в культурном уровне между молодыми обитателями города и деревни: в психологии молодых наших современников, независимо от их образа жизни, места жительства, профессии, есть и нечто общее. Для них все более характерны многосторонность интересов, глубина чувств, высокая культура отношений.

Ванюшка Мурзин — обаятельный герой повести В. Липатова с длинным, интригующе ироничным названием «Житие Ванюшки Мурзина, или Любость в Старо-Короткине» («Знамя», 1978, № 8—9). Название, как мы видим, имитирует старину и тем выразительнее бросает вызов не только ей — старине, — но и совсем недавнему прошлому.

В самом деле, мог бы какой-нибудь десяток лет назад глухой поселок Старо-Короткино выпестовать такого Ивана Мурзина — с его начитанностью, обширными знаниями, юмором — одним словом, с его сложным и глубоким интеллектом, позволяющим ему общаться на равных с писателем и учеными?

Ведь он, Ванюшка Мурзин, несмотря на привычку «баловаться» деревенскими словечками, подлинный интеллигент в своем отношении к миру, в своей жизненной практике. Поэтому что главное в нем — неизменная человечность, чуткий отклик на боль и нужду близких и ближних. Он — Ванюшка — из тех, чья беспо-

койная совесть всегда готова отстаивать до последнего справедливость, чья талант, сопереживания и готовность к бескорыстной помощи — наперекор собственному спокойствию и удобству — и означают активную жизненную позицию на деле, а не на словах.

Характер Ивана воспринимаешь во многом как продолжение и логическое развитие характера всем нам полубившегося Женьки Столетова («И это все о нем»). И так же, как его младшему предшественнику, Ивану оказывается порой не под силу разрешить нагроможденные жизнью противоречия.

И самое неразрешимое из них — любовь. Долго — не на жизнь, а на смерть — сражался Иван с собой, с прочно сложившимся в его душе однолюба чувством к Любе Ненашевой и одолел вроде бы — вытравил из себя «заразу Любку», женился на славной Насте, сына растит — все как у людей. Но не тут-то было. Встреча с Любкой в городе все перевернула. Многолетняя, с детства взаимная любовь вихрем ворвалась в сложившуюся уже было у каждого жизнь, разметав все запреты и преграды. И вот она, колдовская сила подлинного чувства: эгоистичная, бездушная Любка преобразилась, став Ивану умной, преданной женой, примирился, наконец, с собой односельчан. Эпилог повести трагичен: погибает от родов Любка, не сумели спасти и младенца, Иван остается один на один с невыносимой душевной болью.

Как же все-таки классифицировать поведение липатовского героя? Как связать воедино его поступки, такие, на первый взгляд, противоречивые? Действительно, Мурзин не идеал на ходулях, он сомневается, ошибается, мучается сам и причиняет страдания близким. И тем не менее его поведение всегда нравственно, потому что он никогда не лжет и не кривит душой, во всех обстоятельствах первым, не щадя себя, принимает удар и сердцем отвечает за доверившихся ему людей. Он из тех молодых, чья личная сопричастность жизни, времени, людям закономерно перерастает в гражданскую и человеческую надежность.

* * *

Народное самосознание и самочувствие складывается веками, впитывая в себя нравственный опыт сменяющихся друг друга поколений.

Золотым фондом вошло в этот опыт все выстраданное, отвоеванное и сделанное военным поколением. Может быть, поэтому так возрос за последние годы интерес наших писателей к военной теме, когда на первый план художественного исследования выдвину-

та личность с мучительной для нее проблемой нравственного выбора, где по одну сторону жизнь, а по другую — смерть.

И тут-то мы часто становимся свидетелями удивительной метаморфозы: ничем не примечательные, а то и попросту робкие и застенчивые в обычной — мирной — жизни люди в трагических обстоятельствах поднимаются до высоты героического самопожертвования.

Таковы супруги Якоб и Рахиль Ивановские из нового романа Ан. Рыбакова «Тяжелый песок» («Октябрь», 1978, № 7—9), повествующего о трагедии еврейского гетто, восставшего против фашистов. Но смысл повествования шире и глубже избранного сюжета. Оно о нравственной силе советского народа: подспудно копившаяся и не всегда заметная в повседневности, эта сила в каждом проявилась со всей очевидностью в тот момент, когда нужно было сделать решающий выбор.

И оказывается, что героев рождает обыкновенная жизнь, хотя их выявлению чаще способствуют необыкновенные обстоятельства, что сила и величие человеческого духа сотканы из вполне земной материи — из незыблемых основ народной нравственности: верности долгу, доброты к людям, чувства собственного достоинства. Поэтому, вероятно, всенародно, интернационализм становятся внутренней особенностью повествования, в котором естественно переплелись житейские и военные — смертные — дороги семейства Рахленко-Ивановских и соседей — белорусов Сташенков, тоже от мала до велика казненных фашистами за связь с партизанами. Умный и честный Сидоров, «великая женщина» Анна Егоровна, буквально прикрываясь своей грудью осиротевшее и выпестованное ею еврейское дитя, — да мало ли их в романе, людей разных национальностей, с которыми сроднились Рахленки-Ивановские.

Сила эта, как соответственно и слабость, определяется отношением человека к людям и себе. В будничных заботах и хлопотах, но как-то открыто, душевно — по-доброму — жила в небольшом местечке на Черниговщине большая, дружная семья Рахленко-Ивановских. Якоба и Рахиль с юности связало огромное взаимное чувство, которое с годами и рождением детей крепло, переплавляя в загородную гармонию культуру, мягкую деликатность отца и решительность, энергию матери.

Действие в романе начинается до революции, а завершается после Отечественной войны. По меньшей мере пять таких разных временных пластов, и каждая эпоха сживает за счет особенно полно выражающих ее суть

характеров: вспомним такую типичную для гражданской войны романтическую фигуру кавалериста-орденоносца, лихого, отчаянного дяди Миши Рахленко или триоцу легчиков-отпускников — Генриха Иванковского, сына Якоба и Рахили, и его товарищей, зримо вобравшую в себя весь смысл преобразивших страну довоенных пятилеток. Но это не просто зарисовки нравов, быта, полные великолепия, свежих деталей. Все это помогает Ан. Рыбакову воссоздать самый поток жизни, свободный от условностей и схем, непрерывный во времени, переливающийся многоцветьем красок и торжествующий от сознания собственной силы.

Война врывается в повествование слышимо, зримо, осязаемо. Яркое, солнечное многоцветье гасит черная ночь фашистской оккупации с принесенными ею голодом, болезнями, повседневными издевательствами, расстрелами в гетто, уходят из второй части романа вытесненные войной-бедой шум, многоголосье, песни, притчи, шутки — не место, не время; над жизнью черной тучей нависла смерть. Меняется и авторская манера: описания становятся суше, сдержаннее, появляется строгая документальность, диалоги редки, кратки, это уже не процесс общения, а выяснение либо допрос (именно так написана сцена пыток и гибели юной красавицы певуньи Дины Ивановской), и эта конкретность, краткость, сдержанность при воссоздании всех ужасов немецкого «порядка» больше убеждают читателя и эмоционально воздействуют на него, чем любые авторские отступления или излишания, если бы они имели место.

Ан. Рыбаков не идеализирует людей и не стремится никого оправдать тяжестью обстоятельств. В гетто — с его чудовищной «жизнью» на волюшке от смерти — мы видим и рецидивистку, потерявшую человеческий облик, и жадного до денег, без идеалов и элементарных привязанностей Иосифа Рахленко, «белую ворону» среди родственников. Но там же дети «в семь лет становились людьми, в восемь умирали, как люди». Именно так умер на плахе бесстрашный партизанский связной Игорек, внук Якоба и Рахили. А сами они, бесправные, превращенные в рабочую скотину, обреченные на смерть (правда, позже Якоб по заданию партизан предьявил немцам свой швейцарский паспорт и стал служащим депо), преодолевая изо дня в день страх за детей и внуков, оказались способными на героическое сопротивление и еще более героическую гибель. Из множества подобных историй жизни и смерти (огромная удача автора — и сложный, противоречивый характер главы семьи, богатыря телом и духом Авраама Рахленко) и склады-

вается в романе образ поколения, которое победило фашизм.

Все новые произведения о войне с очевидностью свидетельствуют, что «нравственный опыт прошлого» — не окаменевший в неподвижности капитал, не просто традиции, уважаемые в силу привычки. Это — живые по многообразию нюансов, неисчерпаемые по сложности и тонкости взаимоотношения личности с миром, в процессе которых решаются в духе времени и так называемые вечные проблемы добра и зла, любви и ненависти, свободы и необходимости.

В романе Ал. Чупрова «Братья и сестры» («Юность», 1978, № 4—6) все сюжетные коллизии раскрываются в ключе основной для автора этической проблемы соотношения должного и желаемого, то есть, по существу, проблемы осознанного жизненного выбора.

Александра Ивановна, героиня Чупрова, в юности, во время войны, пережила страшное потрясение: ее жених Алик, струсив в бою, намеренно ранил себя, за что был осужден, отправлен в штрафной батальон, а затем геройски воевал и пал смертью храбрых.

Первый порыв Шуручки, узнавшей о ране Алика и предстоящем суде, — бросить все, мчаться к нему, любимому, подбодрить, защитить любой ценой... Но... «если бы все они отдавались страху? Что было бы? — возражает себе Шуручка, обретая способность думать. — Что случилось бы с каждым из них и со всем тем, за что погиб ее отец?; со всем тем, для чего сама она живет? Что было бы со страной, у которой столько врагов? С тем будущим, о котором она с детства привыкла мечтать, как о своей светлой и честной судьбе?..

И героиня, мучительно борясь с собой, все-таки остается на месте — в госпитале, со своими ранеными, преодолевая страстное желание увидеть Алика из-за «чувства невозможности поступить так из любви к чему-то большему, чем были и он, и она, и их любовь». Не правда ли, в этой попытке проникновения писателя во внутренний мир героини воссоздается самый процесс рождающегося в муках решения-выбора.

И в этот сделанный Шурой выбор веришь потому, что он обоснован всей ее предшествующей жизнью: ведь она с детства воспринимала как свое, кровное все, что происходило вокруг, умея прирасти сердцем к людям и делу. Эта слитность с судьбой родины стала сознательным мироощущением, которое помогло Александре Ивановне выстоять в войну и сделать основой своего жизненного поведения любовь к людям — эту «главную силу жизни».

Доброта и нравственная чистота,

нежность и верность роднят прелестных женщин, чью юность опалила война, гордых солдаток, начинаая с алексеевской Журавушки и кончая Нурией из написанного в лучших литературных традициях рассказа Ан. Генатулина «Ворота» («Дружба народов», 1978, № 5). Обделенные войной, но не захотевшие ничем поступиться, чтобы устроить, как принято говорить, свою судьбу, они весь жар души бескорыстно отдают людям, умея радоваться повседневному чуду жизни и удивляя нас особым талантом жить наполненно, щедро, светло. В этом — тоже проявление того бесценного нравственного опыта, которым военное поколение одаривает нынешнюю молодежь.

* * *

Среди вечных проблем, занимающих издавна искусство, первое место принадлежит по праву проблеме «жизнь — смерть». О человеке судят не только по тому, как он прожил жизнь, но и по тому, как встретил смерть. «Смерть многое искупает, когда она является поступком», — скажет в своем романе Ан. Рыбаков, применительно к военному времени и экстремальным обстоятельствам. Но и в мирной обстановке каждому дано право выбора: собрав последние силы и волю, умереть человеком либо жалким трусом.

Сознание бессмертия своего бытия, накрепко связанного с жизнью народа, поддерживает и старика горца Урузмага, героя талантливой повести Н. Джусойты «Возвращение Урузмага» («Дружба народов», 1978, № 2), в трудное для него время ожидания неотвратимого конца. Автор с поэтической проникновенностью открывает нам внутренний мир простого крестьянина, преисполненный любви к земле и людям, уверенности в непреложности добра. В этом корни мужества и силы Урузмага, сумевшего преодолеть страх смерти и быть с людьми, радоваться жизни до последней минуты. Не то что его сосед по больничной койке Хиуа, «эта заячья душа», так и брызжущий злобой и ненавистью, словно все виноваты в его неизлечимой болезни. Безобразно и жалко поведение эгоиста, не способного ощутить себя частью целого перед лицом собственной гибели, которая означает для него конец мироздания.

Юрий Полукаров, герой И. Герасимова, вспоминая умершего отца, выдающегося инженера, жалеет лишь о том, что «не интересовался его инже-

нерными работами... непростительное упущение», не умея почувствовать всю непоправимость потери близкого человека.

А смерть спасшего его ценой собственной жизни шофера Чугуева тот же Полукаров воспринимает лишь как досадную причину душевного дискомфорта («Не надо было подходить... Только разнервничался...»). Именно поэтому, чувствуя свою ущербность, Юрий Петрович боится, как огня, раздумий о жизни и «всевозможных чувств», воспринимая всякую «остановку», выбивающую его из привычной деловой круговерти, как подлинное несчастье для себя (таков смысл названия повести «Остановка»).

Мировосприятие рационалиста-эгоиста сужается до регистрации конкретного факта и себя в нем, он не испытывает желания поразмыслить, обобщить свой опыт, так же как не чувствует потребности в близости с людьми, в обществе друзей, единомышленников.

Таким образом, отношение человека к истории, традициям, прошлому проявляет не только его способность или неспособность к активному и творческому духовному наследованию, но и само по себе уже характеризует личность и ее мироощущение.

Нравственный опыт народа учит достойно жить и не менее достойно умереть. На это способен лишь тот, кто одинаково сильно чувствует свою неразрывность с теми, кто ушел, но всегда жив в его сердце, и теми, кому предстоит жить и в ком продолжится его собственное бытие.

Трое нивхов в повести Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» («Роман-газета», 1977, № 17) в трагических обстоятельствах единодушно, не сговариваясь, решаются пожертвовать собой, своей жизнью ради чуть брезжущей надежды на спасение мальчика.

«...Пока человек жив, — размышляет перед смертью мудрый старик нивх Орган, — духом он могуч, как море, и бесконечен, как небо, ибо нет предела его мысли. А когда он умрет, кто-то другой будет мыслить дальше... а следующий еще дальше, и так без конца...»

Эта статья — скромная попытка разобраться, как — в комплексе каких связей, конфликтов, причин и следствий — исследуются писателями главные стороны жизни нашего современника, какие открытия помогут они сделать читателю в отношениях человека с миром.

СОЛДАТЫ ОДНОЙ ЧАСТИ

Константин Симонов, Илья Эренбург. В одной газете. Репортажи и статьи. Составитель Л. Лазарев. Изд-во АПН, М., 1979.

Со смешанным чувством боли и гордости перелистываю книгу, на обложке которой два славных имени — Симонов, Эренбург. Чувство гордости рождено подвигом советской литературы в годы великой войны. Боль примешивается потому, что свежа последняя рана. Предваряя свои и эренбургские статьи, собранные под одной обложкой, К. Симонов написал: «Из двух авторов этой книги, когда-то вместе работавших в газете «Красная звезда», сегодня в живых я один». Теперь и его не стало.

Но есть эта книга, часть огромной работы Ильи Эренбурга и Константина Симонова, есть наша память о том, как звучали статьи, очерки, памфлеты двух писателей в 1941—1945 годах.

Так и расположены — в хронологической последовательности — разделы этого сборника, составленного критиком Л. Лазаревым с большим тактом и знанием материала. Каждый год — раздел, в нем перемежаются точно датированные статьи и очерки двух авторов. Перед разделами поэтический эпиграф, ведь и Симонов и Эренбург — поэты. «Когда я был молод, была уж война, я жизнь свою прожил, и снова война...» Это Эренбург. Эпиграфом к первому разделу («1941») стали его стихи: «Они накиннулись неистовы, могильным холодом грозя, но есть такое слово «выстоять», когда и выстоять нельзя...» После цифры «1943» — стихи молодого, но уже широко известного поэта. «...Ты

только отдал страшный долг, который сделал в ту годину, когда твой отступавший полк их на год отдал на чужбину».

Два писателя, две высокие литературные судьбы. Один видел окопы первой мировой войны, другой родился через год после ее начала. Один писал из Мадрида осенью 1936-го, другой издали следил за испанскими событиями. Мог ли он думать, что через несколько лет, когда начнется новая схватка с фашизмом, придется служить с маститым писателем в одной газете — «Красная звезда», что на газетных полосах их статьи окажутся рядом и, главное, на целых четыре года у них будет общий читатель.

Отобрать из тысячи с лишним статей Эренбурга, написанных за 1418 дней войны, из сотен очерков и репортажей Симонова всего пятьдесят, сделать это так, чтобы чувствовалась вся война — и ее ход, и ее накал, и своеобразие писательского голоса («Писатель может сказать, как никто другой», — говорил Эренбург), было нелегко. Но составитель, он же автор вступительной статьи, уловил особенности каждого голоса и преимущества точки зрения каждого.

За статьями Симонова — дороги войны. Он видел путь нашего отступления летом сорок первого, наш первый десант в Крыму, дни и ночи Сталинграда, видел путь Синцовых, Серпилиных, Лопатиных — будущих

героев своих военных романов и повестей, он знал труд Солдата, о котором создал потом замечательный документальный фильм. «От Москвы до Бреста нет такого места...» Это не только слова журналистской песни, написанной Симоновым, это война, увиденная вблизи.

За каждой статьей Эренбурга — люди, годы, жизнь. Письма наших бойцов и письма, найденные на трупах убитых фашистов, увиденное сегодня и недавнее прошлое — Испания, падение Парижа, довоенные конгрессы писателей мира. Уже пожилой, сугубо штатский человек, он не раз рисковал жизнью. Об этом приходилось читать и в книге воспоминаний о нем, и в очерке бывшего редактора «Красной звезды» Д. Ортенберга: «Эренбург все время рвался на фронт... Вряд ли кто упрекнул бы «штатского» писателя за относительно тыловой образ жизни. Упрекнул бы один человек — он сам. Бесстрашие Эренбурга было известно еще по Испании...» О боях под Орлом, подо Ржевом, в Литве и Восточной Пруссии Эренбург писал не с чужих слов.

В книге Эренбурга и Симонова помещены их фотографии военных лет и выразительные фотографии войны. Но все-таки главное здесь — сами статьи. 1942. Эренбург: «О ненависти», «О патриотизме», «Свет в блиндаже»... Симонов: «В керченских каменоломнях», «Русское сердце», «Дни и ночи»... 1943. Симонов: «На старой смоленской дороге», «В районе Поньрей»... Эренбург: «Судьба Европы», «Душа России».

Эренбург писал об Алексее Толстом: «Толстой говорил в октябре 1941 года, и Россия этого не забудет. Трудно забыть слова друга, сказанные в тяжелое время. Статьи Эренбурга осени сорок первого, лета и осени сорок второго, сталинградские очерки Симонова — это голос друга, слово, которого ждали. Тут не могло быть места бодречеству, утешительству, тут нужны были правда и вера. Вот она, эта правда. «Народ понял, что война надолго, что нельзя ее мерять месяцами, что впереди годы испытаний» (Эренбург, 25 октября 1941). «Здесь предстоит выдержать ценой жизни, ценой смерти, ценой чего угодно. Сегодня мы держимся, мы еще не побеждаем...» (Симонов, 11 сентября 1942). «Говорили прежде: «Съесть вместе пуд соли». Но что соль рядом с кровью? Что года по сравнению с одной ночью в Сталинграде» (Эренбург, 10 ноября 1942).

Статьи, отразившие время, были частью этого времени. С призывом: «Смерть немецко-фашистским захватчикам», со стихами «Убей его» (Симонов), с афористически четким определением нашего гуманизма: «Мы научились ненавидеть, потому что мы

умеем любить» (Эренбург). Стоит ли удивляться через десятилетия этому праведному чувству. Ведь речь шла о защите мира от новых освенцимов, майданеков, хатыней. О существовании государства, о жизни народа, жизни каждого из нас. Но вот слова, сказанные летом сорок второго, в те самые дни, когда сводки и статьи называли станицы Кубани, когда горел ее хлеб. «Мы не переносим нашей ненависти к фашизму на расы, на народы, на языки. Никакие злодеяния Гитлера не заставят меня забыть о скромном домике в Веймаре, где жил и работал Гете». Напомню дату статьи Эренбурга — 14 июля 1942.

По этим статьям можно проследить хронологию войны, но куда важнее представить себе, как они действовали тогда и почему они живут сегодня. Их писали участники битвы, страдающие за свой оскорбленный народ, писали люди, ненавидящие фашизм, который ворвался и в их собственные жизни. «По праву разделенного страдания» (О. Берггольц), по праву общности со всеми антифашистами написаны они.

Симонов в свой последний год говорил о военных очерках и повести «Дни и ночи», что в них он стремился «показать войну в сугубо реалистических тонах... через повседневный труд и быт солдат и офицеров», хотел показать войну «без парадных сцен и поз». Наверное, поэтому так живо воспринимаются сегодня давние газетные очерки. Как и в знаменитом стихотворении «Жди меня», Симонов в очерках передавал общие настроения. Можно сказать, что при всей разнице манеры двух писателей, стиля, построения материалов публицистика их обоих глубоко психологична. «С особенной болью, которая с тех пор живет во мне, не оставляя ни на минуту, я вспоминаю деревенские кладбища. В Смоленщине они обычно где-то рядом с деревенькой, на холмике, под старыми раскидистыми деревьями... И когда смотришь на такой деревенский погост, чувствуешь, сколько поколений легло здесь в могилы, в свою землю, рядом со своими дедовскими, прадедовскими избами, чувствуешь, какая это деревня, какая это наша земля, как невозможно отдать ее, — невозможно так же, как невозможно вырвать у себя сердце и суметь после этого все-таки жить. Я говорю о себе, но знаю, что то же самое чувство испытывали все, кто отступал почти два года назад по смоленским дорогам». Я обрываю цитату с трудом. Не могу говорить, как это написано. В памяти всплывает симоновское: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» Здесь все — правда, и здесь ощущение, которым жили после Сталинграда: война переломилась.

Это же ощущение публицистически остро и психологически точно передано в статье Эренбурга «Душа России». Тот же 1943 год, позади уже не только Сталинград, но и Курская битва. Писатель напоминает, как в день сдачи Киева он писал: «Сожжем крепче зубы. Немцы в Киеве — эта мысль кормит нашу ненависть. Мы освободим Киев...» Спустя два года Эренбург говорит о недавнем прошлом и о будущем, он приглашает читателя к раздумью, к размышлению о том, как был достигнут перелом в войне. «Как это случилось, спрашивает изумленный мир. Мы были в самой гуще событий... Но и мы не задумывались над тем, как все это случилось. Мы знаем, что мы выплыли. Мы знаем, что перед нами зеленый берег победы. Но попытаемся отойти в сторону, взглянуть на себя глазами истории».

Взглянуть на себя глазами истории, увидеть масштаб событий, еще не отошедших, столкнуть вместе прошлое и настоящее, сопоставить частное с общим — драгоценное свойство Эренбурга-публициста, проявившееся и в его статьях, адресованных читателям «Красной звезды», и в тех, что писались для газет западных стран. Но в этих же статьях, где называются разные страны и события, отдаленные друг от друга, писатель говорит о «людях с отдельной биографией, теплой, как клубок шерсти».

У Эренбурга — человек и история, человек и война, которую он назвал Бурей в своем военном романе, большой обобщающий образ, надолго заставший в память. «Надевая солдатскую шинель, человек оставляет теплую, косматую, сложную жизнь. Все, что его волновало еще вчера, становится прозрачным. Неужто он еще недавно думал, возле какой стены поставит диван, собирал гравюры или трубки? Россия теперь в солдатской шинели. Она трясется на грузовиках, шагает по дорогам, громыхает на телегах, спит в блиндажах и теплушках. Она ничего не жалеет». У Симонова — непосредственное ощущение этого человека, этого боя, этого дня. Свидетельство очевидца и участника многих событий. «Тот, кто был здесь, никогда этого не забудет. Когда через много лет мы начнем вспоминать и наши уста произнесут слово «война», то перед глазами встанет Сталинград, вспьшки ракет и зарево пожарищ, в ушах снова возникнет тяжелый бесконечный грохот бомбежки».

Причины перелома в войне помогали понять и Симонову, и Эренбургу русские солдаты. Боец-сталинградец в ночь перед боем написал письмо, в котором просил рассказать о своем друге Иване Лычкине. Этот факт потряс писателя. Он увидел глубину человеческих чувств. Ведь Мальцев шел

в смертный бой, погиб в том бою, но перед возможной гибелью думал о друге, подвиг которого может остаться неизвестным. «Много на войне жестокого, темного, злого, но есть в ней такое горение духа, такое самозабвение, какого не увидишь среди мира и счастья». Таких статей, основанных на читательских письмах, было у писателя немало. Они расширяют общее представление об Эренбурге-публицисте, которому подвластна не только «стратегическая», масштабная публицистика. Ведь нет масштаба большего, нежели человеческая душа, это доказывают и статьи рецензируемой книги.

Эренбург знал и военные стихи Симонова, и его публицистику, одобрял эту работу. О том же, как оценивал Симонов статьи Эренбурга, лучше всего говорят слова, написанные в 1944-м и повторенные Симоновым осенью 1978-го. Они приведены в сборнике. Симонов говорил, что его старший «собрат по перу» «работал в тяжелую страду войны больше, самоотверженнее и лучше всех нас».

Есть закономерность не только в том, что в одной книге (она, конечно, могла быть полнее) объединены статьи Эренбурга и Симонова, но и в том, что этих двух писателей многие вспоминали одновременно, говоря о публицистике войны. В разгар сталинградского сражения Н. Тихонов писал редактору «Красной звезды» из осажденного Ленинграда: «Мы все любим нашего боевого друга Костю Симонова, радуемся от души его удачам...» И в том же письме: «Как здоровье Ильи Григорьевича... Он настоящий гвардеец. Ему надо почетный значок снайпера, кроме орденов и наград...»

В эту же пору М. И. Калинин выделял работу Симонова и Эренбурга. «Не знаю — читали ли вы последнюю статью Симонова «Дни и ночи». Я должен сказать, что она хорошо построена. Вообще его статьи дают реальную картину боев...» «Главную военную заслугу» Эренбурга видел Калинин в том, что он «ведет рукопашный бой» с врагом. «...Особое место в нашей агитационной работе занимают статьи Эренбурга», — подчеркивал Калинин.

Прощаясь с Симоновым, в статье «Верность солдата» генерал армии П. Батов, один из героев Сталинграда, участник испанской войны, вспомнил о своей встрече с Эренбургом и Симоновым на Курской дуге...

С уходом Константина Симонова перевернулась, стала историей значительная страница нашей литературы. Уже больше десятилетия нет Ильи Эренбурга. Долг живых помнить о том, что сделала литература — и каждый писатель в отдельности — для своего народа в дни решающих военных испытаний.

Александр Рубашкин

ОНИ СРАЖАЛИСЬ НА МАЛОЙ ЗЕМЛЕ

Георгий Соколов. *Мы с Малой землей.*
Изд-во «Советская Россия», М., 1979.

Недавно библиотека военно-патриотической литературы пополнилась еще одной новинкой — сборником Георгия Соколова «Мы с Малой землей». Это волнующее повествование о подвигах воинов, которые во время Великой Отечественной войны в течение 225 дней вели жестокую битву с фашистскими полчищами на самом южном краю огромного советско-германского фронта.

Читатели у нас в стране и за рубежом хорошо знают о легендарных событиях того времени по широко известной книге «Малая земля» Л. И. Брежнева, который в период обороны и освобождения Новороссийска был начальником политотдела 18-й десантной армии. Вспоминая о тех суровых днях, Леонид Ильич говорил: «Героизм наших воинов оказался столь же непреодолимым, как и вершины Кавказских гор».

Предлагаемый вниманию читателей сборник — яркая иллюстрация к этим словам. Автор его, известный писатель Соколов, сам был участником описываемых событий — в качестве командира отдельной роты разведки 165-й бригады морской пехоты воевал на Малой земле. Он много лет собирает материалы о воинах-малоземельцах. Из его повестей и рассказов читатели узнают много волнующих подробностей о людях — рядовых бойцах и командирах, моряках и пехотинцах, коммунистах и беспартийных, тяжелым ратным трудом которых ковалась победа над сильным и коварным врагом.

Сборник открывается документальной повестью «Морское братство» — о черноморских моряках и морских пехотинцах, участвовавших в десанте на Мысхако. В ней подробно рассказывается о том, в каких условиях проходили подготовка операции и высадка первой группы, как возникла юго-западнее Новороссийска знаменитая Малая земля. Запоминаются образы командиров «морских охотников» Ивана Дубровина, Николая Сипягина, Ивана Леднева, Петра Крутеня, Владимира Школы, командира десантного отряда Цезаря Куникова, их верных соратников и друзей.

Повесть «Морское братство» как бы вводит нас в атмосферу тех дней. Из помещенных далее повестей и рассказов (всего их в сборнике 28) вырисовывается впечатляющая картина полных боевого напряжения и драматизма событий, развернувшихся на крохотном участке Черноморского побережья Кавказа в феврале — сентябре сорок третьего года.

Основное достоинство сборника «Мы

с Малой земли» — достоверность, жизненная правда. Автор ничего не выдумывает, он рассказывает лишь о том, что происходило на самом деле. Перед читателем проходит целая галерея замечательных, бесстрашных и умелых воинов-патриотов, самоотверженных защитников Родины. Тут командиры взводов лейтенанты Малеев и Карманов, краснофлотцы Калужный и Степкин, командиры артиллерийского корпоста Воронкин и летчик-истребитель Чурилин, связист Асатурьян и снайпер Слепешев, медсестра Аня Жукова и юнга Витя Чаленко — представители всех воинских специальностей. И это закономерно, ведь победа в бою куеться совместными усилиями многих и многих бойцов, каждый из которых выполняет свою конкретную задачу.

В каких жестоких переделках приходилось бывать защитникам Малой земли, можно представить, например, по рассказу «Пять дней апреля». Гитлеровское командование бросило против них — в который раз! — намного превосходящие силы: четыре отборные дивизии, подержанные большим количеством самолетов, танков и артиллерии. Плацдарм был блокирован с моря флотилиями вражеских торпедных катеров и подводных лодок. На направлении главного удара немецко-фашистских войск стеной встал батальон советских десантников капитана Березского. «Бойцы лежали на дне окопов и в «лисыих норах». Только наблюдатели стояли на своих постах, прижавшись к углам окопов. Их лица и одежда были серы от пыли, глаза воспалены... По земле стался удушливый дым. Снаряды с воем и визгом разрывали стрелковые ячейки, блиндажи, окопы...» Но вот «...артиллерийская стрельба затихла. Послышалась команда: приготовиться к отражению атаки!.. Бурханов деловито разложил гранаты, вставил в них запалы, проверил автомат, запасные диски и в ожидании прижался плечом к брустверу...» Долгим и кровопролитным был этот бой. К концу его в строю осталось двадцать семь солдат и два командира, но батальон продолжал сражаться, удерживая главные рубежи.

А вот что происходило в критический момент на медпункте, где распорядилась санинструктор Аня Коренева. «Она увидела, как Ишутин, опираясь на автомат, встал и, покачиваясь, пошел. «Куда?» — остановила его Аня. Он блеснул на нее глазами: «Надо помочь ребятам. Что я тут?.. Перебинтовала — и ладно». Аня оглянулась. Еще несколько бойцов подня-

лись, держа в руках оружие. Она не стала их задерживать — она знала, что происходит в душе каждого из них. Только Соломину сказала: «И вы.. Ведь у вас одна рука перебита». Тот попробовал улыбнуться: «Ничего, Анечка. Гранаты бросают одной рукой, а не двумя. А чеку зубами выдерну». Кривошеин, широко открыв глаза, смотрел на происходящее. Вот они, настоящие советские воины! Ему стало досадно, что у него ранены ноги и он не может пройти и шага. Так он и пролежит здесь, пока его не отправят в медсанбат, а потом в госпиталь. А может, наскочат фашисты? «Аня, — с тревогой спросил он, — где мой автомат?» Он положил его на грудь и успокоенно подумал: „Пусть только сунутся“...»

В рассказе «За час до смерти» запечатлен образ командира взвода автоматчиков лейтенанта Журбы, умирающего от тяжелого ранения. Пришедший навестить его командир бригады говорит медсестре Вале: «Смотри, как умирает коммунист». Но не на смерти сосредоточивает наше внимание писатель. Перед нами предстает яркая, полная замечательных свершений жизнь коммуниста Журбы, кровно связанного с жизнью и судьбой своего народа. И смерть его на поле боя выглядит как бессмертный подвиг во имя жизни — свободной и счастливой.

С большим чувством написан рассказ «Рыжая полундра». Так любовно, по-свойски, называли матросы библиотекаря политотдела 255-й бригады морской пехоты комсомолку Марию Педенко, которая в трудных условиях переднего края совместно с художниками Цигалем и Пророковым и помощником начальника политотдела по комсомолу Малаховым выпускала рукописную газету «Полундра» и разно-

сила ее по взводам. Она рассказывала бойцам о Николае Островском, помогала постирать белье, заштопать обмундирование. Об этой отважной девушке тепло отзывался в своей книге «Малая земля» Л. И. Брежнев. Писатель подробно рассказывает о боевых делах и судьбе Марии Педенко и приводит слова Леонида Ильича, сказанные им однажды в День Победы на встрече ветеранов 18-й армии: «...Для меня ее образ стал олицетворением многих женщин, воевавших бок о бок с мужчинами».

Завершается сборник очерком «Тридцать лет спустя». В нем автор рассказывает о сегодняшнем Новороссийске, городе-герое, городе-труженике, о том, какой стала ныне опаленная некогда боями Малая земля, о судьбах малоземельцев и о том, как чтят в народе их славный подвиг. Удачно дополняют все материалы многочисленные снимки, сделанные на Малой земле фронтовыми фотокорреспондентами Е. Халдеем, Н. Асиной, И. Кушнаренко.

В предисловии, написанном Героем Советского Союза вице-адмиралом Г. Н. Холостяковым, бывшим в годы войны командиром Новороссийской военно-морской базы, говорится: «В городе-герое Новороссийске много памятников. На площади Героев в центре города горит Огонь вечной славы. Каждый час звучит скорбная, величественная мелодия Шостаковича — «Новороссийские куранты». Ветры с гор Цемесской бухты колышут факел Вечного огня... Все это — память о сотнях героев в матросских бушлатах и солдатских шинелях, память об их беспримерном мужестве и воинской доблести. Книга Георгия Соколова «Мы с Малой земли» тоже памятник, памятник бойцам-товарищам, отдавшим свою жизнь ради Победы».

Александр Воронцов

А. В. Пресняков. Над волнами Балтики. Воениздат, М., 1979.

Свыше тридцати лет отделяют нас от грозной поры Великой Отечественной войны, все меньше живых ее свидетелей остается среди нас. Неослабевающий интерес проявляет сегодня молодое поколение к этим людям — ветеранам войны, к бывшим солдатам, офицерам, генералам, которые с оружием в руках сдержали натиск гитлеровских полчищ, отстояли свободу и независимость нашего государства. Все, что было пережито народами нашей страны во имя победы над врагом, всегда будет жить в памяти.

Память наша — книги о войне: романы и повести, воспоминания и стихи.

Воспитательное значение произведений документального жанра, которые по праву занимают сегодня почетное место в арсенале художественной литературы о Великой Отечественной войне, трудно переоценить. Конечно, написать такую книгу — дело всегда сложное. Автор должен дать читателю абсолютную точность в освещении событий, ставших теперь уже далеким военным прошлым.

Перед нами книга генерал-майора А. В. Преснякова. Автор книги — очевидец и непосредственный участник боев с фашистскими захватчиками — пишет не только о себе, но и о своих боевых соратниках, с кем ему довелось в тяжелые дни отступления делить последнюю обойму патронов и последний кусок хлеба, с кем позже он делил и радость победы над врагом. «Пусть строгий читатель не подумает, что за штурвалом самолета я имел время делать подробные записи. Это не так, отдельные абзацы из дневника приведены дословно, другие — детализированы позднее, по памяти и архивным документам. Но повсюду сохранена документальная точность, достоверность событий и фактов».

Такими словами открывает свою книгу Пресняков. Войну он встретил в звании лейтенанта под Ригой. С первых же дней войны вместе со своими товарищами — балтийскими летчиками он участвовал в тяжелых боях в Прибалтике. Эскадрилья, в которой воевал А. В. Пресняков, обороняла Ленинград, прикрывала Дорогу жизни. Затем он служил в прославленном на Балтике Первом гвардейском минно-торпедном полку, которым командовал легендарный балтийский летчик Герой Советского Союза полковник Е. Н. Преображенский.

Книга «Над волнами Балтики» включает дневниковые записи. Десятки страниц книги посвящены боевым делам летчиков сорок первой отдельной эскадрильи. В каких только схватках не приходилось бывать летчикам этой эскадрильи! Они бомбили и штурмовали резервы врага, наносили удары по артбатареям, автоколоннам и железнодорожным эшелонам.

15 ноября 1941 года Пресняков записывает в дневнике: «В эскадрилье осталось всего шесть самолетов, но они летают почти непрерывно, совершая в ночь по пять-шесть вылетов. Фашисты встречают нас шквальным зенитным огнем. Количество пробоин на самолетах увеличивается с каждым вылетом. Но техники не дают им проставать ни минуты. Специально созданная бригада успевает устранить повреждения в перерывах между полетами».

В конце апреля 1942 года наша разведка сообщала, что на аэродромах Сиверская, Гатчина, Луга фашисты сосредоточили большое количество тяжелых самолетов и гитлеровцы намереваются нанести удары по Ленинграду в первомайский праздник.

Пресняков в те дни делает следующую запись в дневнике: «Ночью бомбили вражеский аэродром около станции Сивер-

ская... В районе стоянки фашистских бомбардировщиков наблюдали пожары и взрывы. Значит, все экипажи ударили точно».

С большим волнением читаются страницы, где рассказывается, как наши летчики бомбили Берлин. Это было наше возмездие, это был подвиг. Родина достойно оценила этот подвиг. В августе 1941 года полковнику Е. Н. Преображенскому, капитанам В. А. Гречанинову, А. Я. Ефремову, М. Н. Плоткину, П. И. Хохлову Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза.

В эпилоге своей книги генерал-майор Александр Васильевич Пресняков пишет: «По долгу службы мне часто приходится бывать в различных городах нашей необъятной Родины, и почти в каждом из них я вижу своих однополчан — ветеранов балтийской крылатой гвардии».

Серия «Военные мемуары», давно издаваемая Воениздатом, пополнилась интересной книгой, рассказывающей о бесстрашном подвиге наших славных летчиков-балтийцев.

Г. Кондрашев

Валерий Мусаханов. Испытания. Повести, рассказы. Лениздат, 1978.

Для Валерия Мусаханова характерно, что в его описаниях часто важнее не как выглядит предмет, а из чего он сделан. Это выдает трудовую основу его психологии, объединяющую его как писателя, обрабатывающего материал изображаемой жизни, с его героями, активно занятыми ее переделкой. Мерой достоинства его героя становится то, что он умеет делать.

В повести «Испытания» автор занят не столько решением различных проблем, сколько изображением самой жизни. Это не означает отсутствия жизненных и производственных конфликтов в повести, это означает, что они решаются в жизненном изменчиво текущем повествовательном плане и никогда проблема, что называется, не выносятся за скобки текста.

В этом смысле жанр повести «Испытания» отчетливо выдерживается, и романские коллизии, заложенные в ней в зачатке, никогда не доводятся до конца. Основная такая коллизия — соперничество между конструктором и испытателем автомобилей Григорием Яковлевым и директором научно-исследовательского и проектного института автомобилей Игорем Владимировым, соперничество, вознившее непрошено, из чувства взаимной симпатии и поддержки, из сознания общности целей. Отношения складываются на протяжении десятилетий. В основе их, как принято говорить, «производственный конфликт»: проект массового малолитражного автомобиля, который для Яковлева является воплощением его представлений о легковом автомобиле вообще, который есть дело его жизни и над которым бьется Владимиров, потому что да-

леко не просто воплотить в жизнь столь необычный проект. В основе конфликта два сильных характера: Яковлева, который с первых страниц повести производит на нас впечатление таланта почти фантастического — испытателя, конструктора, просто слесаря, и Владимирова, вначале выступающего лишь как покровитель и заступник молодого таланта, человека по-своему не менее прочного характера.

Яковлев по своей натуре — творец, расходующий себя и свои силы без остатка, требующий самопожертвования от себя и от окружающих. Такие натуры обычно богато одарены, наделены резкими, волевыми характерами, несут в себе трагическое начало. Они либо добиваются блестящего успеха, либо гибнут. В этой натуре и коренится драматическое начало повести: Яковлев все время стремится идти на риск, требовать максимума, добиваться невозможного. Если бы Мусаханов был писателем проблемным в романном смысле этого слова, то его решение поставленной проблемы оказалось бы парадоксальным: Владимиров путем тонкой и мудрой политики добивается возможности производства яковлевского автомобиля, а сам изобретатель, встретив умную и очаровательную девушку — журналистку, сумевшую разобраться в хитросплетениях его натуры, на время утрачивает интерес к своему проекту. Но было бы напрасно искать в сопоставлении этих двух характеров возможной антитезы и философского противостояния: это не романная коллизия. Гораздо важнее для Мусаханова другое: шестест шин автомобиля, на котором возвращается из института подводящий итоги своей жизни Владимиров, непогода, в которую бредет в свою одинокую комнату Яковлев, размышляющий, пора или не пора считать себя неудачником, одинокие прогулки по невской набережной Аллочки Синцовой мимо литых львов (они, кстати, в повести ошибочно названы гранитными). Сам поток жизни, увиденный в сложных ракурсах и разных по широте измерениях, привлекает Мусаханова, именно пристрастие к жизни ради жизни делает его настоящим рассказчиком.

Мусаханов знает нюансы и любит показать осведомленность в тонкостях и сути дела, о котором ведется речь. Сцены на автодроме не оставляют сомнений в том, что читатель имеет дело с профессиональным автомобилистом, интерес которого к этому делу затрагивает область личного. Интерес ко внутреннему механизму явлений выходит далеко за пределы техники. В своей прозе Мусаханов демонстрирует глубокое понимание социальных и психологических механизмов, именно этому посвящена его повесть «Испытания».

Не менее свойственна для него любовь к коллизии, представляющей художественную самоценность. Таковы рассказы «Журавли» и «Проклятие богов». В первом описан приезд в Ленинград на свадьбу дочери полковника Бородин.

В ситуации встречи его со своей юностью, а затем войной и раскрывается человеческое содержание рассказа. Воспоминания Бородина, показанные с детальностью и медлительностью самой жизни, делают реальность войны особенно контрастной по отношению к счастливому и мирному свадебному застолью.

В рассказе «Проклятие богов» Мухоманов обращается к фантастике, вернее сказать, к мифологии.

Книга Мухоманова — серьезная книга. Писатель идет ко все более глубокому постижению человеческих и социальных конфликтов.

Ф. Чирсков

Ростислав Корнев. Семейная фотография. Изд-во «Советский писатель», Л., 1979.

Многолюдным, обжитым предстает театр Ростислава Корнева в том числе избранных его комедий, выход которых почти совпал с шестидесятилетием драматурга. Врачи, студенты, геодезист, кассирши, следователь, замминистра коммунального хозяйства, ворожея, завмаг, редакторы, инженеры, актер и наш брат литератор — более полусотни разномастных, разновозрастных носителей комедийных амплуа олицетворяют в пьесах Р. Корнева калейдоскоп жизни, где, как известно, все и всё взаимосвязаны. И у каждого персонажа своя повадка, свой лексикон. Сочное, лукавое просторечие обитателей карельской «глубинки» соседствует с усредненно интеллигентной речью горожанина, неприятельские шутки («Кандидатский минимум — это тот минимум, без которого не получишь максимума») — с потешным, без стилизаторского нажима, колоритом реплик, вложенных в уста двух кавказцев и языкастой, заразительно бесшабашной цыганки.

При этом сборник производит впечатление внутренней цельности, ибо, несмотря на пестроту характеров и положений, автор неукоснительно удерживает в комедийно-гротесковом фокусе всех шести пьес два основных объекта обличения и осмеяния: один — выветривание идеалов, высоких моральных принципов, другой — хищный авантюризм в духе достославного Остапа Бендера. Редактор, в прошлом — отважный разведчик, боится издать правдивую повесть спасенного им на фронте, а теперь смертельно больного друга («Семейная фотография») ... Бескорыстное мужество военных будней — это в драматургии Корнева, помимо общечеловеческих критериев нравственности, одно из главных мерил внутренней чистоты, лакмусовая бумажка, выявляющая душевные и духовные качества персонажей. Периодически возникающая на авансцене фигура бывшего солдата, которому все еще слышится какофония боя («Тост»), — не просто искусное перемежение временных и речевых планов, это — этический противовес дяляческому фанфаронству

Ромы, одного из многочисленных олицетворений бендеризма.

Бендеры в комедиях Корнева разномащтабы и даже разнополы: околпачивающая доверчивых людей и сама как бы омороченная их суеверностью ворожея-цыганка («Показательный процесс»), предприимчивый мужичонка, за мзду потворствующий браконьерам («Тринадцать рыбаков»). Бендеровской хваткой наделена энергичная, властная директорша канифольного завода, не желающая считаться ни с экологией, ни с этнографией («Формула воды»). Но, пожалуй, самый колоритный из корневских бендеров — это Шеф, издатель, в котором, согласно авторской ремарке, «чувствуется порода в счастливом сочетании с руководящим обаянием» («Черный ящик»). Роскошную демагогию этого респектабельного поначалу, с непринужденными, вкрадчивыми манерами, салонного кота и его превращение в циничного хапугу, прохвоста, тщетно ухищряющегося завладеть чужими выигравшими облигациями, ленинградцы еще недавно имели возможность слышать и созерцать в азартном исполнении Э. Романова на сцене Малого драматического театра (другие пьесы Р. Корнева ставили Театр имени В. Ф. Комиссаржевской — «Корабельная роща»; Петро-заводский финский драматический театр — «Формула воды», «Второе поколение», «Без окраин»; Центральное телевидение — премированный спектакль «Кольцо»).

Умело меняет драматург эмоциональный вольтаж: кульминация — спад — и опять обострение. Этим в значительной степени объясняется сценичность написанного им. Максимум событийной энергии при минимуме словесных затрат (даже там, где, как в «Тринадцати рыбаках», нет жесткой фабульной канвы). Эпизоды чередуются с кинематографической стремительностью.

Стяжателям, комбинаторам в пьесах Корнева противостоят милые бесребреники, рыцари чести, люди, проклянные войной, и молодые, с незамутненной душой, только начинающие жить. И еще — Смех. Комедии Корнева по-настоящему веселы, остроумны, жизнерадостны, ироничны.

В романе Ильфа и Пётрова центральный персонаж разыскивает стул, чтобы прикарманить упрятанные под обивкой драгоценности. В «Черном ящике» Р. Корнева главный герой, Кирилл, ищет владельца стула, чтобы вернуть ему найденные облигации. Другое время, другая коллизия, другие смысловые акценты! «Вечная» тема противоборства алчности и бескорыстия, низости и благородства приобретает под пером драматурга достоверные приметы нашего общественного бытия. Автор назвал свой литературный бенедикт «Семейная фотография», хотя по существу перед нами социальная рентгенограмма. Здесь есть над чем посмеяться и о чем призадуматься.

И. Инов

СОДЕРЖАНИЕ

Павел БУЛУШЕВ. Переправа. <i>Стихи</i>	3
Вадим ХАЛУПОВИЧ. Город Тотьма на том берегу... Ах, это было чудо из чудес... Когда б нас ни спросили... <i>Стихи</i>	4
Юрий СЛЕПУХИН. Южный Крест. <i>Роман</i>	5
Леонид МАРТЫНОВ. Разговор по-людски. Раскопки. С улыбкой на устах. В мелководной заводи... Я проснулся и почувствовал... Архивариусы. Над ней вороны... О, литература осьмнадцатого столетья... <i>Стихи</i>	64
Николай ГРИГОРЬЕВ. С башни времени (<i>Окончание</i>)	66
Владимир БРОВЧЕНКО. Рисунки Василия Касияна на бетонной ограде больницы. Матери, пересылая новое издание «Кобзаря». Корсунь-Шевченковские высоты... Песня причастности. Облако. <i>Стихи. Перевод с украинского Марии Комиссаровой, Петра Жура</i>	132

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Евгений ЗАЗЕРСКИЙ, Анатолий ЛЮБАРСКИЙ. Ленин и Запад (<i>Документальное повествование</i>)	134
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Лина ГЛЕБОВА. В поездке и дома (Дневник журналистки) (<i>Окончание</i>)	170
Эрнст ГЕНРИ. Вторая часть жизни мерзавца	192

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Даниил ГРАНИН. Книга о великом человеке и великом ученом	198
--	-----

КРИТИКА

Галина ЛЮБАЦКАЯ. Мир личности и личность в мире	203
---	-----

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Александр РУБАШКИН. Солдаты одной части (Константин Симонов, Илья Эренбург. В одной газете. Репортажи и статьи)	215
Александр ВОРОНЦОВ. Они сражались на Малой земле (Георгий Соколов. Мы с Малой земли)	218

СРЕДИ КНИГ

Г. Кондрашев — А. В. Пресняков. Над волнами Балтики. □	
Ф. Чирсков — Валерий Мусаханов. Испытания. □ И. Инов —	
Ростислав Корнев. Семейная фотография	220

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию им. Володарского: Ленинград, Фонтанка, 57.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор Г. К. ХОЛОПОВ

Редакционная коллегия:

А. А. ГОРЕЛОВ, П. В. ЖУР (первый зам. главного редактора), А. Г. КАЛЕНТЬЕВА, В. Н. КУЗНЕЦОВ, Г. А. НЕКРАСОВ, Н. К. НЕУЙМИНА, Г. Ф. НИКОЛАЕВ (зам. главного редактора), Н. Н. СКАТОВ, Э. С. СТАВСКИЙ, А. А. ФУРСЕНКО, А. П. ЭЛЬЯШЕВИЧ

Ответственный секретарь И. М. ЕРШОВА

Корректоры О. А. Назарова, Е. Д. Тонконогова Технический редактор В. Т. Молоткова

Адрес редакции: 192028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместитель главного редактора и ответственный секретарь — 273-76-92, зав. редакцией — 273-37-24, заместитель главного редактора и отдел публицистики — 273-52-56, отдел прозы — 272-18-15, отдел критики и отдел поэзии — 273-74-91

Издательство «Художественная литература»

М-32455 Подписано к печати 25.12.1979 Тираж 116 000 экз. Формат 70×108^{1/16}. 14 печ. л. 19,6 усл. печ. л. 22,891 уч.-изд. л. Заказ № 349. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются

60 коп.

Индекс
70327

